

Н О В Ы Й  
М И Р

4

Н О В Ы Й  
М И Р

1971

4



1971

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 4

Апрель, 1971 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Сопротивление разума, стихи разных лет. Перевели с немецкого Борис Слуцкий и Юрий Левитанский	3
ЮРИЙ АНТРОПОВ — Живые корни, повесть	8
СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО — Слова, стихи	53
ЛЕОНИД КАШИРИН — Таня, рассказ	55
ИВАН ТУЧКОВ — Руки, стихи	64
ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО — Всего лишь ночь до заселения звезд, стихи	66
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Корольев, хроника	68
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Чабан, стихи	103
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания	105

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Памятные встречи	154
В. МАКСАКОВ — Из записок революционера-подпольщика	169

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ — Страна Патриса Лумумбы	183
------------------------------------	-----

### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ — «Записки о Кошачьем городе» и официальная пе- чать Китая	204
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Наука о литературе сегодня*

В. ПЕРЦОВ — Аксиомы и неизвестное	208
ГЕОРГИЙ РАДОВ — Что может публицистика	215

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ</b>	
В. АДМОНИ — Миф о творчестве Томаса Манна	225
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	234
<b>Ф. Левин.</b> О Ленине—детям.— <b>Л. Аннинский.</b> Опровержение одиночества.— <b>А. Овчаренко.</b> Новое исследование проблем литературы.— <b>Т. Хмельницкая.</b> Сложный путь к простейшим истинам.— <b>Н. Кузьмин.</b> Пушкин-рисовальщик.— <b>А. Аникст.</b> Новеллы о Шекспире.	
<i>Политика и наука</i>	255
<b>И. Брайнин.</b> Штрихи к портрету Ильича.— <b>В. Буганов.</b> Книга об удивительном открытии.— <b>С. Михайлов.</b> Энгельс и естествознание.— <b>А. Пархоменко.</b> Энциклопедия технического прогресса.— <b>О. Феофанов.</b> О «мыслителях» и «казначаях».— <b>А. Аникин.</b> Занимательные финансы.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — А. л. М и х а й л о в.— Николай Тихонов. Времена и дороги. Стихи 1967—1969 годов. ♦ В. Б е л и к о в.— Веркор и Коронель. Квота, или «Сторонники изобилия». ♦ Р. Ш а ц е в а.— Владимир Кириллов. Стихотворения и поэмы. ♦ А. А н а с т а с ь е в.— Леопольд Антонович Сулержицкий. ♦ С. Л ь в о в.— К новой жизни. Рассказы писателей ГДР. ♦ В. М а г и д с о н.— Анатолий Медников. Тонкий профиль. ♦ Е. Т р е т ь я к о в.— Уильям Уиллис. Возраст не помеха. ♦ К. К а л и н е н к о.— Воспоминания о Софроницком	279
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	286



---

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

★

## СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗУМА\*

*С немецкого*

### ПОСЛАНИЕ ТОВАРИЩУ ДИМИТРОВУ В ТЕ ДНИ, КОГДА ОН БОРОЛСЯ С ФАШИСТСКИМ СУДОМ В ЛЕЙПЦИГЕ

Товарищ Димитров!  
С тех пор, как ты борешься с фашистским судом,  
В самом сердце Германии  
Сквозь толпы бандитов-штурмовиков  
и убийц,  
Сквозь свист шомполов и резиновых дубинок  
Слышен  
Громкий и внятный голос коммунизма,  
Его слышат во всех странах Европы  
Те, кто прислушивается во тьме,  
что же там во тьме за границей?  
Его слышат также  
Все избитые, ограбленные  
И несгибаемые  
Борцы Германии.  
Экономя и рассчитывая, ты, товарищ Димитров,  
Используешь каждую минуту, тебе данную,  
Используешь эту маленькую площадку,  
Еще открытую гласности,  
Ради всех нас.  
Едва владеющий чужим языком,  
Постоянно прерываемый,  
Многократно вытщенный из зала,  
Измученный кандалами,  
Ты снова задаешь новые, наводящие страх вопросы,  
Обвиняешь виновных и  
Заставляешь их орать, вытаскивать тебя из зала  
И тем самым подтверждать,  
Что за ними не право, а только сила,  
Что тебя можно только убить, но не победить.  
Потому что, подобно тебе, этой силе сопротивляются  
Тысячи борцов, не столь заметных, как ты,—  
Даже те, кто истекает кровью в застенках.  
Их можно убить,  
Но не победить.

\* Из литературного наследия. Стихи разных лет.



Подобно тебе, все они заподозрены  
 в борьбе с голодом,  
 Обвинены в восстании против угнетателей,  
 Привлечены к суду за борьбу с эксплуатацией,  
 Изобличены  
 В справедливейших действиях.

### БОРЦАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Вы,  
 Похороненные в концлагерях,  
 Отсеченные от любого человеческого слова,  
 Пытаемые,  
 Избитые,  
 Однако неопровергнутые!  
 Затравленные,  
 Однако незабытые!

О вас мы слышим немного, но все же слышим:

Вы  
 Неисправимы,  
 Вас нельзя убедить, то есть заставить отречься  
 от рабочего дела,  
 Нельзя разуверить, что и сейчас  
 в Германии  
 Есть разные люди — угнетатели и  
 угнетенные,  
 И что только классовая борьба  
 Может освободить от нужды массы  
 городов и деревень.  
 Мы слышим, что вас  
 ни батогами, ни дыбой  
 Нельзя заставить  
 Признать, что дважды два — пять.  
 Итак, вы,  
 Затравленные, но  
 Незабытые,  
 Избитые, но  
 Неопровергнутые,  
 Вместе со всеми неисправимыми борцами,  
 Непереубежденными сторонниками правды,  
 Продолжаете оставаться  
 Подлинными вождями Германии.

### ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ С НАМИ

#### 1

Говорят, что ты больше не хочешь работать с нами,  
 Ты слишком устал. Ты больше не в силах торопиться.  
 Ты слишком вымотан. Ты больше не в силах учиться.  
 Ты конченный человек  
 С тебя нечего спрашивать, потому что ты выдохся.

Так знай же,  
 Мы требуем, чтобы ты знал:

Когда ты устанешь и заснешь,  
 Никто больше не разбудит тебя и не скажет:  
 — Вставай, еда на столе.  
 Откуда возьмется еда?  
 Если ты больше не в силах торопиться,  
 Ты останешься лежать. Никто  
 Не отыщет тебя и не скажет:  
 — Революция. Заводы  
 Ждут тебя.  
 Откуда возьмется революция?  
 Поскольку ты мертв, тебя похоронят,  
 Виновен ты в своей смерти или нет.

Ты говоришь,  
 Что сражался слишком долго. Что ты больше  
 не в силах сражаться.

Знай же:  
 Твоя вина или нет,  
 Но если ты больше не в силах сражаться,  
 ты погибнешь.

## 2

Ты говоришь, что надеялся слишком долго. Что ты больше  
 не в силах надеяться.

На что ты надеялся?  
 Что бороться легко?  
 Не тот случай.  
 Наши дела хуже, чем ты думал.

Они обстоят таким образом:  
 Если мы не свершим нечто сверхчеловеческое,  
 Мы погибли. Если мы не сделаем такого, что никто  
 не вправе у нас потребовать,  
 С нами покончено.

Наши враги ждут,  
 Пока мы устанем.

Чем борьба ожесточеннее,  
 Тем борцы утомленнее.  
 Борцы, которые слишком устали, проигрывают сражение.

**ТЕМ, КТО МОЖЕТ УЙТИ**

Те, кто может уйти, должен уйти.  
 Не нужно просить их остаться.  
 Остаться должны только те, кто не может уйти.

Разве удержишь того,  
 У кого есть возможность уйти?  
 Ослабевшие не в силах  
 Удержать кого бы то ни было.

Но и в хорошее время  
 Не удерживайте тех, кто может уйти,  
 Потому что может наступить плохое время.

С нами пойдут в бой  
 Лишь те, кому грозит то же, что и нам.  
 Что нам за толк, если кое-кто  
 Любит нас за красивые глаза?

Скажем же им: сегодня  
 От нас еще есть дорога,  
 Кольцо вокруг нас еще не сомкнулось.  
 Может уйти каждый, у кого есть убежище там, снаружи,  
 У кого есть друг среди врагов,  
 Тот, кто еще может уйти.

Чтоб мы наконец остались одни,  
 Свободные от примесей,—  
 Люди, которые не могут уйти.

*Перевел Борис Слуцкий.*

## ВЕСНА 1938

### I

Сегодня, в пасхальное воскресенье, утром  
 Внезапно метель над островом разразилась.  
 Снег лежал меж кустов зеленевших. Мой младший сын  
 Потасил меня к деревцу абрикосовому возле дома —  
 Прочь от стиха, в котором на тех я указывал пальцем,  
 Кто готовил войну, которая весь континент,  
 Этот остров, народ мой, семью и меня самого  
 Должна уничтожить. Молча  
 Укутали мы мешком  
 Озябшее деревце.

### II

Дождевая туча висит над Зундом, но сад покуда  
 Золотится еще под солнцем. На грушевых ветках  
 Листва зеленеет, но нет цветенья, а на вишневых —  
 Нет еще листьев, но цвет появился. Цвет этот белый  
 Словно бы на сухих распускается ветках.  
 По Зунду по зыбким волнам проносится быстро  
 Маленькая, с залатанным парусом лодка.  
 Щебет скворцов весенних  
 Смешался с далеким громом  
 Учений морского флота  
 Третьего рейха.

### III

В зарослях ивы у Зунда  
 Часто кричит сова весеннею ночью.  
 Согласно крестьянским поверьям,  
 Людей она ставит тем самым в известность,  
 Что век их недолог. Меня же,  
 Знающего о том, что сказал я правду  
 О владыках мира сего, птица смерти могла бы  
 О том и не ставить в известность.

*Перевел Юрий Левитанский.*





---

---

ЮРИЙ АНТРОПОВ

★

## ЖИВЫЕ КОРНИ

*Повесть*

### 1. *Большуха*

**Д**о часу дня ей некуда себя деть. Еще сонная, в семь утра она сходила в рабочую столовую за чаем и котлетами, отдававшими кислым хлебом. По старой привычке хотела было ругнуться с поваром, которого сама оформляла на работу месяц назад, но тот смотрел на нее теперь снисходительно и, утирая лицо замызганным фартуком, улыбался так, будто приготовил эти котлеты для нее одной.

На обратном пути Мария сделала крюк и прошла парком; шурясь на солнце, отметила про себя, что почки миндаля начали набухать, хотя еще только январь, и даже приостановилась. Но тут же увидела Анатолия, хмуро следившего за ней из ворот гаража, вдруг заторопилась, выдернула щепку из накладки на двери сарайчика, сунула судки на плитку и какое-то время неподвижно сидела на топчане, глядя перед собой. Потом вздохнула, поднялась, начала двигаться, что-то делать — и утра как не бывало: разбудила Игорька, сменила ему воротничок, почистила форменные брючки, вовремя выпроводила его, напутствуя разными наказами, на ходу поправляя ему ранец и косясь во двор гаража, где шоферы кончали утреннюю колготню и один за другим заводили моторы.

— Маша! Маш...

У дверей ее сарайчика в ожидающей терпеливой позе застыла Тоня Чурсина.

— Я торкнулась раз — нету, торкнулась другой — нету. А дверь без накладки, и ведь только что, думаю, здесь была!

— Игорька в школу проводила.

Мария без видимой охоты переступила через порог, быстро окидывая взглядом неприбранную постель и предчувствуя, что от соседки теперь скоро не отделаешься. Она не имеет ничего против Чурсихи — пожалуй, это единственный человек, кто ее понимает, кто открыто сочувствует ей, — просто Марии сейчас не хочется видеть никого. Убежала бы куда глаза глядят, если бы не Игорек.

— Ох уж эти мне школьники, — притворно вздохнула Чурсиха, начиная долгий разговор. — Мой вчера говорит. «Купи мне велосипед!» Нет, ты представляешь?! — Она не спешит присесть на табуретку, пристально наблюдая за соседкой, за вялыми ее движениями.

Мария хмыкнула — не то раскусила Чурсихин маневр, не то искренне сочувствует ей.

Чурсиха выжидает еще самую малость, но Мария молчит, приходится самой себе задавать вопросы.

— Я ему говорю: ты подумал или нет, на какие шиши мать купит

тебе велосипед? Тебе рубашку к лету надо? Надо! Сандалеты надо? Надо! А штаны? Ты же из последних штапов, говорю, вот-вот вывалишься, на заднице уже не материя, а сито, все протер! А он мне отвечает: «Мне к лету ничего не надо — в трусах прохожу».

Чурсиха уже сидит на табуретке, вслепую шарит на столе среди посуды, ищет спички и, не сводя глаз с Марии, при последних своих словах вдруг смеется:

— Я говорю, хотела бы я посмотреть, как ты в трусах будешь ходить!.. Да что там про них, — машет она рукой, — нам бы их заботы.

Она прикуривает папироску, которую все это время без толку мяла в руках, глубоко затягивается и, сделавшись сразу какой-то безразличной, не по утру усталой, прислоняется спиной к дощатой стенке сарайчика.

— А у меня с утра во рту еще ни крошки не было, — как бы оправдывается в чем-то Мария. — Вроде ни дела, ни работы — а поесть все некогда.

Она ставит разогреть котлеты и, сама себе сливая из кружки над ведром, ополаскивает две вилки.

— Давай садись со мной, — мягко говорит Мария, прислушиваясь к себе, как внутри у нее все замирает в каком-то сладостном предчувствии.

И Чурсиха понимает, что дальше тянуть нельзя, а то, чего доброго, переиграешь, — она кидает папироску в ведро, еще секунду-другую смотрит, как та шипит и гаснет, и берет вилку. Будто приличия ради тычет ею в судок, в раскрошенную Игорьком котлету и вдруг, бросив вилку на полдороге, отчаянно машет рукой:

— А! Погоди-ка...

Мария будто ничего не подозревает, а Чурсиха вскакивает, с игривой суматошностью бежит к себе за стенку, звякает там пустыми бутылками — и вот уже соседская девчонка дует прямым ходом в ларек. Мария едва успевает сунуть ей кое-какую мелочишку от себя и уже ищет куда-то запропастившийся гребень, представляя, как Чурсиха тоже прихорашивается перед осколком зеркала, вставленного в щель косяка, как закалывает свои волосы, чуть трогает губы алой помадой и пробует бубнить что-то веселое.

Минут через пять девчонка приносит бутылку вина. Чурсиха уже на прежнем месте, в углу на табуретке, ладонью снимает с бутылки налипший мусор.

— Хватит, хватит мне, — сопротивляется Мария, отводя от своего стакана горлышко бутылки, — мне ж сегодня на работу. — Но уже втихомолку весело ругает сама себя за эту ломливость, готовясь к тому, чтобы следом за первой выпить по полной.

Небольшенький закуток, куда сходятся двери квартир и сараюшек, бесцеремонно заполняет хриловатый, задерганый голос Мариной радиолы. Она включает ее вслепую привычным коротким тырчком по клавишам, нимало не заботясь о том, какая пластинка пылится на диске еще с прошлого раза. С шипом оживает песня про оренбургский платок, не живо под нее завеселишься... Но, во всяком случае, они с Чурсихой могут теперь хоть на голове ходить — никто их не услышит.

— Так все-таки, Мария! — Чурсиха прищуром выказывает кому-то заранее свое неодобрение. — Ты мне толком, как дважды два, объясни, с чего это у вас все началось-то! — Она и ругает себя молчком за это возвращение к тому, от чего только что увела свою товарку, и не ругает, понимая в душе, что все равно, о чем бы они тут ни тренькали сейчас, как две сороки, на душе будет одно и то же. Так лучше сразу!

В лице Марии ничего не изменилось: как бы ни обманывала сама себя, что хватит, сколько, мол, можно толочь воду в ступе. внутренне

она была готова к такому вопросу соседки, ждала его и удивилась бы несказанно, если бы та промолчала, увела разговор в сторону.

Чурсиха сделала все как надо и замерла, и Мария, чуть не плача от этого искреннего чужого сочувствия, машинально сметает ладонью крошки в кучу.

— А я знаю? Ты спрашиваешь у меня — а я знаю?! Я работала и работала, мое дело было — вовремя оформить входящие и исходящие, приказ какой или меню столовой напечатать — а они мне что?!

— А они тебе что? — повторяет Чурсиха и стучит кулаком по столу, а лицо у самой уже наполовину отсутствующее, будто она прислушивается к каким-то невнятным звукам у себя за стенкой.

Но Мария на нее не смотрит. Она начинает рассказывать, в который уже раз переживая заново случившееся и удивленно отмечая про себя, что иные места этой истории день ото дня обретают все новый и новый смысл.

— ...Теперь я понимаю, — на Чурсихиных глазах приходит она к заключению, — директор здесь ни при чем.

— Это как же? — вскидывается Чурсиха, обнаруживая этот странный оборот знакомой и ей во всех подробностях истории.

— А что ему оставалось делать? Не прикажи он уволить Поликарпиху — ему пришлось бы расходиться с женой, это при трех-то детях!

Чурсиха старательно хмурит лоб, вникая в эту новость, но понять ее без подсказки, видимо, не может.

— Ты только представь положение Поликарпихи, — говорит Мария, глядя сквозь полуоткрытую дверь на пустой дворик. — Какие у нее, к черту, были права? Хуже птичьих! Директор принял ее, можно сказать, под честное слово — ни трудовой, ни справки какой-нибудь. Только и знал о ней, что работала когда-то в системе ОРСа, а потом сидела сколько-то, вроде бы по вине других, — да это и по ней видно: мухи не обидит. Лично я заводила ей по приказу директора новую трудовую — чистенькую! И Поликарпиха, конечно, держалась за это место, а Ирина Владимировна преподобная, — меняясь в лице, называет Мария жену директора, — все пронюхала, вызнала — и безо всяких к ней, к Поликарпихе-то! Стала захаживать на склад, как к себе домой: седни рыбки возьмет — мол, кусочек для больной девочки... завтра — мяса пол-ляжки... Вот так и пошло. Ни стыда ведь, ни совести. И ведь ты скажи: как только на таких женятся!.. А Поликарпиха, ясно дело, боялась поперечить. А оно и так не лучше получилось. Клинушек-то, ты же знаешь, Тоня, этого новоявленного профорга — он же свою Файку на это место хотел пристроить, в склад. А какое у Файки образование, сама посуди: пять классов, шестой — коридор. Вот он и стал тогда под Поликарпиху подкапывать и на партсобрании, укоряя директора, заявил, что, дескать, выражает такому его поступку — ну, то есть принятию бывшей заключенной Поликарпихи на материально ответственное место — свое недоверие. Я ему, конечно, — задумчиво, словно нехотя, сознается Мария, как бы запоздало укоряя себя за прошлую горячность, — тогда же высказала все как думала: мол, товарищ Клинухин, кому нужна такая принципиальность, ведь и о доверии к человеку тоже забывать не стоит! Словом, сорвала ему тогда атаку на директора, и он, Клинушкин-то, вроде согласился. Но только я поняла по его виду: теперь я заклятый его враг, коли посмела при всех укусить. И так оно и вышло.

Чурсиха минуту-другую молчит, как бы ожидая продолжения.

— Уж и гад, — безнадежно качает она головой из стороны в сторону. — Ты представляешь, взял привычку заявляться к нам в столовую! Мало нам директора, мало нам врача, чтобы морали читать и порядок требовать, так еще и он туда же! В глаза ни разу не глянет, ходит, хо-

дит меж столиков, косится, не знает, к чему придаться. Я так думаю, Маш,— делится своей не сегодняшней догадкой Чурсиха,— настоящему председателю, может, до всего есть дело, я не знаю... Но я думаю, если ты настоящий профорг, то, будь добр, уважай тех, кому дело поручено, и нечего тебе в каждую дырку нос совать!

— Ты вспомни, какой он приехал к нам,— вяло соглашается Мария,— обходительный, вежливый, в контору ни разу в кепке не вошел. А сейчас кепку сменил на папаху. В кабинете у директора развалится в кресле и папаху эту свою задрипанную с головы и снять не подумает.

— Да уж и папаху. Где только выкопал. На улице теплынь, ребятыня в школу без пальто бегают, а этот придурок из папахи не вылазит. Это ж смех и грех! А ты знаешь че...— вдруг осенило Чурсиху.— А так же он выше ростом кажется! — хохочет она.— Ну, Клинушек... Такой, да еще в папаче, и директора подсидит, несмотря что недомерок.

Мария онемело смотрит сквозь Чурсиху, словно вовсе не это хотелось ей услышать, а про что-то другое выведать, что, возможно, утешило бы ее хоть самую малость, и чуть встряхивает головой:

— Не подсидит. Ничего у него не выйдет, у этого Клинушка, он уже почти всех против себя восстановил. Люди же не слепые, видят. Вот только до первого партсобрания — уже лично я молчать не буду.

Она снова возбуждена и делает вид, будто это самое собрание, которого она так ждет, вовсе не для того назначается, чтобы обсудить ее персональное дело, а для того только, чтобы поставить все на свои места.

— Ты-то молчать не будешь... Да только не так уж все против него, Маша,— трезвее, с сомнением говорит Чурсиха, как бы напоминая бывшей секретарь-машинистке, что обойдется ей это собрание не так просто.— К тому же у Клинушка против тебя козырь: отказалась выполнить приказ директора, не стала оформлять увольнение завскладом, уличенной в расхитительстве. Клинушек налево-направо трезвонит, что ты натуральная сообщница Поликарпихи.

— Это как это не все? Это кого же ты имеешь в виду — уж не Анатолия ли?

— А хоть бы и его,— как бы вынужденно пожимает плечами Чурсиха, и лицо ее не выдает, что она ждала именно этого вопроса.— Сама вчера слыхала, как он говорил: хотел, мол, ее с пацаном взять, ни на что, говорит, не обратил бы внимания, а уж после такого дела — извините-подвиньтесь... Такой, говорит, славы мне не надо.

— Но я же век не знала Поликарпиху эту! — чуть не плачет Мария, бездумно отталкивая от себя какую-то посуду на столе.

— Знала, не знала... Там не спросят.

Игла давно попусту ширкает по гладкой последней резьбе на пластинке, Мария морщит лицо, утирая пальцами слезы, вслепую протягивает руку и переставляет головку звукоснимателя к внешнему ободку.

В этот вьюжный неласковый вечер,  
Когда снежная мгла вдоль дорог,  
Ты накинь, дорогая, на плечи  
Оренбургский пуховый платок...

К часу дня она подходит к конторе.

Ее новая работа теперь проста: до решения заведенного на нее персонального дела директор временно назначил ее комендантом. Должность по штатному расписанию неполная — всего пол-единицы, с зарплатой в тридцать рублей.

Мария усмехается, вспомнив, как уговаривала ее сегодня Чурсиха: «Ты не брыкайся на собрании-то, ну чего тебе, скажи на милость, изво-



диться понапрасну, и Клинушку не перечь, как говорится: плетью обуха не перешибешь! Ну поругают для порядка, ну, дадут выговор — да и простят, глядишь! И работу за тобой оставят, а работа и такая не последняя: хоть и тридцать рублей, да и где их еще взять, на дороге не валяются. А ты отсидела на лавочке перед конторой три с половиной часа — и сама себе хозяйка!»

Соседка учила ее жить. Да, может, и права Чурсиха. Вот по ее же совету она первый год нынче сдала свою однокомнатную квартиру отдыхающим. А то совсем было растерялась — на тридцать рублей на двоих не очень-то разживешься. Нелегко ютиться в сарайчике, да что-то же придумывать надо.

Мария делает маленький крюк, будто ненароком огибая перекопанный цветник, и проходит перед окнами директорского кабинета, как бы официально отмечая тем самым свое аккуратное появление на работу.

Но в контору не идет — в приемной теперь сидит новая секретарша, а для коменданта там и места-то нет; кому надо — позовут, ее место здесь.

Она садится на виду у входа, под ивой, прислоняется спиной к ребристой скамейке, прислушиваясь к сбивчивому стуку ее осиротелой машинки и не зная, куда девать руки. Ей представляется, как и директор сидит у себя и, по привычке между делом растирая немеющую руку, подергивавшуюся от давней контузии, тоже прислушивается к странному ломкому звуку клавишей. У Марии они пели тихо, ненавязчиво, был какой-то исподволь проникавший в тебя ритм движения. И директор не мог за два года не привыкнуть к ее работе, и работа этой, новенькой, должна бы его сейчас огорчать и невольно возвращать к худым ли, к хорошим ли мыслям, но о ней — о Марии Комраковой.

Когда она подходила сюда, видела, что окно медпункта было открыто и у отдернутой наполовину занавески грелась на солнышке Дуська, рано расплывшаяся и обленившаяся от некрутой своей работы. До этого, бывало, Дуська частенько захаживала к ней, особенно перед танцами: «Машенька, сделай мне что-нибудь с моими лохмами!» А они у нее и впрямь лохмы: жесткие, реденькие. Накрутишь, причешешь — разве она хоть раз отказалась? А теперь Дуська на людях старается с ней не разговаривать, не хочет, видно, бросить на себя тень.

В контору ведут новую группу отдыхающих. С чемоданами, прямо с автостанции. Сестра-хозяйка Валя Ануфриева уже успела их где-то встретить, молодец Валюха, работу свою знает. Тоже одна. И тоже в годах — тютелька в тютельку тридцать. Как и ей. Как и Чурсихе. Как и Дуське тоже. «Девки на выданье», — шутила когда-то сама над собой и над ними Мария. «Ну что, девки, пойдем на танцы-то?»

А сегодня точно будут танцы, вспоминает Мария, сегодня заезд. Совсем вылетело из головы. А раньше подбиралась вся, чего-то ждала. Правда, перед прошлым сезоном это чувство было уже покойнее — тогда у нее с Анатолием уже что-то начиналось, открыто к ней он еще не ходил, но уже ревновал, дулся, если она танцевала с кем-нибудь из отдыхающих. А она нарочно дразнила его, приглашала кого-нибудь сама, хотя только и видела его, как он стоит на веранде и курит, и у нее внутри все обрывалось от сладкой мысли, что вот кто-то из-за нее расстраивается, кому-то, оказывается, она еще нужна, значит, жизнь не кончилась. В такие минуты она забывала про своего Игорька, а потом кляла себя, вспоминая, как он ни в какую не шел домой и, пережидая танцы, по-ребячьи трудно боролся со сном в уголке на стуле.

Мария старается удерживать свой взгляд на чем-нибудь простом, только чтобы ни о чем-то не думать, смотрит вверх на нижние ветки ивы, для чего-то считает почки, и будто кто ее толкает в спину — она видит Анатолия, бок о бок идущего с Чурсихой. «Наверно, из столо-

вой,— думает Мария,— хорошо еще, что я сама не пошла, а Игорька за обедом отправила».

Анатолий, словно не замечая ее, что-то говорит Чурсихе и сворачивает в сторону, к гаражу. Мария смотрит ему вслед и краем глаза в то же время отмечает, что Чурсиха направляется к ней.

— Здорово, давно не виделись...— шутит соседка, маленькое лицо ее лоснится, она не спеша вытаскивает из-под рукава своего вязаного платья вчетверо сложенный платочек и осторожно, чтобы не смазать тушь, вытирает им щеки.

Мария смотрит на Чурсиху и молчит.

— Твой-то парторг, знаешь, что сказал?

«Про кого это она, про Анатолия, что ли?» — силится разгадать Мария эту новую, дневную, Чурсиху.

— ...Раз, говорит, Комракова — ну ты то есть! — не хочет ни в какую выписывать из общежития свою Поликарпиху, то, говорит, он лично вынужден был присоветовать Клинушку вызвать из района работников прокуратуры и ОБХСС: мол, пускай товарищи пресекут это дело в корне, раз некоторые сами того добиваются...

Мария молчит, просто ничего не может сказать и только пугается, что молчание это не к добру — ей надо что-то ответить Чурсихе, а у нее от всего этого как отнялся язык. И когда Чурсиха говорит ей еще что-то и делает движение, чтобы подняться и идти по своим делам, она будто сама себя вполголоса убеждает:

— Она не виновата.— И пытается представить заплаканную Поликарпиху.— То есть она, конечно, виновата, но не настолько, чтобы мы с ней так обошлись.

Теперь она начинает догадываться про Чурсиху и Анатолия, и это открытие странным образом успокаивает ее.

Как раз в это время сестра-хозяйка выводит своих клиентов из конторы, замечает их с Чурсихой, и та, словно вспомнив о чем-то, неотложно ждущем ее дома, срывается с места. Мария слышит, как она на ходу здоровается с Валей, будто сто лет ее не видела, а та исподтишка взглядывает на Марию и проходит впереди отдыхающих с молчаливой деловитостью, как мимо чужой.

«Это мы еще посмотрим»,— хочет сказать Мария вслед Чурсихе: мол, зря ты за Анатолия хлопочешь — он сам за себя скажет. Но сознание ее останавливается на чем-то постороннем: при ярком сегодняшнем свете она как бы впервые увидела, что Валька-то Ануфриева как есть рыжая, лицо у нее ну все-то в конопушках!.. Кое-как всунув ноги в туфли, Мария вскакивает и бежит в общежитие, к Поликарпихе.

В крохотной комнатке с казенной мебелью та сидела у порога на своем чемодане. Белье сложено стопкой, пусто на душе от вида свернутого матраца и голой панцирной сетки; в большом тазике приготовила к сдаче графин, утюг, зеркало и еще какое-то санаторное барахло. В бутылке из-под лимонада стоял на подоконнике странный букетик — несколько глянцевого веточек ивы.

— Ты чего это? — прямо с порога, не отдышавшись, говорит Мария и, нащупывая рукой холодный угольник сетки, присаживается на краешек кровати и рывком расстегивает ворот блузки. Ее больше всего удивляет, что Поликарпиха вовсе и не плачет. Не старая еще, но уже и далеко не первой молодости, она, как видно, давно отплакала свое.

— Мне Петр Иванович.— начинает она, имея в виду Клинушка,— седни наказал: если, мол, ты не хочешь, чтобы за тобой нагрянули из милиции, то давай, говорит, выметайся подобру-поздорову, чтобы, мол, и духу твоего не было. А я не хочу иметь дело с милицией, Марусенька, ты уж лучше отпусти меня, давай оформи, миленькая, быстрее — и...

Мария посмотрела, как та махнула рукой в сторону — и уеду, мол,

куда глаза глядят,— и вместо ожесточения ощутила во всем теле какую-то усталость. Совсем немного посидела-посидела, словно раздумывая о чем-то, встала, вздохнула, взяла со стола заготовленный тазик с имуществом и звякнула в кармане плаща связкой ключей.

— Пошли, Екатерина Павловна. Может, оно и лучше так-то. Еще неизвестно, какой они фокус выкинут,— сказала она, представляя, как в этот момент Клинушек сидит у себя в кабинете и названивает в район.— Все равно тебе житья здесь не будет.

По пути к хозяйственному складу, поджидая приотставшую Поликарпиху с чемоданом в руке и матрацем под мышкой (Мария нарочно повела ее мимо окон конторы), она говорит:

— А все-таки жалко, Екатерина Павловна, что ты два раза кряду смалодушничала. Дала бы ей как следует по одному месту — живо бы отучила на склад шастать.

— Ничего, Марусенька, ничего. Что уж теперь, после драки-то. Мне бы вот только подальше отсюда выбраться, в другое местечко, где меня ни одна душа не знает, будь они все прокляты, люди такие... Уж теперь бы я не смолчала, теперь за мной не заржавеет! — неожиданно распаляется она, и Мария даже приостанавливается, дивясь на эту тихую, податливую бабу: откуда что взялось в ней.— Теперь я на всю жизнь ученая!.. А слушай-ка, Маруся...— вдруг одумывается Поликарпиха, машинально ставит на землю чемодан, матрац у нее раскатывается, и Мария только теперь замечает, что Поликарпиха взяла с подоконника ивовый букет; из-за него-то и выпустила из рук матрац.— А ведь мне тебя, девушка, бросать ой грех... Да где ни пропадала наша: об двоих-то, глядишь, скорее зубы обломают! Возьму и расскажу все как на духу — пускай судят, в чем виновата!

Мария опять, как и утром, смазывает с лица теплую слезу, ставит на землю тазик и размахивает вконец онемевшей рукой.

— Вот,— сквозь слезы смеется она,— лечи мне теперь руку. А то как я кавалеров на танцах обнимать буду!

Поликарпиха подходит к ней, гладит ее плечо той рукой, в которой веточки ивы, обнимает ее, но стесняется этого своего порывистого движения, утирает ладонками слезы и смеется:

— Бери уж тогда и меня на танцы! Пропадать — так с музыкой!

Прежде чем вернуться назад, опять мимо окон конторы, они бросают на траву в сторонке от дороги Поликарпихин казенный матрац и, как бы собираясь с силами, сидят на нем самую малость.

В сумерках Мария бесцельно сидит у себя на гопчане, без света и с притворенной дверью, хотя в сарайке и темно и душно. Игорек где-то бегаёт. Она и думает о чем-то, и не думает, и временами до ее сознания доходят звуки не прекращающейся снаружи жизни. Вжикает своей скрипучей дверью медичка Дуська и просит через двор у рыжей Вальки бигуди; шумит на своего парнишку Чурсиха, тот невнятно огрызается, и Тонька-дура ругает его непотребным словом.

«И чего все колготятся?» — думает Мария.

Она вникает в эту свою мысль и тут же соглашается сама с собой, решая, что ничего не делать вовсе невозможно. Она пробует высчитать, давно ли было последнее письмо из дома, но нет, не помнит точно. Брат Венька писал как-то: мол, беспокойно ему от мысли, что все Комраковы поразбредлись-поразъехали, живут порознь. «Так-то оно так», — вздыхает Мария. Но разве не жили они вместе, в одной семье, не работали на одном заводе? Отчего же тогда сам он не вернулся домой после армии, а уехал в Сибирь, на какой-то новый завод? Да и она тоже — напугали, будто не климат ей там, в родном гнезде, на Алтае, сорвалась, полетела куда глаза глядят. И что теперь? Значит, плохо одному-то,

Венечка? Плохо. И ей одной плохо, без своего корня. Но что же теперь делать. Каждому дадено свое, как видно, и каждый хлещется, как знает. И если бы не другие люди, пропали бы все давно...

— Маша! Маш! — стучит в стенку Чурсиха. — Ты у себя? Я же знаю, что ты дома, чего отмалчиваешься-то!

Она глухо что-то бубнит себе под нос, хлопает своей дверью, стучит коваными каблуками «шпилек» по асфальтовому пятачку возле умывальника, а дойдя до Машиной двери, не решается с ходу открыть ее, деликатно гремит накладкой и истоиво шепчет в щелястые доски:

— Маша!.. Ты спишь, что ли?

Та как бы ненароком шаркает по полу, переставляя ноги, и Чурсиха слышит и понимает это как знак войти.

— Ты че это сидишь в потемках? — стрекочет она с наигранной бодростью, будто и не было сегодня неприятной сцены в обед. — А ну давай собирайся — айда на танцы, что ли, че киснуть-то! Седни ж открытие! — Она шарит по стене, щелкает выключателем, щурится на свету и сразу проходит в передний угол, где у Марии стоит гускый трельяж. На Чурсихе все то же вязаное желтое платье, но с добавкой — на шее завязана узелочком атласная косынка, подарок отдыхающих. Она крутится у зеркала, мягко, подушечками пальцев, поправляет высокую прическу — только чтобы показать Марии да и самой убедиться, что волосы уложены хорошо, — достает из сумки вместе с платочком маленький флакончик пробных духов, увлажненной пробкой тычет себе в мочки ушей, в щеки, в подбородок, и терпкий запах духов и Чурсихинога разомлелого под теплым платьем тела наполняет сарайчик, заражая Марию тем шемящим желанием поскорее начать суматошную зряшную канитель, без которой не бывает сборов на танцы.

— «Красная Москва», что ли? — пока еще как бы безразлично поводит носом Мария, но уже косится на Чурсиху ревниво, и глаза ее заметно оживляются, она смотрит на вешалку под старенькой занавеской, как бы мысленно примеряя, какое надеть ей платье.

— Ты знаешь что, подружка... — говорит Чурсиха, не глядя на Марию. — Я ж пошутила днем-то, ну про Анатолия твоего, что, дескать, говорил он про тебя что-то... На мушку тебя брала! — желая от конфузливости быть понаглее, пробует она засмеяться. — Ну, испытать тебя хотела: как, мол, она к этому отнесется. Так что ты не думай об этом лишнее.

Мария без всякого удивления смотрит на бесталанную свою подружку, которая изо всех сил крепится, чтобы не заплакать, и говорит ей, как успокаивает:

— А я не шибко и поверила тебе...

И смотрит в темноту дворика, пробуя представить, как в углу танцевальной веранды, среди нарядов и музыки, стоит сейчас человек, от веры в которого зависит вся ее жизнь.

## 2. Отгульный день

Случая, чтобы он проснулся позже Зинки, не было в жизни. Он и належится-то рядом с нею, ворочаясь без сна, и встанет-то затемно, напрасно поглядывая на часы, и вообще хоть на голове ходи по комнате — супруженька и ухом не поведет: дрыхнет себе, и все тут. Ее и будить-то станешь... Мыкнет невнятно и одеяло на голову натянет, как холостячка беззаботная.

Правда, себя он тоже не хвалит. Ну какого черта, спрашивается, каждый божий день чуть свет вскакивает он с постели и бежит на автобус, хотя еще вполне мог бы поспать целый час! Человеку, видишь ли,



кажется, будто мимо него проходит что-то такое, чего уже не воротить. А когда он сидит в слесарке и слышит всем телом, как за стеной гудит первый цех, на душе как-то легче, вроде и торопиться некуда, ничего такого он не геряет.

«Ерунда, конечно, блажь,— говорит себе Венька, выглядывая в темноте сизое окно, мерцающее от мороза и фонаря у магазина.— Просто привычка, наверно, такая — рано всгавать». Это от отца ему передалось, не иначе.— тот, бывало, вскочит ни свет ни заря и припрется на завод задолго до гудка.

Венька без досады вспоминает, как на днях при посторонних Зинаида уколола его — стала уверять, что он ночью скрипит зубами. Стесняясь молодой супруги своего приятеля Сашки, бригадир из литейного, он отнекался: ничего, мол, такого за ним не водится. «Сама ты скрипишь»,— только и осталось ему огрызнуться. Но все же запало в душу: чего это, интересно, он скрипит, снов сроду никаких не помнит, может, и не снятся они ему вовсе, а — скрипит... Вот отец не жалеет ночью зубов — это уж точно. Но тот знает, чего скрипит: тому все война снится.

Да ведь Зинанду не переспоришь. Ты ей слово — она тебе пять. Спасибо Сашке, поддержал: в армии их кровати стояли рядом, за три-то года успели узнать, кто спокойный во сне, а кто — воюет.

А впрочем, все может быть. Последнее время из-за этого проклятого чепе в цехе не то что заскрипишь — скулы сводит от дикой усталости...

По отцовской привычке, когда жили еще все вместе в одной комнатешке, одевался Венька беззвучно и впотьмах, отыскивая нужную вещь на ощупь. И не включи он перед уходом в прихожей свет — это письмо так и осталось бы лежать на полу до вечера.

Весточка была от Марии. Ну и почерк у сеструхи, вечно удивлялся Венька, буковка к буковке, а конвертик фасонистый, узкий и с наклеенной шикарной маркой.

Тут же, в прихожей, Венька бегло просмотрел его — ни про какую хворь или смерть в нем не сообщалось, про стихии природные вроде тоже,— значит, подождет, в автобусе его можно почитать не торопясь, со вкусом.

На улице опять не меньше сорока. Мороз все еще умудрялся выбивать туман из вконец обессилевшего за последний месяц воздуха. В десяти шагах перед собой ничего не видно. Вымороженные насквозь трамваи кажутся хрупкими — как только не разваливаются на ходу.

Что там ни говори, не забыл похвалить себя Венька и сегодня, а вот взять хотя бы транспорт. Муторно представить, если бы ему сейчас ехать куда-нибудь в сторону машзавода или свинцово-цинкового, знает он эти трамвайчики — печки в них грели только в первую зиму, как они появились. А потом будто век их не бывало. Под потолком, как в парной бане, чуть теплятся тусклые плафончики, и свет их почти не проникает наружу сквозь замерзшие в палец окна. И все то, к чему бы ты тут ни прикоснулся, отзывается морозным хрумканьем — что рифленый пол, что изрезанные вдоль и поперек какими-то субчиками дерматиновопоролоновые сиденья. Его прохватило бы в таком трамвае в один момент в демисезонном форсистом пальтишке — третий год собирается справиться с воротником и на подкладке, да не мерзнет в автобусе-то и в осеннем, а потому отнекивается, когда напоминает Зинаида.

Все у него подрассчитано крепко: нос не успеет замерзнуть, а уж вот и автобусная остановка. Метров сто от дома, не больше. Когда ни подойди — его «девятка» тут как тут, потому что остановка возле автостанции и хоть один водитель да торчит в диспетчерской. Проходишь сразу на ребячье сиденье, в левый угол, где печечка — вот уж печечка!

Подсел к ней правым бочком — добро! Наплевать на градусы за окном, а оно, между прочим, ясное и тоже теплое, не то что в трамвае, хоть носом к нему прижимайся.

Венька и впрямь припечатывается и высматривает, что на улице делается в такую рань. Про весну и говорить нечего, солнышко встает рано и бьет как раз в это оконце, и каждый раз есть на что посмотреть — вдоль всей сорокаминутной дороги, как в документальном кино, всегда что-нибудь новое. Вот эта махина, например, Дворец спорта — сплошное стекло до неба, — малиново так отсвечивает. День и ночь трудятся братья строители. Это только себе представить! Стеклянная дверь перед тобой распахивается: вечер добрый, товарищ Комраков! Вот, мол, Вениамин Иванович, ваше абонементное место...

Размечтавшись, он не заметил, как подъехали к переезду. Тут, как всегда, перекур. Шофер включил в салоне свет.

Отрываясь от окна, Венька машинально глянул перед собой — много ли народу в автобусе, — но взгляд остановился на соседнем сиденье. Будто споткнувшись, Венька блудливо отвел глаза.

Сразу вдруг стало жарко. Хотя за эту долю секунды он только и схватил какое-то насмешливое выражение ее глаз.

Венька приослабил маленько шарф, быстро прикидывая: отвернуться-то он отвернулся тут же, как бы и не заметил ее вовсе, но это же просто смешно, такая комедия.

На всякий случай со снисходительной ухмылкой он тихо сказал ей:

— Привет...

Но теперь, когда он взглянул на нее опять и, можно сказать, поступил как настоящий джентльмен, она сделала вид, будто только что заметила его. То есть в тот самый момент, когда Венька промямлил свое приветствие, она, как на грех, смотрела куда-то в сторону, словно предчувствуя, что именно на эти две-три секунды надо отвести взгляд.

— Я говорю: доброе утро, Рая, — пожестче и без всякой уже улыбки уточнил Венька.

И она тотчас сдалась, кивнула.

Теперь она смотрела на него с деликатной вопросительностью, будто ждала продолжения.

— Что-то я тебя ни разу не встречал так рано... — с усилием нашелся он.

— Признаться, и я тоже...

— Лично я, — поувереннее продолжал он, — езжу на этом автобусе всегда в одно и то же время. Отходит от автостанции ровно без десяти шесть, — для чего-то сказал Венька, чувствуя, как где-то глубоко-глубоко, как бы на дальних окраинах сердца, возникает странно сосущее томление.

— Зачем же так рано — тебе ведь, как и всем, с восьми.

Он улыбнулся, пожал плечами и посмотрел в окно, прислушиваясь к себе. Похоже, уже начинали заниматься самые края сердца. Вот уж точно сдуру!

Маневроузный паровозишко наконец натешился, надоело ему снова в зад-вперед, он простуженно свистнул на прощанье колоннам вздремнувших машин, скопившихся по обе стороны от переезда, и заклацал, и застукотил своими ревматическими шатунами.

— Так что, Рая, уезжаю я скоро, — глядя на красный фонарь на тендере паровоза, неожиданно для самого себя сказал Венька, желая растравить и ее сердце.

— Интересно, куда же это?

— На курорт, — брякнул Венька и, торопясь, чтобы она вдруг не высмеяла его, хвостанул сестриным письмом, про которое совсем было забыл. — Родная сестра к себе зовет, хватит, говорит, газ нюхать на

своим заводе,— ввернул он для убедительности.— А курорт знаменитый, можно сказать, всесоюзного значения!

Рая промолчала. Вид ее красноречиво говорил, что после того случая она считала Вениамина человеком несамостоятельным. Дело дошло, можно сказать, до развязки, и от него только требовалось одно — проявить характер по отношению к своей Зинаиде, заявить ей прямо — и все тут! А он вместо этого заюлил, промолчал, и ей, Раисе, сразу все стало ясно.

А вообще-то смех один, расскажи кому-нибудь — не поверят, что Венька Комраков из первого цеха может на глазах превратиться в тряпку! А ведь еще как путный понабрал вина, закуски, привел ее к себе домой открыто, как холостяк какой...

Конечно, она знала про его Зинаиду, кто ее не знает из заводских девчонок — ее промтоварный ларек в десяти шагах от завода, только дорогу перейти, и в обеденный перерыв девчонки первым делом бегут не в столовую, а к Зинке Комраковой — узнать, нет ли чего-нибудь новенького.

Но что-то нашло на нее тогда. Он же птицей пел, Веня-то, уж так рассыпался, весна, наверно, им обоим в голову шибанула — сошлись нечаянно на воскреснике у сваленных в кучу голых топольков, как глухарь с копалухой, и она слушала его и черт-те что воображала. Тогда-то она и подумала: а хоть и Зинаида, что из того?

Зинаида нагрянула, когда Венька, сменяя пластинку на радиоле, куражился вовсю, называя ее, Раису, то Снежаной, то Несмеяной, и видно было, как ему хотелось поцеловать ее. И тут — крих, крих! — скрежет дверного замка аж в сердце отдался, и Венька замер над столом с рюмкой вина в руке, и она, Раиса, хоть и оробела, сразу загадала: если выпьет — значит, к счастью, к ее счастью, а поставит на стол — значит, все это были фигли-мигли... Венька тут же, как только увидел свою законную супруженьку, поставил рюмку на стол.

И скандала, конечно, никакого не было. Зинаида вошла не торопясь; через полуотворенную дверь из комнаты было видно, как она в прихожей ширкала туда-сюда заедающими молниями, снимая старомодные резиновые ботики, как, оглядывая висевшую на вешалке ее болонью, поправила у зеркала неестественно высокую прическу, делавшую ее еще более некрасивой и угловатой; по-хозяйски выключив в прихожей свет, шагнула в комнату, с трудом разомкнула будто замороженные губы, говоря какое-то неживое приветствие, и присела на краешек кровати, стараясь удерживать недвижными на коленях руки и не спуская с соперницы взгляда.

Венька тотчас отошел к окну, нарочито энергично, как бы предупреждая, что и он сейчас огонь, с коротким треском гардинных колец для чего-то отдернул портьеру, оперся обеими руками о подоконник и ссутулился, касаясь лбом оконного стекла.

А ее, Раису, на беду, захлестнула веселость. Наверно, больше от растерянности. И еще от ясного сознания, что Зинаида совсем невзрачна, ничто в ней как в женщине не может посоперничать с ее красотой. Только позднее поняла она, в чем было превосходство Зинаиды.

— Извините, конечно,— дрожащим голосом сказала Зинаида,— что я помешала. Придется вам,— и голос ее все твердел, подкрепляемый обуревавшим ее чувством,— допивать в другом месте. Собирайся и уматывай вместе с ней,— уже без всякого усилия над собой, почти бесстрастно решила она судьбу Вениамина,— чтобы и духу твоего здесь больше не было... Я тебя не держу, не навязываюсь, любите друг друга — значит, надо открыто, и оставьте меня в покое. Уходите! — Она встала и нетерпеливо сдернула с кровати покрывало, как бы тут же, еще при них, собираясь лечь в постель.

Раиса еще чего-то ждала, но уже перестала болтать в воздухе туфель и сунула ноги подальше под стул, а Венька прошел в прихожую, включил свет и снял ее болонью, говоря намеренно грубо:

— Я провожу тебя, идем...

Как уж потом они помирились — ее это, по правде говоря, не волновало, но уходила она как оплеванная. Куда и веселость вся подевалась.

И вот теперь Венечка хвастает каким-то письмом сестры и все тверже и прямее глядит ей в лицо — значит, отошел, и, может, ничего тогда у него и не было.

Она заговорила с девчонкой из своего цеха и, как бы для удобства разговора, поднялась, протиснулась поближе к выходу и встала спиной к Веньке.

Он ухмыльнулся и стал думать, что весной ему просто-напросто померещилось, нашла сердечная блажь по случаю весны и субботнего дня — уж такой нездешней представилась эта Рая из инструменталки. А оказалось, что его Зинуха рядом с ней сильнее выглядела. «Побольше надо бывать на улке, — решил Венька. — А то прямо как петухи после зимней отсидки в подполе — от свежего воздуха пьяными становимся!» Вот возьмет он в кредит лодку, дюралевую и чтобы с моторчиком, как у одного слесаря в их цехе. Зинаида возражать не станет — сама еще как обрадуется. И катанут же они, елки-палки! Ему уже представилось, как стоит лодочка у берега на плесе, покачивается себе, а сиденья у нее дерматиново-поролоновые, на манер трамвайных, только где в дыре этой поролон достанешь...

Улыбаясь своим мыслям, Венька уткнулся в окно, за которым уже тянулась предзаводская окраина с ее подъездными путями и высоковольтными линиями, мерцавшими в темноте от сполохов сварки за оградой.

Минут за десять до смены в слесарке появился механик. Как раз был Венькин ход — он сидел с краю на длинной лавке перед оцинкованной столешницей и вдохновенно подкидывал свой кубик.

Игра была на манер «приключений Незнайки» — каждый, стремясь вперед, передвигал свои фишки на самодельном поле из цветного оргстекла. Только в отличие от игры пацанят на ломаной дорожке, по которой двигались вперед разнокалиберные фишки, были сплошные препятствия — о них-то фишки и спотыкались и сваливались вниз черт-те знает куда по красной стрелочке. Только вниз, вниз — и никаких тебе взлетов на аэростатах. Вся эта веселая канитель, повторявшаяся изо дня в день, напоминала Веньке работу в аварийном цехе, когда тычешься по объекту почти вслепую, в молочных клубах прорвавшего тетрахлорида. С Венькиной же легкой руки игру прозвали «аварийщик».

Одним словом, не игра, а прямо-таки находка на тот случай, когда ты явился на смену раньше времени. Начальство вечно терялось — то ли осуждать, как, скажем, домино, то ли нет, поскольку игра наглядно вырабатывает необходимые аварийщику качества: устремленность только вперед, сквозь опасные препятствия!

Сменный механик, покосившись на Венькину именную фишку, как бы убеждаясь, далеко ли она продвинулась на ломаном пути с препятствиями, уставился на самого игрока.

— Чего ты, Николай Саньч?... — Венька замешкался, замирая со своей фишкой на полдороге к новому пункту. Ему показалось, что механик уличил его, догадался, воробей старый, что кубик у него склеен из разных слоев и центр тяжести его теперь кладет грань с шестеркой чаще всего кверху, то есть дает самую крупную цифру для продвижения фишки.



— Иди-ка сюда, иди,— поманил его механик.

Медленно поднимаясь навстречу, Венька словно походя сунул руку в карман брезентовых штанов, заправленных в носки, и, пальцем нащупав в уголке кармана малюсенькую дырочку, благополучно впихнул туда кубик. Граненый плексиглас тоненько шоркнул по голой коленке.

— Вот что, Комраков...

Сменный поймал прокуренным пальцем и без того еле державшуюся пуговку на Венькиной спецовке и для чего-то стал ее крутить. Венька ждал, но механик вдруг надолго замолчал, будто еще раз обдумывая что-то про себя. «Что это он сегодня,— напряженно улавливал Венька,— прямо на него не похоже». Механик помедлил еще, для чего-то сверил свои часы с заводскими и, опять скашивая глаза на слесарей за столом, отпустил наконец пуговицу.

— Ладно, это я так... посмотреть на тебя хотел вблизи,— коряво пошутил он.— А за спецовкой, Вениамин, следить надо — пуговку-то пришей, у меня вон в столе суровая нитка есть.

— И это все? — удивился Венька, весело чувствуя, как плексигласовый кубик холодит ему ногу.— Ну, ты даешь, Николай Саныч! А я-то думал...

— Ладно, ладно. Иди, говорю, пришей пуговицу.

Механик вышел из слесарки, так и не заглянув по обычаю в свою каморку со столом и телефоном, а Венька в недоумении продолжал стоять посреди, на виду у всех; забывшие на время про «аварийщика» слесаря с добродушными ухмылками — ловко, мол, подковырнул тебя механик — звали его продолжить игру, пока есть минута-другая до смены, но он отмахнулся, не ответил по привычке что-нибудь покруче на их смешки и, удивляясь этому новому своему настроению, побрел без всякой цели, просто так.

Первый цех, едва он миновал короткую галерею и сунулся в это пекло, сразу оглушил его. Из сумеречно-сизого нутра цеха навстречу шли несколько человек, шли вразброд, каждый сам по себе,— Венька знал. Это было от крайней усталости, когда перед собой никого не видишь. Во рту у каждого, как обычно, торчала противогазная соска. И газу-то сегодня было — курам на смех. Но все были с сосками, и Венька, вдруг подумав об этом, как бы не доверяя своим губам, привыкшим к пресному вкусу резины, пощупал рукой рифленый шланг у подбородка, удостоверился, что и у него соска во рту, и несказанно удивился: когда воткнул и сам не заметил!

«Интересно,— подумал он после этого, в то же время прислушиваясь к какому-то взбрыкнувавшему сегодня глухому побулькиванию в шестом хлораторе,— на других предприятиях, таких же, как это, в других концах страны и вообще в мире, догадались работяги до этого простого секрета или нет? В противогазе ты весь в поту, а тут маска начисто срезается — и вывернутый конец шланга гладкой, в тальке поначалу-то, изнанкой очень даже удобно держать во рту. Соска и соска. Есть газ, нету — она у тебя во рту. И по технике безопасности претензий к тебе никаких, и для себя неплохо — уж не проморгаешь. А проморгать, конечно, есть чего».

Опять мимо него, только уже в обратную сторону, бодро протукала сапогами по асфальту пола свеженькая бригада слесарей. Один из них на ходу шлепнул Веньку по спине брезентовыми рукавицами, но желая ответить ему у Веньки не было. Через минуту бригада скрылась в глубине цеха, где налаживали новый хлоратор, пускаемый вместо взорвавшегося накануне. А до Веньки, потерянно стоявшего на месте, только сейчас дошло, откуда это в нем какая-то тревожащая пустота, усилившаяся особенно после встречи с механиком,— некуда ему было сегодня девать себя, свои руки. После этого чепе с хлоратором, в ликвидации

которого Венька принял не самое последнее участие — тем более что взрыв произошел как раз в его смену и надо же было кому-то кинуться к этой рваной дыре с пластырем, а он как раз оказался к ней ближе всех,— заводской врач настоял, чтобы ему и еще двум слесарям из бригады дали отгул и талоны на удвоенную норму молока. Молочком их отпаивали, как недельных телят. И совсем зря, бесился Венька, в этот раз сам он почти и не нахватался: соска-то соской, но он не дурак, чтобы на случай в укромном месте в слесарке не держать под рукой новенький противогаз по всей форме, то есть с маской. Два на брата не положено, это ясно, но кто тебе мешает раздобыть в раздаточной как бы запасной, если к тому же он тебе нужен строго для дела, а не для баловства?

Правда, если уж не врачу, а себе признаваться, то, когда жахнуло и по цеху пошел валкими клубами молочно-белый тетрагидрид, от которого на теле горит волос, он тут же начисто забыл о противогазе с маской: напялив до бровей кепку, кинулся как был — но с соской, конечно,— в этот сплошной туман с подходящим пластырем из номерной стали, думая только о том, чтобы не запнуться обо что по дороге.

Уже в дверях литейного, с земляным, как в домашнем погребе, запахом формовок, Венька спохватился: чего это, интересно, он приперся сюда — самому делать сегодня ни хрена, так по цехам шататься, у людей под ногами путаться, что ли?

Но Сашка Ивлев, еще по службе в армии корешок, как единственный земляк в части, уже заметил Веньку и, удивляясь приходу его во время трудового утра, когда самая-то закваска начинается на всех рабочих местах, тут же, наказав что надо своим подручным, направился к нему, перепрыгивая через деревянные формы.

«Ну и идиот»,— ругнул себя Венька, придумывая спешно хоть какую-нибудь причину.

Литейщик так сдвинул его ладонь, будто собирался отпечатать на ней форму своей пятерни и затем отлить в металле на память.

— Ты чего? Случилось, может, что?

— Да нет,— смущенно заулыбался Венька.— Что со мной может случиться, посуди сам... От Зинаиды тебе привет...

Сашка уверенно качнул головой, принимая это как должное, а сам так и не моргнув ни разу, ожидая того главного, ради чего пришел человек.

— А ты мне это... знаешь че... отлил бы гантели, что ли... из чугуна!— сказал Венька, оглядываясь, будто форма для его гантелей была уже готова и лежала где-то поблизости.

— Какие гантели?— удивился Сашка.— А!.. Ладно, сделаю, конечно...

Венька, подмигнув Сашке, хлопнул его по плечу и шагнул было из цеха.

— Постой, Вениамин.— Сашка подошел к нему и с осторожностью и заботливостью, от которой Веньке стало не по себе, потрогал его за глянцево-голое, начисто лишенное волос, а потому казавшееся хрупким, как у мальчика, запястье.— Что там у вас... было-то? Опять хлоратор?

— Ну,— кивнул Венька, одергивая пониже рукава спецовки.

— Ты был в той смене?

— Да в той. Ничего особенного.

— Я заходил к Зинаиде. Когда ни зайду — тебя все нет. Вы там что — дневали и ночевали, что ли? В цех к тебе было не пробиться.

— Ты же не аварийщик, чего тебе там делать,— отшутился Венька и вдруг неожиданно для самого себя поинтересовался с плохо скрытой стеснительностью: — А это... Зинаида-то... волновалась, поди?

— А то нет! — удивился литейщик. — Только о тебе и было разговоров: как он там да что он там... Только при мне она раза два принималась звонить на завод: жив ли, здоров ли ее Венечка...

Уже уходя из литейного, Венька рассудил, что давний дружок как бы упрекнул его этими словами про Зинаиду — тогда, весной, через свою супругу он знал, конечно, всю историю его с Раисой-Снежаной и вряд ли одобрял, хотя и не показывал виду. «Так мне и надо, паразиту, — подумал Венька, уже освобождаясь после короткого разговора с Сашкой от сегодняшнего груза на душе. — А то ведь кошке игрушки, а мышке-то одни слезки».

Стараясь теперь попасть в свой цех с другой стороны, чтобы не маячить перед слесарями бездельником, Венька наметил себе немалый крюк, благо везде понастроили крытых галерей, по которым запросто сновали даже «газоны» и «ЗИЛы». В середине этого пути из-за дьявольского какого-то грохота, давившего на перепонки, он свернул с любопытством в сторону. В празднично-фиолетовых сполохах сварки парни в облапистых наушниках наподобие гермошлема танкистов трясущимися в руках пневматическими молотками с лязгом вгрызались в нутро реторт, сизых от недавнего жара. Титановая губка прикипела к стенкам диковинной формы кристаллами и фигурками, и Венька, заткнув уши пальцами, ругнул себя, что не наведалься сюда раньше. Он долго глядел на громовую эту работу. «А ведь это они так каждый день по семь часов!» — подумал он; и никакими хитроумными механизмами работу их не заметишь, они же, что твои хирурги, огладят дрыгающим наконецником каждый закоулочек реторты. Что-то сказать хотелось Веньке ну хотя бы вон тому, с длинными худыми руками, но парень долбил и долбил как заведенный.

На виду у этих парней Венька не мог позволить себе празднично копаться в поблескивающем титановом крошеве, — ребята из его цеха приносили иногда отсюда куски и, насадив такую фигурушечку на отшлифованную эбонитовую подставку, несли домой женам — для этажерки или на крышку приемника. «И без того стою тут истуканом, зенки пялю», — сказал себе Венька и заспешил, заспешил: пусть тот же длинный думает, что он от восхищения их работой остановился, а так у него дела, привет рабочему классу — и марш!

А между тем вагонетки, набитые нарубленной губкой, сами указали Веньке дорогу, и он сознательно делал новый крюк.

Тут было тихо, как в том же литейном, и воркотня дробильного барабана за стенкой доносилась глухо, укрошено. По транспортеру зигзагами и перепадами длинно ползло совсем уж невозможное крошево; Венька хотел было тут же свернуть в дробилку и там у бункера выудить нетронутый кристалл, какой приглянется, да что-то привлекло его внимание при беглом взгляде на крайнюю у транспортера молодую женщину.

Сидела она, как и все в рядке — ровная, будто на какой процедуре, не спуская глаз с транспортера и как бы задумчиво шныряя пальцами в крошеве, и Венька, посочувствовав неяркой ее работке, вдруг ощутил, что на него накатывает какая-то непонятная грусть. Во-первых, именно в этот самый момент он вспомнил ни с того ни с сего про Марино письмо, которое из-за встречи в автобусе с Раисой-Снежаной и дурацкого «аварийщика» так и не прочитал толком, с расстановкой; а во-вторых, и в том-то все было дело, эта крайняя в газовом платочке удивительным образом напоминала своими деликатными повадками его старшую сестру... Венька даже слегка растерялся. И, уже приглядываясь к работнице настороженно, боком подошел к ней и тихохонько буркнул:

— Я тут стою... не мешаю?

Она коротко вскинула на него удивленные глаза в мохнатых ст

титановой пыли ресницах, и лицо у нее было совсем не Мариино, и голос, конечно, даже отдаленно не напоминал сестрин.

— Да нет пока... Стой на здоровье, если делать нечего.

Выждав из деликатности минуту-другую, он для чего-то поинтересовался еще, вместо того чтобы повернуться и уйти:

— А это... бракуете, что ли?

— Бракуем,— не поднимая головы, все с тем же удивлением отозвалась она.

— Нудная работа,— сказал он напрямки, кусая себе язык.

— Да нет, ничего... кто как привык.

Она, может, подумала, что он просто заводской шалопай и, коротая время, пристает к ней, чтобы поболтать и познакомиться; но в Венькины планы это никак не входило, и, прежде чем уйти, ему захотелось на всякий случай разуверить человека:

— А я из первого, может, слыхали: у нас там на днях было небольшое чепе.

Она глянула на него быстрее, чем он ожидал, даже руками перестала шевелить.

— Это взрыв-то?

— Ну... только, по правде говоря, там и взрыв-то был... просто сменный технолог чего-то не подрассчитал — вот вместо газообразного и пошел жидкий хлор. А это уж само собой: вся сталь сгорела, что твоя бумага.

— И... что?

— А ничего. Подняли нас с постели, что называется, тепленьких, приехали мы в цех, заштопали где надо — и все.— Тут уж Венька загнул, он же был тогда в смене и видел все своими глазами с самого начала; но вот как раз об этом, обо всех этих подробностях, ему и не хотелось распространяться.

Он покосился исподтишка на свои безволосые руки, но про это, само собой, было бы и вовсе глупо говорить — вроде как жаловаться ей или хвастаться,— и, от соблазна подальше, сунул руки в карманы.

— А что делали лично вы? — Она вдруг снова поглядела на него, так странно переходя на «вы».

— Я-то?.. Ну, во-первых, вместе с остальными слесарями бригады мы эту хреновину разболтили.

— Разболтили?

— Ну да. То есть сняли где надо болты. Потом поставили новые стальные пластины, а где можно было обойтись — наварили вот такие махонькие латки. И все.

— И все... А как же процесс? Ну, этот самый жидкий хлор, от которого горела даже сталь?

— Та не-ет... — улыбнулся Венька.— Вы меня не так поняли! Он тогда уже не был жидким. Что вы! Мы бы тогда были, как дыпята на вертеле! — Он опять куснул себе язык, что выбирает не те слова.— Технологи успели малость приглушить хлоратор, а мы, аварийщики-то, со своей стороны, отсос на полную мощность врубили, чтобы газ уходил. Вот и всех делов.

— Понятно... Устали? — для чего-то спросила она, с запоздалым участием взглядываясь в Венькино лицо, будто он только что вышел из этой передраги.

— Устал, конечно,— засмутился Венька, поспешно отворачиваясь, будто разглядывая цех.— Но это все ерунда. Кто в наше время не устает. Брови вот жалко — это есть маленько... — не выдержал все-таки он.— Меня тут, когда я с пластиной копошился, слегка газовой струйкой накрыло, бе-елый такой газ-то, как молоко, зараза. Коже, если она сухая, еще ничего, а вот волосы — горят. Нет, точно — подчистую спорают! —

блеснул он выпуклыми, в красных прожилках белками, будто и сам восхитился этому чуду-юду.— Вот брови мои и полетели... Отрастут, как думаете? — засмеялся он, ощущая расслабляющую жалость к самому себе от этого чужого сочувствия.

Она приметно вздрогнула, не зная куда глядеть.

— Думаю, наверняка отрастут...

— Я тоже так думаю. Но это у нас впервые и, можно сказать, в последний раз... Не допустят больше... Вы лучше послушайте,— вдруг встрепенулся он,— что я у вас спрошу: вы, к примеру, на каком-нибудь курорте были хоть раз?

— Не приходилось...— растерялась та от непоследовательности своего странного собеседника.— А что?

— Да так... У меня сеструха на юге работает, Марией зовут. Вот письмо получил от нее: пишет — приезжай, мол, хватит тебе там газ нюхать, то есть здесь она имеет в виду,— ткнул пальцем себе под ноги Венька.— Давай, говорит, к весне, к самому купанию.

— А может, она и права, сестра ваша. Надо подумать...

— Подумать, подумать! Черт его знает! Только начни думать — голова распухнет. Чего тут думать-то?!

Она замялась, даже на транспортер перестала смотреть — не знала, что сказать ему.

Венька глянул на нее, пэтихоньку хмыкнул. Он понимал ее, но не умел благодарить за такое сочувствие.

— Жалко, вы не знаете мою сестру, чудная же она у меня, такая заводная! — ни с того ни с сего вернул он, без цели постукивая носком ботинка о глухо отзывавшийся рельс под ногами. Что-то на него нашло в эту минуту, он чувствовал, что незнакомая женщина думает сейчас о нем, и это его странно волновало.— Пишет вот,— вытащил Венька из кармана смятое Мариино письмо,— что была там у нее заваруха. Отмочила, можно сказать, номер — не успела обжиться на этом самом курорте, а уж началству попереk дороги встала. За человека, говорит, заступилась. Ей вынь и положи правду да справедливость, батин характерец. А они — ну, кому она на любимый мозоль-то наступила — возьми да и заведи на нее персональное дело. Коса на камень, значит. Раз — и на партсобрание ее, храбрую такую...— Женщина у транспортера опять перестала шевелить пальцами в титановом крошеве, но Венька засмеялся и махнул рукой: — Да не-ет!.. Ничего с ней не сделалось. Что вы! Да если она права — так ты тут хоть лоб себе разбей, а в сторону ее не спихнешь! Пишет, что все ее персональное дело против того и обернулось в конце концов, кто заводил его на нее.

Женщина вздохнула и с сомнением сказала:

— Зовет к себе, а сама там воюет...

— Так она и в химцехе у себя воевала,— с чем-то не согласился Венька.— Это уж характер у человека такой. А так она добрая. И не одного меня на юг сманивает. Всех нас, Комраковых, в одно место собрать надумала Мария-то. Шутка сказать! Мы ж разъехались, расселились по белу свету. Сама она с пацаном, племяншом моим, живет у теплого моря, хотя до курорта лет десять трубила на одном алтайском заводе в химцехе, вместе с нашим батей. Я тоже там начинал, а после армии подался вот сюда — втемяшилось же что-то в голову... И вот ты скажи мне: чего не жилось всем вместе, куда это человека тянет, к чему это он вечно стремится, бежит-бежит, а настигнуть все никак не может? А то, гляди, и настигает, да когда это случается, то человеку, поди, кажется, что это совсем не то, чего ему хотелось, и он опять срывается с места...

Женщина смотрела куда-то в глубь цеха и чему-то улыбнулась про себя. Они не слышали, как подошел Венькин сменный механик.

— Ага, вот он где прохлаждается...

Венька быстро обернулся и первым делом машинально пошарил пальцами в том месте своей спецовки, где вместо пуговицы торчала открученная нитяная культия.

— А я думал, он потому в отгульный день на завод приперся, что дело у него какое-то...

Механик извинился перед Венькиной собеседницей и кивком отозвал Веньку в сторону.

— Ты чего сегодня ко мне пристал, Николай Саныч? — пытливо взгляделся Венька в лицо своего механика.

— А так... поздравить тебя хочу... Ну ты и гусь, скажу я тебе!

Венька выпрямился и чуток полуотвернул лицо, в то же время не спуская глаз со сменного.

— Я тебя, Комраков, еще тогда предупреждал, — с какой-то скорбной укоризной начал механик, — когда от твоей жены Зинаиды поступило на тебя заявление по поводу посторонней связи. Я тебя еще тогда оч-чень душевно предупреждал: гляди, мол, Вениамин, допрыгаешься! И ты ведь вроде как остепенился. Поверил я тебе, дурак старый, не стал выносить вопрос на партбюро. А как теперь ты отвечаешь на мое доверие?

Венька долго молчал, не меняя выражения лица.

— Я так считаю, Николай Саныч, ты потому сегодня не дело говоришь, что со своей женой небось с утра пораньше поцапался!

— Дурень ты, Комраков, — сказал он. — Я вижу, все же придется, поскольку есть свежий сигнал о повторении посторонней связи... — он с нескрываемым любопытством оглядел недавнюю собеседницу Веньки, — вызвать тебя на партбюро.

— Свежий сигнал, говоришь... это, значит, сегодняшний? — спросил он механика.

— Сегодняшний, сегодняшний, Веня! Однако же чует кошка, чье сало съела, — победно ухмыльнулся тот.

Венька быстро прикинул: коли про сегодняшнее речь идет — то это имеется в виду его утренняя случайная свиданка в автобусе с Раисой, а значит, это не Зинкиных рук дело — сигнал в партбюро. Когда бы она успела, она же глава еще, когда он ехал в автобусе-то! И это значит также — шел к главному своему выводу Венька, — что и раньше не сама Зинаида растрезвонила про те его смехотворные шашни с Раисой-Снежаной, а кто-то из посторонних, случайных людей, ковш бы им на голову!

Венька шоркнул по лицу задубелым, пахнущим железом рукавом спецовки и не удержался — изумленно покачал головой: Зинаида-то, мол, а? Да разве ж он еще тогда, той весной, не был в душе-то уверен в своей Зинухе, что не в ее характере писать разные жалобы? — она ж, супруженька его, лучше молчанкой доймае человека, будет месяц молчать, два, пока ты сам не поймешь, что поступил как последняя скотина.

— Дошло, Николай Саныч, — весело хлопнул себя Венька ладошкой по лбу, — можно сказать, усек все как оно есть! Так что против вызова меня на партбюро ничего не имею и даже наоборот — душевно благодарю!

Сменный чертыхнулся и, явно обескураженный, пошел прочь.

— Давайте прощаться, — тут же заторопившись, сказал Венька женщине у транспортера.

Похоже, та слыхала весь их разговор с механиком и ничуть не удивилась такой перемене Венькиного настроения. Ее руки уже снова ворошили проплывавшее перед нею крошево.

— Слушайте,— несмело тронул он ее за рукав,— это, конечно, все ерунда... но мне охота подарить вам что-нибудь на память. Вы как, а?

Она улыбнулась, пожала плечами. Вид у нее был грустный. «Черт его знает,— отчаянно подумал Венька,— а вдруг и я ей кого-то напомнил? В жизни все возможно».

— Только у меня ничего нету,— сказал он и, понимая, что это глупо, огляделся вокруг.— Разве что вот это...— Венька, к ее изумлению, задрал штанину и выковырнул из носка давешний плексигласовый кубик, радуясь своей догадливости.— Между прочим, обратите внимание, какой тут секрет: этот кубик я так сварганил, что он падает либо шестеркой вверх, либо азиком, как говорят доминошники.

— Азиком?

— Ну да. То есть единичкой. Но чаще шестеркой,— твердо и даже чуточку гордо заверил Венька.— Тут все дело в центре тяжести. Вот глядите! — Он присел на корточки и бросил кубик прямо на пол. Кубик крутанулся и замер, показывая единичку.

— Азик,— сказала она.

— Чего это он...— изумился Венька и, встряхнув в сомкнутых ладонях кубик, опять подбросил его, но тут же поймал на лету и протянул ей: — Ну его, в самом деле, что мы как маленькие...

И быстро пошел по цеху, машинально нащупывая на груди противогазную соску и захватывая ее губами.

### 3. Цари-бобы

Все утро Наташка торопила мать, теребила ее за рукава:

— Ну оставь ты, мама, хоть это-то! Что я, сама потом не сделаю? А то не успею до работы сбежать.

Наконец мать бросила свои дела в кухне, суетливо кивнула головой: «Счас-счас, доченька!» — вытерла руки и убежала переодеться. Наташка сунула ноги в разношенные сапожонки с маленькими широкими голенищами, взялась за пальто и, как бы уже предвкушая предстоящую радость и исподволь желая продлить ее — чтобы она началась уже сейчас, еще до покупки,— спросила из прихожей мать:

— Тебе какое больше нравится — гладкое или с выработкой?

Мать молчала, ее и не слышно было, и Наташка пошла, громко топая, прямо в обуви в отцову и материну спальню и застала там мать прикорнувшей на краешке кровати с трикотажным жакетом в руках, который она, видно, только что собиралась было надеть, да не справилась с навалившимся вдруг сном и прилегла в чем была, с мыслью, что это она только на пять—десять минут.

Наташка села на табуретку, отвернулась к окошку и, против своей воли, беззвучно заплакала. Она то смахивала пальцами теплые слезины, то водила ими, мокрыми, по стеклу, по слабо наметившимся морозным узорам, скрытым крахмалисто-снежным ворсом. Вытаял под розовым пальцем пяточок сизого оконца, еще сумеречно на улице, и против дома над крыльцом конторы Техснаба еще горела тусклая сорокаваттка; но уже с хрустом подъезжали к крыльцу заиндевелье машины — пока что грузовые. Это по делам из других организаций. А вот сейчас, с минуты на минуту, подкатит легкая черная «Волга», сияющая лаком даже в сереньком свете этого зыбкого зимнего утра так, будто ей и мороз ни почем,— это уже начальство, и маме надо бы к этому времени бежать в контору с ключами, открыть кабинет и сменить в графине воду.

Наташка насухо утирает краем занавески припухшие глаза, встает, идет в прихожую и нащупывает в кармане материнной телогрейки связку казенных ключей. Она притворяет за собой тяжелую разморожен-

ную дверь, деревянный пол в их подъезде гулок и скользок — вчера была очередь Солдатихи, а та известно как его моет: понапустит луж, намочит только, а вытер бы за нее кто другой. Морозом схватывает дыхание, Наташка прикрывает нос варежкой и бежит, стараясь не думать, как сейчас ее будут оглядывать шоферы и снабженцы, набившиеся в коридоре, как секретарь-машинистка, разложив на окатистом валике машинки разные парфюмерные причиндалы, полюбопытствует, почему это, мол, девочка перестала ходить к ней на стажировку — или раздумала устраиваться на работу? О том, что напоследок, уже уходя из конторы, она нарочно остановится в коридоре возле вчерашнего номера «Красного алтайца» и, может быть, столкнется с Валеркой или увидит его хотя бы издали, Наташка думает в последнюю очередь.

У матери то и дело отнимается правая рука, и тогда она всю ночь не смыкает глаз — ходит из комнаты в комнату, тихо, сквозь зубы, постанывает и как-то еще находит в себе силы подумать о чем-то постороннем: поправит сползшее с Наташки одеяло, одной рукой разложит на стуле перед Борискиной кроватью как попало брошенные с вечера его брюки, а то ни с того ни с сего включит утюг и давай гладить Борьке рубашку, хотя еще только вчера Наташка дала ему чистую и наглаженную.

А как раз вчера была эта предпраздничная уборка по Техснабу. Оно только называется что коллективная. Женщины, какие не разбежались сразу же по яслям и садикам за ребятей, еще поделали там кое-что, сменили на своих столах исчерканные вдоль и поперек, затертые до грязной замшевости подстилки-ватманы, выбросили из ящиков в столах разный канцелярский мусор наружу, во двор, а не забили им, как обычно, корзинки, из которых потом по пачечке, выцарапывая каждый листок из проволочных зазоров, вынимала их мать. А вот мужчины... те просидели бесшумно за шахматными досками, делая вид, что уже одним своим присутствием благодетельствовали коллектив и главного человека на уборке — уборщицу Анну Ефимовну Комракову, Наташкину мать. А она-то, бедняжка, и упласталась, обезручила в тот вечер совсем — к шести полам прибавились и окна с подоконниками, и ножки и перекладыны столов, основательно замызганные еще по последней осенней грязи. Конечно, Наташка помогала. Куда денешься — мать. Хотя со стыда чуть не провалилась, когда Валерка, сразу после пяти мчавшийся в свой вечерний институт, столкнулся с ней в конце коридора, где она наматывала на швабру тряпку.

Как обычно, он ничего ей не сказал. Так только — задержался взглядом, улыбнулся — и нету его. Да и что бы он сказал ей?..

Она опять в пальто и обуви, теперь уже с мороза, проходит в комнату, взглядывает на беспокойно спящую мать и, как бы убедившись, что в магазин сегодня им так и не сходить, вздыхает, раздевается, моет руки и ставит на газ чайник. Шут с ним, с платьем! Все равно ей идти в нем некуда. Новогоднего вечера у них в школе не будет, вечерники — народ все больше семейный. Какая тут общественная жизнь! Наташка самая молоденькая в классе, и день у нее работой не занят, на нее и свалили все в кучу: она и староста — это просто смешно, ее и зовут-то «старостенок», что-то вроде страусенка; она и ответственная за стенгазету, и культорганизатор, хотя за ползими ей только раз удалось часть класса выманить в кино, и то, может, только потому, что билеты она купила на свои деньги — то есть на материны, конечно, откуда у нее свои! — и раздала их как бы в долг, до полочки. А к тем, что в дневной, она не пойдет. Семнадцать лет, а она все в девятом... Кто другой, а она не может себе представить, как будет стоять в сторонке одна, подруг у нее там нет, ее класс, в котором бы она была, разлетел-



ся тогда после выпускного вечера кто куда, а она пролежала всю позапрошлую зиму и весну и прихватила еще и лето с осенью — кто же в том виноват.

А Валерка, наверно, уйдет к себе в институт. С ним бы она пошла. Но кто она для него?.. Стояли перед той демонстрацией в одной колонне, и черт ее дернул ухватиться за палку какого-то лозунга на кумаче; она сначала только и видела этот лозунг, какой-то мужчина с повязкой на рукаве пытался передать палку своим соседям, но те были заметно навеселе, беззаботно лънули к гармонисту и шутливо отмахнулись от мужчины с лозунгом, и тогда она-то и подскочила, оставив мать где-то сзади, и только потом уже увидела, что с другой стороны на нее смотрит и улыбается парень. Что-то нашло на нее сразу — вдруг бросила бы эту палку и убежала куда подальше, да поздно было; а парня, прислушалась она, когда поуспокоилась и взяла над собой контроль, соседи по колонне называли Валерой. Она тут же переименовала для себя: «Валерка» — как будто давно училась с ним. «Ты почему сегодня такая?» — спросит ее Солдатов Юлька, а она только и скажет ей: «Да опять Валерку видела» — и что хочешь, то и думай обо всем этом.

А тут еще, как назло, это кино. Юлька любопытная — упростила показать Валерку. А вчера прибежала и говорит: «В этом кино один артист смахивает на Валерку. Ну он и он!» И Наташка пошла. Ходила три раза. Пока деньги не кончились. И правда — похож.

Сама не зная, что с ней творится, она проревела весь вечер и ночь прихватила. Тогда-то ей мать и сказала — тоже не спала, бродила опять по комнатам с расхолодившейся рукой, — что утром отправятся в магазин и выберут штапелья ей на платье. Если раньше, мол, держала тебя, то теперь иди на вечер куда надумаешь.

А вдруг-то, представилось Наташке, Валерка и пригласит ее, она подойдет к конторе будто как обычно, по делам матери, но сама уже будет одета для вечера, а он увидит ее в коридоре, поздоровается и скажет: «Знаете что, Наташа, я вас давно хотел пригласить, да все смущался». Конечно, она не испорченная, но и не ломучка, открыто обрадуется и ответит: «Вот и хорошо, я тоже ждала этого!»

Жалко ни жалко мать, а новогодний-то вечер бывает только раз в году, и Наташка идет будить ее.

Материальчик выбрали удачно — по бежевому фону неширокие блеклые полоски. Мать разорилась — ни с того ни с сего выбросила еще семь рублей, сама облюбовала для Наташки кольцо с коричневыми блестящими бусинками.

— В тон платью, ты же ничего не понимаешь! — в минуту сломила она сопротивление дочери.

Наташке не то чтобы не понравилась вещь — наоборот, и даже очень, — но к подаркам таким она не привыкла и, в свою очередь угождая матери, через силу отнекивалась.

— Говори спасибо да носи на радость, пользуйся, пока мать жива...

Мать, как обычно в такие нечастые минуты широких своих жестов, смягчала голос до слезливого и как бы поспешно отворачивалась, будто и не думая выказывать свою растроганность собственной заботливостью о детях. Впрочем, она тут же возвращала себе полное спокойствие и, пользуясь моментом, пока Наташка или Бориска — или кто из старших, когда те еще жили дома, — именованно оглядывали подарок и потому готовы были выслушивать любую нотацию, наперстывала вперед на неделю, наставляя и тех, кто ее слушался, и тех, кто иногда «взбрыкивал».

В этот раз мать сама замышляла устроить вечер — накануне полноты прошептались с отцом на кухне, определяя расходы, — поэтому

после промтоварного она ринулась в продуктовые отделы, оставив Наташку без обычных наставлений.

Однако радоваться было рано — предстояло выбрать фасончик и успеть еще сшить и отгладить. Шила Наташка сама — как уж там шила, не ателье, конечно, но себя обшивала лет с десяти. Машинка хорошая, ножная. Одно удовольствие — только нажимай. Поджидая Юльку, с которой хотела посоветоваться, она навалила на стол груды потрепанных журналов — некоторые были еще с пятидесятых годов, старшей сестры Марии, — и листала, приглядывалась, прикидывала, хотя определенно знала, что без Юльки не решит. Вот уж бой девка! Шестнадцать лет, почти на два года младше ее, а знает любой модный танец, какой разрешают или запрещают танцевать во Дворце культуры. Ни с кем, конечно, не встречается, хотя симпатичная на вид и отбоя от мальчишек нету. «Вот еще, — фыркает Юлька, отвечая на испытующе-намекающий взгляд Наташки, — была нужда корявых любить!» Это у нее поговорка такая, по делу и без дела, даже если когда ее мать, тетя Зина Солдатова, посылает Юльку в магазин за хлебом. Та, конечно, все равно сходит, но полушутя-полусерьез про корявого помянет.

К двум часам, когда у матери на кухне уже все шипело и кипело, пришел Бориска, работавший в одном цехе с Юлькой. Заваленный журналами стол озадачил Бориску:

— Ты что, в манекенщицы надумала? Клевая работа, не бей лежащего.

— Что бы ты понимал! — огрызнулась Наташка. — Юлька пришла домой?

— А я ее не караулил...

Время шло, а Юльки все не было. Уже и отец, закончивший свои пенсионные дела в горсобесе, отогрелся с мороза и согнал Наташку со стола — унес его в кухню, где, стараясь не мешать матери, стал налаживать хитроумное приспособление со стеклянным змеевиком. Поставил на огонь бачок с бражкой, и тепловатый кислый запах поплыл по комнате.

В три часа терпение Наташки лопнуло, и она сама отправилась к Юльке.

Дверь открыла непривычно смущенная и в то же время нахмуренная тетя Зина, она ни с того ни с сего поддела валенком вертевшегося под ногами поросеночка. С утробным скожканым звуком, прорезавшимся в долгий недоумевающий визг, тот перекувырнулся через спину и сломя голову засеменил в ванную, дробно стуча по паркету копытцами. Солдатиха, как зовет в доме тетю Зину и стар и млад, которую уж зиму подряд держит у себя в квартире — и об этом уже столько говорилось, и собрание общее устраивалось — одного, а то и двух поросят; на улице крутые морозы, в сарайке ни одна живая тварь не выдержит, и тетя Зина всю зиму терпит поросячью вонь.

Наташка изумилась:

— Вы что это, тетя Зин?

— А, идите вы все от меня... — отмахнулась Солдатиха и, скрываясь в кухне, коротко и вместе с тем с каким-то недовольством ткнула большим пальцем себе за спину, в сторону непроходной комнаты: — Там, там она...

Юлька лежала на постели, уткнувшись в подушку.

— Ты чего это, а? — Наташка решила, что неумная Солдатиха опять поругалась с дочкой. — Ты чего, я говорю, опять поцапались?

Юлька не сразу, но качнула головой отрицательно: нет, мол, причина другая. Полежала так еще сколько-то, пока Наташка, пройдя к этажерке, копалась в тети Зининых журналах «Работница», где на по-

следней страничке были выкройки и чертежи. Потом встала и, не глядя на начавшую понимать улыбку Наташку — вот, мол, подружка, и к тебе, кажется, любовь пришла, — одернув на себе коротенький халатик, скользнула к двери. Вернулась быстро — умытая, с припухшими нарезанными глазами, с убранными на затылок в узел волосами. С извечной своей прямою, которая может напугать кого угодно, оставилась на Наташку диковатыми большими глазами:

— Ты себе на платье купила, что ли?

— Ну... купила...

— Думаешь, может, пригласит — да?

— Ничего я не думаю...

— А вот и думаешь! Думаешь! — полыхнули Юлькины зрачки. — Ты все вбила себе в голову, а ничего-то не знаешь!

— Да отстань ты, что ты сегодня... — отмахнулась Наташка и, уже предчувствуя нехорошее, стала складывать журналы на место, будто разворошила их случайно.

— Видела твоего Валерочку, — не сбавляла пыла Юлька, — я с работы иду, а легковушка с золотыми кольцами на дверцах остановилась у загса. Я думаю, дай гляну! Я же люблю смотреть на такое, ты сама знаешь. Остановилась, гляжу... и кто бы из нее вышел, как ты думаешь?

Губы у Наташки против воли складывались в какую-то жалкую улыбку, медленно сползавшую в одну сторону.

— Я тебе говорила! — криком опередила Юлька ответную к подруге жалость. — Говорила тебе: ну что ты с этим типом носишься: «Вале-ерка, Вале-ерка!» Он у тебя из ума не выходил, а у него другая была, да и что ты в нем нашла?!

— Ты перепутала, — все никак не справляясь с этой судорожно тянущей губы своей улыбкой, сказала Наташка. — Ты же его не знаешь как следует! Ты его и видела-то издали, у Техснаба, один только раз. Тебе показалось.

— Вот ты и перекрестись! — как и всегда, съязвила Юлька. — Тебе кажется — ты и крестись! А я, во-первых, видела его у Техснаба не раз, а целых три, во-вторых, встречала как-то в трамвае, вот так от него стояла — на нем еще пальто с серым каракулевым воротником и такая же шапка пирожком, «москвичка» называется, — что, съела? А потом кто, интересно, еще вчера ходил на это кино, на все сеансы подряд, — разве он там не похожий?

Наташка наконец справилась с губами и как-то отстраненно посмотрела на Юльку.

— Ну и что с того-то, что ты видела его сегодня у загса? Ты-то чего ревешь? Тебе-то что...

— А не знаю: реву — и все тут! А он не свидетелем приезжал, не думай и не надейся! — опередила ее Юлька. — Женихом приезжал, а рядом с ним эта была, в фате... А свидетели — позади, разве их не отличишь!

Теперь Наташку подмывало расспросить, как она выглядит, эта, в фате... Что из себя представляет. Но как раз об этом Наташка не спросит — что ж, раз так все вышло. Она же не виновата. Да и что у нее было с этим Валерием? А ничего и не было, так только, верно говорит Юлька: внушила.

И все же что-то сильнее ее рассуждений. Она отворачивается к окну и водит мокрым от слез пальцем по намерзшим окнам. Сзади за плечи обнимает ее Юлька и тоже вздрагивает худым своим тельцем. Тетя Зина, которой Юлька все рассказала еще в обед, кричит им с порога:

— Ох, девки! Сейчас вот как возьму голик из-под порога да ка-ак

начну хлестать что ту, что другую! Уже четвертый час, а они тут валандаются, нашли о чем горевать! Да я бы-то в ваши годы!..

— Знаем, слышали,— беззлобно перечит матери Юлька.

Та звучно, но не больно шлепает свою языкастую доченьку по мягкому месту, оттаскивает ее от Наташки и, втихомолку пригрозив пальцем — мол, я еще поговорю с тобой, как язык распускать перед самым Новым годом, испортила девчонке весь праздник,— как-то смущенно, неумело гладит Наташкины плечи.

— Ах, девки, девки... Все-то у вас еще впереди, вся жизнь,— вздыхает она, что они, молодые, не ценят своих лет и даденной им радости.— Тут вот о себе иной раз подумаешь: где она, когда, жизнь-то моя, промелькнула? Вся — как один день... Только и стоит перед глазами та минута, когда Павла на фронт провожала. (Детей у нее от Павла не осталось, Юлька уже от другого, и этого другого, своего отца, Юлька сроду не выдывала на фотографии даже.) На нем была желтая футболка со шнурочками,— вот эта футболка и стоит перед глазами, вся до последней измятинки, будто только вчера постирала ее и надела на Павла неглаженую. С работы я тогда прибежала — а он уже тоже дома, сидит у стола, вертит в руках повестку из военкомата и виновато так улыбается...

Теперь Юлька, знаящая по опыту, что мать потом, после таких разговоров, будет и день и два ходить как потерянная, трясет ее за плечи и внятно выговаривает:

— Мама, мам!.. Погадай Наташке, ну, пожалуйста, прошу тебя!

И уже бежит в материну комнату, несет в расшитом гладью шелковом мешочке гадальные бобы. С сухим стуком высыпает их на стол. Они глянцево-темные, крупные, с сизой затертостью от пальцев — до блеклости, как на передках поношенных хромовых ботинок.

— Ох ты, язва! — смеется Солдатиха. Берет из Юлькиных рук шелковый мешочек, утирает им глаза и уже тянется к таинственно замершим на столешнице бобам.— На кого гадать-то, на тебя, что ли, Юлька? — смеется она, искоса наблюдая за Наташкой, которая сидит, все так же отвернувшись к окну.— А ну!..— Солдатиха лопатистой своей ладонью подгребает к себе поближе россыпь бобов, выбирает наугад один из них, подносит его к губам, что-то шепчет, закрывая глаза, и уже как бы отрешается от всего земного, зряшного, и Наташка поворачивается и искоса смотрит на нее.— Цари-бобы,— истово шепчет Солдатиха,— скажите всю правду, скажите — не соврите...

И Юлькины глаза тоже как бы становятся еще больше — очарованно замирают.

Не дав Солдатихе толком впасть в ворожейный транс, без стука заявила Наташкина мать. Еще в дверях, на ходу вытирая мучные руки о свой передник, она поняла, что тут происходит, и вспомнила вчерашние ночные слезы дочери, а той явно стыдно стало перед матерью за эту глупую ворожбу.

— Я-то, дура, думала: доченька моя делом занимается, а они тут, две баламутки. опять человека от дела отрывают!

— И не говори!

Малость сконфуженная такой неожиданной почтительностью в ее адрес — «человека от дела отрывают»,— Солдатиха машет рукой: дескать, совратили, совратили, вертихвостки! И уже сгребает бобы в мешочек, показывая девчонкам тем самым, что гадание не удалось — какая, мол, тут ворожба с этой Аней, влетит всегда, как ветер.

— Ну, так что вы решили с платьем-то? — как бы тут же забывая про эту гаданку на бобах, будто ее и не было вовсе, говорит Аня, оглядывая Наташку и Юльку обеих сразу.

Такой маневр она считает сейчас самым подходящим: девок надо загодя, еще до вечера, связать общим делом, чтобы уж Юлька возилась с этим платьем до конца и никуда не надумала ускользнуть на вечер. Пусть обе побудут со взрослыми, решает она про себя тут же. Наташке будет не так одиноко, потанцуют, пусть и выпьют немножко со всеми, а то, судя по всему, сердечные дела ее не шибко какие баские... Попробуй им докажи, что все равно они самые счастливые, и не докажешь, хоть тресни!

А разве им самим в свое время, справедливости ради говорит себе Аня, их матери и отцы могли бы доказать такое? Вот так-то и идет из века в век.

— Сошью его к лету, к весне,— говорит Наташка о платье как о чем-то необязательном, уже прошедшем.

— Это как это так? Нет, ты слышишь, Зина? — обращается Аня к Солдатихе, и та немедленно откликается.

— Какая еще там весна, Наташк? Да на дворе зима, еще только завтра январь начнется, а по-старому так еще целых полмесяца будет декабрь, а ты уж о весне думаешь! — говорит она первое, что пришло ей в голову при последних Аниных словах, и только тут спохватывается про себя, что проще-то было бы спросить про платье — какой материал, почем за метр.

— Я ей к этому материалу украшение купила,— обиженно говорит Аня,— старалась как лучше — такие вишневенькие бусинки в три рядка, вдоль всей шеи,— показывает она Солдатихе.— Семь рублей выкинула — и вот на тебе. К весне, оказывается...

Солдатиха качает головой, осуждая дочернюю неблагодарность.

— А ну-ка,— решительно заявляет она, бросая на кровать мешочек с бобами и снимая чехол со своей швейной машинки «Тула», — неси сюда материал! Матери, понимаешь, некогда,— незлобиво бурчит она на Наташку; по перепачканным в муке Аниным рукам Солдатиха поняла, что соседи затевают гулянку.— Человек совсем с ног сбился, а ты тут еще выкамариваешься чего-то.

Она прилаживает на нос очки, выколупывает шпульку, с деловым видом роется в шкатулке, вынимает сразу несколько катушек ниток и вопросительно поверх очков смотрит на Наташку: какие, мол, нитки-то наматывать на шпульку?

— Коричневые, коричневые! — поспешно и услужливо подсказывает Аня и взглядом одергивает, срывает с места Наташку.

Та с растерянной улыбкой в сопровождении Юльки идет за материалом.

— Ой, Зи-ина! — поет между тем ее мать, знающая цену Солдатихину умению шить.— Да спасибо-то тебе! Я уж с тобой рассчитаюсь потом...

— Очнись! — воздевает к ней ладонь Солдатиха.— Какие тут могут быть расчеты! Или мы с тобой не соседи? Да уж и сколько годов-то мы с тобой живем в одном доме? — Она подпирает щеку ладонью и испытующе смотрит на давнюю свою соседку.

«Ох, лучше бы не считать! — улыбается про себя Аня.— Немало ты кровушки, соседка, выпила из каждого из нас!»

— Много, ой, много... Уж лет пятнадцать, однако.

— А семнадцать не хочешь? — поправляет Солдатиха.— У тебя еще в тот год, когда я переехала в эту квартиру, Наташка нашлась, а Юльки у меня еще не было.

— И правда,— соглашается Аня, незаметно для себя присаживаясь на краешек застланной пикейным покрывалом кровати.— В тот год я и родила Наташку. А Бориска мой был годовалый.

— А я хотела кумой тебе заделаться через Наташку-то,— с непозабытой обидой припоминает Солдатиха, опуская очки на глаза и берясь за шпульку,— а ты мне отвод сделала.

Аня пугливо меняется в выражении лица:

— О, что ты говоришь, Зина! Вот не припомню...

Солдатиха смеется:

— Я накануне твоих родов две грядки у вас в палисаднике захватила, помнишь? Да и посуды сама,— как бы с запозданием оправдывается она,— обидно же было мне: все по весне на своих грядках копаются, а я стою, бывало, у изгороди да слюнки от завидок глотаю. Дом-то ведь, думаю, казенный,— все оправдывалась она, и Аня, к собственному удивлению, все больше чувствовала себя виноватой перед той одинокой Солдатихой, которой добровольно никто из жильцов не хотел уступить места в палисаднике,— и земля вокруг, думаю, тоже казенная, общая, значит! Так какого ж, я думаю, черта!

Аня машет рукой: да не вспоминай ты, мол, нашла о чем вспоминать! И они обе долго хохочут, всплескивая руками.

Смеющимися их и застают девчонки. Материал Юльке поправился, она тут же стала подбивать свою мать разориться и ей на такое платье.

— Будете весной, когда от пальто-то освободитесь,— все смеется та,— как штампованные двойняшки, в одинаковых платьях-то!

— Ну и пусть! — сопротивляется Юлька.— А мы в разное время их будем носить!

— Дак еще подумают, что вы с одного плеча носите!

Юлька озадаченно умолкает, но Наташка приходит на помощь:

— К весне я уеду, тетя Зина. Так что не бойтесь — не будет двойняшек.

— Куда это ты уедешь? — удивляется Юлька, не принимая такую помощь.

— К Марии на юг. А то, может, к Венке в Сибирь.

Солдатиха сматривает на Наташку — серьезно ли та?

— Нет, правда, тетя Зин!

Для Юльки, во всяком случае, это новость. Чтобы не выглядеть пустомелей, Наташка поясняет:

— Мария написала, что рядом с ее курортом, в портовом городе, ткацкая фабрика есть. Приезжай, говорит, устрою.

— Ой ты,— с неподдельным восхищением произносит Юлька,— ткачихой, а!

Она моргает длинными, будто наклеенными ресницами и вдруг кидается к приемничку «Рекорд». лихорадочно рвется в пластинках, находит что-то и, подмигивая Наташке, заводит радиолу. А сама уже предчувствует отъезд подруги и чуть не плачет. Иголка вхолостую ширкает по ободу, все ждут.

Подмосковный городок.  
Липы желтые в рядок.  
Подпеваает электричке  
Ткацкой фабрики гудок...

— Так ты правда, что ли? — все недоумевает Солдатиха: уж так девки, пока росли, хороше сдружились, не в пример их матерям, а хорошая самостоятельная подруга для дочки — это ведь, считай, половина материнского спокойствия.

— Баламутят только девчонку... Что Мария, что Вениамин,— говорит Аня.— А ей что! Господи... сорваться бы да бежать. По ним все хорошо, хоть так, хоть этак. А каково будет матке с батькой? Они об этом думают?

Но говорит это она не очень искренне — как бы только для отвода глаз, чтобы та же Солдатиха не подумала, что они вот спроваживают своих детей в разные края.

И Солдатиха понимает это и, следуя сегодня во всем уж только благому, опровергает соседку с неподдельной горячностью:

— Не согласна я! Чего ты на детей напустилась? Не век же им за наши юбки держаться. Так уж испокон веку ведется.

Аня вздыхает, глядит на девчат. Юлька, обняв подружку, уставилась на пластинку и губами помогает певичке; а Наташка ровно и не слышит песни — задумалась о чем-то.

— Ната, Нат,— ласково окликает ее Аня,— чего ты, доча?

— Да нет, ничего...— растерянно улыбается та. И коротко взглядывает на мать с какой-то виноватостью.— Правда, мам, я так...

Ей представилось сейчас, как приходит она домой с билетом, полетит, конечно, на самолете; соберется провожать ее весь дом, и хорошо бы лететь вечерним, чтобы из дому выйти с чемоданом как раз часов в пять. Из Техснаба будут выходить после работы, и увидят ее готовую в дальнюю дорогу, и уж, конечно, начнут спрашивать: «Куда это вы, Наташа, уезжаете?» «На кого вы нас оставляете, девушка?» — будут острить молодые еще мужчины, нередко заговаривавшие с ней в коридоре, когда она приходила к матери. Но она будет только улыбаться им в ответ и делать вид, что едет она, может быть, даже в самую Москву, не такая уж она никуда, чтобы только и делать, что матери помогать со шваброй орудовать. И ровно в пять выходит из конторы Валерий, он тоже не сможет не заметить ее с чемоданом, и, удивленный, приостановится, и вспомнит ту октябрьскую демонстрацию, и ему наверняка станет грустно, что вот уже минула зима, и она теперь уезжает, и ничего, ничегошеньки между ними и не было...

И пусть! Хорошо, что не было, значит, не судьба. Судьба ее, может быть, там, где древние у моря горы маревым окоемом подпирают небо, где стоит, как пишет Мария, комбинат искусственного волокна, и сияющие лаком и серебром нитяных струнок ткацкие станки тянутся в рядок, и шум их работы слышен далеко-далеко, будто это какой-то водопад.

#### 4. *Король червовый*

Иногда кто-нибудь из той родни, что бывает раз в году, навевается к ним и, застав дома одного только Борисуку, заводит с ним от нечего делать с виду серьезный разговор.

— Ну, как дела-то, Боря?

— Та че дела...— смущается тот, переходя из комнаты в кладовку, оборудованную им под мастерскую, с какими-то детальками, проволочками в руках.— ничего идут дела, голова еще цела! — по-отцовски прибауткой отвечает он. И смеется, глядя на гостя: да вижу, мол, я тебя насквозь, ты же просто так спрашиваешь, чтобы за порогом и забыть!

— Говорят, будто Мария письмо прислала: всех вас к себе на курорт зовет.

— Ага, прислала. Как раз под Новый год.

— Насовсем зовет, что ли, или только в гости?

— Нет, насовсем. И Веньку из Сибири тоже хочет вызвать. Работа, говорит, и на юге найдется.

— Вот как... Ну, а ты сам-то трудишься где или нет?

— Ну,— утвердительно кивает головой Борька.— Работаю.

На лице его уже нет никакой усмешки, он и ответил-то машинально, руки его уже ладят какую-то детальку. Лоб у Борьки взмок, но в конце концов капля расплавленного олова застывает именно в той

части детали, где и нужно было наляпать пайку. И только тогда до Борьки доходит смысл последней его фразы, и он досадливо вспоминает про мокрые валенки. Отец опять будет ворчать: «И где ты вечно находишь воду? На всей территории завода сухо, а где и была вода — так подмерзла давно, а ты вот изо дня в день, ну как та свинья лужу, разыщешь мокрое место!»

Борька откладывает паяльник и идет в прихожую, находит там в углу скинутые наспех, на ходу полчаса назад казенной катки черные тязеленные валенки. Мокрые, они пахнут железной окалиной. Борька несет их в кухню — сунуть к батарее поближе. Если соскоблить с подошвы то, что за день поналипло, думает он по дороге, будет с полстакана разного мелкого железа, прихваченного морозцем к набрякшим подошвам. Сквозь полупритворенную дверь из комнаты гость видит Борьку с казенными валенками в руках, понимает это по-своему и улыбается: пацан, мол, и есть пацан, нашел чем хвастать. Хотя, вспоминает дальше гость, ему ведь, однако, уже и в армию скоро.

— Тебе когда в армию-то, Боря? — кричит он ему в кухню.

— Весной, — невнятно откликается тот, уже успев на ощупь выудить из-за линиялой, выдавшей виды занавески, прикрывающей самодельную настенную полочку с посудой и хлебом на тарелке, здоровенную черную горбушку. Аппетитно жует ее, пережидая разошедшегося с вопросами гостя, а самому уже вспоминается вчерашний фильм — как тот парень, которого всё никто не любил поначалу-то, ох и играл же на гитаре! Песня такая чудная... Борька жует хлеб с каким-то остервенением, сочувствуя парню, глотает, снова вгрызается в горбушку, а сам уже не ощущает ни вкуса хлеба, ни того, что он вообще ест что-то, и сколько он так сидит — не помнит тоже, не думает об этом, только тот парень с гитарой да песня его и не выходят из головы. Борька представляет, как сам бы сыграл ту мелодию, и что же это он вчера-то, после кино сразу, не попробовал наиграть ее, а теперь вот уже и забылась концовка. «А-а, было поздно...» — вспоминает он. Мать и без того грозилась отнять гитару: много, мол, бренишь, из-за этой гитары и школу бросил. «И ведь отнимет», — весело ужасается он. Матушка у него такая! Как что найдет на нее.

Он слышит, как хлопает коридорная дверь — видно, ушел этот, что расселся тут и приставал с глупыми вопросами. И Борька тотчас откладывает горбушку и, шлепая босыми ножищами по холодному полу, идет в свою боковушку.

Гитара всегда поначалу кажется ему легкой, какой-то игрушечной. Еще бы, хмыкает Борька про себя, весь день же только то и делаешь, что таскаешь на себе многопудовые кислородные баллоны. Гитара уже склеена вдоль и поперек. Только и радует глаз, что вся в наклейках — до одури похожие одна на другую открыточные девы. Старая гитара... Отец хвалился, что игрывал на ней, когда еще в женихах бегал!

Борька ухмыляется, никак не представляя себе отца женихом, и бегло трогает струны.

О жизни, в философском значении этого слова, Борька не думает. Тут и думать нечего, считает он, живи и живи, раз ты живой. Он искренне не понимает, для чего ему так шибко может понадобиться школьная грамота, Фонвизин там или Мичурин. Другое дело — смастерить спутник! Но тут у него своя точка зрения: школа не поможет, говорит он матери в свое оправдание, если у тебя не варит котелок и ты путаешь сопротивление с конденсатором.

Осенью он первый и последний раз сходил в вечернюю школу. Высидел только один урок — геометрию. Его поразило, что вела этот урок та же «учителька», что и в дневной, когда он остался на второй



год. Взрослые парни и мужики с залысынами смотрели на молоденькую учительку, не скрывая своего мужского интереса к ней и, как видно, мало думая о том, почему две параллельные прямые никогда не пересекутся, сколько бы их ни продолжали.

Отец дома, по старой привычке, схватился было за ремень, но Борька беззлобно крутанул ему руки, вырвал ремень и вышвырнул его в форточку, под осенний проливной дождь. Отец ушел на кухню и просидел там до часу ночи, а мать все шипела на него, чтобы он, мол, не травил душу ребенку. Утром насупленный, не погасивший обиду, отец подвязался бельевой веревочкой и повел Борьку на завод — устраиваться на работу. Ему в ту осень едва исполнилось шестнадцать — определили его в слесарный цех учеником.

И все было пошло как надо. Да в первый же месяц кто-то из дворовой ребятни подговорил Борьку сделать заводскими шикарными инструментами пару финок. На спор, мол, сумеешь или нет. А Борька что — заводной же парень: это он да не сумеет?! Выбрал подходящее полотно стали, зажал его в тиски — и давай в открытую, в рабочее время обдирать его напильником то с той, то с другой стороны. Мастер подошел раз, подошел два, поглядел со стороны, махнул рукой: пускай, мол, руку себе набивает. А когда уже явственно наметился двусторонний ножик — обомлел, кинулся отнимать: ах ты щенок такой!

Тут Борька и взбеленился, как про щенка-то услышал, и нет чтобы отдать эту злосчастную финку мастеру — и от греха бы подальше, — он возьми да и расслабь тиски, да и потяни заготовку за необработанный конец на себя, а обработанный уже был в ладони у мастера.

В тот же день в обед подкатил к их дому на казенной машине какой-то человек. Отец с матерью как раз сидели за столом, ели не ели, пили не пили — все говорили, как нарочно, о Борьке, будто был он у них единственным, а не четвертым в семье. Назвался приехавший председателем месткома Борькиного цеха. Побеседовал на разные отвлекающие темы да и объявляет: сынок ваш сидит пока что в запертом кабинете, коли попросит у старого мастера прощения, а вы, как родители, со своей стороны, оплатите ему больничный — все дело тогда и замнут, не станут губить парню молодость; а уж коли он будет упрямяться и вообще вины своей не признавать, то не век же, мол, держать его в кабинете, придется и милицию вызывать.

Спохватились они — что мать, что отец, — в чем были кинулись на завод: «Боренька, не губи ты себя, попроси прощения, ну чего тебе стоит — язык отвалится, что ли!» Мать в слезы, отец тоже не знает что и предпринять, а парень упрямо мотает головой: пускай тот сначала за щенка извинится. Ну не идиот ли парень, что ты с ним будешь делать! Председатель месткома махнул рукой. «А ну, — говорит, — заберите этого ковбоя отсюда, и чтобы духу его в цехе больше не было!»

На том и кончилось Борькино слесарничанье. Сидел дома целую зиму, а осенью определили его в профессионально-техническое училище. Здесь, как вскоре уяснил Борька, прогулы роли не играли, все равно никакой зарплаты не полагалось, только кормежка бесплатная да форма. Так он и без того сытый и не голый. А косяки, рамы да разное там настиление полов, чему учили в группе, его интересовали столько же, сколько, к примеру, отцово огородничество. Что есть — что нету. Отцу с матерью надо было позарез, чтобы он записался в это самое ПТУ, он и уступил, сходил и записался. Кто виноват, что определили его, как в лотерею разыграли, не куда-нибудь, а именно в плотницкую группу. А у него, может, к этим топорам и долотам душа и вовсе не лежит. И он все более открыто стал заявляться домой средь бела дня, когда в его ПТУ наверняка были занятия. Скидывал молча валенки и, минуя всякие разговоры с отцом или матерью, скрывался в своей

мастерской. Только шасть туда — и нету его: хоть стучись потом, не стучись — Борька не откроет. Пока не проголодается, идол упрямый. А так как он в своем училище успевал, как правило, отобедать и только потом уже уходил до следующего дня, то ждать Борьку приходилось до вечера. А какие вечером разговоры с ним на серьезную тему? На телевизор, как всегда, явится полдома, да еще из родни кто-нибудь, тут уж сиди и помалкивай, да еще вид делай, что в семье у тебя все ладно, и слово поперек Борьке не вздумай сказать, чтобы он спокойно-хонько пролежал у себя в боковушке на диване перед крохотным экраном персонального, видите ли, телевизора, который он смастерил сам. К тому же редко кто удержится из вечерних этих гостей — якобы вполголоса, но достаточно громко, чтобы слышал сам Борька, — не похвалить домоседа-мальчишку, делающего к тому же полезные для семьи вещи.

Как уже после таких разговоров приступить к Борьке с вопросом, почему это он опять удул раньше времени из своего училища, — просто язык не поворачивается ни у отца, ни у матери тем более. А утром, не успеешь моргнуть, уже и нет его. Крикнет мать вдогонку: «Ты почему так относишься к своей учебе?» — а он уже из-за двери ответит: «Разве ты не видишь, что я бегу туда чуть свет?»

И все эта мастерская, вздыхала мать, с разной ерундой в ней. Борька так обставил бывший ее чуланчик — провел туда свет, достал где-то неоновую трубку для освещения, поналадил полочек, на которых разложил впережку с журналами «Радио» всевозможные сопротивления, паяльники, обмотки... словом, черт-те что! И все бы ничего, да попасть теперь в каморку без Борискиного на то позволения никому не удавалось, что отцу, что матери, не говоря уже про Наташку, которая в электрических этих фокусах вообще ничего не смыслила. Какой-то моторчик с той стороны двери с въедливым натужным вжиканьем открывал дверь по сигналу, который умел подавать только сам Борька, тыча спичкой в одну из крохотных дырочек вверху косяка. Как-то без него, вставая по очереди на табуретку, мать с отцом истыкали эти дырки все подряд, попереломав добрый коробок спичек — пытались найти секрет двери, — но моторчик не ожил ни разу, удерживая дверь изнутри на железном запоре.

Так и проканителелись с парнем всю зиму, пока не узнали, что из училища его отчислили. А летом написали мать с отцом старшим своим детям, Вениамину и Марии: так, мол, и так, просим вашего совета, что делать с младшим вашим братом, сами уже не приложим ума, перепробовали и так и этак. Те молчали долго, а если и писали о чем, то Борькиной судьбы не касались — боялись, видимо, брать на себя эту обузу. Наконец, уже перед самым Новым годом, откликнулась Мария: «Пусть едет ко мне. Без работы не останется, я с ним тут общий язык найду».

Однако было в письме одно существенное примечание — ехать Борьке надо к весне, к самому разгару курортного сезона, когда открываются разные вакансии. А что делать до весны, когда на дворе еще только январь?

Но тут и сам Борька отличился — зная наперед, что на дорогу к сестре потребуется немало денег, и боясь, что отсутствие их сорвет его поездку к морю, где-то разузнал, что в кислородный цех завода его могут принять грузчиком как уже совершеннолетнего. Так и порешили отец с матерью, надеясь, что их Бориска и сам теперь почувствовал свою ответственность перед жизнью.

И вот он дома уже как гость — никто его не трогает, не пристаёт, и вечерами после работы к нему в боковушку набиваются разные при-

ятели, которых та же мать раньше гнала в три шеи; и Борька садится на продавленный вдрызг диван с валиками, берет кажущуюся какой-то маленькой в его лапищах гитару, и его пальцы с толстыми ногтями делают удивительно живыми и послушными. Они будто сами собой складываются, на мгновение как бы приликая один к другому, и по два, и по три, и всевозможными лесенками, и не просто снуют по размежеванному бронзовыми полосками и перламутровыми кружочками грифу, а незримо выписывают на этой нотной графленке струнную мелодию.

— Боб,— говорит один из приятелей,— вот ты уедешь скоро, а меня так и не научил играть.

Борька сбивается и коротко взглядывает в сторону говорившего, неопределенно пробегает подушечками пальцев по всей длине струн, как бы испытывая готовность их звучать еще и еще,— он чувствует себя виноватым, что обещал, а не научил.

— А чему тут учиться-то... Ты делай вот так, и вот так, и вот так!..— Он заставляет дрожащие от нетерпения пальцы замереть, чтобы дать возможность человеку углядеть узор, какой они обозначили на грифе.— И потом делай это же, но только бойчее и бойчее.— Тут же дает он волю своим пальцам.— Чего тут учиться-то.

И мелодия опять заполняет комнату, проникает сквозь двери, и мать на кухне, настораживающаяся всякий раз при паузе, опять успокоенно слушает Борискину игру, и руки ее машинально продолжают делать свою работу. И откуда Бориске знать, что на душе у матери в эту минуту робко теплится надежда на последнего в семье сына, который вот, как бы там ни было, тоже встает на ноги.

— Да-а,— с завистливостью тянет парнишка, осознавая на виду у остальных, что упрекнуть Борьку не в чем,— ты-то мне объясняешь, я про то ничего не говорю... но я не умею так быстро схватывать, вот в чем фокус!

Борька молчит. Будто и не слышал даже. Только эта мелодия, чистоты которой он добивается вот уже не первый вечер, и занимает его сейчас; он склонился над гитарой и словно не видит, не знает, как, таясь один другого, грустят эти парнишки о том, что вот скоро он уедет от них и некому будет и зимой, и весной, и особенно летними теплыми вечерами брэнчать вот так, вполголоса, исподволь наполняя их души какой-то светлой отрадой, негласно объединяя их в братство.

— Борька,— говорит второй парнишка,— а ты плюнь на этот курорт. Что тебе, здесь плохо, что ли?

Борька молчит, смотрит куда-то в зимнее, с узорами, окно. Не думая о том, хорошо ли, плохо ли, что вот он откровенно подражает одному известному артисту, он старательно переводит свой голос на какую-то бесконечно простуженную хрипотцу, и парни оживляются, иные даже слегка бледнеют и норовят не встречаться в эту минуту взглядами — так задевает их это Борькино перевоплощение.

А он поет про скалы и суровую мужскую верность. И вдруг в какой-то момент затуманенный его взгляд видит совсем не то вокруг себя: куда-то деваются друзья его, не стриженные по несколько месяцев, с маленькими одинаковыми лицами под нависшими, фортиссо начесанными со всех сторон прядями и челками, и нету на них фасонистых клешей, обтрепанных до бахромы, и сам он куда-то исчезает тоже, Борька Комраков, такой же в точности, как и все его друзья, только разве что поздоровее да со званием Короля, как в шутку прозвали его ребята. Нету больше Короля, и нету его свиты потешной, а все они солдаты и Борька первым заменяет выбывшего из строя раненого командира.

Вперед! А там... ведь это наши горы —  
Они помогут нам!..

А на кухне уже плачет мать. Она тоже вдруг представила Борьку солдатом, ему уже давно восемнадцать, и весной его могут призвать, это только они с отцом все забывают об этом — не знают прямо, куда пристроить парня, спихнуть куда на чужие руки...— ругает она себя сквозь слезы,— а там, кому нужно, помнят, и придет срок, и поедет остриженный наголо их Бориска в переполненном такими же, как он, вагоне, а в том месте, куда их привезут, беспокойно, и кончится Борькино детство, потому что он почувствует себя солдатом.

— Господи, только бы не убили,— шепчет на кухне мать.

Всю в слезах и застаёт ее Солдатиха, пришедшая одолжить дрожжей для теста.

— Чего это опять? — Она останавливается на пороге кухни с тем родственным участливым недоумением, после которого отказать ей, за чем бы она ни пришла, просто невозможно — язык не повернется сказать: нету у меня дрожжей, даже если дрожжей тех у самой осталось на одну закваску.— Опять, поди, этот твой рыжий вывел из себя?

Солдатиха прислушивается к брэнчанию струн гитары и негромкому гоготку ребят в Борькиной боковушке. Борьку она, сколько тот ее помнит, зовет «рыжим». Он и есть рыжий — весь в конопушках, будто кто шулки ради пульнул в него несмываемой краской из пульверизатора, и на лицо досталось густо, но не сплошь, с просветами, а уж потом он, как бы увертываясь от струи, набычил голову — и вся волосня покрылась темным суриком ровнехонько. Девчонки со всего двора завидовали редкому цвету Борькиных волос. Может, по причине этой зависти ни одна из девчонок рыжим Борьку не дразнила, а пацаны-то, известно, боятся хоть в глаза, хоть за глаза: у Борьки суд короткий, а рука не по годам тяжелая. Только от Солдатихи он и слышит: «Опять ты, рыжий, свою мать до слез довел! У-ух, и доберусь я до твоих красных косм, битл ты этакий!» Слово «битл» Солдатиха переняла у своей Юльки и произносит его как ругательство. Но Борька понимает, что Солдатиха так заступает за его мать — даже не заступает, а заискивает перед ней, подлизывается, на что причина у нее всегда много. И, думая так, в душе и сам во всем на стороне матери, Борька принимает кличку «рыжий» из Солдатихиных уст и потому запросто откликается на нее. «А ну-ка, рыжий,— начинает иногда подвыпившая Солдатиха, когда случается ей посидеть у них за столом,— неси карты: погадай тебе на судьбу! Рыжий-красный, для девок опасный! — продолжает она, хотя прекрасно знает, что у него с ее Юлкой нет никаких отношений, что он не бегаёт за ней, как другие, и пока что вообще не собирается.— У рыжих судьба счастливая! — заладит свое Солдатиха, тасуя карты — сама таки возьмет с этажерки или отец первый не вытерпит, подаст, тоже любит позубоскалить. А Борька хоть и делает вид, что вся эта ворожба нужна ему, как мертвому припарки, однако на улицу или в свою мастерскую уходить не торопится... Топчется у аквариума, рыбок вдруг вздумает покормить — ждет, словом, чего она там накалякает ему на червового короля. Все же интересно. Хотя, если разобратся толком, ничего нового, сколько бы ни раскладывала и в каком порядке, она ему не говорит — все, что насулила в самый первый раз, то и долдонит до сих пор: радость на сердце, большая дорога, свой червовый интерес... Правда, в самый последний раз, на Новый год, Солдатиха выдала еще про какой-то казенный дом и нечаянные хлопоты через бубновую даму. Вот был номер! Борька изумился: ну ты, тетя Зина, и кикимора же, легкая на выдумку! А мать весь вечер потом не отпускала от себя Борьку и лъстиво приставала к Солдатихе, что за дом казенный может быть да что за дама такая со своим окаян-ным бубновым интересом.

Дама-то, как показалось удивленному Борьке, в общем-то, нисколь-

ко не испугала мать, а легла ей на сердце самым благоприятным образом — даже поинтересовалась после ворожбы, улучив момент: как, мол, сынок, Лена-то Елизарова — учится, работает? — будто не знает сама про Ленку, будто не встречает ее почти что каждый день.

Он тогда буркнул в ответ что-то невразумительное — ну, был он на вечере у Елизаровых, так его же пригласили первым делом как гитариста; и он весь вечер играл и был трезвым по этой причине как стеклышко; а когда Ленка, поставив на радиолу пластинку, позвала его танцевать шейк, он отказался, смутившись, не потому вовсе, что застенялся самой Ленки, а потому, мол, дорогая мамулечка, что брюк да туфель путных у него на том вечере не было. Конечно, он не в претензии — сам виноват: не заработал! Но и намеки разные насчет бубновой дамы пока что явно преждевременны и без адреса, хотя Ленка, может, сама по себе ему и нравится.

А насчет казенного дома не столько с помощью не вязавшей под конец лыка Солдатихи, сколько с добрым участием застольицы было решено, что это имеется в виду скорый призыв Бориски в армию. Мать, все-то помнившая тот случай в слесарном цехе из-за проклятой финки, успокоилась: дай-то бог, чтобы армия!

И сейчас, когда Солдатиха, перед тем как спросить про дрожжи, с неподдельным сочувствием стала выпытывать у Анны, почему она плачет, та ответила уклончиво, хотя думала сама про армию:

— Да нет, это я так что-то... А с Бориской пока все в порядке, слава богу. Не ходит никуда, не пропадает до полуночи, как бывало-то. Просто, Зина, слушаю я песню — и плачу. А чего плачу — и сама не знаю.

А Борька все пел у себя в боковушке — про солдат и про горы, которые должны были укрыть их от врага. Солдатиха для приличия прислушивается и, в душе торопясь закончить это затянувшееся вступление перед тем делом, ради которого она и пришла, неожиданно для самой себя говорит еще:

— Сама ты ему повадку дала большую — вот и мучаешься теперь с ним.

Анна знает, о чем говорит соседка, и молчит, чуть кивая головой: верно, мол, верно, да что теперь поделаешь. И Солдатихе бы остановиться и спросить наконец про дрожжи, но ее уже привычно понесло:

— Разве я не помню, как он у тебя просить привыкал? Упадет на пол в общем коридоре и бузует до тех пор, пока мамонька родная не придет и не поднимет, не возьмет на свои рученьки. Ему еще и года не было, а он уже вызнал твой характер, — укоризненно тычет Солдатиха пальцем на Анну. — Я, бывало, слушаю-слушаю, надоест эта музыка, ка-ак выйду в коридор да ка-ак понужну его! Он и замолчит, залупает на меня глазенками своими зелеными, сопли по щеке размажет, поднимется на свои крендели — он же тогда у тебя косолапый был, — напоминает она ненужную, казалось бы, деталь, — и ну давай улепетывать из коридора: боялся меня как огня! Убежит на улку — тихо. То-олько я дверь за собой закрою — он опять явится в коридор, бухнется на то же самое место и давай выводить по новой!.. Ах ты, думаю!

— Да уж и поругались мы с тобой из-за него, — с поздней виноватостью соглашается Анна. — А он, как бы там ни было, вырос и такой же для меня ребенок, как и для других матерей их дети.

— Его ты любила больше других — больше Маруськи, больше Веньки, даже больше Наташки, — непонятно для чего говорит Солдатиха.

— Так уж и больше... Всех, Зина, жалко.

— А у меня вон Юлька совсем одна, а даю я ей повадку?

Анна улыбается:

— С твоим-то характером...

— А чего мой характер!

Они бы и поругались так-то, да из прихожей, прямо в валенках и тужурке, на ходу протирая запотевшие очки, на всполошный их разговор идет Борькин отец.

— Здорово, Зина,— говорит он.

— Здорово, здорово, Иван Игнатьич... Чего же это, интересно, мой характер?

Иван Игнатьевич не спешит раздеваться, переводит взгляд с одной на другую — ситуация в кухне, догадывается он, складывается прямо-таки фронтовая.

— Да то твой характер,— успевает еще вставить Анна, уже заметно выходя из себя,— что все дети как дети. а мой Бориска для тебя прямо уж не знаю кто!

Солдатиха в другой раз с удовольствием бы ответила ей, но при Иване Игнатьевиче сдерживает себя.

— Поет, говорю, ваш-то,— кивает она ему в сторону Борькиной комнаты,— про солдат поет... и ведь как за душу трогает, научился же играть на этой гитаре!

— Это его хлебом не корми,— машет рукой Иван Игнатьевич: нашла, мол, чему удивляться.— Ему только дай с гитарой посидеть. По нему — так весь день бы и трынкал сидел.

— Пусть, пусть играет,— примирительно говорит Солдатиха, иска са наблюдая за надувшейся Анной и силясь вспомнить, за чем это она пришла сюда.— Скоро ведь и его проведите.— Теперь она снова пытается разжалобить Борькину мать.

— Проводим, конечно... не хуже людей.— Иван Игнатьевич все не раздевается.— Как голько получим повестку — так и готовиться начнем, сахарку закупим, бражку поставим.

— Какую повестку, чего ты мелешь? — осаживает его жена.

— Как какую... В армию!

— Да ты его до армии сначала к Марии проводи, как договаривались, а потом уж про армию думай! Может, его и не возьмут нынешней весной, а только осенью...

— Ну да, не возьмут там,— обороняется Иван Игнатьевич,— что он у нас, особый какой?

— Весной, весной и возьмут, Аня,— как бы заранее разделяет с ней эту извечную материнскую печаль Солдатиха,— сколько себя ни обманывай, а от этого не уйти.

— Тебе хорошо рассуждать,— вскользь замечает Анна,— у тебя девчонка, а их в армию не берут.

— Да ты и сама вот как-то говорила, что ой бы скорее призывали Бориску в армию! — опять удивляется Иван Игнатьевич.

— А,— машет рукой Анна,— вы, мужичье, доведете, что и не такое скажешь... Конечно, я не против армии. Пускай послужит, ума поднаберется, дурь из головы выйдет.

— А проводим его уже прямо от Марии. Отгуляем заодно: и встречу и проводины,— с твердостью, на какую он способен перед женой, объявляет Иван Игнатьевич. Та глядит на него долгим взглядом, молчит.— Забирают же в армию в апреле — мае, не раньше,— ободренный молчанием жены, Иван Игнатьевич развивает свою мысль дальше.— а Мария как писала? Приезжайте, мол, в апреле. В крайнем случае в начале мая. Может, даже успею устроить Бориску в порту, в цех КИПа. Мария же советовала. Чтобы в армию парень пошел по профилю.

— А это еще что такое? — из вежливости осведомляется Солдатиха.

— Контрольно-измерительные приборы. У Бориски талант по ча-

сти радио,— объясняет Анна, удивляя соседку такими познаниями.— Еще каким соколом явится из армии! Накажу ему, чтобы он без значков не являлся! — смущенно смеется она, выдавая себя, что и об этом-то она давно думает.— Как вон, посмотришь, у других солдат — весь кителек в разных значках. Что твои ордена!

— Сравнила,— хмыкает Иван Игнатьевич, тут же скидывая с плеч тужурку — аж употел за время этого перемирия — и берясь за папиросную коробку с леденцами, которые заменяют ему курево.— Вон мой орден Славы второй степени сравни пойдя со значком! Им же за спорт дают, за успехи по службе.

— Ну да там, конечно,— возражает Аня,— вон тем, к примеру, после этих зимних боев на острове тоже, по-твоему, значки дали?

— Нет,— говорит Иван Игнатьевич и даже раздумывает похрумкать леденцов, прячет коробку в карман.— там все было как на войне.

— Ой, не приведи-то бог,— вздыхает Солдатиха, видимо, вспоминая своего Павла. И чтобы не разжалобить себя еще больше, она поспешно поднимается с табуретки и говорит то, ради чего и пришла. — У тебя дрожжец-то, Аня, нету ли? Вздумала тесто поставить, хватилась — а все чисто, все полки обшарила. А в среду я тебе отдам, в среду я на рынок с утра поеду, там уж всегда любые на выбор.

## 5. Именины

Сама мысль о предстоящем разговоре начала тяготить Ивана Игнатьевича уже с вечера. Как только приехала Анина мать с приглашением на именины, он сразу подумал, что так просто все это теперь не пройдет; завтра, едва лишь соберутся они у Аниных стариков, разговор тут же коснется последнего письма Марии.

Всю ночь он не спал, в другое время прокрутился бы в постели, думая об одном и том же, пока не распухла бы голова, но сегодня беспутные часы темноты миновали как нельзя удачно. Не было ни бесед, ни намеков на них — проиграли до рассвета в карты, воистину три дурака: сам он, Аня да тещенька. О письме Марии они вроде как забыли — будто и не было его вовсе.

Но сколько себя ни обманывай, а приходит черед утру. Все вчерашнее оживает в голове, с той только разницей, что предстоящие заботы дня исподволь приглушают все острое и болезненное в мыслях. Начинаешь что-то делать, разгоняя себя на долгий день, и вроде как снова все в твоей жизни ладно...

В шестом часу, с первым автобусом, Иван Игнатьевич проводил тещу. С усилием оторвав примерзшую за короткое время дверь, он вошел в прихожую, потопал окаменевшими на валенках чунями, прислушался — нет, в глубине комнат никто не отозвался, хотя все это время дверь была незаперта и мало ли кто мог прийти. Значит, все еще спали. Да кто все-то? Кто и спал с вечера — так это ребятишки. Наташка и Борька. А сама Аня небось и первый сон не начала сморгнуть, прикорнула где пришлось, пока он прогуливался по утренней темени.

Ведь вот чудачки они, все трое, что сам он, что Аня, что тещенька неугомонная,— опять всю ночь напролет за картами проваландались! Да теще-то и ему лично это мало горя — им не на работу, а Ане надо успеть в свою контору. Опять будет потихоньку от него и ребятишек хвататься за виски.

Жалко человека, а надо будить. Хотела с утра пораньше застать дома свою знакомую по соседской конторе и попробовать договориться: не заменит ли та ее сегодня, не за добрые глаза, конечно, а в счет их будущей взаимности, когда и той вдруг да понадобится замена.

Будить, будить надо — пусть сходит: испыток не убыток, как говорится. А то уже без десяти шесть. Вот-вот гимн заиграют. И ей еще надо Борьке завтрак приготовить, хотя бы на скорую руку, яичницу какую-нибудь, и кто еще, кроме нее, будет расталкивать, приводить в чувство любимого сыночка... Работничек! Сам проснуться не умеет.

Иван Игнатъевич вздохнул, скинул с себя тужурку, протер запотевшие с мороза очки, присел за круглый, под скатеркой, стол в центре комнаты, глянул на разбросанные как попало карты, дамы и короли подзатертые, будь они неладны, и опять подумал про тещу, как он ее провожал сейчас на остановку, спозаранку, как всегда. Из года в год, день в день — в канун своих именин — она приезжала к ним с ночевкой, и они, поужинав, вдруг ни с того ни с сего садились за карты и дулись втроем в дурачка почти до самого утра. Никаких разговоров о серьезном. Так только, перекинутся время от времени зряшными словами, подначивая один другого. «Ты, мама, опять всех королей подсобирываешь?» А тещенка за словом в карман не полезет: «Дак я, Ваня, и от валетов не откажусь, мне всего-то семьдесят пять завтра стукнет». И смех и грех. И хорошо им отчего-то, может, оттого и хорошо на душе в эти минуты, что хоть и редко, а все же собираются они вместе, и пусть каждый из них постарел ровно на год, приблизился сколько-то еще к последней своей черте — но пока что жив и видит живыми близких ему людей.

Улыбаясь про себя, Иван Игнатъевич под звуки гимна из ожившего репродуктора вошел в боковушку. Как горел свет всю ночь — так горел он и сейчас, и разобранная еще с вечера кровать для тещи была так и не тронута, и Аня прилегла на самый краешек в чем была, свернувшись калачиком и тут же уснула как убитая.

— Мать, а мать, — легонько ткнул ее в плечо Иван Игнатъевич. — Шесть часов уже, надо что-то делать.

Она вскочила с виноватым видом, и Иван Игнатъевич, тоже чувствуя неловкость, тут же нашел себе дело: сел подшивать Борькины валенки, — как бы красноречиво говоря тем самым, что и себе он отдыха не дает.

— Как вы там с мамой решили-то? — Она сидела отрешенная, тихая, словно пыталась найти толковое объяснение короткому своему сну.

— Да чего там решать, — ответил Иван Игнатъевич, прикусывая зубами дратву, — и решать нечего... Часикам к двум и соберемся.

— К двум... — Аня раздумала зевнуть, поправила выбившиеся из-под платка пепельные свои волосы. — К двум-то поздно, поди. Мне к пяти быть в конторе, какая надежда на подмену-то. Ладно же вы обо мне подумали!

— «Подумали», «подумали»... — мягко передразнил Иван Игнатъевич. — Чего тут думать-то? Думай не думай, а сто рублей, как говорится, не деньги. — До него запоздало дошло, что и впрямь получилось с Аней нескладно, вроде как они с тещей не посчитались с ней, и ответить ему было сейчас нечего.

— А-а, — машет она на мужа рукой, как бы говоря: и надоели же ей эти его шутки-прибаутки, ни о чем серьезном с человеком поговорить нельзя. Нашупывает ногами войлочные разношенные тапки, сшитые в прошлом году Иваном Игнатъевичем, глядит на часы и по привычке оглаживает правое предплечье, втайне радуясь и боясь и думать — тьфу, тьфу сто раз! — что вот сегодня оно утихло, как бы не сглазить. Даже если бы Иван и спросил ее сейчас: ну, как, Аня, рука-то у тебя сегодня, — она бы поморщилась и ответила бы невнятно: «Та-а, моя рука... Нашел о чем спрашивать!» — то есть, мол, разве сам не знаешь мою руку: то саднит, спасу нет, а то отпустит мзлость, да



это только называется, что отпустит, потому как только стоит сказать: «Да вроде седни лучше», как она тут же и вступит опять, будто тут и была рядышком боль-то.

Аня встает и идет в другую комнату будить Борьку, что-то еще ворча по дороге в адрес Ивана Игнатьевича. В два часа пополудни — тоже придумали! Выходит, всего-то час-другой и посидят они у стариков — и снова бежать на автобус, в эту контору техснабовскую, будь она неладна.

«А чтобы-то, казалось, часов на двенадцать и назначить!» — думает она. Нет, что ни говори, а много Ивану не доверишь, все на свой аршин перемеряет, и надо бы ей самой, как сидели-то еще за столом, за картами, обо всем и договориться с матерью.

Уже готовая вот-вот забыть и об этой утренней досаде, и об именинах вообще, думая уже только о том, чем бы лучше накормить Бориску, которому опять весь день таскать на себе баллоны с кислородом, она гремит на кухне сковородой, чистит ее ножом и говорит через прихожку Ивану Игнатьевичу уже просто так, как последнее и, в общем-то, необязательное:

— Не подумавши решили, хуже не могли придумать.

Иван Игнатьевич молчит, слушает бой отстающих настенных часов и для чего-то считает число ударов, считает как-то вдумчиво, обстоятельно, откладывая на минуту свою работу и даже приподнимая на брови очки. Слезящиеся от недавнего напряжения, не отдохнувшие, а, наоборот, нарабоавшиеся за сегодняшнюю ночь глаза его красны, часто помигивают, уставившись в сизое от наружной сутемени окно.

«Не подумавши... Это только сказать легко», — как бы помимо его воли находит на Ивана Игнатьевича обида. Разве наобум скроишь сегодняшний день? По цвету в календаре он будний, а значит, дел, как всегда, по горло. И в собесе-то его ждут к десяти — он назвал сегодняшнее число сам, забыл, раззява, что день этот особый и с личными планами надо быть предусмотрительнее; и опять же на дачный участок успеть — свояченица Катя приедет и будет ждать, ключа от времянки у нее нет, — надо окопать снегом малинник, все повывуло, и перемерзнет, пропадет малина, — эту работу он тоже назначил сам.

Но это еще полбеды. До полудня, худо-бедно, эти два дела он про-вернул бы. Главная загвоздка — выкроить время и сходить на завод, склеить для тещи чуни. Давно обещал, да и дождался вот — именинница сама сегодня напомнила: «Это сколько же можно ждать твои обещанки, зятек? Вот-вот снег поплывет, весна, а мне на валенки надеть нечего, придется покупать калоши...» Ведь знает же, как уколоть человека: калоши! Да разве это выход из положения? Иван Игнатьевич тут же, бросив карты, полез под кровать и достал запыхавшиеся, аккуратно перевязанные шпагатом заготовки для чуней — тонкая, шириной в добрую ладонь, бусая от новизны резина. На, мол, гляди — думает о тебе зять или нет?

Теща, конечно, обрадовалась смущенно. А для Ивана Игнатьевича главная теперь забота — заскочить к себе в цех, натянуть заготовки на колодки и сунуть их в печь вулканизации. И на это уйдет не меньше двух часов. Вот и считай. Прямо хоть разорвись! А она — «не подумавши». Да о ком, интересно, он думал и думает, как не о ней? Много у него самого дел, мало — это ладно. Устанет, не устанет — явится к теще как огурчик. Уж виду не подаст, что забегался вконец. Но ведь и там, на именинах, когда уже все вплоть до Наташки с Борькой соберутся и выпьют за здоровье старого человека, а потом и споют и станцуют, он будет думать все о том же — что скоро пробьет пять часов и Ане надо снова быть на работе.

Вместе с чувством полной своей правоты к Ивану Игнатьевичу приходит чувство голода. «Проработался, как же»,— ухмыляется он про себя, еще в двух-трех местах прихватывает дратвой войлочную накладку и кидает валенки под порог, где, сидя на табуретке, клюет носом Бориска, безвольно держа в руках снятые с багарей портянки.

— На, горе луковое...— беззлобно бурчит Иван Игнатьевич,— да побольше катайся на валенках-то, протирай пятки: как же, батяка починит, он ведь не казенный...

Борька беретса за валенок, а губы его в это время что-то беззвучно шепчут — видно, огрызается втихомолку. Иван Игнатьевич проходит мимо него строго топающим, как он полагает, шагом.

В кухне выясняется, что Аня поджарила яишницу опять только для одного Бориска, сковородка чиста, пахнет вкусным, а кругом пусто, один хлеб на тарелке да сахар в початой пачке. А завтрак для всех будет еще не скоро — только-только приставлена кастрюля с водой, и Аня села чистить картошку. Иван Игнатьевич тут же надумывает, что ему делать. Предвкушая про себя только ему одному известное удовольствие, он берет глубокую эмалированную чашку, крошит в нее черный хлеб, режет круглешками добрую головку лука и, прикинув на глаз, довольно или, пока не поздно, прибавить хлебца еще, густо обсыпает крошево солью и перцем. Аня снисходительно подергивает губами и переглядывается с Борькой, но Иван Игнатьевич на них ноль внимания, снимает с плитки чайник с кипятком и льет в чашку.

— Масло. постное масло-то забыл,— насмешливо говорит из прихожей Борька, косо напяливает шапку и идет к двери.

— Ох ты, якорь-то его! — досадливо спохватывается Иван Игнатьевич, вслепую сует на плитку чайник и берет с подоконника масло и льет щедрее, чем обычно.

— А ничего-о, ничего, прямо надо сказать,— пробует он мешанину деревянной шерботой ложкой, которую берегает бог знает с коих времен для таких вот моментов, где никакая алюминиевая, по убеждению Ивана Игнатьевича, не сохранит, пока несешь хлебово ко рту, истинного аромата и вкуса. Дразня жену, он старательно чмокает, крутит ложкой в чашке, и по кухне плывет тепловатый дух размокшего хлеба и острый запах растительного масла.— Ай да тюря! Всем тюрям тюря! Давай-ка со мной, Аня, бери ложку! — Вполне счастливый, что вот и он тоже чем-то может распорядиться и даже угостить жену, Иван Игнатьевич с надеждой поглядывает ей в спину, но уже знает в душе, что той бы только посмеяться над ним и над его тюрей, никогда она ее в рот не брала и за пищу не считает, а зря.— Ну чем не еда? Ты знаешь, вот в войну, бывало...

Аня гремит крышкой, явно без толку начинает переставлять кастрюли, как бы говоря: знаю, знаю, мол, слышала уж много раз. В другое время и послушала бы она еще, да только не сегодня: начнешь слушать, кивать да поддакивать, а муженьку только того и надо — подумает тут же, что вот она уже и не дуетса на него. Нет, она считает — характер надо выдержать, а то о ней и совсем перестанут думать.

— Ну, тюря! — причмокивает Иван Игнатьевич.

Он уже понимает, что теперь до двух часов жена и слова не проронит. Она выговорится там, у своей матери, когда упреки ее вспыхнут снова, но все больше для того только, чтобы родня видела, что она держит своего Ваню в руках, последнее слово, мол, за ней. И Иван Игнатьевич как бы виновато премоlacht, ища взглядом сочувствия у тещи, и та немедленно поддержит, вступится, с шутливой напористостью накинется на дочку и обнимет его, а потом все выпьют со смехом и прибаутками, хорошо понимая, что это была у них вовсе и не ссора. И Аня уже не будет на него коситься, и сядут они играть в карты уже

как давние партнеры, словно между ними сроду ничего такого — недомолвки, пререкания, обиды — и не было.

Молчит женка, как воды в рот набрала. И надо бы ему помолчать тоже, но душа в нем живет как бы отдельно от разума, душе хочется праздничного общения, и Иван Игнатьевич, помимо своей воли, насухо под конец облизывая ложку, шутливо скороговоркой завершает столь раннюю свою трапезу:

Бог напитал — никто не видал,  
Съел семь печей калачей,  
Одну булочку...  
Кто видел — тот не обидел,  
Ну и слава богу!..

Аня молчит. Только ножик в руках мелькает, и свешивается до самой корзины кривоватая спиралька очистки. Иван Игнатьевич по привычке после еды хочет подымить, но, вспомнив даденный жене зарок, длинно вздыхает. Насчет курения ему научно все разъяснила Наташка, и он в какой-то момент под хорошее свое настроение «попал на удочку»: дал слово и жене и дочке, что отныне, как новоявленный пенсионер, в рот не возьмет никакого курева, а будет «утолять рефлекс» кисленькими леденцами, которые станет держать в коробках из-под папирос. Иван Игнатьевич нащупывает в кармане мятый картон из-под «Беломора», но доставать не решается — строгое молчание жены становится ему в тягость все больше и больше. Ладно, пососет он эти леденцы потом, в проходной со стариком вахтером, которому нынче тоже на пенсию, или уже в цехе, пока заготовки для чуней будут вулканизироваться.

— Ну, я пошел...— говорит он, поднимаясь.— Ты меня, значит, дома не жди — к двум часам прямо к маме и приеду.

Уже на улице, гулко кхакая на морозе, Иван Игнатьевич вдруг спохватился, что письмо от Марии так и осталось лежать на этажерке, а надо бы его захватить с собой.

Решая про себя, возвращаться ему или нет, он озадаченно мнетя на месте. Мороз пробирается под тужурку, похрумкивая, каленеют зажатые под мышкой резиновые заготовки. В набрякшем стынью тумане плавают голые, без единого лучика солнце. Деревья стоят в куржаке онемело, недвижно. «Далеко еще до весны, ой далеко-о...» — говорит себе Иван Игнатьевич. И, утешаясь тем, что Аня тоже небось думает о дочкином письме, а потому уж не забудет прихватить его с собой, Иван Игнатьевич бежит на завод, ссутулившись на морозе больше обычного.

У калитки его поджидает тесть — завидел издалека, окна нового дома жениных стариков прямо на все четыре стороны света, — накинул на плечи телогрейку и, несмотря на мороз, стоял и выжидал, заранее осаживая звякавшего цепью пса. Глядел из-под стынувшей ладошки, как через первые и вторые рельсы, по-за отцепленными цистернами, напрямки от автобуса шпарит зятек. Солнце январское неяркое, а глаза слезятся — посмотри-ка встречу ему, да еще по свежему крахмалистому насту, размножающему лучи.

Зять Иван Игнатьевич в выходной тужурке, уши треуха кверху поднял. «Скажи, какой ухажер выискался», — весело прихмыкнул про себя тесть и крякнул от зависти, что ему не пятьдесят пять, а все семьдесят пять.

Семьдесят пять не семьдесят пять, сказал он себе тут же, а вот дом себе поставил сам, не дядя какой-нибудь. Другой бы на его месте махнул рукой: иди ты, мол, старуха, отвязни со своей идеей, жили же

в этой саманке столько годов, проживем и еще, поди и жить-то уж осталось с гулькин нос... Кто бы другой, но не он, — он тут же побежал на эту станцию товарную, где старуха разузнала про списанные нестандартные шпалы, за бесценок, можно сказать, выписал сколько нужно штук и из тех шпал, даром что они корогкие, вывел вот этот самый пятистенок. Чин чинарем: кухня, спальня-боковушка и передняя, а по современному — гостиная. Все опасались — промерзать, мол, будут шпалы-то, — а поди теперь, глянь: хоть в одном углу заметишь ты куржак, интересно? Теплый дом, чего там говорить. Живи теперь, не тужи — помирать не надо.

Оно и раньше им не худо было, все их молодые годы провели они со старухой в передвижных вагонках. Сорок лет без малого оттрубил он на буровых работах — вплоть до старшего мастера (а как-то целых два месяца и прораба замещал, сидел в одном кабинете с начальником экспедиции), и старуха — тогда еще молодая, понятно, — всю жизнь была с ним, работы в экспедиции хватало и ей. Эх, бывало, как она напускалась на него — не пялься, дескать, на молоденьких лаборанток, кобелина этакий! Смех и грех... А саманку-то прежнюю — здесь же, на переезде, — сварганили себе на скорую руку уже в последнее их экспедиционное лето, когда стало ясно, что выстаивать на буровой смену ему уже тяжело, отекали ноги, застуженные по молодости, когда был дурак дураком и здоровья своего не берег: закатает, бывало, гачи до паха и босичком стоит в шурфе с водой, замеры разные делает и технику наверх докладывает.

Конечно, можно бы и сразу к детям, к той же Ане, — разве они с Иваном Игнатъевичем выгнали бы их? Да ни за что на свете! Или хотя бы Катю взять, меньшую. Хотя, конечно, Катя со своим Сашей...

— Здорово, папа! Ты чего это на морозе стоишь? — подкатил тут гоголем зять Иван Игнатъевич. Потянулся сразу целоваться, будто век не виделись. А и правда, успел прикинуть тесть, ходим друг к дружке раз в год по обещанию.

— Здорово, здорово... Как доехал-то? Гаванской восьмеркой, поди?.. Ну! Ею и езжай всегда. А то Аня блаженная выдала сегодня номер: села зачем-то на трамвай, на тройку, а он же только до машзавода, а там пересадку делать на Защитинский, на шестерку, — это ж надо придумать себе такое приключение! — против воли весело восхитился тесть суматошной своей дочкой. Конфликт не конфликт у вас с женой, Иван Игнатъевич, как бы говорили его глаза, а ему лично, может, больше всех сегодня веселья хочется! Шутка сказать: первый раз со дня постройки собралась в новом доме почти вся-то родня, из ближней только внуков каких и не хватает. Аня вот с Иваном приехали, да детей их двое, да Катя со своим мужем — мало ли!

— Это чего ей в голову взбрело? — удивился Иван Игнатъевич.

Но тестю уже было не до беседы — и уши вконец застыли, и пес чего-то не узнавал Ивана Игнатъевича, рвался с цепи, и его приходилось сдерживать, цыкая на него, правда, только для блезиру — чтобы зять видел, какая у него собака.

Подняв голик с приступки, Иван Игнатъевич толком не обмел валенки и, раздосадованно махнув рукой на пса, поспешно скрылся в сенях.

— Ну и злыдню вы завели! — с укором вошел он в кухню, где сумятились, делая сто дел сразу, теща, Аня да свояченица Катя. С порога заметил, заглядывая за портьеру в переднюю, что Саня, Катин мужик, сидит посреди комнаты на венском стуле и смотрит передачу по телевизору. «Что-то про цирк», — заволновался Иван Игнатъевич, ругнув себя, что опоздал к началу; клоун в полосагых штанах уже давно,

видать, выламывался перед публикой, и Санькина спина и затылок тряслись от беззвучного смеха.

— А ты почаше бы хаживал к нам, зятек! — прищурившись, пропела между тем теща. Она заметила в авоське у зятя готовые, как раз под размер ее валенок, чуши, но виду не подавала, чтобы потом, когда уже сядут за стол, не лишать человека удовольствия выложить свой подарок. — Ты вон спроси у тестя-то своего, — кивнула она за спину Ивана Игнатьевича, шутливо остолбеневшего в дверях от такого горячего напора, — спроси-ка!..

Тесть выдвинулся из-за плеча Ивана Игнатьевича, на ходу скинул с себя телогрейку и потянулся к умывальнику, успевая зорко оглядеть, сколько чего поспело в руках женщин за время его отсутствия.

— Чего, чего у меня спросить-то? — скуповато улыбнулся он своей старухе.

— Да про то, как ты матери-то моей говорил, когда приходил к ней в гости, помнишь? «Теща! Зять пришел: ставь блины!»

— Ну, дак это и я могу так сказать! — радостно смеется Иван Игнатьевич, искоса наблюдая за своей Аней. Та улыбается уголками губ, да и глаза веселые, но для вида позицию пока что выдерживает. — Были бы блины, чего не сказать!

Но блинов на сегодня нет, не достала тещенька блинной муки, будут только пельмени, и холодец, и соленья разные, как водится, и крыть ей, как говорится, нечем. Зря заикнулась!

А тесть, подмаргивая Ивану Игнатьевичу, уже на ходу снимал пробу с последней порции самогонки — плеснул из графинчика в столовую ложку, лизнул раз, другой. вода языком по нёбу и уходя взглядом как бы внутрь себя; потом чиркнул спичкой, коснулся острием четкого желтого огонька края алюминиевой ложки, испускавшей сивушно-терпкий запах, и невидимые пары вмиг занялись сиреневым пухлатеньким огоньком, померцавшим-померцавшим да и исчезнувшим, ровно и не было его вовсе. Только запах тут же сменился — будто закисшее что-то невесть откуда появилось в ложке.

— Конечно, не первый уже сорт... но ничего-о! — заключил тесть, видимо не зная, как поступить с остатком в ложке, потерявшим от огня градусы: и в графин вылить неудобно — лизал с ложки-то; и в таз под умывальником выплеснуть тоже ни то ни се — добро переводит, мол; а если взять да слизнуть как бы между делом, спрашивал он глазами мнение зятя. то, может, и ничего, не осудят женщины, подумаешь, дело какое...

Так и поступил. Звякнул пустой ложкой о стол.

Иван Игнатьевич между тем, незаметно для себя расхоронившись после такой встречи, тут же, в кухне, не проходя в переднюю комнату поздороваться с Катерининым муженьком и не спрашивая Аню, нашла замену себе или нет, напал на свояченицу:

— Ты чего это, интересно, на свиданку сегодня не явилась? (Катя моложе его Ани на двенадцать лет, было у них еще два брата, промеж них годами, да оба остались там, где и многие полегли: один на Курской дуге, а другой уже под Кенигсбергом, нынешним Калининградом. Стало быть, Ивана Игнатьевича она моложе на целых два десятка, тридцать пять ей всего — репа баба!) Я ее, понимаешь, жду, с утра побрился, наодеколонился, — кося глазом в переднюю комнату, громко начал Иван Игнатьевич, чтобы подзавести ревнивого Катеринино муженька, — поджидаю на даче-то, как условились, ровно в двенадцать, как жених, без опоздания прискакал, а ее нет как нет! Ах ты, думаю, обманщица! Замерзну же, думаю, один-то тут...

Теща опять подвизгнула в хохотке — любила, старая. такие розыгрыши, — а Саня в передней дернулся наконец на стуле и поднялся,

вроде как расправляя затекшие от долгой сиденки ноги. Катерина срочно отмежевалась:

— Ах ты, перечница старая! У самого, поди, уже песок сыплется, а он все туда: о свиданках мечтает!

Про песок она, конечно, сказала зря, подосадовал Иван Игнатьевич, тем более при Ане; но уж зато Саня, вышедший на голос жены в кухню, был явно довольнехонек: отбрила, мол, что надо!

— Хм!..— будто только что увидел его, как бы удивленно и вместе с тем с показной огорченностью сказал Иван Игнатьевич.— А он, оказывается, вот он! А я-то надеялся, что человек опять на кормак<sup>1</sup> поехал со своим бугаем толстопузым,— вот, думаю, с Катюхой хоть потанцую!

Саня снисходительно посмеивался, стоя на порожке передней, почти касаясь прилоки своим падающим на глаза чубом — прическа «полубокс», только что, видать, из парикмахерской, кожа на висках белая, не тронутая подкладкой шоферской шапки, и одеколоном пахнет, приятно придохаться к такому человеку!

— Какой там кормак! — безнадежно и вместе с тем наигранно-небрежно отмахнулся Саня. С одной стороны, он как бы говорил, что рыбалка в такой мороз — это сон наяву любого мужика, потому что далеко не каждому удастся раздобыть машину да сохранить ей мотор в тепле, пока ты на льду возле лунки с окунишками возишься. С другой стороны, Саня вечно делает вид, что лично у него все это запросто получается, и доказательства тому самые убедительные — мешок, а то и два мерзлой рыбы, стыло стучащей одна о другую, привозит он каждый раз с верховьев Иртыша. Не было случая, чтобы вернулся пустым. Мороз — не мороз. И «газик» всегда на ходу, трубки радиаторные еще ни разу не прихватило.— Сегодня же будний день! Мы же вот только что, под Новый год, на два дня ездили. Дай отдышаться. Да еще спасибо скажи, что меня мой бугай на полдня отпустил. Еле-еле нашел я замену. Никто не соглашался, ханыги такие, ждать до пяти моего пузана, чтобы домой отвезти его, а потом еще обратно в гараж ставить казенный «газон» и только потом уж к себе домой на своих двоих, или, как говорится, на общественном транспорте.

— Каждый день,— многозначительно взглядывает Катерина на мать и сестру, намекая на муженька,— является домой не раньше семи, а утром убегает тоже чуть свет. Получается, как у колхозника,— от зари до зари. Ни в кино сходить, ни к людям куда. Я уж говорю ему,— улыбается она сейчас (дома-то, поди, всю шею ему перепилила),— женился бы ты, что ли, на своем «газоне» с директором!

Саня ухмыляется с праздной снисходительностью — плохо ли ему, что даже в день тещиных именин не обошли его приятным разговором!

— А ты вообще-то, Саша,— говорит Иван Игнатьевич,— прислушайся к совету жены. Она тебе худого не пожелает. На мое бы мнение — дак так: работа твоя, конечно, может, и привлекательная... только ведь это же полная дисквалификация.

— То есть как это? — надувается Саня. Такого поворота он не ожидал.

Иван Игнатьевич мысленно ругает себя за этот бесполезный для Катеринино мужа разговор, но высказаться уж не может:

— Ты же, Саня, весь день только и делаешь, что сидишь в кабине или в приемной у секретарши и книжки про шпионов читаешь. Баранку, может, и не разучишься крутить, я не спорю, но чутье к машине потеряешь. Сам ведь хвалился: едва лишь забарахлит мотор, может, пустяковая, поломка — а уже директор звонит слесарям: «Срочно исправить!»

<sup>1</sup> Вид зимней рыбной ловли.

Саня, сам не зная почему, сконфуженно молчит. Даже Катерина за него начинает волноваться.

— Ты-то, Иван Игнатьевич,— с тяжелой медлительностью находится наконец Саня,— тоже есть не кто иной, как этот самый дисквалифицированный элемент. Дачу занимел — раз, чуни для собственного пользования на заводе клеишь — два... И вообще даже пару месяцев в году работать в своем цехе не хочешь — на курорт к дочери думаешь завихриться. Это три.— И на Санином лице надолго застывает какая-то негибкая улыбка.

— Вот это сказанул...— Иван Игнатьевич лезет в карман за леденцами, пытливо косясь на Аню: какое на нее произвели впечатление эти ехидные слова Сашки.— Я ведь,— со свистом насасывает он леденец,— до дачки-то без малого тридцать лет в горячих цехах отмантулил, все на одном и том же месте. Меня среди ночи разбуди и спроси что и как — про любую фазу процесса спроси,— и я тебе скажу без запинки! Даром что техника с каждым днем все новая и новая внедряется. Или вот у папы,— вдруг надумывает он обратиться к авторитету тестя, на него перевести разговор,— полюбопытствуй, к примеру: какие марки станков применяются сейчас на бурении.

— Пожалуйста: УРБ-400, УКС-22, АВБ-100...— подхватился перечислять хозяин дома, будто как раз такого поворота в разговоре и ждавший,— это я имею в виду самоходные установки, по четвертичным и коренным отложениям...— И он тоже, как и другие мужчины, косит взглядом при этом на свою старуху именинницу.— А если речь идет о глубинных скважинах, до тысячи и более метров, то здесь применяются,— готовится он загибать пальцы,— такие станки, как...

— Ой, хватит-хватит! — дурашливо затыкает уши Катерина.— Открыли, понимаешь. целую лекцию. Мы что тут,— с игривой дерзостью насаждает она на отца,— про ваши механизмы разговаривать собрались?

— А че, а че такого-то, уж и рот сразу затыкает! — наступают на дочку отец. По нему сейчас всякий разговор и всякое дело подходило — абы только всем радостно было, что вот опять собрались все вместе, и дай-то бог, как говорится, не в последний раз. Жалко вот, старших внуков, Аниных и Ваниных детей, нету с ними. И не придут уж сегодня Мария да Венька... Ой, далеко они! Наташка-то с Бориской явятся с минуты на минуту, к самому столу и будут, а тех двоих уж не дожидаться, видно. Может, разве что в отпуск когда и придут, да не было бы поздно.

Заметно ссутулившийся, он присаживается на уголке табуретки и спрашивает Ивана Игнатьевича:

— Как дети-то старшие-то. Ваня?

— Мария с Вениамином? Да как тебе сказать...— Иван Игнатьевич растерянно взглядывает на Аню, но та сосредоточенно молчит, не поймешь — рассказала она им тут о письме Марии или еще нет.— Живут вроде неплохо. Наташка вот все ехать к ним собирается, а Бориску хотели к весне отправить.

— К ним, говоришь... к обоим сразу, что ли? — недоумевает тещь.— Венька же в Сибири, а Мария — у теплого моря.

— Да она сама толком не решит. То заладит — к Марии. Охота море поглядеть. То опять — к Веньке.

— Лучше-то и не могли придумать,— говорит именинница,— Венька сам горит в своем газу, так еще и девчонку туда же.

— Да нет же,— возражает Аня.— Мария писала как-то, что камвольный комбинат есть там у них. Так вот туда. Ученицей.

— Это ткачихой, что ли?

— А что — как раз женская профессия.

— Женская-то женская...— с чем-то не соглашается тещь,— да вот

у Марии, когда она здесь-то еще робила, вместе с вами жила когда, тоже была женская специальность...

— Дозировщица в химцехе,— подтверждает Иван Игнатьевич.

— Мне так глянулась ее работа,— ведет свое тесть,— халатик белый, как у врачихи. А потом что вышло? Собралась да уехала. И кем она теперь там, на своем курорте?

— Марии нездоровилось тут,— заступается Аня.— Желтая вся была, а теперь, пишет, румянец появился.

Иван Игнатьевич ахает про себя, втихомолку ругая жену за такое заступничество, не дававшее перехода к последнему письму Марии. «Все бы хорошо, да вот сны замучали,— будто опять я в своем цехе... О том же и днем думаю. Вдруг бояться стала, что навык теряю, уходит от меня заводская профессия...» — снова встали перед глазами строчки, словно ножом полоснувшие вчера по сердцу. И он уже хочет тут же сказать об этом письме дочери, сбившем их с толку, как Аня ловко добавляет сама:

— Поправится — обратно вернется, может, как раз к весне и надумает... Куда же еще денется — придет! Пенсию-то ей, как бы ни было рано об этом думать, зарабатывать надо не на каком-то курорте, а на заводе, где и батька ее вот состарился, где и сама она свою биографию начинала.

В неловкой тишине только и слышно, как потрескивают горящие дрова да пофыркивает варево в кастрюле.

— Что-то я не пойму вас... — вразяжку говорит Саня.— То хвалились, что к весне сами к Марии на курорт переберетесь и даже Веньку хотели туда же переманить, а то опять все назад...

Вот чего и боялся Иван Игнатьевич — этого Сашкиного непонимания. Ну что ты с ним будешь делать! Вечно все перевернет по-своему — иначе будто не может человек.

— Не в этом дело, Саня,— строго говорит старый тесть, словно догадавшись о неладном.— Главное не в этом, кто куда поехал, а в том, чтобы дети знали свою правильную дорогу. И тогда в нашем сердце, в нашей памяти они всегда найдут место.

— Во всех газетах,— тотчас пасует Саня,— на какой странице ни разверни, только ткачих и фотографируют, снимки тринадцать на восемнадцать и даже крупнее.— Он смотрит на Ивана Игнатьевича, как бы говоря, что судьба племянников и племянниц ему вовсе не безразлична.

— Ага, во вчерашней или позавчерашней «Правде»,— подхватывает тесть, показывая теперь Сане, что к нему отношение у него не изменилось: мало ли о чем могли они перебраться словом-другим.— Вот в какой-то из этих двух газет как раз есть снимки одной ткачихи: молодая такая стоит и белые нитки рукой гладит!

Он тут же начал рыться в газетах, сваленных как попало на подоконнике, а именинница, снимая последнее напряжение, подросла вслед за ним.

— Во-во! Да вы только гляньте на этого старого кобелину,— шутя возмутилась она,— как он суетится из-за фотографий молоденьких ткачих! Ах ты, гусь мокрострый! — Она и впрямь замахнулась на него мучной скалкой, но тот ловко увернулся и, похохатывая, уселся на переднюю, начал расставлять стулья вокруг накрытого стола.

«Ох, дети-дети», — все еще сидя в кухне, думал свое Иван Игнатьевич и, чтобы больше не связываться пока ни в какие разговоры, шелестел газетой, будто всецело был поглощен чтением, а сам разглядывал снимок ткачихи в сплошном потоке белой пряжи, представляя на ее месте Наташку. Кто знает, может, и станет она ткачихой. Гадай не гадай, а девчонке выходить на свою дорогу надо. А там и Бориска на



очереди. Тут ли они устроятся или, как Мария с Венькой, завихрятся в другие места — все равно им пускать свои корни. Свое дерево, свои ветви. А они уж теперь останутся вдвоем с Аней как бы неполные — словно корень с комлем, от всего-то дерева. По вечерам он по-прежнему будет помогать ей на работе, в этом Техснабе, а она все так же будет воевать с мужчинами, которые после трудового дня не идут сразу к своим семьям, а остаются в конторе и режутся в шахматы, а то и, по-таенно позвякивая стеклянной тарой, выпивают на морозную дорожку...

Какая-то непрошенная жалость к жене захлестнула Ивана Игнатьевича, ей-то ведь без детей оставаться еще горше. И как бы в утешение пало ему на душу зряшное до смешного желание: чтобы повторилось сегодняшнее утро, когда он возился с этой своей тюрей и весело подзуживал Аню, пробуя угостить ее хлебной мешаниной, а надо было старому дураку, вполне уважая состояние жены, серьезно повиниться перед ней — не только за то, в чем сам виноват, но и за все те большие и малые огорчения, которые выпадают ей каждый день.

Вздыхнув, он поднялся, отложил газету со снимком и пошел в переднюю — садиться за стол.

---

Юрий Антропов родился в 1937 году на Алтае. Окончил Московский университет имени Ломоносова. Работал в геологических экспедициях в разных районах страны. Автор книги повестей «Должность с эмоциями» и ряда рассказов, опубликованных в журналах и еженедельниках. Участник Пятого всесоюзного и Московского совещаний молодых писателей.



---

---

СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО

★

## СЛОВА

Пусть будет речь моя тиха,  
но все же низводить не надо  
обычай русского стиха  
до канареечного лада.

В тяжелом марше плотных рот,  
когда шумела непогода,  
я слышал твердое «народ»  
и бесконечное «свобода».

Я помню, помню те слова  
и потому по доброй воле  
поддерживаю их права  
на предпочтительные роли.

\* \* \*

Начинался быт  
без кастрюль и плошек,  
вешалок и ложек,  
ведер и корыт.

Зелен, свеж и юн,  
расправляя плечи,  
сто берез, как свечи,  
выставил июнь.

Начинался ритм —  
шум ветров по роще.  
Не листву полощет —  
ворох пыльных рифм.

Начиналось Я,—  
Голос, Слух и Зренье —  
составные звенья,  
части бытия.

Тайна и режим  
воздуха и тверди,  
с малых лет до смерти  
вам принадлежим.

\*\*\*

Б. С.

Добро — незыблемая данность  
для тех, кому оно дано.  
И тем сильнее благодарность,  
и незаметнее оно.

Мальчишкой — кожи слой на ребрах  
просвечивал, как редкий лес, —  
я видел добрых и недобрых,  
и зло держало перевес.

Учение не отстоялось  
лишь потому, что в те года  
ты, детство, все же состоялось  
и было ясным иногда.

В заботах о жилье и корме,  
когда приблизилась пора,  
в меня вросли иные корни,  
побеги встречного добра.

Не то чтоб в час особой муки,  
но в час тревоги и беды  
его участливые руки  
давали мне глоток воды.

Добро входило в дом украдкой  
при свете будничного дня  
и над распахнутой тетрадкой  
учило разуму меня.

Оно сквозило в каждом жесте  
на грани быта моего.  
Слова слезливости и лести  
лишь оскорбили бы его.



---

---

## ЛЕОНИД КАШИРИН

★

### ТАНЯ

*Рассказ*

**К**упаться на Енисей мы ходили всем двором: Сенька — вратарь, тот, что мазал вратарские перчатки смолой, чтобы мяч не отскакивал от рук; Котик — Вадька Котиков, обладатель новой автомобильной камеры, самый хитрый из нас: новую камеру обклеил заплатками, оттого никто не завидовал нам и не думал отбирать — кому нужна такая латаная камера?

Девчонок из нашего двора мы не брали с собой; плавать они не умели, а сидеть около нашей одежды могла и собачка Игоря Терских, маленькая серая дворняга с черными пятнами на спине. Игорь Терских звал собаку Кляксой. Смешно было смотреть: он обижал ее, называя так, а она, услышав свое имя, ласкалась к нему, виляла хвостом и поджимала уши. Игорь был намного младше нас, на целых четыре года. Его не всегда отпускали на Енисей, боялись; что мы недоглядим и он утонет. Но мы всячески сманивали Игоря — не потому, что он был хороший человек, а потому, что, когда он шел на Енисей, родители давали ему всякой еды. А годы были военные.

Ходил с нами еще один человек — Слава, высокий, сильный. Он уже работал в литейном цехе, выучился в ремесленном училище. Он лучше всех нас плавал и даже дежурил на спасательной станции.

Бывало, мы приходили на Енисей, а Слава уже был там. Он бесцеремонно выгребал у Игоря еду, не всю, немного оставлял нам, и уходил на спасательную. Там работал пожилой Тихоня. Человек хмурый и старый, он, говорят, с Колчаком в Саянах воевал. На фронте убили сына Тихони — оттого и пил и уныло тянул какие-то песни.

Слава дружил с Тихоней — тот давал ему спасательную лодку с флагом. Тихоня знал много всего: и когда болеют рыбы, и когда падают звезды. Он, наверное, так все время и жил на спасательной, я его никогда не видел на берегу. Мы его немножко боялись и думали всякое о нем.

На Енисей мы ходили несколькими дорогами. Шли мимо фабрики «Спартак», где пахло кожей и всегда гудели в пыльных окнах вентиляторы, или мимо синего высокого забора стадиона «Динамо». Напротив этого забора, по другую сторону улицы, было старое кирпичное здание и глухие ворота — там за воротами никто из нас не был, там был завод. А мы везде были. Даже знали, где пролезть, чтобы без билета попасть на стадион, даже знали, где спрятаться после киносеанса, чтобы остаться на другой сеанс, но на заводе никто из нас не был, туда невозможно было пролезть. Иногда около каменного дома валялись длинные спирали металлических стружек. Мы брали их. Сгибали в кольца, стружка

хорошо гнулась, отливала и синим и малиновым цветом, совсем как нефть на воде.

Там, где мы купались, подчаливали катера, и от них вода начинала играть разными красками. Камни делались грязными, и мы пачкали о них ноги.

В стружке, этой витой стальной ленте, интересного было мало, но не оторвешь глаз, как получается эта стружка. В каменном доме окна внизу были покрашены белым. И чтобы увидеть цех, надо было положить у окна большой камень. Хорошо, такой камень был неподалеку, мы подкатили его к дому, но все вместе забраться не могли: камень был, как груша, узкий сверху. Потому смотрели в окно по очереди. Вот дяденька крутит круглую ручку — крутит легко, по двум блестящим рельсам движется тяжелая махина с резцом, станок пока не работает. Но вот дяденька нажал черную кнопку, и железная болванка, ржавая, большущая, не обхватишь, начала вращаться — тогда дяденька покрутил еще одну ручку, резец дотронулся до болванки, дымнул, и тут же болванка засверкала белым пояском. Дяденька нажал еще ручку, и резец сам пошел, а поясок делался все больше и больше.

Мы знали, что это первая стружка и она никогда не бывает ровной и красивой, но вот вторую мы ждали. Она так и поползет с резца на пол, а по полу чуть ли не через весь цех. А если где встретится с водой, то заставит ее зашипеть.

В цехе было много станков, но только здесь, у окна, получалась такая красивая стружка.

Говорили, что завод точит снаряды. Но сколько мы ни смотрели — снарядов не видели. Может быть, в других цехах? Мы специально оставались напротив ворот, когда они открывались и зеленые «ЗИСы», крытые брезентом, тяжело уходили с заводского двора. Во дворе мы ничего не видели, кроме большой асфальтированной площадки с тележкой для стружки.

«Если здесь точат снаряды, значит, здесь могут быть шпионы», — думали мы.

И мы вглядывались в лицо каждого прохожего, нам хотелось поймать шпиона. Кто-то из мальчишек говорил, что он дразнил одного бородача «шпионом», дразнил долго, тот не вытерпел, пошел в милицию и признался, что он фашистский шпион. Конечно, мы в это не поверили. Но на всякий случай и я стал приглядываться к бородачам. Втайне от всех я думал: «Шпионом может быть и Тихоня со спасательной станции, я о нем мало знаю. Да и этот дяденька, у которого с резца вьются длинные стружки, чем-то подозрителен».

Я как-то спросил Сеньку-вратаря, того самого, что мажет смолой перчатки, чтобы не отскакивал мяч:

— Не думаешь ли ты, что этот, за станком, шпион?

— Почему шпион? — спросил Сенька.

— Завод какой?

— Снарядный.

— То-то. А где шпиону работать еще? Не в магазине же. Вот он и работает на снарядном, и стоит у окна, и сообщает тем, кто подойдет, сколько сегодня сделано снарядов. Помнишь, мы как-то только отошли от завода, как вдруг к окну прилип какой-то тип? У него в руках еще был вещмешок, с которым уходят на фронт. Помнишь?

Сенька помнил. Мы стали следить за окном. И чтобы не спугнуть шпиона, перестали подходить к окну.

Мы так хитро следили, ни одному шпиону не догадаться. Из двух половинок кирпича обозначили футбольные ворота и, набив футбольную покрывку травой, гоняли ее по всей улице от стадиона до завода.

Машины здесь ходили редко. Тот, кто стоял в воротах, наблюдал за заводским окном.

Безуспешность, как говорил Слава — он любил такие слова: «уважаю», «безуспешность», «сердце метну к вашим ногам», — так вот, безуспешность выследить шпиона нам надоела. И когда мы вновь подошли к окну и взобрались на камень, то дяденьку-токаря не увидели. У станка стояла девчонка, старше нас, конечно, но девчонка, и у нее с резца вились точно такие же стружки.

Девчонка посмотрела на нас и заулыбалась. А потом железочкой отковыряла замазку на раме и сняла стекло. Теперь нам не нужно было карабкаться на камень, и маленький Игорь наконец-то увидел все, что видели мы.

— А где же этот, — я чуть не сказал «шпион», — где же дяденька? — спросил я.

— Он уже на фронте, — ответила девчонка.

Однажды она протянула нам в окно небольшую деталь. Она была блестящая и теплая, только что со станка. В детали была дырка, Игорь сунул туда палец.

— Правда, — спросил он, — вы делаете снаряды?

Она поднесла ладонь к губам, что значило — тихо, и ничего не сказала.

Из цеха липко пахло машинным маслом, было жарко.

— Пойдемте купаться с нами, — вдруг сказал я.

— С вами? — переспросила она и сделала большие глаза. — А что? Я пойду. Вы где купаетесь?

— У спасательной, — выпалил Котик, но я прижал его локтем и назвал другое место:

— На плотках, справа от понтонного моста, там вода чище.

— Да, у плотов чище вода, — сказала она, подумав. — Я купалась там до войны... Вот отработаю смену и приду. — Девчонка отошла от окна: резец заканчивал проход. Она выключила автоматическую подачу и повернулась к нам: — Только уж, пожалуйста, кавалеры, вы меня встречайте. — И она подмигнула нам.

Игорь в ответ подмигнул ей, и все мы засмеялись.

Она пришла. Совсем другая. В цехе волосы были под косынкой, а теперь распущены по спине. И очень была красивая. Она ловко ступала по бревнам. Бревна были мокрые, она скользила по ним босыми ногами и смеялась.

На плотках пахло водой и корой деревьев.

— Вы, может быть, отвернетесь, — сказала она и, когда все мы отвернулись, нырнула и поплыла совсем не по-девчачьи, а как мы — «на ручках», то есть вразмашку.

— Во дает! — проговорил Котик, обладатель обклеенной камеры.

— Наши, из двора, по-собачьи не могут, — добавил Сеня-вратарь, — а я сначала хотел ей Котькину камеру дать.

С девчонкой со снарядного было очень просто, как с каждым из нас: говори о всяком — и она будет говорить о всяком. И смеялась она хорошо: закроет глаза, подставит солнцу губы пухлые, влажные. Хорошо смеялась. И только одно серьезно рассказала — как жила она под Муртой, в деревне. Был там глубокий омут. Она с мальчишками ходила купаться. Все ныряли глубоко. Но один так нырнул, что достал дно, всплыв, разжал пальцы, на ладони был черный ил и серебряное колечко. Он отдал это колечко ей. Сейчас она бережет это колечко, а парень на фронте, пишет ей письма.

Я помню, мы тоже ныряли. Болело в ушах, но ничего со дна Енисея не могли достать.

Теперь она приходила каждый вечер. Нам хотелось сделать ей что-то хорошее. Однажды я увидел, как трудно «мороженице» — так мы называли женщину, продающую мороженое, она гезла свою тележку. Я вызвался помочь. За это получил кулек вафельных корочек. И я принес их девчонке на плоты.

Я всегда думал, что Слава будет искать нас. И он нас нашел. Он был на спасательной лодке с флагом. Он пристал к плоту, набросил цепь на бревно и, напрягая мышцы (мы-то знали, как он умел показывать себя), подошел к девчонке и сел рядом. Мы были возле, но для него мы не существовали. Он заговорил с ней, и я слышал, он начал врать. Она слушала его и улыбалась. Наверное, не я один думал, как его прогнать отсюда: ведь девчонка была наша знакомая, а не его. А он будто бы и не понимал, что она наша знакомая, болтал и болтал. Может быть, притвориться, что тонешь, он тогда сядет в лодку и оставит в покое девчонку? Но тогда он будет хвастаться перед ней, что спас человека. Может быть, пойти к Тихоне и наговорить ему чего-нибудь, чтобы он не давал лодку Славе? Но и без лодки он, конечно, придет сюда. Что же делать?

А между тем девчонка села в Славину лодку, и он, отвратительный парень, катал ее до самого вечера. Неужели она забыла о нас?

Конечно, Славка был сильнее нас, он знал бокс, имел настоящие боевые перчатки и мог так сильно ударить под ложечку, что захватывало дух. Но неужели она не видит, что он все врет?

Я знал, где она живет, и ждал, когда она пойдет домой. Было поздно. Мне могло попасть дома, но я ждал. И вот — она. Косыночка в руке, веселая. Я встал перед ней.

— Послушайте, Славка вам все врет... Он плохой, он курит,— добавил я, не зная, что сказать еще.

Девчонка рассмеялась, но тут же взяла ладонями мое лицо и поцеловала меня в лоб.

— Иди, иди спи,— сказала она,— уже так поздно...

Я ушел. Я знал, что мне влетит, если она расскажет Славке, и тогда я сам пошел к нему.

— Ну, бей меня,— сказал я.

— Ты что, спятил? — удивился Славка.

— Я сказал ей, что ты врешь и куришь. Можешь бить меня.

Он засмеялся.

— Ты поступил гадко. Но это та девчонка, которой говори что хочешь.

— Ты врешь!

— Тютя.— Он улыбался.— Дите наивное. Какой у тебя рост?

— Ну, метр пятьдесят с чем-то,— ответил я.

— Когда ты будешь в метр семьдесят, ты будешь лучше понимать девчонок.— И он ушел.

День был словно осенний: туман, лужи и холод. На Енисее, чуть выше дебаркадера, стояла баржа, груженная капустой. На берегу весы. Мальчишки разгружали ее, как мячи, летали в воздухе тугие кочаны. Женщины наполняли ими мешки. Хромой Гриша-фронтвик в солдатской шинели хриплым голосом называл вес и писал в тетрадку. Время от времени он покрикивал на женщин:

— Не труси, не труси, говорят.

Женщины встряхивали набитые капустой кули, чтобы вошло побольше.

Я давно замечал, что в туман на Енисее всегда тише. Мыкнет гудком пароход, кажется, рядом, а он на затоне, по другую сторону Енисея.

Я шел к спасательной вышке. Зыбь качала спасательную лодку, цепь касалась воды, с нее падали капли.

В тумане спасательная вышка казалась без углов, дощатый вынос над водой, где любил, облокотясь, стоять Тихоня, тоже исчез. И когда проскрипела дверь и кто-то неразличимо мутный вышел на вынос, то показалось, что он чудом стоит в тумане безо всякой опоры.

Это вышла она, Таня. Девчонка со снарядного. Она курила. Я чувствовал дым ее папиросы. Из будки, я не ошибся,— его, Славкин, голос:

— Ты ничего не забыла?

— Как хорошо сейчас,— ответила она.

Дверь проскрипела и снова закрылась, и Славка подошел к ней. Она опять заговорила:

— Рассказывают, что из-за туманов не родятся яблоки..

Славка молчал. И она замолчала. Слышно было, как зашипел в воде окурок. «Это он, он научил ее курить,— решил я.— Зачем ты пришла к нему? Ты хорошая, а он совсем не умный, только сильный, и все. И вот мальчишка, который достал кольцо, разве бы не обиделся на тебя сейчас?»

Они молчали, и я не двигался, под ногами была галька, она могла зашуршать.

— Хочешь,— проговорила девчонка,— поедем на Столбы? Заводские поедут, и я возьму тебя.

— Я был там. Даже залезал на них.

«Залезал»,— передразнил я. Обязательно бы во дворе похватался. Никуда ты не залезал. Врешь все! И чего она его слушает?

— Я тоже была. Хорошо. Не верится, что столбы — застывшая вулканическая лава.

— Ты придешь еще?

— Только в туман... — тихо ответила она.

— Почему только в туман?

— Потому... Потому что в туман здесь никого нет.

Они спустились по дощатому мостку и ушли, не заметив меня.

Хромой весовщик все кричал. Было сыро, и, казалось, все еще пахло папиросным дымом.

Славка ездил с ней на Столбы. А я не хотел, ни за что не хотел, чтобы туман был еще раз.

Было солнце. В Сибири оно бывает очень жаркое. Было жарко.

Опять всем двором мы ходили купаться, ходили на плоты. Не знаю почему, я надеялся, что Таня придет к нам. Вот узнает, какой Славка, и придет. И она пришла.

На бревнах были куски досок. Солнце вытапливало из них смолу, мы пачкались, оттирали от смолы кожу чуть ли не до крови, рассказывали всякие небылицы и увеличительным стеклом выжигали свои имена на бревнах.

Выжигать было интересно. Под яркой точкой света вдруг начинает шипеть мокрое дерево, затем оно темнеет, и тогда медленно, без дрожи в руке передвигаешь увеличительное стекло. Шириной в ботиночный шнурок пойдет по дереву линия: и пиши, что взбрдет тебе в голову. Я написал: Таня.

Написал и отпустил бревно. Течение подхватило его, и я долго смотрел ему вслед.

\* \* \*

Она пришла, когда Славка неподалеку плавал на спасательной лодке. Он увидел ее, но не подплыл. Сделал вид, что не замечает ее. Она села с нами рядом. Она молчала, и мы молчали.

Никто ничего не знал, я никому о том туманном дне не сказал.

Она сидела, смотрела через Енисей на горы, а я видел, как в ее глазах отражался плеск волн и маленькой точкой — Славкина лодка.



— А я, ребята, утопила то колечко... — проговорила вдруг она и опустила голову.

— Где? — Сенька-вратарь приподнялся с доски.

Все мы посмотрели на нее.

— Там, где очень, очень глубоко...

— Ну, а где? Может, сможем донырнуть? — не унимался Сенька.

— Я знаю одного — мировецки ныряет, — сказал Котик.

— Нет, ребята. Нет-нет. Его не достать оттуда... Эх, дети вы еще, дети... — сказала она ласково и улыбнулась, хорошо так улыбнулась. — Ну... — Она встала, я видел, она смотрела на Славку, тот не замечал ее, он налаживал уключину у весла, его несло течением. — Ну, я пошла, ребята. Прибегайте. Мы скоро будем новые штуки точить, интересные штуки.

Таня пошла. Оглянулась в конце плота, но смотрела не на нас, а на Славкину лодку. Мы помахали ей рукой, она ответила, но смотрела все на лодку.

А на другой день Славка посадил в лодку рыжую дочку коменданта дебаркадера. Дебаркадер был в войну гостиницей, и потому там был комендант. Эта рыжая девчонка не умела плавать, но притворялась, что умеет. Зайдет по грудь в воду и будто бы плавает, а сама одной ногой упирается в дно. Противная вруша. А нос у нее точь-в-точь как у отца, хоть им дырки сверли, — тонкий и длинный. Раньше-то Славка смеялся над ней: «Сначала нос из-за угла покажется, а через тридцать минут сама». А теперь серьезный с ней, голову набок, слушает ее и катает — глядите, мол, на берегу.

Таня работала во вторую смену. Утром приходила на Енисей. И сегодня пришла. Ночью плотов с реки Маны нагнали много: устанешь идти по берегу — все плоты, плоты. А на плотах шалаши, в них сплавщики. Хорошие удилища у них. Славка одно стащил. Ни у кого такого нет — длинное и кончик гнется, как у бамбукового.

Сонный сплавщик с опухшим лицом увидал Славкину лодку и ахнул:

— Ох-о, девка, глянь, что уголь каленый волосья. Сожжет парня, ей-ей.

Таня слышала слова сплавщика и видела эту рыжую в Славкиной лодке, но будто ничего не заметила.

— Это сестра его, — соврал Тане Котик.

Все догадались, зачем он соврал.

— У него нет сестры, — ответила Таня и хотела заговорить о чем-то другом.

— Наверное, приехала откуда-нибудь... — добавил Сенька-вратарь.

— Она не сестра ему, — вдруг сказал я.

Ребята удивленно посмотрели на меня: неужели не понял, зачем они врут?

— Наверняка знаю, что не сестра ему, — снова сказал я.

Все молчали.

Через несколько дней Таня дала мне записку, чтобы я отнес ее Славке.

Сначала я хотел прочитать. Но не стал. Увидел Славку, он сколачивал ловушку для синиц. Славка попросил у меня противогазной резины для крышки, но я не дал и даже не передал Танину записку.

Я вернулся к Тане и сказал, что не встретил Славку.

— Ты не врешь?

— Нет, — ответил я и посмотрел в глаза Тани: я знал, когда смотрят прямо в глаза, тогда человеку больше верят. Я врал первый раз.

— Верю, — сказала Таня. И пригласила в комнату. Там пахло только что вымытым полом и нафталином.

— Чувствуешь? Это соседка пересыпала вещи, говорит мне — война еще долго не кончится, будто бы так в церковных книгах написано.

Таня провела меня коридором — на стене висел разобранный велосипед и детские санки.

— А я так думаю, война вообще не кончится. И буду я всю жизнь одна... И Славку призовут, и всех вас, мальчишек, когда подрастете. И кто останется? Мы лишь, женщины. Мы постареем и будем одинокими, жалкими старушками. Никто не может сказать, когда кончится война. Только все точим, точим, точим эти снаряды — нет, войне не будет конца. Что ты так смотришь? Кому я нужна буду, старуха?

— Нужна,— ответил я, покраснел и опустил голову.

— Ребенок,— улыбнулась она.— Иди ко мне, поцелую.— И сама подошла ко мне, поцеловала в лоб и повернула меня за плечи лицом к двери.— Уходи.

Опять я увидел на стене велосипед и детские санки. А Таня заплакала и закрыла свою дверь.

Она жила одна, комнату сдавала ей старуха соседка. Таня была из детдома.

\* \* \*

На углу большой улицы был госпиталь. Раненых лежало в нем много, госпиталь был пятиэтажный, с одним балконом. Почти всегда на балконе собирались раненые, кто мог двигаться. Они связывали несколько бинтов и опускали на них большую коробку папирос. Мальчишки отвязывали коробку, делили между собой папиросы и мчались на «балочки» — места, где торговали с рук чем приходилось. «Папиросы «Дэли»! Сытные и свежие папиросы «Дэли»!» — кричали одни. Другие, торопясь продать свой товар, кричали: «Дэли», «Дэли» надоели, закурите «Беломор»!» Деньги возвращались раненым. На часть денег покупались папиросные гильзы и табак, и снова мальчишки крутились под балконом, ожидая, когда раненые наполнят гильзы табаком или дадут поручение приобрести на вырученные деньги бутылку «облепиховой».

Бинт выдерживал даже две бутылки, связанные вместе. Не выдерживали у некоторых раненых нервы: просили и просили ребят бегать за «облепиховой». Каждый день из госпиталя увозили мертвых — не всех от фашистских ранений могли спасти врачи.

Зимой страшно было на берегу Енисея, особенно выше того места, где летом были плоты. Бинты, повязки, гипсовые ложементы для ног и рук сваливались в одно место, поджигались, но горели плохо — тлели, и горько-воночий смрад стоял над этой госпитальной свалкой. Госпиталей в городе было много.

Раненые всегда щедро и весело вознаграждали ребят за проданные папиросы; то это была авторучка, то зажигалка, то обыкновенная бутылка из-под вина, а в ней был искусно собран парусный кораблик. Паруса были из накрахмаленных бинтов.

Я тоже научился кричать: «Дэли» надоели, закурите «Беломор»!» И вот однажды раненые послали вознаграждение — маленькую бутылочку, «четвертинку». В ней была роза из марли, облитая воском. Каждый лепесток отделен от других, а все вместе связаны провололочкой.

Я попросил ребят уступить эту розу мне. Отдали с охотой. Кораблик бы не отдали.

И я помчался к Тане. Роза вздрагивала в бутылочке, я бежал и, боясь, что воск облетит с марли, переходил на шаг. Но забывался и снова бежал.

Она была дома. Под косынкой волосы, морская тельняшка и мальчишеские брюки,— она курила и домашней туплей раздавила окурков на пороге, когда я вошел. Она встретила меня зло и не пустила в комнату.

— Ну, что тебе нужно? Что ты все ходишь?

Я вытащил из-за пазухи бутылочку.

— Возьмите, Таня, — тихо сказал я.

В воротах дома я встретил Славку, он шел к Тане.

Я не помню туманных дней в том году. «Ну и пусть, ну и пусть, — говорил я себе, — будут снова эти гадкие туманные дни. Мне-то какое дело?»

Зимой мы носились на коньках по укатанным машинами улицам. Снега было полно. Часто гоняли с утра до вечера, не снимая с валенок коньков, консервные банки, ловили и отпускали птиц, выстреливали пистолеты, очень похожие на настоящие, учились лить дробь и, конечно, радовались очень, когда нас брали в тайгу на охоту. С большим желанием ходили в школу, когда знали, что в обед будет пирожок с ливерной начинкой. Все мы плохо питались: черный хлеб с подсолнечным маслом казался редкостной едой.

Я забыл о Тане, а вернее, старался забыть ее, говоря себе: «Не мое это дело», но даже не замечал, как все приезжал на коньках или приходил на ее улицу. Смотрел на снег у ее ворот, на задернутые занавески окон.

Окно в ее цех зимой всегда было глухо заделано. А с завода все шли груженные машины, покрытые брезентом. Наши войска, я слышал по радио, наступали.

\* \* \*

Какие ж в Сибири густо-белые зимние дни и угольно-черные ночи! А вот и апрель мягко похрустывает тоненьким льдом, тот незабываемый, перед концом войны, апрель. Мальчишки точили ножи — стругать корабли — и вымокали в ручьях, простужались.

Девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Красноярске было сухо и солнечно. На площади ожило радио, спугнуло птиц с церкви — Победа! Заходило по людям это слово, захлопали двери. Победа! Встречный целовал встречного. Поп сел на ступеньку церкви и, не стесняясь народа, плакал от радости. Радио играло музыку.

«Значит, кончилась! Кончилась война! — Меня как подхватило: — К Тане, к Тане».

По улице Сурикова мчалась пролетка. Пусть кучер и врежет кнутом, все равно догоню ее. Со всех ног догнал. Руки на гнутых рессорах, а ноги на втулках колесной оси. Я умел цепляться и держаться до тех пор, пока не уставали руки. Еще год или два назад я не стеснялся так ездить по городу. Даже зимой цеплялся за спинку саней и не дышал в спину кучера, боясь, что заметит дыхание позади и стеганет кнутом. Что дыхание — даже тень свою я старался спрятать в широкую тень саней, ведь заметит, стоит только скосить глаз, — и держись, ладно оходит по заду кнутом, но не боли боишься, а ведь прогонит с саней — вот что досаднее всего.

Если бы я так не спешил, в тот замечательный день я бы не прицепился к пролетке — стыдно это. Но я спешил. Бежал такой знакомой, ее, Таниной, улицей. За мной погналась собака. Потеряю время, ведь один способ уйти — остановиться, нагнуться будто за камнем. Этого красноярские собаки боятся. И еще потерял время — обегал канаву с водой. А в голове складывались слова: «Видишь, Таня, вот и кончилась война. И не ходи ты с этим Славкой. Он врет. А ведь это самое плохое. Кончилась война, и ты будешь хорошая. Самая хорошая».

Тани дома не было. Не было ее и у станка, другая левчонка «гнала» длинные стружки. Я не мог отдышаться, во рту было сладко.

Почему-то я снова пошел к Енисею. Река сверкала от солнца. Колокол на «Уникуме» — портовом катере — ярко-желто горел. На всем бе-

регу не было ни души. Пахло смолой. Но и того, кто смолил лодку, не было видно. Даже страшно стало: никого. А может, это все приснилось? Нет никакой победы? Я ушипнул себя за руку. Больно. Значит, не сплю. Пошел к спасательной. Тихо. Я крикнул:

— Эй, Тихоня! Просыпайся, слышишь, Тихоня, я тебе что-то особенное скажу.

«Жу-у-у» — поплыло над Енисеем. Никто не ответил.

Я пошел к дебаркадеру, там-то всегда были люди. И верно, увидел, как на кнехт сел отец рыжей девчонки и растянул гармонь. Он был весел и пьян. Я повернул обратно. Пойду снова к Тане. Ведь, может быть, она вышла куда-то, а сейчас вернулась?

У спасательной я услышал ее голос:

— Ничего-то он не странный. Втюрился в меня, вот и носится. Помнишь, он розу из марли принес?

Дверь в спасательную была открыта.

Я думал: «А что, если подняться по мосткам, зайти к ним и сказать ей: все — кончилась война, Таня». Но я не мог пойти туда. Не смог себя заставить. «Пусть о том, что кончилась война, она узнает не от меня».

---

Леонид Каширин родился в 1934 году в городе Фрунзе. Окончил среднюю школу, работал слесарем, токарем. В настоящее время работает механиком на агрегатном заводе в Москве. Заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Был участником Московского совещания молодых писателей в январе 1971 года.



---

---

ИВАН ТУЧКОВ

★

## РУКИ

Нет! Я не согласен с поговоркой,  
Что глаза, мол,— зеркало души.  
Мало ль их, рисующихся ловко,—  
Ты мне лучше руки покажи.  
Руки, обожженные известкой,—  
Строчки биографии живой.  
Это ими белый, как березка,  
Восстановлен город мой морской.  
Руки не умеют улыбаться.  
По-солдатски выстроившись в ряд,  
Шрамами украшенные пальцы  
Больше слов про душу говорят.

\*.\*

Словно полит волшебной  
Живою водой,  
Встал из пепла и щебня  
Город мой молодой.

Молодые акации,  
Молодые дома.  
Самым старым — лет двадцать,  
Самым юным — дня два.

Где-то под небесами  
Антенны поют.  
Облака парусами  
В стеклах окон плывут.

Листья трепетно машут  
Вслед их стае стремительной...  
Это молодость ваша,  
Ветераны-строители!

Лишь умолкли раскаты  
Орудийной тоски,  
Шли вы к стройкам, солдаты,  
Смастерив мастерки.

Не водою волшебной —  
Полит потом крутым,  
Встал из пепла и щебня.  
Город мой молодым!

### ЧИСТИЛЬЩИК САПОГ

Днем  
Он чистит чужие.

Ночью —  
Только свои.  
Чтоб в ходьбе они пели,  
Как соловьи!  
Чтоб на свадьбах они  
Грохотали, как гром!  
Чтоб невесты смотрелись  
Не в зеркало —  
В хром!  
Ах, как сладко потом  
Снять их с ноющих ног  
И войти по колено  
В студёный поток!

...А проснется он —  
Чистит опять не свои.  
Потому что свои  
Не вернулись  
С войны.

### САПУН-ГОРА

Свинцом пропахли травы и цветы.  
От вражьих дотов  
Склоны — словно соты.  
О как ничтожны с этой высоты  
Пугающие нас порой высоты!

Севастополь.



---

---

ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО

★

## ВСЕГО ЛИШЬ НОЧЬ ДО ЗАСЕЛЕНЬЯ ЗВЕЗД

Качается певучая арба.  
Ревет телок на дедовском аркане.  
Петлистые пути Тьмутаракани,  
степная, половецкая судьба!

Я снова здесь, в той милой стороне,  
где смешаны круговоротом быта  
век радио и век палеолита,  
лопата и пропеллер наравне.

Живей, волы, ровесники богов,  
туда, где у двугорбого кургана  
стоят палатки полевого стана,  
как воины, узревшие врагов.

А в том кургане спутались века:  
гниет копье, и крошится кираса,  
и каменные кости кипчака  
переплелись с осколками фугаса.

Живей, волы! Закат рыжеволос.  
Торопит в путь скупое время жатвы.

...Всего лишь день от битвы у Непрядвы.  
Всего лишь ночь до заселенья звезд...

\*.\*.\*

Глубокой, илистой водой  
полны полночные озера.  
К воде с покатых косогоров  
сбегает ельник молодой.

А возле озера — трава,  
тропа пружинится кривая,  
за лето не отвердевая,  
в траве приметная едва.

Остановись, и помолчи,  
и слушай, задержав дыханье,  
как где-то, крадучись в тумане,  
клокочут темные ключи.





---

---

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

★

## КОРОЛЕВ \*

Хроника

*Тем сотням и тысячам, которых в сообщениях ТАСС называют просто «учеными, инженерами, техниками и рабочими»;*

*тем, кто готовил «Востоки» и «Союзы», отправлял «Луны» к Луне, «Венеры» к Венере и задраивал люки за неизвестными летчиками, имена которых через два часа повторял весь мир;*

*тем, которые живут среди вас, но которых вы не знаете, потому что они не рассказывают о своей работе и, собираясь в гости, не надевают свои ордена;*

*тем, которые, штурмуя космос, всегда остаются на земле.*

**В** Королева была сильная короткая шея, и когда он смотрел на ракету, он никогда не закидывал голову, а взглядывал как бы исподлобья. Людям, которые плохо знали Главного конструктора, казалось, что он недоволен. Но сегодня на стартовой таких людей не было.

Королев приехал рано, оставил машину на бетонке, шел медленно чуть в горку туда, где уже стояла ракета. Он грипповал, кажется, была температура, не мерил, врачей не вызывал — зачем? Все равно заболеть он имеет право только после старта. Дул резкий, холодный ветер. Он поднял воротник старого драпового пальто. По тому, как изменился ритм человеческих движений на стартовой, как разом поубавилось тут народа, по деловитым и энергичным фигурам тех, которые остались, понял, что его заметили. Кивнул одному, другому, пошел через рельсы к бункеру. В спину ему деревянным голосом заговорил динамик громкой связи:

— Внимание! Через минуту будет дана проверка времени! Подготовиться к заправке...

Он знал, чувствовал: все идет по графику. Вмешиваться не надо. Это будет только нервировать людей. Они все знают сами. Они — молодцы... Сейчас начнется заправка. Глухо, утробно загудят электромоторы насосов и вентиляторов, коротко и громко, как выстрелы, застучат клапаны, хищно зашипит воздух в дренажах — сколько раз он слышал все это! Каждая нота в этом шуме, каждый тихий щелчок магнитного пускателя, каждый стук команд-аппарата сплетались для него в мелодию старта, и он сразу мог уловить в ней фальшивую ноту — тут не нужно ни на какие приборы смотреть.

Тихо подтягиваются цистерны-дьюары. Жидкий кислород парит. Паровозный белый пар. Бледнеет ракета. Иней ползет от днища кислородного бака, ско-

---

\* Журнальный вариант.

ро вся будет белая. Это красиво. Вдруг подумал: «Какой сегодня день?» Пятница. По русским приметам понедельник и пятница несчастливые дни...

Потом, перед самым стартом, он сидел нахохлившись в бункере на своем обычном месте, у своего «персонального» перископа. Его чуть знобило.

— Готовность пятнадцать минут, — бездушным голосом заговорил динамик громкой связи. — Дежурному расчету покинуть стартовую площадку. Доложить об эвакуации личного состава и техники. Дежурным пожарным командам принять готовность номер один!

«Вся эта терминология — личный состав, готовность номер один — нагнетает тревогу, создает представление об опасности, — подумал Королев. — Хотя опасность есть, конечно, — всякое бывало... Нет, весь этот ритуал менять нельзя. И слова тоже. В словах не только тревога — в словах приказ, точность, порядок. Попробуй скажи: «не будете ли вы любезны отвести фермы обслуживания» или «убедительно прошу уйти со стартовой», — и все, конец, вся работа рассыплется к чертовой матери... Слова помогают всех держать в кулаке... Кулак нужен. Вялой растопырной ничего не сделаешь. — Он посмотрел на свою руку — небольшая, но широкая кисть. Бабкина... — Как тянутся эти минуты... Всегда кажется, что запаздывают команды. А может быть, и впрямь вылез где-нибудь боб<sup>1</sup>...»

— Готовность одна минута! Повторяю: минутная готовность!

«Нет, все в порядке. Все в графике...»

— Ключ на старт!

— Есть ключ на старт!

«Сейчас загорится табло...» — подумал Королев. Он обернулся, и тут же, словно взгляд его включил матовый стеклянный прямоугольник, вспыхнуло: «Ключ на старт!»

— Дренаж!

Королев приблизил лицо к перископу и на черной резине, окружавшей окуляры, почувствовал противную прохладу испарины. Белое облачко кислородного пара растаяло: закрыли дренажные клапаны. Сейчас начнется наддув баков...

— Первая продувка! — По магистралям окислителя и горючего пошел азотный ветер.

— Есть наддув боковых блоков!

— Есть наддув центрального блока!

— Есть полный наддув!

— Пуск!

«Что это! Неужели она качнулась? Черт, кажется, я действительно заблеваю. Спокойно. Все в порядке. Остались секунды, считанные уже секунды...»

— Есть пуск!

«Теперь работает автоматика. Конечно, старт можно еще остановить. Одно движение руки к кнопке «сброс схемы» --- и все...»

— Земля — борт!

Королев не отрывался от перископа. Совсем рядом стояла перед его глазами ракета. Он увидел, как быстро, но плавно отошла после команды кабель-мачта. Теперь ничто не связывает ракету со стартовой площадкой. Электрические цепи разомкнуты. Теперь судьба этого шара, спрятанного под обтекателем, там, наверху, зависит только от этой ракеты, только от нее...

— Зажигание!

— Предварительная!

Он увидел какое-то мгновенное озарение, короткий блеск, прежде чем бурое облако пыли и дыма забило под ураганом ее двигателей, стремительно закрывая все вокруг. Оно успело подняться к белому конусу обтекателя, когда, опережая гром, вспыхнул внизу ослепительный ком света.

— Главная!

Ракета была неподвижна. Еще несколько мгновений нужно ей для полета. Она словно раздумывала секунду, стоять ей или лететь. О, как тягостны и

<sup>1</sup> Боб — жаргон ракетчиков. Так называют какую-либо неисправность в ракете или космическом аппарате, причина которой еще не выяснена.

громадны эти миги ее неподвижности! Как трудно угадать среди них тот долгожданный, заветный, вместивший в себя столько сил и дум миг, когда начнет расти все выше и выше, сначала совсем медленно, потом все быстрее и быстрее яростно kloкочущий солнечный столб, поднимающий в небо ракету.

— Подъем!

Вот он! Вот он! Вот он уже оторвался от земли, уже несется вверх гигантский белый кинжал, в сиянии которого корпус кажется прозрачным, эфемерным. Пальцы Королева стиснули черные рукоятки перископа, все плотное, тяжелое тело его напряглось, словно сам, своими мускулами рвал он сейчас невидимые путы тяготения, давая свободу своей мечте, своему труду, делу всей своей жизни...

Только теперь до сознания Королева дошел ликующий, по-мальчишески звенящий голос, все повторяющий и повторяющий восторженную скороговорку:

— Изделие идет устойчиво! Полет проходит нормально! Давление в камерах нормальное! Изделие идет устойчиво!..

И вот уже долгожданное:

— Есть разделение!

Ступени разделились. Ну, теперь, кажется, все...

Спутник уже пел свое «бип-бип» над Тихим океаном. Европа ужинала. Америка просыпалась. Шел 1957 год, четвертый день октября. Шли первые минуты Эры Космоса, в которую вступила планета Земля. Но она еще не знала об этом...

## *Часть первая*

### РАЗБЕГ

#### 1

«Дело прошлое, но последствия налицо»

*Овидий.*

«Однако ж мне положительно не везет... С Екатеринославом получилось некрасиво, но я желал только справедливости... И Мария Николаевна ведет себя престранно. Право, не знаю, у кого достанет терпения испытывать ее равнодушие. Я не мальчик, наконец. И намерения мои ей отлично известны. Надобно решительно объясниться и немедленно. Нынче уже май, а в августе — прощай! Да, решено. Буду сегодня же говорить с ней...» — так бодрил себя Павел Яковлевич Королев, быстро шагая по Гоголевской — главной улице Нежина.

Гоголевскую тут по привычке называли Мостовой, потому что, прежде чем заложили ее булыжником, была она вся покрыта деревянными шпалами, о которых поминал в «Мертвых душах» Николай Васильевич Гоголь, описывая мостовую плюшкинского села. Шла эта улица через весь город, мимо женской гимназии Кушакевича, мимо сквера с памятником, к собору, к рыночной площади. Тут на углу Мостовой и Стефано-Яворской как раз и помещалась бакалейная лавка Москаленко. Николай Яковлевич — хозяин — был человек степенный, молчаливый, на иных лавочников — шустрых, суетливых — вовсе не похожий. По паспорту значился он «козаком Нежинского полка» и вид имел доподлинно казачий: широк и в плечах, и в талии, а вислым, тронутым серебром усам его могли позавидовать исконные запорожцы. В большом доме греческой постройки, крышу которого из лавки нельзя было разглядеть за могучими кронами гоголевского сквера, но расположенном совсем рядом, помещалось многочисленное семейство Москаленко: Мария Матвеевна — жена, Юрий и Василий — сыновья, Маруся и Анна — дочери. Это еще не считая прислуги. Самого хозяина застать дома было трудно, дни его протекали в лавке среди сахарных голов, кулей с мукой, пактов с чаем, крупами и конфетами.

Дом держался на жене. Мария Матвеевна была тоже запорожских казачьих кровей, из рода Фурса, женщина добрая, ласковая, но при всем своем миролю-

бии энергичная и волевая. Ее на все хватало: и детей наставить, и хозяйством управлять, и соленья готовить, да такие, что известны были и шли нарасхват не только в соседних уездах, но и в далеких губерниях, в Либаве, Вильно, Риге и даже самом Санкт-Петербурге! Короче, в славе отменных нежинских огурчиков ее трудов немало. И если уж говорить по правде, главные-то доходы давали именно соленья эти, бочки, что уставились по всему двору, а не лавка Николая Яковлевича. Одно только название — лавка. И дом их пусть скромнен, без затей новомодных, без праздных пиров, но чист, опрятен, всегда найдется чем угостить гостей.

В последнее время гости бывали каждое воскресенье. Музыка, танцы, игры, одно слово — молодежь. Старшенький Юрий уже студент Историко-филологического института, бывшего лицея князя Безбородко, и Маруся уже совсем невеста, от женихов отбою нет. Вот ведь и сегодня Королев придет непременно...

Павел Королев — сын отставного писаря, бессрочно-отпускного унтер-офицера из Могилева, дом родительский покинул после завершения своего образования в Могилевской духовной семинарии, в которой состоял также и надзирателем. Служба по духовному ведомству не обещала ему ничего интересного, ограничивая пищу для его ума, склонного к аналитическим обобщениям. Он решил поступить в нежинский Историко-филологический институт, и зачислен был в августе 1901 года казеннокоштным студентом. Все годы тянулся Королев в лучшие ученики и курс по словесному отделению окончил лишь с единственной тройкой по истории римской литературы. 13 июля 1905 года должны были вручать ему аттестат с долгожданной строкой: «Получает звание учителя гимназии».

Павлу Яковлевичу шел двадцать девятый год — возраст солидный. — он давно уже помышлял об устройстве будущей своей жизни и в последнее время в размышлениях своих неизменно возвращался к черноглазой Марусе — сестре Юрия Москаленку, нынче поступившего на первый курс, барышне редкой красоты. Уже два года бывал он в ее доме и не раз имел случай выказать ей свое внимание.

Вот и сегодня тут все было как обычно: стихи, песни, и вот уже захрипела вальсом широкая граммофонная труба. Музыка нынче мешала ему. Да и все это веселье тоже. Сегодня острее, чем обычно, почувствовал он, что перерос эту компанию, что ему скучно среди вечно веселых барышень и их улыбчивых кавалеров.

Юное молодечество и неиссякаемая энергия Юрия раздражали Королева. «С ним! опять этот Алеша, офицерик, весьма неравнодушен к Марусе», — подумал Павел Яковлевич.

Завидев Королева, Юрий закричал:

— Вот кто нас рассудит! Считаете ли вы, Павел Яковлевич, что цусимское сражение есть не только военное, как думает наш поручик, но и политическое поражение? Я убежден, что волнения в столицах тому подтверждение...

Королеву недосуг было заводить политический спор, не до Цусимы сейчас было ему.

— Увольте, господа. — Он поднял вверх руки.

— Павел Яковлевич не имеет охоты прослыть неблагонадежным, — вскользь бросил поручик, улыбнувшись одними губами.

Королев быстро обернулся. Заходили на лице желваки.

— После этаных баталий, как цусимское сражение, милостивый государь, я сам готов раздавать прокламации! — с расстановкой, глядя прямо в глаза поручику, сказал Королев и, круто повернувшись, быстро прошел в гостиную. Не остыв еще от вспышки, направился к Марии Николаевне. Она сразу заметила какую-то упрямую решимость в его короткой широкой фигуре, в том, как неловко обошел он танцующую Ньюшу, и, глядя в его серые, широко расставленные глаза, смотревшие на нее в упор, поняла, что разговора, которого она давно избегала, нынче уж не избежать.

... Мне надобно говорить с вами, Мария Николаевна. — сказал он глухо, но твердо.

На предложение Павла Яковлевича стать его женой Мария Николаевна ответила решительным отказом. Право же, у нее и в мыслях не было выходить замуж! Едва две недели минуло, как окончила она гимназию и решила к осени отправиться в Петербург, на Высшие женские курсы, изучать французский язык. Однако все обернулось иначе.

После объяснения с Марией Николаевной Королев отправился к ее родителям. Николай Яковлевич выслушал его внимательно, Мария Матвеевна всплакнула чутко, для порядка. Перекрестила. Поцеловала в лоб. Предложение было принято.

В книге бракосочетавшихся в Соборно-Николаевской церкви города Нежина отмечено вступление в брак Павла Яковлевича Королева, двадцати восьми лет, и Марии Николаевны Москаленко, семнадцати лет. Венчаны в Николаевском соборе священником Георгием Спасским. Поручители по жениху: брат Иван Яковлевич Королев и чиновник Могилевского губернского присутствия Иван Адамович Волосиков. Поручители по невесте: казак Михайло Матвеевич Фурса и учитель Василий Матвеевич Фурса. 15 дня августа 1905 года.

Через день после венчания молодой супруг отбыл вместе с женой в город Екатеринодар, согласно назначению преподавателем русского языка в мужскую гимназию.

В Екатеринодаре Королевы пробыли одну зиму. К лету Павел Яковлевич добился перевода в Житомир, преподавателем русского языка и словесности в Первую мужскую гимназию.

Неподалеку от гимназии, на Дмитриевской улице <sup>2</sup>, сняли квартиру. Осенью, когда начались занятия, Павел Яковлевич пропадал в гимназии. Появились новые знакомства, и многие вечера тратил он за разговорами о японской войне, Толстом, спиритизме, эмансипации — разговорами, впрочем, весьма либерального толка. Марию Николаевну с собой не брал. Там курили, ей это было вредно: беременна. Тянулись длинные вечера унылой мокрой осени. Ставни в доме на Дмитриевской закрывали рано. Мария Николаевна оставляла свет только в гостиной. Сидела одна, читала или думала о своей жизни...

Не ладилось у них в семье. Тут, уже в Житомире, поняла она окончательно, что не любит и никогда не полюбит своего мужа. Да, он умный, образованный человек, да, он внимателен к ней, хотя и ревнив безмерно. Но что из того, если все в нем не нравилось ей: и походка, и глаза, и манера забрасывать со лба волосы, и жесткие прямые усы. Не мил он ей был. Иногда он взрывался по пустякам, и вся его нежннская лицейская благвоспитанность мигом исчезала, — такой и ударить может... «На чем же держится моя семья?» — спрашивала она себя и не находила ответа. Все надежды связывала она теперь с рождением ребенка, ждала его с нетерпением и страхом.

Перед самым новым, 1907 годом, в ночь на 31 декабря, родился мальчик. Крестили в Софийской церкви. Павел Яковлевич сам пригласил крестных: учителя С. Е. Базилевича и соседку — жену другого преподавателя С. С. Титову. В метрическую книгу воынской духовной консистории записали: Сергей. Так появился на белом свете Сережа Королев — толстенький, вихрастый крикун. Бабушка Мария Матвеевна смеялась:

— Шаляпин родился!

Скоро, вдоволь насмотревшись на внука, счастливая бабушка уехала в Нежин. Мария Николаевна осталась опять одна.

Ее надежды не оправдались: ничего не изменилось в их семье после рождения Сережи, разве что Павел Яковлевич стал еще более подозрителен и ревнив. Она обрадовалась, когда он сообщил о своем намерении переехать в Киев. Как ни пугало ее переселение с грудным младенцем, но Киев все-таки ближе к своим.

В Киеве ждала их печальная весть — в Могилеве умер Яков Петрович, отец Павла Яковлевича. Павел остался старшим в семье, и теперь все — мать, две сестры и два брата — смотрели на него как на кормильца, ждали его участли-

<sup>2</sup> Ныне улица Леваневского.

вости. Что же делать? Не легко прокормить на жалованье учителя словесности гимназии мадам Батцель жену, сына и семью отца. Семь ртов. Он знал, что такое бедность. Только-только, казалось, начал становиться на ноги, выбиваться в люди и вот... Снова, снова вяжут его по рукам и по ногам, снова вбивают в нищету...

После переезда могилевцев в Киев Павел Яковлевич ожесточился еще более. Нынче все раздражало его: постоянная толчея в крохотной двухкомнатной квартирке, робкие намеки, что деньги опять кончатся, визг и драки сестер-двойняшек, плач сына, жена, сидящая с книгой в руках.

Бесконечный унижительный контроль над каждой статьей семейного бюджета, над любым визитом, разговором, любым шагом вне дома, весь этот мелкий, пошлый вздор делал жизнь Марии Николаевны невыносимой. В ней все более и более укреплялось желание оставить мужа, разом покончить со своею несвободою, начать новую, самостоятельную жизнь, пусть не менее трудную, но имеющую какой-то смысл для нее, какое-то будущее светлое продолжение.

Уже не раз заводила она разговор с Павлом Яковлевичем о Высших женских курсах. Он был категорически против. Мария Николаевна написала отцу. Старик Москаленко чувствовал, что со свадьбой Маруси они поторопились. Жаль было дочку. В письме из Нежина Мария Николаевна нашла пятьдесят рублей — вступительный взнос на курсы. Отец писал, что будет платить за ее учебу.

Курсы только подлили масла в огонь семейной распри. Семья разваливалась на глазах. Впрочем, развалилась она уже давно.

Наконец Мария Николаевна решилась. Серезу отнесла к знакомым, а сама уехала к сестре: Нюша уже училась на курсах, была «словесница» — на филологическом отделении — и снимала комнату. Через два дня из Лодзи приехал брат Юрий и отвез Серезу к деду в Нежин. Павел Яковлевич был вне себя. Просил, умолял, вдруг срывался на крик. Однажды вбежал к ней с белыми глазами, выхватил пистолет, грозил, требовал, чтобы она вернулась.

— Пойми и запомни,— сказала она тихо, почти ласково,— я никогда не вернусь.— Она почувствовала себя необыкновенно счастливой. Это был самый светлый ее день после свадьбы...

Маленький черноглазый мальчик сидел на ступеньках дедовского дома и улыбался солнечным зайчикам, прыгнувшим из весенних луж на уже сухое и теплое дерево крыльца. Он улыбался, он не знал, что у него уже нет отца.

## 2

«Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее».

*Николай Гоголь.*

Когда маленький Сереза готовился поступать в приготовительный класс, он написал сочинение «Дедушка». Совсем коротенькое: «Дедушка мой был давний охотник. Жил он в своем доме. Там был огромный двор и большой сад. Двор весь зарос травой. Около ворот была собака». Все. Вот в этом доме, на траве этого двора и прошло его счастливое, одинокое, странное детство.

Единственный маленький человечек в большом доме, он был и его повелителем и его рабом. Его любили все: дед и бабка, дядьки и тетка, и приказчик деда парень лет восемнадцати, который по дому числился за дворника, и Варвара — правая рука бабки по всем хозяйственным делам, и сестры ее: кухарка Анюта и горничная Ксения, и молоденькая учительница женской гимназии Лидия Мавриковна, и старушка Гринфельд — ее мать, которые квартировали у Москаленко. Все его любили, но он был обделен родительской любовью как раз тогда, когда она нужнее всего человеку. Всегда опрятно одет, всегда сыт на славу, и всегда одинок, и почти всегда грустен. Все ухаживали за ним, и никому до него не было дела. Все играли с ним, а он больше всего любил залезать на высокую крышу погреба слева от вечно замкнутой калитки и следить глазами, как то ули-

це к базарной площади медленно тянутся запряженные ленивыми волами подводы. Много лет спустя, уже студентом, он скажет с грустью: «Детства у меня, собственно говоря, не было...»

Правда, в первый год своей жизни в Нежине Сережа был с мамой. Мария Николаевна понимала, что с курсами придется немного повременить: мальчик еще совсем маленький. Потом мама уехала, а он остался. Теперь мама приезжала только по субботам. О это было настоящим праздником! Калитка распахивалась настежь, и они шли гулять. Летом они уходили далеко-далеко, в такие дали, которые были даже не видны с крыши погреба, — к реке, на базарную площадь, потом сидели в гоголевском сквере, мама сидела, а он носился по аллеям и вокруг старинных фонарей подле памятника и качался на тяжелых цепях ограды, косясь на грустное бронзовое лицо человека с большим тонким носом...

Мария Николаевна, сама еще так недавно вышедшая из отрочества, увлекалась героями Купера и Майн-Рида и, как могла, воспитывала в сыне мужество и смелость. Она специально посылала его в дальние темные комнаты, в ночной сад за каким-нибудь пустяком, и он, робея и оглядываясь, шел, побеждая в себе страх

На смену кубикам пришли солдатики. Сережа рано научился читать, никто и не заметил, как и когда он научился. В пять лет он уже писал печатными буквами и читал книжки. Самый ранний из сохранившихся автографов Сергея Павловича Королева датирован 1912 годом.

Несмотря на изоляцию от других детей и замкнутый образ своей жизни, он не был букой, увальнем, медлительным тугодумом, напротив — отличался подвижностью, шустростью даже, только была в нем какая-то недетская уравновешенность, которая словно тормозила всякие бурные изъявления его натуры.

Пожалуй, самым ярким эпизодом его нежинского бытия явился полет Уточкина летом 1913 года. Прославленный авиатор гастролировал тогда во многих городах России и проездом попал в Нежин. Город заволновался. Группки людей окружали афишные листы, обсуждая будущее невероятное представление, настолько невероятное, что никто, как водилось обычно, не осуждал дороговизну билета — один рубль. В день полета к трем часам ярмарочная площадь, на которой стоял привезенный утром с вокзала биплан, была окружена безбилетным народом. На крышах и деревьях зрели гроздь мальчишек, а солдаты 44-й артбригады, квартировавшие в Нежине, оцепили площадку для солидной публики.

Сидя на плечах деда, Сергей видел, как небольшого роста решительный человек, на ходу натягивая кожаный шлем на рыжую голову, взобрался на биплан и крикнул что-то громко и коротко солдату, стоящему у пропеллера. Солдат рванул лопать, аэроплан затарахтел, затрясся, десятка два других солдат ухватились за его крылья и хвост. Желтое облако пыли, поднятой пропеллером, потянулось к канотье и зонтикам нарядной публики. Толпа чуть зашевелилась, но терпела безропотно.

Прогрев двигателя продолжался около получаса. Наконец Уточкин взмахнул рукой, аэроплан дико взревел, пыль поднялась смерчем, и Сергей уже с трудом различал в желтом облаке контуры солдат. Потом аэроплан дергаясь покатился по площади, все быстрее и быстрее, некоторое время солдаты бежали за ним, держась за крылья, потом отстали. И тут аэроплан полетел! Сергей видел, как он сначала подпрыгивал, легко ударяясь колесами оземь, а потом оторвался и... полетел! Чуть кренясь, аэроплан все набирал высоту и поднялся уже метров на пятнадцать!

Уточкин пролетел километра два и сел на поле близ скита женского монастыря. Толпа хлынула к месту посадки качать героя, а Сергей с дедушкой и бабушкой пошли домой.

Осенью 60-го, когда отбирали летчиков в отряд космонавтов, Королев вдруг вспомнил рыжего Уточкина, так ясно вспомнил весь этот далекий солнечный день и острый запах желтой пыли...

К осени 1914 года, уже после объявления войны, обнаружилось, что денежные дела Москаленко в большом расстройстве. Появились новые энергичные люди

со специальными машинами, это вам не кустарное соление, а целые фабрики, где было Марии Матвеевне угнаться за этими капиталистами, не те уже силы. Торговля ее хирела. Решили срочно ликвидировать все дело, продать магазин, дом и перебраться в Киев...

Сняли квартиру на Некрасовской, с великими трудами и шумными хлопотами собрались, погрузились, переехали наконец, зажили, как прежде, все вместе, одной большой семьей. Да, все как прежде и все — другое, совсем не похожее на милую нежинскую жизнь. И квартира тесна, и без хозяйства сиротливо, и дети не те уже, взрослые, самостоятельные, и город — чужой, большой, шумный. И большая, шумная, совсем незнакомая жизнь проникала сквозь стены новой квартиры, принося с собой неизведанные волнения — никуда не уйти от них...

На Крещатике бестолково шумели «патриотические» демонстрации: «За Россию, за победу!», а рабочие бастовали. Недовольных стригли в солдаты. На их место присылали военнопленных. У Гретера и Криванека, Фильверта и Дедина<sup>3</sup>, на «Ауто», «Арсенале» работали немцы. В городе появились листовки. А с фронта ползли тревожные слухи: армия отступала, военные неудачи весной и летом 1915 года еще больше обостряли противоречия в тылу. И не верилось, что так недавно существовал в этой жизни тихий зеленый Нежин, чаепития за закрытыми ставнями, аттракционы Уточкина... Другой мир...

Сергей все время чем-то занят: раскрашивает картинки, клеит модельки, собирает марки, играет в солдатки, строит мосты из кубиков и радуется, когда Григорий Михайлович приносит ему книжки и цветные шары...

С Григорием Михайловичем они познакомились уже давно, еще до того, как Сергей оставил Нежин. Мама привезла его в Киев удалить гланды. Их встретил высокий, стройный мужчина лет тридцати, с приятным, несколько удлинненным лицом, спокойными ясными глазами. Это и был Григорий Михайлович Баланин.

Курсисткой Мария Николаевна снимала комнату на Фундуклеевской. У хозяина был сын-тупица, и Григорий Михайлович натаскивал его по математике.

Сын объездчика в лесничестве, Баланин окончил сельскую школу, потом городскую семинарию, которая, к его собственному удивлению, не убила в нем охоты учиться дальше. Он уехал в Петербург, где ему удалось поступить в учительский институт. Положенные годы отработки провел он в Финляндии и Карелии, накопил там денег и уехал в Германию. Из Германии Григорий Михайлович вернулся с дипломом инженера по электрическим машинам и блестящим знанием немецкого языка. Однако в России немецкий диплом считался неполноценным, и, чтобы получить звание инженера, Баланин поступает в третий институт — Киевский политехнический, открытый в 1898 году. К тому времени, когда он познакомился с Марией Николаевной, он числился в студентах, но студенческого в нем было мало: взрослый, сложившийся человек, отличный инженер, который, однако, не мог доказать это на деле. Лишь в 1913 году получил он диплом.

Тогда, в киевской больнице, весь в тревогах перед ее белой суровой чистотой, где, как он понимал по особенной ласковости матери, с ним должны были сделать что-то неприятное, маленький Сережа еще не мог знать, что человек этот сыграет в судьбе его одну из важнейших ролей, принесет ему так много добра и немало огорчений, а потом станет на долгие годы его старшим товарищем. Тогда было первое знакомство.

Вскоре бабушка как-то вечером объяснила Сереже, что мама выходит замуж за Григория Михайловича, что теперь он, мама и Григорий Михайлович будут одна семья.

— А ты? — спросил Сережа.

Бабушка улыбнулась.

Вскоре вместе с сестрой Нюшей Мария Николаевна уезжает в Саратов, куда эвакуируют Высшие женские курсы. А Сережа опять остается с бабушкой.

<sup>3</sup> Крупные киевские заводы. В 1915 году на них и других предприятиях работало 1239 немецких военнопленных.



Наверное, если бы Мария Николаевна не уехала из Киева, не было бы этих смешных и трогательных писем мальчика, стоящего на границе детства и отрочества:

«Мне было очень скучно 28 февраля и теперь не весело, учиться трудно... Милая и дорогая мама, я сделаю 25 марта <sup>4</sup> крем, на свои деньги куплю сметаны на 90 коп. и устрою угощение, а Юра мне обещал рубль. Погода то плохая, то хорошая... Мне очень, очень трудно учиться. По закону божьему и арифметике...»

«Милая мама, я о тебе не скучаю и прошу писать, как твое здоровье, а то ты снилась мне нехорошо... Я ел за вас блины и съел штук восемь, а перед этим штук 5... Аэроплан склеил. очень красивый...».

Мама вернулась к лету. Бракоразводный процесс состоялся наконец. Павел Яковлевич требовал, чтобы ему отдали сына, но суд отказал. В ноябре 1916 года Мария Николаевна вышла замуж за Григория Михайловича Баланина.

В начале 1917 года Григорий Михайлович был переведен в Одессу в управление Юго-Западной дороги.

Спустя некоторое время Баланин стал начальником портовой электростанции. Сначала они снимали квартиру на Канатной, но вскоре выпал случай перебраться поближе к электростанции, и они обосновались на Платоновском молу в просторной квартире, балкон которой выходил на море, а внизу цвела сирень и зеленели олеандры. И буквально с первых дней своей одесской жизни маленькая семья портового инженера была втянута в водоворот событий, поломавших весь привычный уклад города.

Наверное, ни один другой город не переживал в те годы столько перемен, сколько выпало на долю крупнейшему южному порту России. Власть была пестра и неопределенна: органы Временного правительства не считались с Советом рабочих депутатов, Совет не признавал Временное правительство.

Новый, 1918 год город встречал в ожидании неведомых событий. По улицам маршировали вооруженные ахтырцы, моряки с «Синопа» <sup>5</sup>, рабочие Красной гвардии. 15 января началась уже серьезная стрельба. Юнкера и гайдамаки держались дня два. Уличные бои то затихали, то разгорались снова. Третья городская гимназия, в которую определили Сергея осенью, закрылась на неопределенное время. Теперь он сидел дома: мама строго запретила выходить за ворота порта, но и отсюда он отлично слышал далекие, звенящие над морем выстрелы. 27 января на стене электростанции он увидел наскоро прикрепленный серый листок: «Во всем трудящимся города Одессы...» — в городе Советская власть.

Открылись школы. Уже не гимназии, а школы. Но опять проучился Сергей совсем недолго: через полтора месяца в Одессу вошли австро-германские части. Сергей видел, как расхаживал по порту высокий немецкий офицер, деловито осматривал причалы, расспрашивал о глубинах, стоянках на рейде, что-то аккуратно заносил в записную книжку. Григорий Михайлович переводил. Неожиданно понадобилось его знание немецкого языка.

Немцы и австрийцы ушли в ноябре. Сергей слышал, как Григорий Михайлович рассказывал маме, что генерал Бельц, начальник австрийского гарнизона, застрелился. Немцы ушли, но радоваться было рано: 26 ноября в порту высадился франко-греческий десант. Подоткнув за пояс шинели, залиvisto хохоча, по трапам сбегали веселые французы. Началась новая, может быть, самая дикая и жестокая полоса разгула контрреволюции. В ту зиму погибли герой-большевик Николай Ласточкин, отважная Жанна Лябурб и ее боевой товарищ по «Иностранной коллегии» Жак Елин.

Зима 1919/20 года была самой трудной и голодной. Мария Николаевна преподавала украинский и французский языки. Платили бидончиком ячневой, нестерпимо насоленной каши, но все радовались: соли не было. За солью надо было ходить на Хаджи-бей, копать лунку, заливать соленой водой лимана, а по-

<sup>4</sup> 25 марта — день именин Марии Николаевны.

<sup>5</sup> Ахтырский, Колонтовский, пулеметный, кавалерийский полки одесского гарнизона моряки «Синопа» подерживали большевиков.

том ждать, пока вода отдаст соль. В Одессе подъели все. никаких продуктов в городе не было. Иногда вдруг выдавали лавровый лист. Роились толкучки, все всё продавали, а покупателей было мало. Ценности сместились: за полмешка муки отдавали меховую шубу. Но часто некому было отдавать. Приходилось ездить по селам, по богатым немецким хуторам — выменивать.

Однажды, возвращаясь домой в тесном, смрадном вагоне «кукушки», Сережа почувствовал, что ему нехорошо в этой толчее и духоте. Кружилась голова. «Надо выбраться отсюда, и все пройдет», — думал он.

Лучше не стало. Это был тиф. В ту зиму переболела вся семья. Но выдюжили, дождалась весны, первой молодой травки. Нет ее слаще...

Е апреле 1919 года восстали французские моряки. Над эскадрой интервентов реял дух «Потемкина», и Париж испугался Андре Марти — был получен приказ об эвакуации из Одессы. С апреля по август — робкие попытки Советов наладить жизнь разбитого, голодного, почти наполовину опустевшего города. В августе пришли денюкинцы. Усталые, измученные, злые, сознающие уже свою обреченность, они устраивали пьяные дебоши и бессмысленные облавы, кричали о смерти «красных бандитов», но сами были уже мертвецами. От пирсов отваливали набитые по клотик пароходы, шли на Истамбул — уходили в безвозвратное, горькое, страшное плавание...

7 февраля 1920 года в Одессу пришла Советская власть. Теперь навсегда. Но не скоро еще отошли в прошлое пустая похлебка и холера, и рвань на плечах, и неподвижные краны на причалах, пока забылось «время голода, пайков и диких зимних ночей на одесских улицах», как писал в 1922 году молоденький репортер из одесского «Моряка» Константин Паустовский...

В те годы очень нелегко приходилось взрослым и совсем тяжело — детям. Бура революции так вихрила листки календаря, что дети той поры выросли со стремительностью, нам сегодня непонятной и удивительной. Конечно, в 10—13 лет Сережа Королев оставался ребенком, но рядом с мальчишеской жизнью его, внутри этой жизни, росли заботы вовсе не детские, вставали вопросы совсем не ребячьи. Уже не из нежинских сказок — на глазах Сергея создавались новые представления о добре и зле, произволе и справедливости, смелости и трусости. Григорий Котовский был знаком не по кинематографу — его легендарная биография рождалась здесь, на одесских улицах. Николай Ласточкин был не отвлеченным, забронзовевшим героем гражданской войны — он мог видеть в порту, как гнали его белогвардейские палачи, связанного и избитого, в трюм превращенной в тюрьму баржи. Эти суровые годы ускорили для него процесс выбора симпатий и увлечений, вызревания вкусов и наклонностей, короче — ускорили процесс определения его человеческого Я. И не удивительно, что уже к 16—17 годам его жизни этот процесс, по существу, завершится — мальчик превратится во взрослого человека.

### 3

«Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку, наружный успеет еще действовать. Выходя позже, он будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться: не за свое не возьмется. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного. И у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди и граждане».

*Николай Пирогов.*

Летом 1922 года в Одессе распространился слух, что на Старопортофранковской в здании Второй женской гимназии<sup>6</sup> открывается школа — учебное заведение нового типа, необычное и замечательное. Впрочем, программа ее тол-

<sup>6</sup> Ныне Комсомольская улица. В этом здании сейчас находится городской холодильник.

ком никому не была известна, а заочная популярность объяснялась прежде всего тем, что среди преподавателей будущей школы назывались фамилии людей, в городе известных и уважаемых.

Будучи сама величайшим историческим экспериментом, революция порождала в умах людей деятельных и талантливых жажду экспериментирования. Жить так, работать так, как жили и работали раньше, было невозможно. Поиск шел везде — в политике, экономике, искусстве, литературе, и не затронуть сферу преподавания он не мог. Он, собственно, и породил одесскую стройпрофшколу № 1, в которой учился Сергей Королев.

Душой новой школы был Александр Георгиевич Александров, учитель гимназии, педагог талантливый и человек энергичный. Задуманная им школа, с одной стороны, должна была, не отказываясь от функций классической гимназии, дать общее среднее образование, с другой, путем введения ряда специальных дисциплин наделить своих выпускников конкретными строительными профессиями. Два отделения — архитектурно-строительное и санитарно-строительное — должны были готовить штукатуров, кровельщиков, сантехников, плотников, каменщиков.

Короче говоря, школа была очень интересной, и не удивительно, что Сергей Королев захотел в ней учиться, а решение его было поддержано матерью и отчимом.

Открылся новый, неведомый ему мир. Мажорно-приподнятый дух школы с ее лозунгами: «Да здравствует свобода!», «Перед нами весь мир!», «Учись, трудись, борись!», «Математика — гвоздь всего!», обстановка доверительного равноправия, демократичность наново создаваемых традиций и правил — все это нашло отклик в душе юного Королева, и о недолгом времени, проведенном в стенах этой школы, с теплой благодарностью он вспоминал всю жизнь.

Среди его одноклассников был Валерьян Божко, просто Валя, с которым они дружили все эти трудные годы. Теперь они сидели на одной парте. Этому очень скромному, тихому, высокому и невероятно худому пареньку во время войны оторвало ниже локтя правую руку, он писал и искусно чертил левой, любил и умел мастерить и, пожалуй, только в гимнастике не мог разделить тогда с Сергеем его увлечений. В классе быстро сколотилась дружная компания: Сергей, Валя, весельчак Илюшка Йоффик, типичный одесский «жлоб» Жорка Калашников, нескладный, подслеповатый Володя Бауэр, знаменитый тем, что мог с завязанными глазами различать людей по запаху.

Впрочем, первым Сергей очутился в этом списке совершенно случайно. Как дружно отмечали много лет спустя все его одноклассники, Королев в школе был фигурой довольно неприметной. Он никогда не входил в классную «элиту», не держал первенства ни в чем: не был отличником (Надя Хлебникова — любимица классного руководителя Ф. А. Темцуника — совершала буквально подвиги успеваемости и прилежания), не считался «душой компании» (эти лавры были у Ильи Йоффика), не числился выдающимся спортсменом (Калашников был безусловно более сильным гимнастом), не блистал на школьных театральных подмостках (там царил Жорж Назарковский), не слыл музыкантом (Юра Винцентини и Лидочка Гомбковская хорошо играли на рояле). И все-таки было в нем что-то, какое-то инстинктивно ощущаемое всеми превосходство, решительно не позволявшее причислить его к категории «серых» личностей. Иначе чем же объяснить, что во всех делах и проделках, вечеринках и прогулках, спорах и состязаниях всех умников, чемпионов, острословов и других признанных талантов, во всем этом — он рядом, без него не обходятся, он нужен.

Трудная выдалась зима. Не было света, бумаги, топлива. Уголь по Днестру не шел, а дров не хватало. В классах сидели в пальто, да и в пальто было холодно. Одно название — пальто: «рыбий мех». Все поизносились за эти годы, ходили бог знает в каких нарядах. Мария Николаевна сама научилась даже обувь шить.

В феврале 1923 года Александров увлекся идеей создания при школе производственной мастерской. По его мысли, нехитрая продукция ее, изготовленная

руками учеников, могла реализовываться, а полученный доход идти на укрепление латаного школьного бюджета. Все было подсчитано, продумано, помещение под мастерскую определено, весь вопрос был только в том, где, собственно, взять станки и инструменты. В 1923 году это была серьезнейшая проблема: каждый напильник на вес золота. И тут совершенно случайно узнали, что на Молдаванке<sup>7</sup> продается столярная мастерская.

Константин Гаврилович Вавизель, владелец мастерской «по изготовлению деревянных шкивов», согласился продать свое «дело» профстройшколе.

— Только одно условие, молодой человек, — сказал старый столяр Александрову. — Вы забирайте и меня вместе с мастерской...

Так школа получила и мастера-наставника и инструменты.

Сергей ходил у старика Вавизеля в любимчиках. Столяр доверял ему, знал: Королев — парень серьезный и аккуратный, ничего не ломает. Сергей допоздна засиживался в мастерской. Он любил мастерить, да и Вале Божко нужно было помочь: с одной рукой много ли сделаешь рубанком?

Весной, с первым теплом как-то повеселели. Из промерзшей школы все торопились по домам, а теперь и уходить не хотелось. Сергею тут нравилось, да и учиться было интересно. Давали начала высшей математики, строительной механики, сопромата. Ставили, пусть простенькие (для сложных не было приборов), опыты. Владимир Петрович Твердый придумал чего, кажется, проще: на козлы положили доску, нагружали кирпичами, потом замеряли прогиб, вычисляли модуль Юнга для дерева. Борис Александрович Лупанов устраивал литературные диспуты. «По косточкам» разбирали, судили, защищали Катюшу Маслову, Базарова, Раскольникова. Королев сам руку поднимал редко, но когда спрашивали, отвечал толково. Однажды на уроке физики Александров наставил кучу двоек: никто, даже отличники из отличников, не могли нарисовать и объяснить принципиальную схему телефона. Вызвал Королева. Все были уверены, что сейчас появится еще одна двойка. Но Сергей не спеша нарисовал на доске схему и все разобъяснил. Ребята очень удивились, а Жорка Калашников сказал:

— Вы у нас, Сережа, просто Эдисон!

Весной захватило мальчишек новое увлечение: яхты. Яхтами Одесса всегда славилась, но в годы гражданской войны, право, не до них было. Многие хозяева знаменитых парусников удрали за границу, бросили своих красавиц на произвол судьбы. Теперь энтузиасты устроили в порту военно-морской пункт допризывной подготовки — организацию добровольную, полувоенную, забрали яхты, подремонтровали их, переименовали для порядка. «Маяна» стала «Лейтенантом Шмидтом», «Меймон» — «Коммунаром», «Ванити» — «Комсомолией».

Теперь прямо из школы Жорка Калашников, Володя Бауэр, Сережка Королев бежали в бывшую Арбузную гавань, на яхты. Калашников ходил на «Ирэне», Бауэр — на «Метеоре», Королев — на «Лейтенанте Шмидте», которую все, в том числе и сами «крестные отцы», по-прежнему звали «Маяной».

До революции «Маяна» принадлежала Фальцвейну, владельцу консервных заводов и нынешнего заповедника Аскания-Нова. Это была превосходная яхта, построенная англичанами в 1910 году по проекту знаменитого Мильнса — лучшего конструктора яхт. Участвуя во всемирных гонках, восемь раз была первой и дважды — второй. На этой яхте Сергей Королев не раз выходил в море, а при хорошем ветре «Маяна» добежала до Николаева, Херсона, до самых крымских берегов.

Удивительно, но эта яхта пережила своего, тогда такого молоденького, матроса и цела до сих пор...

Не одни яхты ожили в порту. Порт просыпался, словно шумный, веселый великан, давший жизнь этому городу-баловню в семье русских городов, городу, который все любят. Зазвенели у ворот порта таможенные весы, запыхтели окутанные зыбкими облачками пара краны на Платоновском молу, и замелькали белые «голландки» грузчиков.

<sup>7</sup> Молдаванка — район Одессы

Во всей этой живой, быстрой, забитой до отказа звуками и запахами пестроте был у Сергея Королева свой уголок, куда тянуло его постоянно: Хлебная гавань. Здесь, неподалеку от мельницы Вайнштейна, за колючей проволокой базировался 3-й гидроотряд Черноморского флота — «ГИДРО-3».

Гидросамолеты были для него чудом, сказочным порождением двух бескрайних стихий — неба и моря. Сколько раз, сидя на ржавом боку землечерпалки, следил он, не отрывая глаз, как медленно и осторожно, с какой-то нежной одушевленностью, выкатывалась из ангара тележка с гидросамолетом, как загорелые парни в тельняшках подхватывали его за борта и несли к морю по деревянному настилу, несли осторожно и тихо опускали в воду. И вот уже летающая лодка плавно закачалась, задвигалась, словно ей не терпелось уйти поскорее туда, за волнорез, где начиналась ее дорога в небо. Поплавки на концах крыльев на секунду уходили в воду, но тут же упрямо выступали вновь, умытые, блестящие. Сверху гидросамолеты были сине-зелеными, под цвет морской волны, а снизу — ярко-желтыми, так что даже в пасмурные дни бежали по воде от их крыльев солнечные блики.

Полететь на гидросамолете! Это стало для Сергея манией, мукой, навязчивой идеей. Он не видел никаких путей к ее осуществлению. Он просто ходил в Хлебную гавань, сидел, смотрел и ждал случая проникнуть за заветный проволочный забор. Иногда он подплывал к деревянному настилу и пытался робко и неумело завязать разговор с теми счастливцами, которые жили за проволокой. Чаще всего его гнал часовой, и он опять сидел на землечерпалке в тоске и обиде на весь шар земной.

Но постепенно к нему привыкли, а может быть, почувствовали его страстное любопытство, незаметно произошло то самое, неопределенное, не имеющее четко очерченного начала, про что говорят: «втерся в доверие». И однажды он вступил на обетованную землю отряда гидроавиации.

Существовало, однако, еще одно немаловажное обстоятельство, которое, с одной стороны, усиливало интерес юного Королева к гидропланам — «морским девяткам», а с другой, облегчало ему задачу проникновения в «ГИДРО-3». Обстоятельство всесоюзного, даже международного масштаба.

Как раз в это время замелькал в газетах лозунг «Даешь крылья!». В стране рождалась новая организация: Общество друзей воздушного флота. За двенадцать месяцев число членов общества выросло с шестнадцати тысяч до миллиона с лишним. Ячейки ОДВФ создавались всюду, даже при советских посольствах за границей. Как на дрожжах росли аэроклубы, аэрокурсы, аэрокружки, аэровыставки, аэроуголки. Не было города, где не собирались бы средства на постройку самолетов и планеров, да и строили их тоже почти в каждом городе. Рабочие отчисляли процент гонорара на строительство аэроплана «Рабкор», профсоюз химиков закладывал дирижабль «Красный химик-резинщик». В деревнях катали перепуганных крестьян на агитсамолетах, по ярмаркам разъезжали аэроагитстенды, в клубах разыгрывались «аэроинсценировки», создавались аэробibliothечки. Число членов ОДВФ намечено было довести к лету 1925 года до трех миллионов человек. О том, какое значение придавалось новому обществу, можно судить хотя бы по тому, что в совет ОДВФ были избраны: Бубнов, Ворошилов, Калинин, Каменев, Микоян, Орджоникидзе, Сталин, Фрунзе, Чубарь, Эйхе, Якир и другие.

Безусловно, кое-где на местах, как говорится, перехватили, была и показуха, и рапорты ради рапортов, и фантастические проекты аэропланов, которые «действуют посредством наэлектризованного песка», над которыми иронизировал А. Платонов в своем «Городе Градове», — короче говоря, было все то, что возникает от избытка администрирования и невежественной сверхинициативы. Известный уже тогда конструктор и летчик Сергей Владимирович Ильюшин с горечью писал, что авиационные кружки «росли, как грибы, и к концу 1924 года насчитывалось сотни их, но они так же быстро распадались». Однако все эти минусы никак не могли перечеркнуть плюсы.

Плюсов было заведомо и несравненно больше. Увлечение авиацией стало не

просто увлечением молодости. Оно возникло из прекрасной убежденности в том, что свободный народ может и должен преодолеть исконную отсталость во всех областях и сделать это быстро. Оно подкреплялось ясным сознанием необходимости укреплять оборону своей молодой республики.

Много лет спустя другой Генеральный конструктор, Олег Константинович Антонов, первые шаги которого в авиации связаны с ОДВФ, столь же справедливо, как и С. В. Ильюшин, писал об этих годах:

«Откуда же бралась у совсем молодых ребят — комсомольцев, школьников, даже пионеров — такая уверенность в своих силах? Уверенность порождалась всем духом эпохи. Все кругом: новые общественные отношения, промышленность, сельское хозяйство, наука, искусство — все строилось заново. Должно быть, пример старших, смело решавших эти небывалые всемирно-исторические задачи, расцвет народных талантов, с жадностью приобщавшихся к мирному творческому труду после отчаянно тяжелых лет гражданской войны и интервенции, воодушевляли и нас, создавая атмосферу всеобщей уверенности в своих силах...

Организация в 1923 году Общества друзей воздушного флота была большим событием в жизни советской страны. Для молодежи, бредившей авиацией, она открыла двери в небо».

Еще не раз, знакомясь с жизнью Сергея Павловича Королева, невольно читатель поймает себя на мысли о том, как счастливо сочетались устремления этого человека с зовом его времени. Кажется, будто это о Королеве писал Карл Маркс: «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли».

Отделение Общества друзей воздушного флота возникло и в Одессе. Не возникнуть в городе, кумиром которого был С. И. Уточкин, в городе, где уже в 1909 году строились самолеты, а с 1913 года существовал самолетостроительный завод, оно не могло. Одесское отделение ОДВФ купило старенький «Хиони № 5» и превратило его в агитсамолет «Конек-горбунок». Устраивали агитполеты в городе и окрестных селах, а на Стрельбищенском поле поднимали в воздух смельчаков. Летчики «ГИДРО-3» Шляпников, Алатырцев, Боровиков, Савчук выступали на бесконечных митингах, встречах, слетах, читали лекции, вели занятия, ликвидировали «авиабезграмотность», сыпали на город листовки: «Трудовой народ, строй свой воздушный флот!» И хотя гидроотряд был организацией военной, а потому соблюдавшей все строгости уставного режима, отгородиться от лозунга «Даешь крылья!» он не мог никак, даже территориально, и командир «ГИДРО-3» Шляпников прилагал теперь все усилия, чтобы не замечать на вверенной ему базе посторонних.

А посторонних хватало, Сергей Королев был вовсе не одинок. Заходили просто зеваки, искренне любопытствующие и серьезно интересующиеся. Сергей был слишком молод даже для тех не боящихся молодости лет, слишком неопытен, и поначалу никакого серьезного дела в гидроотряде поручить ему не могли. Но вскоре все заметили удивительную настойчивость этого мальчишки во всем, что касалось его приобщения к авиации. Народу в самом гидроотряде немного: восемь летчиков и четыре механика, а возни со старыми «девятками» хватало. Пусть неопытные, но расторопные, искренне желающие помочь руки требовались всегда. Опекали Сергея более других летчики Константин Боровиков, Александр Алатырцев и механик Василий Долганов. Основа для их сближения была: Боровиков увлекался яхтами, Алатырцев занимался боксом, а Долганов просто любил любознательных людей.

Довольно скоро Сергей узнал от Долганова не только принципиальную компоновочную схему летающей лодки, но и многие тонкости в ее конструкции и работе мотора. Скоро даже казавшаяся ему раньше священной тайной разборка двигателя потеряла для него свою таинственность. Он различал теперь летающие лодки не только по пиковым и бубновым тузам — личным эмблемам, которые рисовали летчики на фюзеляжах своих «девяток», но и по тому, как взлетает она, как делает развороты, как садится. Уже не раз залезал он в пилотское кресло, сам нажимал педали и двигал ручку, иногда ему приходила в голову мысль, еще вчера казавшаяся еретической: да такое ли это уж сложное

дело — летать? И все-таки день, когда Шляпников взял его впервые в полет, запомнился Сергею на всю жизнь.

Они вышли за волнорез, встали против ветра, мотор взревел, мелкой, отуженной рябью заплесало в глазах море, вот наконец понеслись, и вдруг порт, дома, деревья — все стало куда-то проваливаться, тронулась и медленно поплыла Одесса. Он увидел маленьких людей, игрушечные пароходы, быстро отыскал глазами Платоновский мол и свой дом: «Вот бы они увидели меня сейчас! Впрочем, хорошо, что не видят...»

Он не рассказывал дома о своем полете. Может быть, они ничего и не узнали бы, да он сам проговорился.

Как-то они шли с мамой по Пушкинской к морю.

— Как красиво сегодня, смотри облака какие, серебро прямо, — сказала Мария Николаевна.

— О, если бы ты знала, какие они сверху! — вдруг выпалил Сергей. — Там они не серебряные, а розовые, клубятся, переливаются...

Мария Николаевна остановилась:

— А ты видел?

— Видел. — Сергей потупился. — Я летал на лодке... Ну вот я и боялся, что ты начнешь запрещать, уговаривать, плакать... Это совсем не страшно! Погоди, я выучусь летать и прокачу тебя. Я уверен, ты будешь в восторге...

Сергей помолчал, потом добавил тихо:

— Не рассказывай Гри. — Так он называл отчима.

Сергей побаивался Баланина, знал, что тот не одобряет его влюбленности в гидросамолеты. Спортклуб, яхты, гидроотряд — все это, конечно, не могло не сказаться на учебе. Едва вернувшись из школы, он бросал тетради и мчался в Хлебную гавань. Отчим хмурился все более и более:

— Стойки на руках, яхты, аэропланы — это чепуха, легкая жизнь, бездумье... Я не позволю тебе превратиться в лоботряса, недоучку. Не позволю! Слышишь?!

Сергей стоял, опустив голову. В чем-то отчим прав. Конечно, учиться надо. Но разве самолеты — это чепуха?

— Почему же ты вступил в ОАВУК, если аэропланы — это чепуха? — исподлобья спросил Сергей.

— Я считаю, что там делают нужное и полезное дело: стране нужны аэропланы, и я готов помочь в их строительстве. Но у меня в руках свое дело, а на плечах — своя голова. А у тебя нет ни того, ни другого пока. И, боюсь, не будет!

В марте 1923 года в Одессе организовалось Общество пролетарской авиации, переименованное вскоре в ОАВУК — Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма, своеобразное республиканское отделение ОДВФ. Сдав с грехом пополам все зачеты, Сергей, Жорка Калашников, Ваня Сиротенко и Пунька Шульцман, выпросив дома по полтиннику на вступительный взнос, отправились на Пушкинскую, 29, в роскошный особняк А. А. Анатры — банкира и владельца самолетостроительного завода. Здесь теперь помещался одесский ОАВУК. Их встретил маленький шуплинский человек с пышной, дыбом стоящей шевелюрой — Борис Владимирович Фаерштейн, председатель губспортсекции, член правления ОАВУК. Он засыпал Королева и его друзей вопросами, из их сбивчивых ответов понял, что они совсем «зеленые», но готовые работать на совесть ребята, посоветовал быстро подучить теорию, залпом выпалил названия десятка книг и исчез.

Лето 1923 года прошло у Сергея Королева «под знаком пропеллера». Теперь он летал довольно часто. У Константина Боровикова он был уже совершенно за механика, брали его и на учения, да и не только с ним. Однажды, когда у летчика Бржезовского заглох мотор, Королев вылез на плоскость биплана, добрался до мотора, но едва успел проверить подачу масла, как гидроплан сильно трянуло, и Сергей полетел в море. По счастью, Бржезовский уже шел на вынужденную и до воды оставалось метров десять. Сергей вынырнул испуганный и счастливый. Бржезовский сел, подобрал Сергея. Не без приключений, плутая по

минному полю, добрались они в тот раз до берега. Сергей ходил в героях, а Бржезовского ругательски ругали летчики, хотя он ни в чем не был виновен.

После полетов они иногда ходили на Дерibasовскую в «Гамбринус». Нынешняя пивная под этой знаменитой вывеской находится совсем не там, где был старый «Гамбринус». Прославленный Яшкой-музыкантом и Куприным, «Гамбринус» помещался в подвале на углу Дерibasовской и Преображенской<sup>8</sup>. Тут всегда шумели, а ссорились редко. Сергею водки не давали, брали ему черного пива. Он был рад: пить водку страшно. Королев всю жизнь был не то чтобы убежденным трезвенником, но человеком, достаточно равнодушным к спиртному, хотя в его жизни было немало поводов и «топить горе», и высоко поднимать славословные тосты...

Увлеченный воздушными приключениями, Сергей не забыл, однако, советов энергичного Фаерштейна. Он просмотрел «Аэроплан, или Птицеподобная летательная машина» К. Э. Циолковского, книжку наивную и удивительно романтическую, осилил «Полет птиц как основа летательного искусства» Отто Лилиенталя, «Учение о летательных силах» Винера, «Результаты аэродинамической опытной установки в Геттингене» Прандтля, «Введение в механику», «Полет и наука», «Учение о полете», «Доклады и сообщения научного общества воздушных полетов», «Ежегодник научного общества по авиатехнике».

...На Соборке смеялась Ляля Винцентини, слушая дурацкие шуточки Жоржа Назарковского; Калашников в «Соколе» крутил «солнышко»; Володька Бауэр, наверно, уже вывел на прогулку своего рыжего пса. А он все сидел и читал о пропеллере Гайслера. Но, быть может, именно в один из таких томительных вечеров и произошло это невероятное смещение: аккуратные чертежи немецких книг наплыли на яркие плакаты, которыми пестрели все одесские тумбы: «Помножь авиацию на химию!», «Даешь мотор!», «Овладеем авиакультурой!» И тогда он подумал вдруг, что может сам построить самолет и сам увести его в небо! Сам! Ну пусть не самолет, пусть только планер. Но это будет его планер!

Он затаил дыхание от одной мысли, что такое возможно!

Скоро пошла дожди, стало штормить, и гидросамолеты в Хлебной гавани не вытаскивали из ангаров. Лето кончилось.

#### 4

«В дружбе и в любви мы зачастую бываем счастливы тем, чего не ведаем, нежели тем, что знаем».

*Франсуа де Ларошфуко.*

Снова начались занятия в стройпрофшколе. Год был выпускной, и Сергей решил подналечь. В мастерской у Вавизеля пробовали уже делать стропила, осваивали врубки, соединения, ну и попроще была работа: топорщица, грабли, наличники. Однажды Ляля Винцентини объявила, что они с братом записались на курсы по подготовке технических сотрудников правительственных, общественных и коммерческих учреждений. Сергей не мог не записаться тоже. Им читали курс стенографии и обучали стенографировать по слуховой системе М. А. Тэрнэ. Они увлеклись этим делом, соревновались в скорости записи, обещая побить рекорд одесских стенографов, записавших в Городской думе речь Пуришкевича, который выпаливал более двухсот слов в минуту.

Королев занимался с Валерьяном Божко, иногда подключался к ним Жорка Калашников. Вместе строили объемные геометрические фигуры, крутили их на ниточках, проецируя на разные плоскости, развивали «пространственное воображение». Чем больше Сергей присматривался к Жорке, тем яснее становилось ему, что под лихостью, острословием и спортивной бравадой «типического одессита» скрывается серьезный, умный парень. Отец Калашникова был знаменитым одесским букинистом, вся их квартира снизу доверху завалена редкими книгами. На-

<sup>8</sup> Ныне улица Советской Армии



верное, самый начитанный парень в их классе, Жорка отлично знал историю своего города, буквально каждого дома, однако этим не козырял и, когда разговор касался книг, делался вдруг необъяснимо скромным.

Но ни просторная квартира Сергея на Платоновском молу, ни книжные сокровища Жорки не влекли их так, как влекла, манила ничем не замечательная квартира Винцентини. Впрочем, нет, эта квартира была замечательна необыкновенно радушной, веселой, простой и какой-то удивительной, свободной атмосферой, которую дружно создавали все ее обитатели — и взрослые и юные. В классе с Сергеем учились брат и сестра Винцентини — Юрий и Ксения. Юрка — нескладный, долговязый, а Ляля — очень хороша, стройненькая, коса ниже пояса, глазастая. Говорили, что предки Винцентини были выходцами из Италии и в незапамятные годы приехали на юг России, приглашенные для поднятия виноградарства. В родителях Юры и Ляли, кроме фамилии, вряд ли можно было подметить что-то итальянское, хотя отец — инженер-путеец — отличался большой музыкальностью и петь любил не меньше неаполитанца. Но не в песнях и музыке дело. Главное, что для Юры и Ляли и всех друзей Юры и Ляли он был просто Макс. Этот веселый и умный человек принадлежал к той счастливой породе людей, которые, пройдя сквозь детство, юность и зрелые годы своих детей, всегда остаются их друзьями. Его жена — Софья Федоровна, женщина щедрейшей души, искренне любила всех этих мальчишек и девчонок, бесконечно снующих в ее доме. К Винцентини ходило едва ли не полкласса. Тут не только занимались и устраивали разные хитрые самопроверки перед экзаменами, тут грелись, когда было холодно, тут подкармливались, когда было голодно, а дней таких в те годы набралось немало, и от простого чая с картофельными оладьями отказывались редкие гордецы. Наконец, тут веселились. Здесь рождались все будущие уличные проказы, здесь пели, танцевали, придумывали какие-то шуточные сценки, играли в шарады, отсюда уходили гулять и сюда возвращались.

В ту осень Сергей Королев бывал у Винцентини почти каждый день. По обыкновению своему, никогда не оказывался он в центре компании, обычно располагался где-нибудь в уголке, помалкивал. Он понимал, что дом этот вполне может обойтись без него, но сам он не мог обойтись без этого дома: Сергей был влюблен в Лялю Винцентини.

Если влюбленные поддаются классификации, то он принадлежал к породе безнадежных вздыхателей, судьба которых обычно складывается плачевно, потому что обязательно находятся активные, энергичные соперники, перед которыми тихий вздыхатель пасует. О, он знал, что такое блестящий и остроумный соперник! У него их было целых два! И каких! Жорка Калашников и Жорж Назарковский. Первый — знаменитый гимнаст, пловец, острослов, эрудит; другой — признанный кумир драматического кружка, любимец словесника Златоустава, который поручал ему самые трудные роли в драмах Островского, красавец — он нравился многим девчонкам и знал это. Что мог противопоставить Сергей Королев каскаду остроумия Калашникова и лирическим руладам Назарковского? Рассказ об устройстве авиамоторов Миллера и Румплера? Беседы о физических основах воздушной навигации?

Наивный, как все влюбленные, он считал, будто скрывает свои чувства к Ляле так тонко и умело, что о них никто и не подозревает. И только когда в школе на встрече Нового года староста их класса Меликова читала эпиграммы на ребят, он понял, что его «тайна» известна всем. Красный как рак, выскочил он в коридор. Ходил смущенный, счастливый, несчастный... В зале пел рояль. Чайковский. Опять играет этот паренек из соседнего класса. Он любит играть. Как же его фамилия?.. Кажется, Рихтер. Да, Святослав Рихтер...

Еще с осени Сергей начал читать лекции, проводить беседы по «ликвидации аэробезграмотности» на многих крупных предприятиях Одессы: на заводах имени Чижикова, имени Марти и Бардина, в порту и на родной Одвоеноморбазе, где стоял «ГИДРО-3».

Сергей относится к своей работе в кружках очень серьезно. В одном из протоколов заседания губспортсекции есть такая запись об отчете Королева:

«Организатор кружка тов. Королев информирует Губернскую спортивную секцию о количественном и качественном составе кружка, указывает на низкий уровень знаний по авиации и сильное стремление его членов к работе. Кружок предполагает строить планер собственной конструкции. Необходимы лекторы для теоретических занятий».

В планерный кружок Сергей ходил еще прошлым летом, но потом, засев за книги, он понял, что построить планер совсем не так просто, что дело совсем не в том, чтобы раздобыть хорошие рейки, тонкую фанеру и прочный перкаль, а в том, чтобы еще до начала постройки быть уверенным в своей конструкции. О, как хотелось Сергею тут же, ни на день не откладывая, приняться за свой планер. Но он сдерживал себя. Нет, начинать рано. Королев ходит на все занятия конструкторской секции, прилежно стенографирует лекции. У этого семнадцатилетнего юноши уже можно увидеть зачатки неукоснительного правила, которому будет следовать всю жизнь знаменитый конструктор: никаких поисков вслепую, никаких ссылок на опыт, чутье, интуицию. Обязательное обоснование любого конструкторского решения, — лист бумаги с цифрами есть семя будущей машины. И в то же время — долой машины на бумаге! Идея, самая прекрасная, мертва до тех пор, пока не воплотится в реальную конструкцию. Слова, самые точные, есть лишь отрицающее дорожное время сотрясение воздуха, коли не стоит за словами этими подтверждающий их факт.

Сергей Королев начал работу над планером, свою первую самостоятельную конструкторскую работу, зимой 1923/24 года. Теперь все реже бегал он на Новый базар в «Сокол» и даже у Ляли стал редким гостем.

13 апреля 1924 года в 12 часов дня открылась первая конференция планеристов города Одессы. Королев сидел, слушал доклад Фаерштейна: он рассказывал о первых шагах планеризма на Украине. Ровно через тринадцать лет, день в день, в большой аудитории Политехнического музея Королев слушал доклад профессора В. П. Ветчинкина «Межпланетные путешествия». Он рассказывал о скоростях, необходимых для удаления от Земли, приводил расчеты масс горючих веществ, рисовал схемы ракет и двигателей. Ровно через тридцать семь лет, день в день, час в час, Королев слушал доклад Гагарина: он рассказывал о первом полете человека в космос...

Незадолго перед экзаменами Юра Винцентини заболел скарлатиной, и Лялю переселили к другу отца на Нарышкинский спуск. Так она стала соседкой Калашникова, известного всей Одессе под кличкой «Жоры с Нарышкинского спуска». Впрочем, это обстоятельство не дало ему никаких преимуществ перед соперниками: Назарковским и Королевым.

Ласковыми синими вечерами они ходили на свидание втроем. Лялина комната была на первом этаже. Разумеется, можно было позвонить и войти, как делают все нормальные люди, но они предпочитали окно. Подсаживая друг друга, карабкались на широкий белый подоконник. Сколько вечеров просидели они в этой комнате в густой синеве южных сумерек, подолгу не зажигая огня, переговариваясь приглушенными голосами, замолкая в длинных паузах. О чем говорили они? Это трудно вспомнить, но еще труднее передать словами на бумаге. Они были влюбленными. Да и так ли уж важно, о чем они говорили? Звук и тишина, свет и мрак, движение руки и поворот головы, звонкие шаги у окна, разговор листьев с ветром — все имело свой особый смысл, все говорило на своем беззвучном языке, знание которого вдруг открывается тебе в некий ни от кого не зависящий срок и который ты забываешь потом, забываешь очень скоро и навсегда...

Они сидели долго — трое влюбленных мальчишек — и не делали секрета из того, что хотят пересидеть друг друга. Первым обычно не выдерживал Жорж Назарковский:

— Ляля! Я могу уйти спокойно, — говорил уже с подоконника Жорж. — Эти люди — мои друзья, я просил их оградить вас от всех опасностей, и я уверен...

— Хватит болтать, — перебивал Сергей, спихивая Жоржа вниз. — Уходящий да изыдет...

Калашников держался крепко, да и вряд ли кто-нибудь еще в Одессе имел такой запас анекдотов и занятных историй. Но и Калашников умолкал наконец. Длинная пауза.

— Знаешь что? — говорил Жорка. — Пошли вместе...

Бесшумно прыгали из окна, разбегались по домам.

Но иногда один из них возвращался, и тогда они оставались с Лялей вдвоем в этой комнате или шли к морю, и лунная дорожка бежала им прямо под ноги...

Как написано было на перстне Магомета — все проходит. Прошли и последние зачеты.

#### «С П Р А В К А

Дана сия т. Королеву С. в том, что он действительно состоял стажером Стройпроф. школы в 1923—24 уч. году и сдал зачеты по следующим предметам: 1) Полит. гр. 2) Русск. яз. 3) Математ. 4) Сопромат 5) Физика 6) Гигиена труда 7) Истор. культ. 8) Украин. 9) Немец. 10) Черчение 11) Работы в мастерской».

Однако долгожданной и так необходимой ему полной свободы не было.

#### «В г у б к о м м у н о т д е л

Стройпроф. школа № 1 просит предоставить практику окончившему курс теоретических предметов т. С. Королеву».

Эта практика мыслилась как окончательный производственный экзамен будущих строителей. Но найти работу даже квалифицированному специалисту со стажем было тогда совсем не легко, и в губкоммунотделе долго ломали голову — куда же сунуть этих мальчиков и девочек. Наконец придумали: под водительством черепичника Ефима Квитченко новоиспеченным специалистам надлежало отремонтировать черепичную крышу медицинского института.

#### «В м е д и н

Согласно вашему отношению за № 1972 от 27-VI с. г. при сем препровождается список 10 чел. стажеров на практику строительных работ при медицине.

Приложен.: одно

1) Калашников 2) Королев 3) Крейсберг 4) Винцентини Ю. 5) Винцентини К. 6) Розмая 7) Шульцман 8) Борщевская 9) Марченко 10) Загоровский».

По правде сказать, работали они плохо, били дорогую марсельскую черепицу, делали гяп-ляп, абы отстали, не было никакого настроения работать: зачеты позади, лето, море, теплынь, а впереди нечто туманное еще, но безусловно интересное. Они, как веселые нахальные воробьи, сидели стайкой на крыше медина, но понимали, что стайка эта вот-вот разлетится и уже ничто и никогда не соберет их вместе, что дурацкая эта черепица — последнее, что связывает их... Мысли эти рождали странное состояние души, когда хотелось сразу и плакать и смеяться. Они то становились серьезными, и Сергей принимался рассказывать о московском конструкторе Андрее Туполеве и его первых замечательных машинах, то вдруг начинали проказить; Калашников и Королев тут были впереди, носились по крыше, к ужасу прохожих, делали стойки на руках на самом карнизе. Присутствие Ляли придавало всему окружающему какой-то особый острый смысл, будоражило Сергея, он становился какой-то взвинченный, быстрый, запаленный. А то вдруг разом стихал, уходил в себя, как тень ходил за ней, опустив глаза. Однажды, расшалившись на тесном мрачном чердаке, Ляля и не заметила, как забросила свою длинную косу в банку с зеленой масляной краской. Это было что-то ужасное — зеленая коса. Косу обернули газетой, и Сергей нес ее за Лялей до самого дома.

Летом, во время работы на практике, Сергей снова начал читать лекции, вести планерные кружки, снова бегал и на Марти, и на Чижилова, в порт, к своим ребятам в Хлебную гавань. За зиму многое здесь изменилось. Появились новые, незнакомые Королеву люди и самолеты. На смену ветхому «Ньюпору-21» и старичкам «девяткам» пришли четыре новеньких, с иглочки «Савойи-62» и трофейный «Австродаймлер».

— Это тебе, Серега, не «Сальмсон» вонючий, у них, знаешь, какие моторчики? «Фиат»! Слышал? Триста лошадиных сил! — Голос Шляпникова дрожал от нескрываемого восхищения. — Ты только вдумайся, силища какая: триста лошадей!

Иногда Костя Боровиков и Саша Алатырцев брали его в полет, но редко: всем было не до него, пришел приказ перебазироваться в Севастополь, и работы всякой — по горло. Но Сергей не унимался. Однажды он особенно долго уговаривал Алатырцева взять его с собой.

— В другой раз. — Алатырцев был неумолим. — Даю слово военлета, в другой раз будем кататься на полную железку.

А через час — пыльные булжники трамвайного круга на Пересыпи и мятый самолет, словно кто-то сжал его в кулаке и бросил в эту пыль, как ненужную бумажку. Алатырцева принесли в аптеку. Яркая тонкая струйка крови бежала из угла его рта на грудь. Он был уже мертвый, но совсем по-живому горячий, распаренный, потный. Летчика хоронила вся Одесса.

После гибели Алатырцева вновь, в который раз уже, завела Мария Николаевна разговор с сыном о его будущем.

— Пойми, это опасное, это страшное дело. Вот я листала твой «Самолет». Черные рамки в каждом номере. Это очень опасно, сыночек, очень.

— Но почему ты считаешь, что несчастья бывают только в воздухе? — горячился Сергей. — И поезда сходят с рельсов, и просто с лошади люди падают и разбиваются насмерть. Но о летчиках пишут в журналах, а о всадниках не пишут...

— Ты хочешь стать инженером, — продолжала Мария Николаевна. — Прекрасно. Ты способный мальчик и можешь стать неплохим инженером. Поступай в Политехнический, учись...

— Гри хороший инженер, — перебивал сын, — премии получал. Везде его краны: тут, в Камышбуруне, в Мариуполе, в Николаеве. Как памятники стоят. Но сидеть только за столом над проектами я не могу и не буду. Мне мало поехать и посмотреть на кран, который сделали по моим чертежам. Я сам хочу испытывать свои машины. И в Политехнический я не пойду, там нет авиационной специальности. Я пойду в академию Жуковского.

Мария Николаевна заплакала. Он подошел, обнял ее за плечи, ткнул носом в волосы, сказал очень мягко, но гвердо:

— Мама, не мешай мне.

В ОАВУКе опять торопили, всем не терпелось увидеть, что там наконструировал Королев. Кружки конструкторов вокруг губсекции роились, как пчелы на пасеке. Доглядывать, помогать поспевали только самым энергичным и напористым. Все понимали — для выживания кружков их требуется объединить. Так, в июне 1924 года возник ЧАГ — Черноморская группа безмоторной авиации, а точнее — компания бесконечно спорящих одесских ребят, которые мечтали летать на планерах, сделанных собственными руками. Председателем ЧАГа был избран Жорж Иванов — крикун, необыкновенно энергичный, притащивший в ОАВУК целую ватагу своих друзей. Его заместителем стал Сергей Королев, секретарем — Жорка Калашников.

— Прежде всего необходима полная ясность, — говорил Сергей. — Нам самим надо точно знать, сколько нас, кто, где и чем занимается, чем хочет заниматься, имеет ли для этого достаточную теоретическую подготовку, располагает ли нужной производственной базой, материалами и людьми. Мы должны распределить свои обязанности, не дублировать друг друга, но помогать все каждому...

Через несколько лет после смерти С. П. Королева заслуженный врач республики Г. П. Калашников вспоминал:

— Теперь я вдруг увидел, что уже в те годы у Сергея была необыкновенная способность быстро и четко поставить людям задачи...

На первом же заседании ЧАГа Сергей рассказал о своей работе над планером. Сначала смущался: как-то неловко говорить о себе, потом огляделся — да все же свои ребята, осмелел и заниматься перестал. Иванов, который тоже конструировал гидропланер, ревниво задавал вопросы.

Это было самое первое выступление конструктора Сергея Павловича Королева, первое из тысяч выступлений на всех и всяких летучках, планерках, советах, комиссиях, обсуждениях, защитах, разборах, заседаниях, коллегиях и митингах, которые сделал он за четыре десятка лет.

В протоколе первого заседания ЧАГа так и записали:

«Слушали: о чертежах т. Королева.

Постановили: предложить т. Королеву в кратчайший срок закончить разработку сухопутного безмоторного самолета».

Теперь часто Сергей укладывался на свой красный диван в гостиной, когда за окнами было уже совсем светло: не терпелось доделать планер.

В ОАВУКе спрашивали:

— Как назовешь?

В те годы планеры крестили позвончей, поэффектней: «Дракон», «Дедал», «Колибри», «Одна ночь». Королев ответил:

— «К-5».

В июле проект был наконец готов.

А дома с мамой опять эти тягостные разговоры: «Что дальше?» А «что дальше»? Дальше строить, испытывать, летать.

— Может быть, все-таки Одесский политехнический? — робко спрашивала она.

— Нет. Если так, я пойду на завод Марти...

— Но я узнавала, в академию берут кадровых офицеров, людей с опытом, с образованием...

— Я кончил школу... И у меня планер...

— Хорошо. — Мария Николаевна с волнением встала из-за стола. — Я поеду в Москву и все узнаю...

Она действительно поехала в Москву и добилась приема у какого-то крупного начальника в академии. Человек с ромбами в петлицах слушал внимательно, потом спросил:

— Сколько лет вашему сыну?

— Семнадцать. Восемнадцатый пошел...

— Молод... В армии не служил? Ведь у нас на первом курсе — лейтенанты...

— Он окончил строительную школу...

— Да что школа. — Он откинулся на спинку кресла.

— И вот еще. — Она протянула через стол бумажку.

#### «У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Настоящим Губспортсекция Одесского Губотдела ОАВУК удостоверяет: членом Губспортсекции тов. Королевым Сергеем Павловичем представлен сконструированный им проект безмоторного самолета К-5. Проект этот был представлен в Авиационно-технический отдел Одесского Губотдела ОАВУК и согласно постановления Президиума АМО от 4/VIII за № 4 признан годным для постройки и переслан в Центральную спортсекцию в Харьков на утверждение. Тов. Королевым представлена была подробная расчетно-объяснительная записка на одиннадцать листов чертежей...»

— Ну, вот это меняет дело. Однако своею властью разрешить вашему сыну поступить в академию я не могу. Оставьте документы. Доложу начальству. Будет решение — известим ..

— Итак, значит — аэропланы, — сказал отчим, открывая чрезвычайное заседание семейного совета после возвращения Марии Николаевны. — Что ж, если ты решил идти в авиацию, иди.

— Дядя Юра прислал письмо. — Мария Николаевна вынула из конверта листок бумаги. — Кстати, он пишет, что в Киевском политехническом открылось авиационное отделение, и зовет тебя в Киев.

Она немножко хитрила. Совсем не случайно пришло письмо из Киева. Сама написала старшему брату, делилась своими тревогами. Юрий поехал в КПИ, все разузнал, прислал ответ.

— Киевский политехнический — прекрасный институт, — сказал Баланин.

Сергей улыбнулся: отчим сам кончал КПИ.

— Можешь обвинять меня в красном патриотизме, — засмеялся Баланин, — но это действительно так. Отличная профессура, традиции...

— У авиации нет традиций, — буркнул Сергей.

— Не знаешь — помалкивай, — обернулся отчим. — Я сам не видел, но помню, мне рассказывали, как профессор Делоне построил планер и летал на нем со своими сыновьями, такими же сумасшедшими, как ты... Почему в Одесском политехническом нет авиационного отделения, а в Киевском есть? А? Нет, дорогой, на пустом месте, вот так «вдруг» в технике редко что родится...

— Но все-таки мне хотелось бы полной ясности с академией, — упрямо сказал Сергей.

В школе выдали свидетельство:

«Настоящее свидетельство выдано Королеву Сергею Павловичу, родившемуся в 1906 году 30-го декабря, в том, что он обучался с июля 1922 г. по 16 августа 1924 г. в Стройпроф. школе № 1, за время пребывания в школе усвоил все дисциплины, установленные уч. планом, и выполнил практические работы по черепичной специальности».

Вот и все. Теперь прощай, Одесса! На душе было тоскливо, одиноко. После всего этого до отказа набитого заботами и волнениями лета, после выпускных зачетов, медин, проекта, вдруг он окунулся в какую-то праздную пустоту. Несколько дней он ничего не делал, ни-че-го! К этому он не привык. Харьковские бюрократы все тянут с ответом. Планер не строят. Академия тоже молчит, а он все ждет. Ребята носятся как очумелые — Валя, Жорка. Володька Бауэр уже отнес документы в строительный. Ляля получила путевку в химико-фармацевтический... Ляля останется в Одессе. А он уедет...

Объяснение их происходило на ступеньках Торговой лестницы. Сергей, мокрый, с красными пятнами по лицу, просил ее стать его женой. Она ответила, что не думает о замужестве, что хочет учиться, надо кончить институт и... Конца он не дослушал, умчался.

Объяснение на Торговой лестнице было последней каплей, переполнившей еще такую мелкую чашу его терпения. Нет, теперь он уж ни за что не останется в Одессе! Ни за что! Москва молчит? Отлично! Он не собирается всю жизнь ждать их ответа. Он едет в Киев. Это — окончательное решение. Отослал документы. Сдавать вступительные экзамены ему было не нужно: справка из стройпрофшколы освобождала от экзаменов.

Собрался быстро, да и что ему было собирать? Хотел было взять на память чернильницу из гильз — подарок одного парня с электростанции, да раздумал: тяжелая. Чемоданишко получился легонький — первый в жизни чемодан. Он и потом всегда путешествовал налегке — в 1938-м и в 1961-м. Провожали мама и отчим, говорили обычные слова:

— Одевайся теплее, дело к осени... Не забывай... Пиши...

Последнее, что он увидел на перроне — лицо матери в слезах. Она быстро шла за поездом. А позади краснел лозунг «Дым труб — дыхание Советской России!».

Потом он сидел на лавке и смотрел в окно на желтые кукурузные поля.

## 5

«Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления».

*Уэнделл Филлипс.*

Дядя Юра жил на Костельной<sup>9</sup>, зеленой, очень круто бегущей вверх от Крещатика улочке. Квартира была тесноватая, три комнаты: спальня, столовая, детская. Сергея поселили в проходной столовой на диване. Диван он любил: можно было уютно уткнуться носом в мягкую спинку, но сразу решил, что жить у дяди Юры он не будет — стеснять не хотел. А главное даже не в его деликатности, а в том, что теперь, когда мама и Гри далеко, вдруг остро захотелось полной взрослой самостоятельности, захотелось своего ключа в кармане: уходи, приходи, когда душе угодно, читай до утра, а то и вовсе днем спи, а ночью работай...

За три копейки скрежещущий и скрипящий, как корабль в бурю, трамвай, мотаясь из стороны в сторону, дотащил его от Крещатика по Бибииковскому бульвару к широко, просторно разбросанному парку, за деревьями которого виднелось большое здание дорогого желтого кирпича. От центральной трехэтажной части его с маленькими башенками по углам и фигурной кладки карнизами отходили двухэтажные крылья, охватывая уже начавшую желтеть лужайку. Глядя на широкие, с легкой кривизной по своду окна, Сергей глазом строителя оценил замысел архитектора, который, видно, думал о назначении своего здания, стремясь дать классам больше света. И тут же мысленно поправил себя: не «классам», а «аудиториям», — ведь это и есть КПИ.

Да, это — КПИ, Киевский политехнический институт. Сергей Королев стал одним из самых молодых абитуриентов института. Таких румяных и юных тут было мало.

Известно, что до революции существовали так называемые «вечные студенты», ухитрившиеся пребывать в этом звании до десяти и более лет. Импералистическая, а затем гражданская война и вовсе поломали нормальный ход учебного процесса, затормозили его, а кое-где совсем остановили. После революции первый прием в КПИ был в 1920 году. Но какие-то «старички» оставались. До 1922 года был установлен трехлетний срок обучения, затем — четырехлетний. В 1921 году начал работать рабфак и нулевой семестр. Сергей Королев поступил в КПИ одновременно с группой рабфаковцев приема 1922 года. Многие из них не только не изучали историю античной драмы и сопромат, как Королев в одесской школе, но еще два года назад попросту не умели читать. Это были рабочие и крестьяне — вчерашние солдаты, пришедшие на студенческую скамью из огня гражданской войны. И здесь, в КПИ, сейчас все они перемешались: «профессиональные» студенты в изношенных форменных тужурках, в пенсне, ироничные, надменные и безмерно ленивые; вчерашние рабфаковцы, здоровые, угловатые, очень еще темные, но мертвой хваткой вцепившиеся в книги, с неистребимой, нет, не любовью, а страстью к знаниям; разные «командировочные» по профсоюзным разверсткам, среди которых были и желторотые юнцы и сложившиеся уже специалисты — мотористы, механики, путейцы, люди с рабочим опытом, солидным стажем. Были и молоденькие сыновья нэпманов с замашками купчиков, которые они считали проявлением аристократизма, — маленькая стайка легоньких, напомаженных бриллиантином, сытых молодых людей. Но при всем этом социальном разнообразии и пестроте человеческих судеб вот таких, как Сергей Королев, со школьной скамьи сразу шагнувших в высшую школу, было тогда меньшинство. То, что стало нормой через пять — десять лет, в те годы считалось исключением. Не видя вокруг одногодков, понимая, что вряд ли отыщутся здесь такие ребята, как Валя Божко, как Жорка Калашников, Сергей не то чтобы приуныл, а как-то притих. Обида на Торговой лестнице быстро забылась. Он написал Ляле длинное подробное письмо и теперь с нетерпением ждал ответа — каждое утро, засунув руку в

<sup>9</sup> Ныне улица Челюскинцев.

почтовый ящик, ощущал его изнутри, ему все казалось, что письмо как-то там зацепилось, воткнулось в какую-то щелку и не вываливается.

В ту осень в КПИ была организована весьма любопытная авиационная выставка, сразу заинтересовавшая Королева. Разглядывая экспонаты, он вспоминал слова отчима об авиационных традициях и убеждался — Гри был прав.

Оказалось, что первый воздухоплавательный кружок организовался в КПИ, когда Королев только родился, — в 1906 году. Его вице-председателем был тогда студент КПИ Викторян Флорианович Бобров, который к 1924 году стал ректором института. В 1909 году профессор КПИ Николай Борисович Делоне, один из талантливых учеников Н. Е. Жуковского, действительно построил с сыновьями балансирный планер — биплан — и летал на нем. Делоне был заморожен публичной лекцией Николая Егоровича Жуковского, который приехал в Киев осенью 1908 года. Уже полетел самолетик Райт — все только и говорили об отважных братьях, и народу на лекции Жуковского было столько, что в проходах стояли. Лекция прерывалась сухим треском кинематографического аппарата, и на белый экран выплывал дирижабль графа Цепелина, подрагивая выбегали аэропланы Блерно и Фармана. Были показаны соревнования аэронавтов в Бордо, полет Вильбура Райта, парижский воздухоплавательный парк и другие чудеса. Идеи Жуковского увлекали не только Делоне и его сыновей. Примерно в те же годы строил свои самолеты и Александр Сергеевич Кудашев, исполнявший в КПИ обязанности экстраординарного профессора по кафедре устойчивости сооружений. Им было создано четыре самолета довольно удачной конструкции с двигателями двадцать пять — пятьдесят лошадиных сил. От учителей увлечение воздухоплаванием перешло к ученикам. Собирались группами, вместе конструировали, вместе строили. На покупку моторов и материалов требовались довольно значительные суммы, и, наверное, студентам-авиаторам пришлось бы очень туго, если бы среди энтузиастов не оказалось Федора Былинкина и Игоря Сикорского. Первый был сыном богатого купца, второй — известного киевского профессора-психиатра. Они раздобыли деньги и организовали на Куреневке специальную мастерскую. Мастерская вскоре окрепла настолько, что даже принимала заказы на постройку самолетов со стороны.

Воздухоплавание быстро входило в Киеве в моду. Материальная поддержка авиаторов состоятельными людьми стала признаком хорошего тона, знаком «прогрессивности взглядов» и деловой смелости. Желая идти «в ногу с эпохой», богатый сахарозаводчик Карпека с гимназических лет поощрял авиационные увлечения своего сына Александра, который построил еще три самолета. Стремился и здесь не отстать от своего конкурента, самолеты строил другой сахарозаводчик — миллионер Терещенко. Чего было больше: искреннего увлечения, ревнивого честолюбия или деловой дальновидности — сказать трудно, но во всех случаях киевский «авиационный бум» 1909—1911 годов, если не с этической, то с технической точки зрения, был явлением наверняка прогрессивным и позволяет говорить о киевской школе авиационных конструкторов. «Этот творческий путь от первых полетов в 1910 году, — пишет историк авиации В. Б. Шавров, — привел киевских конструкторов через года к созданию невиданных в то время самолетов-гигантов «Русский витязь» и «Илья Муромец».

Осматривая авиационную выставку в КПИ, Сергей Королев понимал, что организация авиационной специальности на механическом факультете — дело не случайное, что на смену разобщенным усилиям талантливых, зависящих от меценатов одиночек должен прийти организованный и финансируемый Советской властью коллектив.

И этот коллектив уже существовал. Душой его стали ректор КПИ Бобров, профессор Делоне, академик Граве, профессора Штаерман и Синеуцкий. Их инициатива находила горячую поддержку снизу: среди студентов было немало людей, серьезно увлеченных авиацией, и даже профессиональные в прошлом летчики. Среди них, бесспорно, выделялись своей напористой энергией Константин Яковчук, Дмитрий Томашевич и Николай Железников.



И как раз в те дни, когда одинокий, никому тут не известный Сергей Королев бродил по зданию института, здесь шла лихорадочная подготовка к отправке в Коктебель на II Всесоюзные планерные состязания первенца планерного кружка — планера «КПИР». Разумеется, Сергей тут же пришел в кружок. В душе его где-то теплилась зыбкая надежда, что, может быть, и ему удастся поехать в Крым, увидеть лучшие планеры, познакомиться с известными летчиками, а главное — научиться самому летать на планере. Преодолевая смущение, он рассказывал в кружке о своем проекте, но тут же понял, что рассказ его никому не интересен, что негэдомый им проент, пылящийся где-то в далеком Харькове, — ничто по сравнению вот с этим нескладным, с высоким хвостом, с колесами под самым брюхом планером, который должен был вознаградить за все труды в Крыму. Робкие намеки Королева на поездку в Крым оставались вовсе без внимания или вызывали улыбку: желающих оказалось слишком много, и желающих достойных, не день, не месяц проторчавших под лестницей центрального вестибюля, под навесом во дворе, где строился «КПИР». Но как попасть в Коктебель? Его денег не хватит даже на дорогу туда. Одна надежда на Одессу. Может быть, старые друзья сжалятся над ним. 20 августа он пишет в Одессу Фаерштейну:

«Многоуважаемый Борис Владимирович!

Напоминая Вам о Ваших словах при моем отъезде, обращаюсь к Вам с просьбой: устройте мне командировку на состязания в Феодосию. Из Киева едет большая группа, и я как новый человек настаивать на командировке из Киева не могу. Т. о. я рискую и в этом году не увидеть состязаний, посещение которых дало бы мне очень много, и я с большим успехом мог бы работать в области авиации и планеризма. Надеюсь, что Одесский Губотдел ОАВУК сочтет возможным и нужным отправить меня на состязания, помня мою прежнюю работу по руководству планерными кружками. Кроме того, эта командировка позволила бы мне устроить некоторые мои личные дела и увеличила бы в Киеве влияние и вес Одесского Губотдела. Прилагая при этом марки, надеюсь получить скорейший ответ по адресу: Киев, Костельная 6—6. Москаленко для С. П. Королева. Между прочим: я кончу свои дела до 27—28/VIII и тогда смогу выехать, чтобы быть 30-го в Феодосии. Если дело выгорит, то напишите мне, пожалуйста, о деталях моего путешествия, где, как и каким образом это устроивается.

Уважающий Вас С. Королев.

Интересно, какова судьба моего проекта и чертежей? С.»

С этих осенних дней 1924 года, неустроенный, почти без денег, весь в сомнениях и надеждах, начал Сергей Королев свою по-настоящему самостоятельную жизнь. Часто развитие его идей и воплощение замыслов зависело от желания и воли других, но никогда сам он не подчинял себя чужим желаниям и чужой воле. Встав на такой путь, человек чаще, чем другие, менее стойкие и убежденные, испытывает горечь разочарований, но зато разочарования эти уже не могут ранить его так, как других.

Вот, к примеру, ответ Фаерштейна. Как ждал он его! Торопливо надорвал синий конверт

«Т о в. К о р о л е в у

Относительно командировки на Всесоюзные состязания имеется определенное положение, в силу которого для участия в состязаниях избираются правлением ОАВУК тт., имеющиеся налицо при губспортсекции.

У нас такие выборы уже произведены, и часть участников уже выехала в Феодосию. Остальные отправляются 30 августа.

Все места, предоставленные Одесской губспортсекции, заняты, средства на дополнительные командировки не отпускаются, а потому просьба ваша, к сожалению, исполнена быть не может.

Председатель губспортсекции, член правления Одесского губотдела ОАВУК

Фаерштейн

23/25 августа 1924 г., гор. Одесса.

№ 2362».

Так. Все понятно. Он сложил листок. Все понятно, но почему надо писать так казенно, так бездушно?! Что стоит вся кипучая энергия Фаерштейна, вся горячность его трибунных речей, если за всем этим не видит он просто человека? Понятно, нет денег. Но ведь так и можно было написать: «Сергей, денег мало, послать тебя — значит переругаться с ребятами, которые хотят поехать не меньше, чем ты, и не меньше тебя достойны этой командировки...» Вот и все. Он бы понял. Так зачем же все эти «имеющиеся налицо», все эти титулы: «председатель», «член правления...»

Итак, все ясно. В Крым он не едет. Программа на ближайший год: учиться, строить планы и непременно побывать на третьих соревнованиях, придумать что-нибудь с заработком и наконец найти угол, чтобы распротиться с диваном дяди Юры.

Жизнь студента Сергея Королева мало похожа на жизнь студента наших дней. Может быть, сегодняшний студент и отыщет в ней свои, запретные для него прелести, но в целом это была несравненно более тяжелая жизнь. Сегодня трудно представить себе студенческие годы без балов и карнавалов, спартакиад и олимпиад, самодеятельных ансамблей и театральных галерок, без дружеских пирушек и веселых танцулек. У него была совсем другая жизнь.

Прежде всего все студенты КПИ, поступившие в 1924 году, проходили специальную комиссию, которая распределяла их по соответствующим категориям. В первую категорию входили рабочие, крестьяне и дети рабочих и крестьян. Они освобождались от уплаты за учебу. Вторую категорию, куда как раз входил Королев, составляли представители трудовой интеллигенции. Они должны были платить за учебу. Сумма зависела от доходов родителей и не превышала сорока рублей. Третья категория — дети нэпманов — вносила в институтскую кассу довольно значительные суммы. На первом и втором курсах никто, кроме бывших рабфаковцев, стипендии не получал. Принадлежность Королева ко второй категории означала для него прежде всего добавочные расходы. Сразу вставал вопрос: где взять денег на учебу? Прежде всего не на питание, жилье, одежду и развлечения, а на учебу. Сергей получил из Одессы перевод на двадцать пять рублей, но он понимал, что не будет получать такие переводы регулярно. Более того — он не хотел их получать. Во что бы то ни стало необходимо найти работу. Кстати, тогда это было тоже не легко. Мастерские КУБУЧа — комитета по улучшению быта учащихся — не могли помочь всем желающим. Несколько дней пробегал Сергей по мокрым, засыпанным желтыми листьями киевским улицам, прежде чем ему повезло. На углу Владимирской и Фундуклеевской<sup>10</sup> помещалась газетная экспедиция, и Сергей подражался разносить оттуда газеты по киоскам.

Вставать приходилось рано, синяя темнота еще заливала улицы, и трудно было поверить в рассвет. Он одевался на ощупь, засовывал в карман загодя приготовленный кулек с куском хлеба и ломтиком сала и на цыпочках, вытянув вперед руки, чтобы не налететь на что-нибудь в темноте, выбирался из комнаты. Поднимался по крутым тротуарам Костельной к Владимирской, поворачивал налево, бегом, и вот он уже ныряет в шумное, светлое тепло подвала, в острый запах типографской краски — вот так же остро, так, что даже глаза чувствовали, пахли на Австрийском пляже выброшенные штормом водоросли.

Он писал матери: «Встаю рано утром, часов в пять. Бегу в редакцию, забираю газеты, а потом бегу на Соломенку, разношу. Так вот зарабатываю восемь карбованцев. И думаю даже снять угол».

В экспедиции работало несколько ребят, и очень скоро Сергей подметил, что работа всех их организована плохо, вернее, никак не организована: ходили по одним и тем же маршрутам вдвоем, одни еле плелись перегруженные, другие бежали налегке. Королев собрал ребят, организовал бригаду, обосновал каждый маршрут. Всем понравилось. У него был врожденный талант организатора, который проявлялся всегда, во все периоды его сознательной жизни, и в большом

<sup>10</sup> Ныне улица Ленина.

и в малом. Он просто не мог вытерпеть, когда видел, что делается как-то не так, что можно сделать лучше, экономичнее, разумнее. Дело иногда доходило до смешного. Как-то осенью незадолго перед смертью Сергей Павлович наблюдал, как прибирают участок вокруг его дома. Задумчиво смотрел он на растущие кучи прелых листьев, потом не выдержал, остановил работу, согласно какой-то своей умозрительной схеме расставил всех по местам и только после этого успокоился...

Приработки Королева не составляли исключения в студенческой жизни тех лет. Напротив, это было как раз правилом: тем или другим способом подрабатывало подавляющее число сокурсников Сергея. Это обстоятельство коренным образом меняло весь ритм занятий. Сегодня для тех, кто работает и учится, устраивают вечерние занятия. Тогда работали почти все, все были «вечерниками», и занятия в КПИ начинались только часа в четыре дня и продолжались часов до десяти вечера.

Да и сами эти занятия шли совсем не так, как сейчас. Отметок не ставили, экзамены не сдавали. Читались лекции, во время которых преподаватель мог задавать вопросы студентам. Это было что-то среднее между лекцией и семинаром. Семинары тоже были. На семинарах преподаватели выясняли, как усваивается материал, и попутно опять-таки вели объяснение. Это было нечто среднее между семинаром и лекцией. Наконец, студенты сдавали зачеты, по существу ничем не отличающиеся от экзаменов, разве только тем, что не ставились отметки. За два года учебы в КПИ Королев сдал двадцать семь зачетов по курсам высшей математики, физики, химии, механики, сопромата, термодинамики, деталей машин, электротехники, архитектуры и строительного искусства, статики сооружений, политической экономии, отчитался за практические занятия по большинству из этих предметов, а также за свою работу в мастерских, смазочной лаборатории и на летнем практикуме по геодезии. Наконец, он проходил практику в Конотопе, работая помощником машиниста на паровозе.

На первой же лекции познакомился Сергей со здоровым усатым парнем Михаилом Пузановым. Разговорились. Оказалось, что Пузанов еще до революции работал в авиационных мастерских при КПИ, потом на заводе. Во время войны в армии его тоже откомандировали в механические мастерские в Грушках. В 1922 году он поступил на рабфак, а оттуда — на механический факультет.

Пузанов был старше Королева на восемь лет, но они сдружились. Сергею нравилось, что этот рабочий парень в отличие от многих заботится не о том, чтобы получить поскорее диплом, а о том, чтобы получить знания, и учиться на совесть.

В первое воскресенье октября вместе с Михаилом отправились они на аэродром. Намечалось торжественное событие: закладка ангара. Киевский ОАВУК устроил митинг, прямо на поле читали доклады по истории авиации. Народу было много, но вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо.

— Ва! Иван! Ты ли это?! — заорал Сергей.

Перед ним стоял улыбающийся Иван Савчук, летчик-наблюдатель, или, как теперь бы сказали, штурман, из «ГИДРО-3».

Сергей очень обрадовался этой встрече. Нельзя сказать, что были они с Иваном друзьями, но Савчук превратился сейчас для него в частицу Одессы, моря, дома...

Оказалось, что после перевода гидроотряда в Севастополь Савчук переехал в Киев.

— Да ведь мы соседи, — рассказывал Иван, — я живу в авиагородке, это же рядом с твоим Политехническим... Айда ко мне!

Нельзя было не позавидовать Савчуку! Дома авиагородка на краю аэродромного поля были добротные, кирпичные, с паровым отоплением, и у каждого летчика — своя комната. Тут же столовая, и кормили там отменно, это вам не институтская баланда «голубой Дунай» с двумя перловинами — ложкой за ними не угонишься. И самолеты рядом — один взлетает, другой садится.

— Покатаешь? — жадно спросил Сергей, не отрывая глаз от самолета.

— Э, нет,— засмеялся Савчук, оборачиваясь к вошедшему человеку с тонким, красивым лицом.— Это тебе не «девятка». «Ньюпор», истребитель! Куда ж я тебя дену? Это ты вот Алешу попроси, он у нас все может, на пропеллер тебя посадит...

Алексей Павлов, друг Ивана Савчука, был летчиком лихим, безрассудным. Забегая вперед, скажу, что короткая жизнь его оборвалась довольно скоро после этой киевской встречи. Прекрасный летчик, знающий свой талант и уже отравленный ядом неистребимого лихачества, Павлов был еще и талантливым конструктором. Накануне отъезда Королева из Киева он в запале глупого спора пролетел под мостом Евгении Бош<sup>11</sup>, за что был переведен в другую часть. Там он по собственным чертежам построил авиетку и, узнав, что на Центральном аэродроме состоится торжество по поводу передачи Осоавиахимом двадцати самолетов в Военно-Воздушные Силы РККА, прилетел на ней в столицу. На своем самолетике он провел каскад фигур высшего пилотажа, и тогда, когда оставалось лишь грамотно сесть, опьяненный своею властью над маленькой верткой машиной, Павлов вдруг врезался в землю. До конца дней хранил Сергей Павлович вырезку из «Известий» от 23 июля 1928 года, где сообщалось о смерти Алексея.

Павлов был красив, небрежен и быстр в движениях и весь пронизан тем мягким, добрым обаянием, которое неволило влюбляться в него с первой встречи.

Теперь Сергей с Михаилом зачастили в авиагородок. Сергей упорно уговаривал летчиков поступить в КПИ вольнослушателями. Те сначала лениво отмахивались, потом задумались: может, и впрямь поступить? Чем они, собственно, рискуют?

Вскоре всю четверку уже можно было видеть вместе на лекциях. В авиагородке готовились к зачетам. Летчики получали «сытные» карточки и подкармливали Сергея и Михаила.

Уже глубокой осенью мама переслала Сергею ответ, полученный из Военно-воздушной академии. Разрешение на зачисление его было дано при условии, что до декабря он сдаст экзамены по военным дисциплинам, обязательные для всех курсантов. В том же конверте лежало письмо от мамы. Она советовала не торопиться с выбором, писала, что военный человек сам себе не хозяин в жизни и, коли он уже учится и учится тому, к чему так стремился, вряд ли стоит все ломать.

В выходной на обеде у бабушки дядя Юра и молоденький двоюродный дядька Шура Лазаренко отговаривали его перебраться в Москву. Мария Матвеевна подседа к внуку, обняла, заговорила ласково, доброй рукой приглаживая на его затылке черный вихор:

— Ну, куда же ты поедешь, внучек? Там же никого нет у тебя. Вот Маруся пишет, что собирается на будущий год в Москву. Бог даст, переберется, тогда уж и будем думать... Ты уж меня, старуху, не бросай...

После смерти деда бабушка сдала, но от помощи сыновей и дочерей упорно отказывалась, казачья ее гордость не хотела мириться со слабостью старости.

«Что же делать?— думал Сергей.— Ехать или не ехать?» К Киеву он не прирос душой, все время чувствовал себя пришлым, иногородним, хотя с большим основанием, чем Одессу, мог считать Киев родным городом. Никак не мог перебороть в себе сознание, что эта жизнь его — короткий эпизод, чувствовал, что не останется здесь долго. Он постоянно испытывал какое-то скрытое беспокойство, часто силился представить себе не виданную никогда Москву, начинал рассказывать Пузанову, как рассказывал в Одессе Калашникову, о тридцатилетнем и уже таком знаменитом конструкторе Туполеве.

Своими сомнениями Королев поделился с Савчуком.

— Не прыгай,— строго сказал Иван.— Раз выбрал дело, делай его и не прыгай. Ты молодой, все еще впереди...

Королев написал в Одессу, что остается в Киеве.

<sup>11</sup> На месте этого моста ныне находится мост Киевского метрополитена.

На Новый год он приехал домой, а точнее — приехал к Ляле и прожил в холодной, неуютной Одессе несколько счастливых дней. Тогда они казались ему несчастными, потому что Ляля ну совершенно была равнодушна и холодна; да, да, он это отлично видел! И потребовалось несколько лет для того, чтобы он понял, какие это были счастливые дни.

## 6

«Мы можем судить о себе по своей способности к свершению, другие же судят о нас по тому, что мы уже свершили».

*Генри Лонгфелло.*

В 1925 году в Киеве произошло событие, которое так искренне хочется связать с судьбой нашего героя, что надо сделать определенное усилие над собой, чтобы, сообразуясь лишь со скудным списком известных фактов, не поддаваться этому искушению.

В апреле 1925 года выпускник КПИ, летчик и страстный пропагандист воздухоплавания Александр Яковлевич Федоров организовал при Секции изобретателей Ассоциации инженеров и техников Кружок по изучению мирового пространства. Федоров переписывался с К. Э. Циолковским. «Я считаю счастьем работать под руководством творца великих идей, мыслителя наших дней и проповедника великой непостижимой истины!..» — в восхищении писал он в Калугу. Энтузиазм Федорова получил поддержку: в кружок записалось семьдесят человек. Председателем научного совета кружка стал академик Д. А. Граве, товарищем председателя — академик Б. И. Срезневский. Среди членов правления — многие известные киевские ученые и инженеры, в том числе преподаватели КПИ: К. К. Семинский, В. И. Шапошников, Е. О. Патон.

Академик Д. А. Граве 14 июня 1925 года публикует свое «Обращение к кружкам по исследованию и завоеванию мирового пространства». «Кружки исследования и завоевания мирового пространства встречаются несколько скептическое к себе отношение во многих общественных кругах, — говорится в «Обращении». — Людям кажется, что дело идет о фантастических, необоснованных проектах путешествий по межпланетному пространству в духе Жюль Верна, Уэллса или Фламмарiona и других романистов...

...Организация данных кружков своевременна и целесообразна, а также и развитие конструкций межпланетных аппаратов. Поэтому всякого рода начинания в этой области я приветствую от души и желаю успеха и плодотворной работы в развитии новой отрасли техники на благо человечества».

«Обращение» вызвало широкий отклик и жаркие споры в КПИ, которые лишь усилились, когда пять дней спустя в помещении Музея Революции на улице Короленко открылась Выставка по изучению межпланетного пространства, проработавшая более двух месяцев.

Мог ли Сергей Королев, юноша, так увлекавшийся воздухоплаванием, студент КПИ, преподаватели которого стояли во главе нового дела, ничего не знать обо всем этом? Вряд ли. Но нет решительно никаких сведений, которые бы прямо или косвенно говорили о его интересе к работам вновь созданного кружка, реорганизованного в августе того же года в Общество по изучению мирового пространства. Королев еще не мог соединить известную ему явь техники тех лет с фантастическими мечтами о космических путешествиях. Для этого он сам должен прочитать открытия Циолковского, поверить страстной убежденности Цандера, узнать о работах Годдарда и Оберта, увидеть необъятные горизонты, которые распахнет перед ним ракета. А тогда он твердо знал, что может сам построить планер и летать на нем, но никак не мог представить, что он может сделать межпланетный корабль. Человек реального факта и конкретной мысли, он не мог обогнать здесь самого себя. Его звали к космическим вершинам тогда, когда он еще не видел подножия этих вершин. Он придет к ним своей дорогой. А сейчас он увлечен совсем другим

15 февраля 1925 года в Киевском политехническом институте были организованы курсы инструкторов планерного спорта. Желающих записаться было много: ведь принимали не только студентов КПИ, но и членов других планерных кружков, а их в Киеве было — пруд пруди. В конце концов с великими спорами отобрали шестьдесят человек. Среди них был и Сергей Королев.

Первые занятия проходили в столовой рабфака, и лектора иногда не было слышно за звоном тарелок. Столовая была мрачноватая, лампочки горели вполнакала, в желтом их свете с трудом можно было разглядеть, что там нацарапано мелом на маленькой доске. Потом и из столовой их «попросили». Стали собираться в мастерских. Лекции записывали на станках — у многих на тетрадках темнели жирные масляные пятна. Но терпели, мечтали о весне, о необъятных парковых газонах, где можно будет слушать лекции лежа на траве. И дотерпели бы до тепла, если бы вдруг Харьков безо всяких объяснений не прекратил высылать курсам деньги. В апреле курсы развалились. Самые активные и увлеченные ребята мириться с этим не захотели, решили наплевать на деньги и целиком положиться на собственную инициативу: теория теорией, а надо самим строить планеры и самим учиться на них летать.

Материалы раздобывали разными легальными и полунелегальными путями. Гонцы КПИ помчались в авиагородок к летчикам истребительной эскадрильи, на заводы — там тоже хорошие ребята, обещали достать рейки, у них и фанера ольховая есть.

Под лестницей главного входа, где помещались мастерские, забурилась жизнь, зазвенели пилы, верстаки вспенились стружкой: полным ходом шло строительство. Всей работой руководили дипломники: Железников, Савинский, Карацуба, Томашевич, но прежде всего, конечно, Яковчук. Константин Яковчук, плотный, сильный, скуластый брюнет с мелко вьющейся шевелюрой, был очень популярен в Киеве. Летать он начал давно, на гражданскую пошел летчиком, был сбит и в журнале «Авиация и воздухоплавание» попал в списки погибших. Сняв гипс со сломанной ноги, снова летал и вернулся в Киев после войны кавалером ордена Красного Знамени. Потом он работал испытателем на заводе, затем поступил в КПИ и увлекся планеризмом. Яковчука знали все студенты, ректор Бобров здоровался с ним за руку. В мастерских Яковчук «давил» авторитетом, покрикивал на студентов, заставлял переделывать, торопил и подгонял, но на него не обижались, потому что сам он работал больше других и очень споро.

Сергей Королев, человек в мастерских новый, был тут на десятых ролях и тяготился этим своим положением. Он попробовал однажды спорить, предлагать свои решения, но его тут же одернули, намекнув на «желторотость». Сергей быстро сообразил, что полетать на рекордных планерах ему не удастся: желающих слишком много и его ототрут «старички». Вся надежда была на учебный «КПИР-3». По каким-то неписаным правилам получалось так, что те, кто строил планер, и должны были летать на нем. Королев потихоньку стал тесниться к тому углу мастерской, где белел скелет будущего «КПИР-3».

Зима была гнилая, мокрая. У Сергея прохудились башмаки, пробовал проволокой прошить, они и вовсе расползлись. После Нового года Сергей снял угол на Богоутовской — это совсем недалеко от института, если идти мимо церкви Федора, через яры, как называли киевскую свалку. Теперь с деньгами стало совсем плохо, едва хватало, чтобы платить за угол, да и кое-как кормиться. Одно спасение — обеды у бабушки на Некрасовской по выходным дням. Но денег на ботинки у бабушки не было, да и были бы — он не взял бы. Пришлось наняться сахар грузить. Работа тяжелая, спина потом болит — сил нет, но платят прилично. На деньги, заработанные трудом грузчика, купил он свою первую обновку.

С утра — газетная экспедиция, потом — мастерские, вечером — занятия, так и катились день за днем к весне. К летчикам в авиагородок ходили они с Пузановым теперь редко, раза два в неделю, не чаще, хотя летчики всегда были очень рады их приходу.

Однажды Павлов познакомил Королева с маленьким, быстрым брюнетом военлетом Владиславом Грибовским, который тоже строил свой рекордный планер, но уже был весь поглощен будущими проектами.

— Вы слышали о Германии?— спросил Грибовский.

— Нет, а что Германия?— Павлов поднял красивую бровь.

— Ну как же! Общество Рён-Розиттен пригласило наших планеристов на соревнования в Германию!

На секунду вспыхнула в голове Сергея сумасшедшая мысль: «Вот бы и мне поехать!», но только на секунду. Что ему делать в Германии, на международных соревнованиях, если он еще ни разу даже в учебный планер не садился. Тут бы как-нибудь до Коктебеля добраться, а он — Германия!

— Яковчук, кажется, собирается ехать, — продолжал Грибовский.

Сергей сам не отдавал себе отчета в том, что в последнее время старался подражать Яковчуку даже в мелочах — купил серую рубашку в крапинку, как у Константина, и так же, как Яковчук, закатывал рукава. Незаметно он перенял у Яковчука манеру разговаривать: точную, резковатую и категоричную.

Несмотря на то, что теперь, когда получили приглашение немцев, Яковчук еще больше торопил ребят в мастерских, темп постройки планеров замедлился: приближалась сессия и планеристы засели за книги. Иной раз под лестницей работал один Веняжский — старый мастер-краснодеревщик.

Королев не утерпел все-таки, съездил на майские праздники в Одессу повидаться с Лялей и мамой. Ляля рассказала ему, что Макс переводят в Харьков и она летом тоже переедет к отцу, если все образуется с переводом из Одесского химико-фармацевтического в Харьковский медицинский.

Возвратившись в Киев, Королев вместе с Михаилом Пузановым целые дни просиживали у летчиков, готовились к зачетам. Сергей еще до Нового года сдал химию, потом украинский язык и первую часть высшей математики. Сейчас надвигались физический практикум, архитектура и строительное искусство, вторая часть математики и техническая механика. Все четверо больше всего побаивались механики.

Каково же было их удивление, когда Штаерман поставил Королеву зачет, не спрашивая его. То же случилось и с зачетом по математике. Семинары вел Лев Яковлевич Штрум, человек разносторонний, увлекающийся, любознательный. Помимо математики, он увлекался атомной физикой и даже писал работы по строению ядра. Штрум заметил и запомнил ответы молоденького черноглазого студента и удостоил его зачета. После экзамена педантичный математик записал: «Проверка знаний производилась главным образом непосредственно, в процессе самих занятий, постоянно... Часть слушателей, наиболее активные, получили зачет без опроса...»

После окончания зачетов он опять все свободное время проводит в мастерской. В сроки не укладывались, все нервничали, особенно Яковчук: боялся опоздать на международные соревнования. Уже определилась советская команда планеристов. В Германию должны были отправить наши планеры: «Мосавиахим АВФ-21» конструкции С. Ильюшина, Л. Кудрина и Н. Тихонравова, «Красную Пресню» И. Артамонова, «Закавказца» А. Чесалова и «КПИР» — Д. Томашевича и Н. Железникова. Летать на них должны были самые лучшие наши планеристы: Арцеулов, Зернов, Кудрин, Сергеев, Юнгмейстер и Яковчук.

Королеву и раньше приходилось слышать эти фамилии, но сейчас, когда они произносились вместе, он опять ловил себя на мысли, что готов бегом бежать в Германию, только чтобы увидеть всех их сразу, познакомиться, поговорить, посоветоваться. Известно было, что советская команда из Германии отправится прямо в Коктебель на III Всесоюзные планерные соревнования, и Сергей снова вспыхнул надеждой добыть командировку в Крым.

Летом планеры строили под навесом во дворе института. Сергей работал очень увлеченно: хотелось поскорее начать летать. Через много лет С. И. Карацуба вспоминает Королева в эти дни: «Он был из тех, кому не надо было ничего дополнительно объяснять или напоминать. Ему надо было только знать, «что

сделать», а «как сделать» — это уже его забота. И он ничего не делал сгоряча. Не помню случая, чтобы что-нибудь пришлось переделывать за ним».

Осенью Баланин с женой переехал из Одессы в Москву. Мама писала Сергею, что живут они на Красносельской улице, неподалеку от Сокольников, квартира плохонькая, но обещают скоро дать другую, попросторнее и к центру поближе. В письме ни слова не было о том, чтобы и он перебрался в столицу, но по каким-то мелким штришкам, по намекам между строк увидел Сергей, что мама соскучилась и хочет, чтобы он приехал. А может быть, и не было вовсе этих намеков, но он очень желал увидеть их и увидел. То, на что надеялся он в Одессе, что рисовалось ему такими радужными красками — киевские авиационные традиции, прогресс планеризма, тут, в самом Киеве, выглядело иначе. Маленький, плотно сбитый кружок начинающих летчиков и конструкторов отнюдь не собирался с криками ликования распахивать навстречу ему свои объятия. Они были старше — пусть на считанные годы, но в молодости и они значат много; они были опытнее, они знали друг друга уже много лет, и проникнуть в их круг молодому новичку-первокурснику было невозможно. Они могли через несколько лет признать его талант и поверить в его опыт, но и через несколько лет они остались бы по отношению к нему мэтрами. Никакого радостного будущего в его делах не просматривалось, и не видел он, каким образом положение такое можно было бы изменить. Он успокаивал себя тем, что учеба идет неплохо, а это главное, но не успокаивался. Одной учебы было мало ему, хотелось свободного, нового интересного дела, в которое можно было бы влезть с головой, считать, мозговать, пробовать, строить, летать, обязательно летать, хотелось своего дела.

А еще — думал он об этом или не думал, наверное думал — в Киеве было просто трудно жить. Каждый карбованец был на счету, и все время он прикидывал, соображал, что следует купить, чего нельзя, что можно съесть, мимо чего пройти, сесть ли в трамвай, идти ли пешком. Одевался опрятно, но очень бедно, впрочем, на это никто как-то не обращал тогда внимания, и убогость одежды не тяготила его. Раздражало другое: какая-то извилина в мозгу постоянно была занята, с его точки зрения, пустым и недостойным делом — изысканием средств существования. То записывался он в бригаду грузчиков на пристани, то, вспоминая веселую крышу Одесского медуна, нанимался в кровельщики, а однажды даже угодил в киноартисты.

В основу фильма «Трипольская трагедия», который снимали под Киевом режиссер Анощенко и оператор Лемке, было положено реальное событие времен гражданской войны. В 1919 году, во время денкинского наступления, на Украине всю развернулись бандитские шайки разных атаманов. Во время боев с одной такой бандой под водительством Даниила Терпилло, известного всей Украине под кличкой атамана Зеленого, героически сражались киевские комсомольцы. Бандиты окружили их и прижали к обрывистому берегу Днепра. Их расстреливали в упор, обессиленных сталкивали с кручи.

Теперь, в дни работы над фильмом, кинематографистам потребовались молодые статисты для того, чтобы с их помощью отснять этот трудный и опасный эпизод. В вестибюлях киевских вузов появились объявления, приглашающие на съемку, и Королев решил подработать.

В Триполье всем новоявленным артистам раздали шинели и обмотки, выдали винтовки, долго объясняли, куда надо бежать и как «стрелять». Во время съемок штыковой атаки Сергей так увлекся, что двинул прикладом одного «бандита» в полную силу. «Бандит» потом жаловался Анощенко:

— Королев дерется по правде...

Вместе с другими ребятами Сергей изображал трупы, плывущие вниз по реке, а на следующий день он прославился на всю съемочную группу: прыгал за главных героев с кручи в Днепр. С киношниками было весело и интересно, но долго жить в Триполье Сергей не мог.

Совсем немного оставалось доделать в «КИИР-3», однако, как всегда случается, в самые последние дни что-то начало ломаться, колотиться, рваться, что-то,



вчера точно подходившее по месту, сегодня уже почему-то не влезало, затянутое оказывалось расшатанным,двигающееся — заклиненным. Тогда еще Королев не знал этого дьявольского закона, по которому всякие неполадки выявляются в моменты самые неподходящие.

Работали до поздней ночи, уставали так, что часто у Сергея уже не было сил идти к себе на Богоутовскую, и он, не раздеваясь, укладывался спать в ящике, доверху набитом душистыми стружками.

Наступил долгожданный день. Все планы вынесли на лужайку перед зданием института. Пришли Делоне, Синеуцкий, Штаерман, ректор Бобров. Это был парад и экзамен. Делоне расспрашивал Яковчука о планах, требовал точных цифр, а потом сверял их, заглядывая в записную книжицу. Синеуцкий, в мятой полотняной гимнастерке, расхаживал вокруг планеров и все старательно ощупывал, словно не верил собственным глазам. Рядом резво, как кузнецик, прыгал Штаерман. Бобров ничего не проверял, никого ни о чем не расспрашивал, поглаживал остренькую свою бородку и всем улыбался. По всему было видно, что ректор очень доволен и не считает нужным это скрывать.

На следующий день рекордные «КПИР-4» и «КПИР-1-бис» принялись разбирать и запаковывать в ящики: нужно было срочно отправлять их в Германию, в городок Рон. Учебный «КПИР-3» отправлять в Крым было рано. Решили немного облетать его в Киеве, да и ребята смотрели на него такими жадными глазами, что ни у кого не хватило духу запретить им в награду за работу попробовать себя на простейших подлетах.

Площадка, где тренировались планеристы, находилась на месте нынешней станции метрополитена «Завод «Більшовик» и полиграфического комбината «Радянська Україна». В те годы был там просторный пустырь, кое-где разбросаны кучи разного хлама и мусора, но места для подлетов хватало. На этом пустыре и родился планерист Сергей Королев. Строго говоря, это были даже не полеты, а подлеты: планер едва отрывался от земли и, пролетев несколько десятков метров, опускался на брюхо. Но и за эти считанные секунды новички успевали хотя бы почувствовать, что они летят, скорее отгадать, чем понять ответ легкокрылого аппарата на их первые, робкие и неверные движения ручкой. И надо же так случиться, что в одном из этих первых полетов именно ему, Сергею Королеву, так не повезло!

Все шло как обычно: ребята придержали хвост, растянули амортизаторы — пошел! Сергей не торопясь чуть тронул ручку на себя, планер потянул вверх, совсем немного, правда, но он и понимал, что много нельзя: потеряет скорость, сползет на крыло — так и поломаться недолго. С этой легонькой горки пошел на край пустыря на посадку. То ли ветерок посвежел, то ли искуснее, чем обычно, действовал он ручкой, но никогда еще не было ему так легко, так просторно в воздухе! Никогда до этого не было вот такого чувства полета. До этого он сидел в летящем планере, сегодня он сам летел, а планер просто помогал ему. И из тела ушла, растворилась в этом плавном движении вся скованность, тяжелая натуга — нет, никогда еще так славно не было... И вот в этот счастливый миг и увидел он эту проклятую трубу.

Королев и сам не заметил, как долетел до самой границы их тренировочной площадки. Там из кучи строительного мусора торчала ржавая водопроводная труба, и Сергей сел на нее. Маленькая высота и погасшая скорость планера не позволяли ему сделать какой-либо маневр. Он тихо и плавно, как детский бумажный голубь, опускался на трубу. Потом был сухой треск — «так Аюта, кухарка, колела в Нежине щепки для самовара», удар, и он вылетел из планера...

Планер пострадал очень мало, да и Сергей отделался довольно легко. Мог бы сломать руку, но удар пришелся точно по запястью, и часы — последний подарок Гри перед отъездом в Киев — разлетелись вдрызг. Сильно болело в боку, особенно если вздохнуть глубоко. Наверно, ребра. Перелом вряд ли. Скорее трещина. В тот день он еле доплелся до Богоутовской, лег. Пролежал два дня и

стал собираться в институт: ему не терпелось узнать, нет ли каких-нибудь вестей из Германии, как там наши.

Новости были, и очень приятные. Советские планеристы на горе Вассер-группе оказались впереди Мартенса, Шульца, Папенмайера, Неринга и других прославленных асов безмоторной авиации. Первый приз за продолжительность полета получил Юнгмейстер — 1 час 45 минут 16 секунд. Второй приз со временем 1 час 31 минута 30 секунд достался Яковчуку! Сергей сравнивал короткие секунды своего полета с этим воистину фантастическим временем — более полутора часов! Сказка! Три наших летчика были награждены серебряными кубками, а вся команда — призом за общие технические достижения в конструировании планеров и полетах: шикарным компасом фирмы Лудольф. О наших ребятах писали в газетах, помещали их портреты в журналах. «Только русские планеристы внесли в этом году лихость в состязания», — восхищалась франкфуртская газета.

И III Всесоюзные планерные состязания в Коктебеле стали подлинным триумфом для киевлян. Техническая комиссия забрала «КПИР-1-бис», но Яковчук полетел на нем на свой страх и риск и установил всеююзный рекорд продолжительности полета — 9 часов 35 минут 15 секунд. До ночи летал, даже костры пришлось разжигать, чтобы он сел. Андрей Юмашев — тоже киевлянин! — побил все рекорды дальности: 4,8 километра. О них писали так: «...на планерах КПИ поставлено наибольшее количество рекордных полетов. Своей продуманностью, чистотой обработки, простотой сборки они не имеют себе равных среди советских планеров». Просто гимн, а не статья. Вся беда только в том, что вернулись победители без планеров: во время урагана ребята бросились спасать машины немцев — гостей соревнований, а своих спасти не успели. Летать теперь было не на чем.

Королева раздражал погон бесконечных восторженных воспоминаний о победах в Германии и в Крыму.

— А что дальше? — спрашивал он. — Теперь всю жизнь будем рассказывать о своих победах? Надо собирать кружок и строить новые планеры...

Теперь такой веселый и беспечный Яковчук отмахивался от него. Кружок распался. Так и должно было случиться: он держался на нескольких «корифеях», а все они были дипломниками. Они сумели построить неплохие планеры, но не вырастили себе смены. Они ушли, остались исполнители — солдаты без командиров.

Человек учится жизни до самой смерти. Никто не скажет сегодня, надолго ли запомнил Королев этот печальный случай с киевским планерным кружком, но доподлинно известно, что в последние годы жизни его очень заботила проблема преемственности, занимали вопросы формирования научно-технической смены, и на многих важных заседаниях многочисленные заместители и ведущие инженеры вдруг ловили на себе его оценивающий и вопрошающий взгляд: «Кто же, кто из вас придет на смену мне?..»

А тут еще задумал жениться Михайло Пузанов. После отъезда Павлова выдержать новый удар четверка друзей уже не могла — все реже собирались они теперь в авиагородке. Савчук занят был хлопотами с новым переводом: собирался вернуться в гидроавиацию. Пузанов, как человек семейный, взвалил на себя бремя многих тяжелых, но чем-то и сладостных забот, и Сергей первый раз вдруг почувствовал, что восемь лет разницы в годах — не пустяк, что Михаил уже действительно взрослый человек, с мужскими радостями и тревогами, а он, Сергей, еще, в общем-то, мальчишка...

Стало совсем одиноко, правда, были письма Ляли, да и мама часто писала ему из Москвы. Однажды в одном из ее писем он прочел, что в Московском высшем техническом училище как будто бы тоже есть авиационное отделение, надо разузнать поточнее... «Да и как его могло не быть там, если сам Жуковский читал в МВТУ, если это училище кончил Туполев!» — думал Сергей.

Незаметно подкралась новая сессия. В июне 1926 года Королев сдал десять зачетов, полностью отчитавшись за второй курс. А потом провожали Савчука: он возвращался на Черное море. Перед отъездом Иван подарил Пузанову чертежную доску и три тома технического справочника «Hütte», а Сергею сказал:

— Тебе ничего не дарю, тебе лишние вещи в тягость. Езжай, Серега, в Москву. Я вижу, что тебе пора в Москву...

Сергей обернулся к Пузанову. Михаил грустно кивнул:

— Пора...

И опять заскребло в горле, заныло сердце, как тогда в Аркадии, когда после объяснения на Торговой лестнице прощался с Одессой и с Лялей, но он чувствовал, что они правы, нет — знал, что правы его друзья, что действительно пора...

«Ректору КПИ. Студ. Королева С. П.  
Мехфак.

#### З а я в л е н и е

Постановлением приемной комиссии при Высшем Московском техническом училище я принят в число студентов последнего, о чем ставлю Вас в известность.

С. Королев.

27. 9. 26».

С этого времени он никогда уже не жил на Украине. Наезжал и в Одессу и в Харьков, несколько раз бывал в Донбассе, много лет подряд ездил в Крым, но жить уже не жил. После старта Гагарина говорил как-то, что очень хочется ему снова съездить в Одессу... Он понимал, что нельзя вернуться в молодость. Просто сердце просилось в те края, хотелось посидеть на камнях Аркадии, рано-рано утром пройти по Пушкинской, еще сонной и влажной, в длинной розовой тени каштанов, и за блестящей бронзовой головой поэта увидеть вдруг море впереди.

*(Окончание следует)*



---

---

## ЛЕВ ОЗЕРОВ

★

### ЧАБАН

Дубленые морщины чабана  
И корневища рук его дубленых.  
Два карих глаза, в эту ширь влюбленных,  
Да бороды курчавой седина.

Ах, старина по имени Дагка,  
Завидую твоей нехитрой славе,  
Той славе, что шумит в речной отаве,  
Той славе, что уносят облака.

Идет отара, ты идешь за ней,  
Философ, сторож, острослов, бродяга.  
Иной хихикнет: что же за отвага  
Пасти баранов, пустяки, ей-ей...

Но мне видней и с каждым годом ближе  
Размах с природой сросшейся души,  
И мне твои повадки хороши,  
Чабан Дагка, дай руку, подойди же!

Нет, я к тебе поближе подойду.  
Поэт — по праву близости к истокам,—  
Ты мог бы стать ученым и пророком,  
Построить город и открыть звезду.

Ты предпочел водить стада по склонам,  
На горных кручах разжигать огонь,  
И на небо глядеть, как на ладонь,  
И мирозданье слушать — с дальним звоном.

С далеким громом из иных миров,  
И сердцем принимать все эти зовы,  
Все эти звоны — прочные основы  
Земной любви, чуждающейся слов.

**ГРОЗА В ГОРАХ**

Вдруг дохнуло глубокой ночью,  
Вдруг смешалось небо с землей.  
Паровозного дыма клочья  
Над горами, над полумглой.

Тучи ниже, и горы ниже.  
Потемнело и рассвело.  
Будто дальнее стало ближе,  
Будто ближнее вдаль ушло.

Рассвело и вновь потемнело.  
Это горной дороги стрела  
Полоснула зелено-белым —  
Три зазубрины, два угла.

Полоснула, зарокотала  
И немедля отозвалась,  
И откликнулись громом скалы,  
И тотчас же наладилась связь

Между ближней горой и дальней,  
Между небом и нашей землей,  
Между молотом и наковальней,  
Между светом и полумглой.



---

---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

*Воспоминания*

...Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к началу своему...

*А. Пушкин,  
«19 октября».*

### Вместо предисловия

**М**еня долго останавливали два стиха Пушкина, поставленные здесь эпиграфом. Казалось бы — старея и хладея с течением времени, движешься к своему концу. Такова логика человеческой жизни, и не только человеческой. Но поэт написал не к концу, а «к началу своему». Что это значит? И много, много раз за десятки лет своей сознательной жизни, вспоминая эти загадочные строки, я наталкивалась на другое что-то, им подобное, — на схожее странным сходством с ними, уводящее мысль в сторону от логики, к смутному, вот-вот близкому решению... То вдруг у Рабиндраната Тагора старуха называет свою дочь «мамочкой» — может быть, обычная в Индии форма выражения родственной нежности? А все-таки — дочь для матери, порождение матери, вдруг сама становится для нее, для родившей ее, — «матерью», да еще в детской, уменьшительной форме слова. И даже если это — обычное выражение чувств, как странно и необычно перевернуто возникновение такого чувства в старой матери!

А потом — на долгие годы — остановила и врезалась в память — опять же непостижимая — мысль Гегеля в его предисловии к «Феноменологии духа», этой страничке человеческого размышленья, мудрейшего во всей мировой философии. Говоря о рождении ребенка из материнского чрева, где он еще пребывал как частица природы, — с помощью качественного прыжка из этого состоянья в начало отдельного существования, в возникновение индивидуальности, — Гегель пишет: «В то время, как с одной стороны первое явление нового мира представляется пока сознанию, как целое или его всеобщее основание, еще закутанное в оболочку своей простоты (своего единства), — то, наоборот, все богатство его прежнего бытия еще наличествует для него в воспоминании»<sup>1</sup>.

Налицествует в воспоминании младенца, еще не умеющего сфокусировать оба своих глаза, не произносящего ни единого слова, кроме

<sup>1</sup> „Indem einerseits die erste Erscheinung der neuen Welt nur erst das in seine Einfachheit verhüllte Ganze oder sein allgemeiner Grund ist, so ist dem Bewusstsein dagegen der Reichtum des vorhergehenden Daseins noch in der Erinnerung gegenwärtig“. „System der Wissenschaft“ von Georg Wilhelm Fr. Hegel. Erster Theil. „Die Phenomenologie des Geistes“. 1807. Vorrede. S. 16.

разве «агу»! Потому ли, что он еще хранит в себе нечто от куска общей, не индивидуальной природы? И стремление отпочковаться, отделиться от нее не обрело еще в нем полной силы? Атомы, из которых мы слагаемся, ведь они те же, что миллиарды лет назад. Материя не знает смерти... А память — не присуща ли каждой частичке материи, не живет ли она в каждой клетке человеческого организма?

Странные все это мысли. Но повторяю — они наматывались на мою собственную личную память, как травинки на колеса в долгом пути самосознания, — и я с интересом прочла совсем недавно у философа ультрасовременного, Артура Фаллико, о том, что: «Ребенск конститутивно входит в строение взрослого человека, причем таким способом, что он остается действующим и производящим в самой основе активности взрослого человека»<sup>2</sup>. Мне это представляется иной раз как внутренний диалектизм внеличного сознания природы (она выражает его в тех действиях, которые мы называем «законами природы») — и личного индивидуального сознания человека, возникающего с его становлением и умирающего с его смертью...

Но как бы то ни было, сколько ни рассуждай, — в каждом из нас, когда мы были детьми, скрыто очень много тайн и заложен ключ к постижению нашей зрелости. И нельзя в конце жизни писать воспоминания, не близясь, по Пушкину, «к началу своему», не пытаясь по-новому войти в стихию своего детства. А это очень трудно. И не всегда это читателю интересно. А между тем, дорогой читатель, это важно, необходимо и это захватывающее интересно для самого пишущего. Я прочтала недавно в «Антимемуарах» Андре Мальро, что он сознательно отказывается писать о своем детстве, ибо оно чуждо ему и неинтересно, — может быть, потому и появилось в заглавии его книги это модное нынче словечко «анти». Запад отрекается, отшатывается от «начала своего», он не хочет знать преемственности и великой, ведущей силы жизни, именуемой Временем (с большой буквы), — даже в воспоминаниях. Но у нас эта сила жизни проступает, как связующее дыхание, во всем, что мы сейчас создаем, и она животворит наш взгляд на прошедшее. Вот с этим живым, направляющим несением времени в себе, Времени с большой буквы, хочется мне приступить к своим собственным воспоминаниям.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### МЛАДЕНЧЕСТВО

В младенчестве моем она меня любила...

*А. Пушкин, «Муза».*

#### 1

Что пробивается сквозь внутренний мир младенца как первое впечатление от внешнего мира? Свет? Звук? Прикосновение? Мать — это еще связь с прошлым, природа. С нею — он все еще внутри. Но вот смена света и тьмы, краска, движение линий, вторжение звуков — то, что уводит из прошлого, отделяет от внутренней связи с природой и надвигает природу извне. Рождается чувство длительности, целое протягивается, наступает Время. Первое ясное впечатление от бытия, набегающего извне, как волны на побережье, — это ощущение времени. И время очень медленно, почти устойчиво, почти неподвижно — изменения в нем подобны геологическим. Счастливейшее переживание ран-

<sup>2</sup> Fallico A. Art and existentialism. Englewood Cliffs. Prentice Hall. 1962. Цитирую по сборнику рефератов, выпуск № 1, стр. 63. Академия наук СССР.

него детства — это медленность времени, протяженность в нем, не ведающая конца; это скупое, как счет без подведения итогов, сложение без суммы, движение в бесконечность. Оно будет длиться почти пятилетие; и лето — тянуться, и зима — тянуться, и день — тянуться, долгое пребывание в них — вот что всегда запоминается человеком, когда он думает о себе ребенком.

Первое чувство времени, связанное со светом и звуком, пришло ко мне от окна утром, с шелестом поднимаемой шторы. В те годы — восьмидесятие прошлого века — были обычны белые, как кипень, шторы, собиравшиеся на шнуре, когда его тянули книзу, пышными круглыми пуфами, подобными складчатым круглым шарам, налезавшим друг на друга у верхнего края окна. Они собирались не сразу, а сборчато, постепенно, открывая сизое, раннее утро, еще не совсем светлое. Окно глядело на улицу. От него сквозь шторы давно ходили по стене тени, начинались с одного конца стены, ползли бесшумно, загадочно на другой конец и — скатывались одна за другой, — это шло отражение ранних пешеходов. Звуков не доносилось, стены в старину ставились глухие, толстые, как в монастыре. Звук порождало шлепанье — шлеп, шлеп, — это няня шла к окну поднимать снежные сугробики штор, стягивая их под потолок друг на друга, и шторы издавали густой шелест, слегка со свистом. Тени, уходившие вдоль стены с одного конца на другой, и эти белые сугробы штор, наползавших, сжимаясь, друг на друга, — было самым ранним моим ощущением внешнего мира, в возрасте около двух лет.

Точно знаю возраст, потому что именно в эти дни появилась рядом с моею еще одна беленькая, с высокими деревянными стенками, обтянутыми простыней, детская кроватка, а в ней живая кукла, моя младшая сестра. Появилась она спустя год, девять месяцев и девять дней после моего рожденья. А родилась я, судя по записи в метрике, 21 марта 1888 года. Три восьмерки подряд сделали эту дату легко запоминаемой. Легко бросается она в глаза и сейчас, особенно у пограничников при первом взгляде на паспорт. «Бабуся, и что вы всё ездите? Пора бы костям отдых дать!» — сказал мне один совсем недавно.

Тогда, в самом начале пути, я еще не предчувствовала, каким большим путешествием будет моя жизнь. Тогда я смотрела, вероятно, в бесконечную длину пройденного человечеством, а может быть, просто несла его в себе, как некую тяжесть. И тогда я еще не знала, каким величайшим, единственным счастьем станет для меня кроватка рядом, существо, сразу, с первым проблеском сознания сроднившее меня со словом «ты», как бы дублировавшее для меня бытие. Мы с сестрой сделали для няни, для семьи, для гостей и ребят во дворе неразрывной дволицей «Мариэтта-Лина», «Лина-Мариэтта», — мать читала французский роман, и отсюда имя «Мариэтта», в метрике «Марианна», которой я, впрочем, никогда в жизни не называлась. А «Магдалина» пришла, вероятно, по евангельской ассоциации.

Если смотреть прозаически, то происходило все это — с окном и шторами — в Москве белокаменной; в Салтыковском переулке, сейчас переименованном; в доме Лапина, сейчас потерявшем имя и получившем номер; в обыкновенной армянской семье врача, жившей, как сотни тогдашних семей русской интеллигенции. Но мы начали перебирать четки с Пушкина, — а потому ушли от прозы; и мы живем в век победоносной биологии, соперничающей в университетах с физикой, — а потому нельзя обойтись без «генов». До чего узко понимаются учеными эти самые «гены», как если бы генеалогия каждого из нас начиналась с бабушек и дедушек, а не с Адама и Евы! Но выпустим на минуту бесконечные бусинки четок, перебираемых на нитке времени по кругу безначалия, и возьмемся хотя бы за бабушек и дедушек.

Армянская семья врача была не только частью московской интел-



лигенции. Она была частью московской армянской колонии. Вероятно, это каким-то образом ощущалось с детства, — я не помню. Но перед тем, как засесть за свою повесть о себе, я прочтала с огромным интересом все, что относится к армянским колониям на Руси, и особенно прекрасную книгу Саломэ Арешьян, названную очень узко «Армянская печать и царская цензура»<sup>3</sup>, а на самом деле охватывающую до самых корней армяно-русские отношения и куда более богатую умом и содержанием, чем иные пухло-пустопорожные двухтомные компиляции на эту тему. И на меня нахлынули «гены» тысячевекового бродяжничества армян по лицу нашей земли, постоянного снятия с этой земли всем домом и скарбом, заселения новых земель, их любовного обхаживания, их покрытия садами и — снова снятия, передвиженья, борьбы. Борьбы — за пределами границ семьи, околотка, группы, народа, и борьбы — в пределах семьи, околотка, группы, народа; нечто, кишашее вечной деятельностью, как муравейник, — с вечной стабильностью мечты о родине, звездой освещающей путь вечных передвижений. Я очутилась в царстве «генов», разноголосица которых забил мне уши, как морской шум забивает раковину. Я ответвилась от этого народа, проросла его веточкой, — и мне стало жизненно важно разобраться в судьбах армянского народа, осевшего колониями на русской земле.

Отправными точками в этом разборе стали два семейных рода: матери, Пепронэ Яковлевны Хлытчиевой, из армянской колонии в Нахичевани-на-Дону, и отца, Сергея (Саркиса) Давыдовича Шагинянца, из армянской колонии в Григориополе на Днестре. Но сперва — что же это такое, колония в самом теле чужого государства, как вкрапленный в тело инородный предмет? Что это такое, когда вовсе не могучее государство колонизует где-то за морями-океанами чужие материки, населенные чужими народами, и создает политико-экономическое явление, именуемое «колониализмом», — а, наоборот, маленькая группа иноплеменных «колонирует» кусочки земли в огромном теле могучего государства, обживая эти кусочки там и сям, по разным местам территории, коллективно застраивая и культивируя их?

## 2

Оказывается, разница тут огромная.

Могучие государства, колонизуя далекие отсталые страны, используют их отсталость. Но те же могучие государства, приглашая к себе селиться группы иноземцев, используют — их культурные навыки, их умение. В первом случае государству-колонизатору выгодна отсталость колонизируемых стран, дешевые рабочие руки; оно дает этим странам лишь такие зачатки цивилизации, которые помогают добывать и вывозить природные богатства колоний. Но во втором случае картина совсем иная: на пустынную территорию, на завоеванные земли приглашаются государством группы иноземцев, приглашаются с поклоном, с посулами — дать денежную помощь, дать привилегии — свободу от налогов, от набора в солдаты, свое городское управление, свое судопроизводство и школы на родном языке — только вселяйтесь, милости просим, — почему? Потому что вас приглашают как умелые руки — стройте дома, города, разбивайте сады, культивируйте землю. налаживайте торговлю и торговые связи, насаждайте ремесло, какому сведущи, — топите сало, тяните кожу, отливайте свечи, разводите шелкопрядов, тките шелк... И приглашенные на пустые земли — строят, создают, налаживают, торгуют, становятся в некотором смысле «цивилизаторами».

<sup>3</sup> С. Г. Арешьян. Армянская печать и царская цензура. Академия наук Армянской ССР. Институт литературы имени М. Абеяна. 1957

В истории России такой способ заселять и поднимать завоеванные земли встречается часто. Школьные учебники конца прошлого века с первых страниц приучали нас к легенде о призыве варягов «княжити» — «земля наша велика и обильна»... Петр Первый, нуждаясь в умелых руках, заселял целые слободы немцами, и немецкий фольклор, точнее русско-немецкая ироническая фольклористика в пословицах, поговорках, забавных прибаутках, до сих пор бытует кой-где на Руси. Екатерина Вторая, завоевав Крым и придунайскую землю у турок, остро нуждалась в их заселении. Да и не только их — гольми лежали места вдоль «тихого Дона», нужду в организованных поселениях испытывали Кавказ, Астрахань, пригороды столиц и больших городов. Купец — опытный, знающий торговые пути и рынки, понимающий, как торговать, разбирающийся в восточных и западных товарах, сметливый в разговорных языках десятка народов, — был нужен как ценный специалист. И царница усиленно приглашала из Измаила в Россию греков, болгар, армян; греки, болгары, армяне — правда, с опаской и не сразу, не очень охотно снимаясь сотнями с насиженных в Измаиле мест, — караванами двигались заселять юг России. Армянские колонии построили города Новый Нахичевань и Григориополь, они участвовали в застройке Феодосии, Армавира, Кизляра, они строились и оседали в Астрахани, Петербурге, Москве... Впрочем, судя по архивным данным в книге Арешьян, первая колония их образовалась еще в XI веке в Киеве и одна из древнейших в Москве — в Китай-городке.

Я пишу «с опаской и не сразу». Нужно добавить — и со всяческими поставленными «условиями» для переселения. Вот, например, «первая петиция» армян, приглашаемых построить Григориополь, отправленная через Зубова Екатерине Второй. В ней целых тринадцать пунктов о получении «прав» и среди них: «право постройки из собственного иждивения купеческих мореходных судов, в разведении нужных и полезных фабрик, заводов и фруктовых садов, в делании виноградных вин и свободной продажи их... Словом, распространения всякого звания промыслов по собственной каждого воле и достатку их»<sup>4</sup>.

Составлено это, как говорят источники, не позже 1791 года. А вот как отвечает Екатерина Вторая в самом начале 1792 года на эти «просьбы» армян, — она пишет екатеринославскому губернатору В. В. Коховскому, которому поручены переселенцы-армяне из Измаила:

«...Покойный князь Григорий Александрович Потемкин Таврический назначил быть городу армянскому под именем Григориополь у самого Днестра, между долин Черной и Черницы, включая и обе оныя в городской выгон. Мы, утверждая сие назначение, повелеваем. Первое: отвести помянутую округу, между долин Черной и Черницы лежащую, со вменением обеих оных под город армянский, который и именовать Григориополь. Второе: сделать план сему городу и, расположив оный сообразно роду жизни и упражнению трудолюбиваго сего народа, представить его нам. Третье: между тем преподавать армянам все зависящая от вас спомоществования к водворению их тамо, произвождению ремесел и открытию фабрик, которыя они завести намерены»<sup>5</sup>.

Я не зря подчеркнула в петиции армян слова, связанные с «постройкой», с «разведением», вообще — с деятельностью «по собственной каждой воле», — это ведь тяга к оседлости и независимости у народа, история которого полна скитаний и зависимости. Но в них отражено и еще

<sup>4</sup> Из архивных документов ЦГИД СССР, ф. 880, оп. 5, д. 378, лл. 12—18, приведенных в книге Ж. А. Ананяна «Армянская колония Григориополь». Академия наук Армянской ССР. Ереван. 1969. Выделено всюду мною.

<sup>5</sup> Оригинал находится в ЦГАДА Госархив, ф. 16 л. 696, часть 11, лл. 92—93. Привожу по книге Ананяна

кое-что. Непоседами армяне сделались не только от нашествия сельджуков в XI веке и постоянного давления на них «чужих идеологий» — ислама, персидских разновидностей магометанства, язычества, римлян, арабов, всего и всех, кто мечом и огнем проходил по их пажитям, заливая Араратскую долину кровью. Но и от древнейшей их способности, поощряющей непоседливость, — от умения быть мастерами, умения строить. Строительная, как и пастушья профессии связаны с вечным передвижением. Переходишь с места на место за стадом, ища свежие пастбища. И переходишь с места на место в поисках работы, держа за пазухой рабочий мастерок, это грубое подобие стеки, тонкого орудия скульптора. Так некогда веселый портняжка, прадед Гёте, вступил в ворота города Франкфурта-на-Майне с ножницами за поясом. Армянин со своим мастерком, по книге профессора Стржиговского, дошел даже до Кёльна — он участвовал в постройке Кёльнского собора.

Книга профессора Стржиговского<sup>6</sup> сейчас большая редкость. Называется она «Строительное искусство армян и Европа», издана больше полувека назад в Вене на немецком языке и переведена никогда не была. Для нашего читателя в ней очень много интересного, даже не только об архитектуре. Огромное значение, какое придает Стржиговский закавказской культурной магистрали в развитии человечества, перекликается с чисто советской теорией, выдвинутой грузинскими учеными, — о раннем Ренессансе в Закавказье. Коротко расскажу, что пишет Стржиговский о строительном таланте армян.

В древней Армении каменщики имели свою корпорацию и еще в VII веке назывались «мастерами камня», о чем есть свидетельство у историка Себеоса (III, 1). «Еще во времена переселения народов... армяне считались в странах Средиземного моря лучшими каменщиками, подобно тому, как после них — такими же мастерами явились для Германии, Франции и Англии — ломбардцы»; «Особенности строительства купола на квадрате как господствующей опоры (Baumitte) распространялась на Средиземное море в Европу — из Армении»; «...от армян купольный свод завоевал Европу»; «армяне еще по сегодня на всем Востоке славятся как мастера делать свод»... Еще по сегодня! Я выбираю эти цитаты из множества других таких же. Но при всех этих высоких хвалах армянскому зодчеству и его явному проникновению в Европу еще до итальянского влияния; Стржиговский самое большое достоинство у армян-строителей видит даже не в самой кладке камней и не в формах этой кладки, не в куполе и своде, а в вековечном по прочности литье на известковом растворе в простенках между одеждой из каменных плит, то есть в способе связи, способе цементирования камней. Он восклицает в предисловии: «Нельзя в достаточной мере подчеркнуть родство армянского внутрстенного литья (Gussmauer Werke) с излюбленным строительным методом современности!»

Вот эта древнейшая способность, живущая как бы в крови народа, подобно строительной способности пчел, муравьев, бобров, делала армян желанными колонистами в пустынных просторах завоеванного Россией Юга. Строить, лепить, цементировать, связывать...

## 3

Так некогда строилась тысячелетие назад армянская столица Ани. Видением ее стройной красоты озарено лирическое отступление первого армянского романа «Раны Армении», написанного в слезах ночного

<sup>6</sup> Joseph Strzygowsky. Die Baukunst der Armenier und Europa. Wien, 1918. Два тома. Первый том посвящен анализу памятников и материала армянских построек и древнему строительному методу армян. Второй том говорит о сущности армянского зодчества и его проникновении в Европу. Книге предпослано очень интересное предисловие. Цитаты приведены мною со страниц 1-го тома — 206, 5, 1, 206, стр. V.

бденья, в тоске по рассеянным соплеменникам, в мечте о возрождении родины—Хачатуром Абовяном. И столицу Ани, верней то, что от нее осталось, я увидела собственными глазами,— не очень, правда, переживая в те времена встречу с ней. Было это чуть раньше выхода книги Стржиговского, поздним летом 1917 года, когда мы с мужем совершали свадебное путешествие и он привез меня, первый раз в моей жизни, в Армению.

Руины Ани находились еще на нашей армянской стороне, как и пограничная речка Ахурян,— позднее они отошли по договору к Турции. Закавказье— Грузия и Армения— было еще меньшевистско-дашнакское, а верней какое-то промежуточное: на вокзале и в поезде, во всем, что в них делалось, ощущались безвластие и ленивая инерция привычек. Поезд от тогдашнего Тифлиса шел сутки, замирая на пустынных остановках. Добрались до станции Ани уже к закату солнца, слезли на пустынную насыпь, и дальше все пошло, как в сказке или во сне: безлюдье, одинокий ослик синеватого, сарьяновского оттенка, пламенный костер заката, а над ним бездонная ширь неба удивительных красок— прозрачно-зеленых, оранжевых, фиолетовых,— небо раскинулось с такой необъятной щедростью, что земля под ним почти исчезла, почти ощущалась округло. На ослика мы взвалили нашу поклажу, и погонщик поплелся за ним, мягко ступая по выжженной земле. Мы шли и шли, наслаждаясь воздухом, сменой красок, выцветивавших кристаллы гор по горизонту. С потоменьем шло просыпание звездных миров наверху, открывавших миллионы мигающих глаз. Дорога была плохая, но особая прохлада— прохлада широких, нагретых за день просторов— не давала ногам устать.

В полной темноте мы спустились к речке Ахурян, где мельник держал перевоз. Тогда еще были в ходу закавказские боны и армянские «дензнаки», в которых с трудом разбирались и мы и перевозчик. Оставив погонщика с поклажей заночевать на мельнице, мы оплатили свой переезд на тот берег. Два кривых шеста были вбиты по берегам с двух сторон речки. Между ними протянута толстая веревка. Внизу прыгал на воде треугольный ящик, кой-как сколоченный, а в ящик шагнул бородастый, сказочный мельник, одной рукой ухватясь за веревку, другой опершись на простую лопату. Безобидный как будто Ахурян оказался бурной горной речкой, крутившейся под ящиком, когда мы с мужем ступили в него с берега и почуствовали, как оседает под нами днище. Перевоз длился минуты две— мельник рукой скользил по веревке, другой заребал реку лопатой,— но в эти две минуты наш ящик набух, как сапог, а мы стояли в воде чуть не по колено. И вот мы на том берегу, отделенные рекой от всего мира. Мельник уплыл по веревке обратно. Началось медленное карабканье— в полной темноте, по камням, скользившим вниз под дождем падающих звезд. И вдруг наверху, прямо над головой выросли огромные, циклопически-выпуклые, темные стены-баши древнего города. Мы очутились в Ани.

Как было легко жить в молодости и каким неценным в те годы было сокровище силы, энергии и здоровья! Наугад, зная лишь понаслышке об археологических работах в Ани, готовые заночевать на земле под волчий или шакалий вой, после трехчасовой ходьбы,— мы со вспыхнувшим любопытством ходили вдвоем по мертвым улицам царственных руин, заглядывая в провалы бескрыших домов, спотыкаясь о каменные плиты, пока вдруг не мелькнул где-то огонек. И мы вышли на огонек. Многое было забыто мной в громаде пережитого за долгую жизнь. Но это я хорошо помню— порог открывшейся двери, ее освещенный пролет— в звездную ночь мертвого города. И на пороге силуэты людей. Нас встретили: очень худой, едва начинавший сидеть, молчаливый, неторопливый Николай Яковлевич Марр; его сия Юрий— будущий иранолог, а тогда

еще стройный подросток; и турецкий армянин, известный художник Фетваджян, приехавший, чтоб делать акварельные зарисовки Ани. Можно ли было спать!

Мы проговорили всю ночь, а потом, с первыми лучами солнца, отправились в городище. Начиная с 1892 года и вплоть до Октябрьской революции академик Марр вел его раскопки. Огромно значение этих работ не только для армянской культуры, но и для народов Передней Азии; под его руководством здесь прошло серьезную школу целое поколение советских археологов... И так свыкся образ Марра с этим вырытым из-под земли городом, что профиль Николая Яковлевича как бы в зеркале воспроизвел выбитый в камне древний профиль анийского царя Гагика. Может быть, потому, что мы провели ночь в жаркой беседе и здесь стоял жилой дом-музей, а может, из-за Марра с его анийским профилем, шагавшего по ямам и овражкам Ани, как местный житель, знающий все, что тут было и как было, — но в памяти моей остался почти живой город Ани, наполненный мягким грудным говором Марра, звуком его легких шагов, юношески-высоким тенорком его сына и необыкновенно живыми гортанными восклицаниями Фетваджяна, прыгавшего с камня на камень. Для них Ани была рабочим местом, чем-то, что жило с ними изо дня в день, постепенно переходя в книги, на полотно, в музей, — и потому само никак на музей не похожее. И для меня сейчас, когда оживляю пережитое в памяти и перевожу его тонкою нитью времени из прошлого — в познаваемое будущее, в движение мысли и пера вперед, — это очевидно когда-то скопление улиц, районы рабочих цехов, людского жилья, бань, площадей, судилищ, торжищ, знатных дворцов и нищих караван-сараев становится исходом моих далеких предков, земель, которую кровь моя, откликаясь, чувствует своею, кровной.

Уже в пятом столетии, если вернуться к истории, Ани была крепостью, — в десятом она бурно застраивалась, как один из великолепнейших центров Закавказья; в одиннадцатом здесь побывали греки; в конце одиннадцатого город захватили сельджуки; в тринадцатом — монголы. И с одиннадцатого века армяне хлынули из Ани — все, кто смог бежать от чужого владычества. Началось то великое рассеяние анийских армян, какое забросило их по лицу чуть ли не всей земли — и в европейские столицы, и в американское Фресно, и в малоазийские страны, и в Киев — «мать городов русских», и в гирейский Крым, и в турецкий Измаил. И по матери, крымской армянке, и по отцу, измайльцу-григорнопольцу, я принадлежу к этой странствующей анийской ветви моего народа. Другая его часть — оседлая — оставалась в пределах исконной Армении, ее Араратской долины, и называется иногда у историков «армянами метрополии».

## 4

Крымские армяне оставили немало следов в Крыму — развалины старых церквей, старинные поселения, места, где они жили и где земля ухожена, взлелеяна была ими под сады и виноградники. При последнем крымском «дофине» — Шагин-Гирее — им, во всяком случае, жилось неплохо, поскольку они многое переняли у крымских татар. До первого десятилетия нашего века потомки крымских армян, построившие при Екатерине город Нахичевань-на-Дону, сохранили и свой, пропитанный татарскими словами, и свой диалект, где армянский язык обрел немало татарских словечек.

Детьми меня и сестру возили на побывку к дедушке, Якову Матвеевичу Хлытчиеву, и к многочисленным тетушкам, его дочерям, в уютный маленький Нор-Нахичевань. Это был обособленный город, отделенный куском голой степи и мелкорослой искусственной рощей, называемой «Балабановской», от крупного портового Ростова-на-Дону. Нас потчевали

армянскими блюдами — их иногда готовила и мать в Москве, — хранившими отзвук и вкус крымско-татарской кухни: мусаха́, самса́-хатлама́... Были особые старухи, изготовлявшие лакомую закуску — язычки. Небольшой бараний язычок приготавливался и в копченом виде, и в маринованном и был необычайно вкусен, особенно копченый, буралого цвета, когда с него аккуратно срезали кожицу и резали на тоненькие ломти. И еще одно лакомство: эрэшкík, плоскую колбасу из копченого, с чесноком бараньего мяса. Язычки мне больше никогда не случалось есть; эрэшкík претерпела изменение во вкусе и называется сейчас «суджук»; а вот татарские блюда из мучных ушков, начиненных ароматным, с травками, бараньим мясом, — хашík-берék (суп с ушками на кислом молоке) и татáр-берék (блюдо с ушками в мацуне со сливочным маслом), посыпанные сверху толченым сухим чебрецом, и до сих пор изготовляют кое-где армянские хозяйки родом из крымских армян, и я никогда и нигде не ела ничего вкуснее. Еда в Нахичевани носила характер праздничный, почти эстетический. Для изготовления береков привлекалась вся женская половина дома, в том числе и дети. Помню, как нам под самый подбородок повязывали огромные полотенца, заставляли щеткой мыть руки и ногти и только после этого допускали к кухонному столу, где на доске аккуратно резалось приготовленное тесто на части. Потом эти части раскатывались длинными столбиками, столбики делились на кусочки, а кусочки плоско приминались пальцами, опрокинутая рюмка нарезала из них острыми своими краями ровные кружочки, на эти кружочки накладывались щепотки заранее приготовленного фарша, и только потом дело передавалось в руки детей и семейных доброхотцев: мы с огромной осторожностью, благоговей, закрывали и защипывали эти начиненные кружки сверху, в особого типа круглую маленькую розетку-ушок. Так никогда не делают пельменей, защипываемых с одного боку. Бывало, мать достает из многочисленных жестянок со всякими сухими ароматами — шафраном, корицей, лавровым листом — несколько черных гвоздичек и поручает нам, детям, воткнуть их в ушки, да так, чтобы снаружи не видно, — чтоб «принести счастье» тому, кому выпадет за столом этот ушок. Число таких гвоздичек всегда бралось вдвое меньше приглашенных к столу.

Я описываю так подробно эту процедуру, потому что позднее она мне много раз припоминалась, когда я раздумывала над лучшими методами педагогики. Труд может показаться скучным. Но если кто-то перед вами делает свой труд обязательно, труд становится заразительным. Дети начинают хотеть: и я! и я! дайте попробовать! И пробуют со стиснутым ртом, с затаенным дыханьем, с наслаждением в глазах и пальцах — так надо учить!

Помните первый подвиг Тома Сойера, когда тетушка в воскресный день в виде наказания заставила его выкрасить забор? Бедняга Том пал было духом, но заметил подходивших мальчишек. Тут он сразу превратился в художника, в творца: поджал губы, мазнет кистью — отступит на шаг, поглядит на творение рук своих, слегка наклонив голову, окунет кисть в краску и опять мазок — ровный, густой, сочный... Известен конец этого приема: охваченные завистью (зараженные) мальчишки один за другим стали вымаливать разрешение у Тома тоже покрасить, и Том не сразу и не даром стал давать эти разрешения... Он применил прием заразительности труда — показал его обаяние. У моей сестры Лины был прирожденный дар педагога. Однажды в Анапе ей достался ужасный ученик, лентяй, ненавидевший всякое учение, а родители во что бы то ни стало хотели обучить его французскому. Читать еще с грехом пополам он умел, но писать злобно отказывался. До Лины никто ничего с ним поделать не мог. И вот она приступила к своим урокам, ни звуком не напоминая о письме. И как-то, когда мальчишка, болтая ногами под

столом, начал валять дурака, она закрыла книгу и объявила: «Кончено. Я тебе хотела показать, как н а р и с о в а т ь французскую букву «т», а теперь не покажу». После двух-трех таких отказов мальчик попросил: «как нарисовать букву «т»? Операция была отложена на завтра. К ней Лина приготовила восемь разноцветных карандашей и особую бумагу. Они вместе «нарисовали» «т» с перекладинкой, потом стали «рисовать» другие буквы, и в конце концов мальчик одолел французское письмо. Он захотел это сделать потому, что прозанческое «написать» было заменено завлекательным «нарисовать».

Чтоб процесс труда сделался обаятельным, а усилие облегчилось, был приключен к обыкновенной работе элемент эстетический, создающий личное, субъективное удовольствие для того, кто трудится. Мне всегда непонятно было читать в нынешних школьных программах введение (или пожелание) особого курса по «эстетическому воспитанию школьников» при абсолютно лишенной всего эстетического методике преподавания самих учебных предметов. А ведь в Индии и в некоторых других странах Востока так чудесно используется музыка в начальных классах, когда дети хором поют азбуку, под мелодию осваивают правило, как бы «станцовывают» и «певают» науку. И еще одно: музыка пронизывает школьных ребят ритмом, им не трудно отсиживать часы на уроках, она их наполняет телесным ощущением ритмического движения. Семи-девятилетнему ребенку не только мучительно отсиживать часы на школьных скамьях — ему, его мягким костям, его скелету это убийственно вредно, а когда инстинкт заставляет его шалить, дергаться, двигаться, учительница вменяет это ему как «плохое поведение».

Но мы далеко ушли от изготовления береков, а была еще одна замечательная пищевая традиция у нахичеванцев, которая глубокими корнями уходит в древность. Часто вечером мать приглашала своих сестер (или они — нас) на калмыцкий чай. Аромат его из кухни пропитывал все комнаты. Тетушки приходили чинно, в платьях для «выхода», снимали шляпки, приколотые к прическе длинной шляпной иголкой, и оставляли их в гостиной на столе. А в кухне кипятился в большом котле кирпичный чай, круглыми плоскими плитами продававшийся фирмой Высоцкого. Он потом процеживался, смешивался — половина на половину — с молоком, и в большой миске его приносили в столовую. А в столовой уже сидели за столом тетушки, перед каждой стояла небольшая, без ручки, чашка, подобная узбекским для кок-чая, и было свежее, со слезой, сливочное масло, солонки с солью, горка особых песочных сухариков без сахара, — пили калмыцкий чай, посолив его, опустив в чашку немного масла и похрустывая меж питьем рассыпчатыми сухариками. Нахичеванские врачи поощряли этот напиток, утверждая, что он продлевает человеческую жизнь. Кто знает, из каких степных далей, из-под какого ночного неба, от чьих пастушьих костров пришел к нам этот удивительный чай, именовавшийся у армян калмыцким? В долине Арарата и в Ереване его не пьют. Тетки наши, разгораясь от питья, гортанно сыпали бесконечными рассказами и восклицаниями на армянско-нахичеванском диалекте. Я на всю жизнь запомнила один энергичный вскрик, сопровождавшийся всплеском пальцев в бриллиантовых кольцах: «Хазар вай тепис вран!» («Тысячу ваев на мою голову!»).

Тетушек у нас было много, сразу не перечечь, и все повыходили за муж за местных богатеев, и у каждой был свой характер и свое отцовское приданое в 25 тысяч. Когда назывались в те годы фамилии самых именитых «первогильдийных» армян, то наверняка они были дядями — мужьями маминых сестер: Джамгаров, Хатранов, Чикнаверов, Сагиров, Кобетлиев, Шилтов — банкирский дом, нефтяные промыслы, рыбные промыслы, нотариальная контора... Русское окончание фамилий показыва-

ло, что все они — из XVIII века, века Екатерины, когда армян-колонистов записывали на «ов». Но были исключения: Дадьянц — ставропольский прокурор, выходец из Метрополии (Араратской долины); Сажумянц — врач, родившийся, проживший и умерший в араратском селе Аштараке; Шагинянц — врач и потомок врача, родившийся в Григориополе, но издавна, с выхода прадеда моего из турецкого Измаила, записанный почему-то не на «ов», а в армянском родительном падеже, на «янц». Тети — каждая — стоят у меня ярко в памяти, красивые, крепкие, хозяйственные, одаренные здравым смыслом и коренным упорством в поведении. Они верили в незыблемый распорядок жизни, в женские функции жен и матерей, в соблюдение обычаев, неизвестно кем и когда установленных: дни поминанья умерших, когда на кладбище надо нести пироги для раздачи нищим; визиты попа и дьякона в большие праздники, с заготовленными для них конвертами, первому толсто, второму потоньше; «соленье» младенца при его крещении<sup>7</sup>; изготовление «гаты» и «губы» под рождество; и множество всяких соблюдаемых правил и привычек. Даже крем для лица у монахов тетушек был особенный, старозаветный, изготавливаемый из рода в род невзрачным пригородным семейством и называемый «Зюлейкина мазь». Мы с сестрой испытали его действие на себе: он вызывал страшнейший выпот лица, до легкого озноба, — и через два-три дня кожа отшелушивалась вместе с загаром и веснушками, оставляя матовую бархатистость щек. К великому сожалению доживших до наших времен нахичеванских старух, рецепт этой волшебной мази безвозвратно потерян со смертью последней «Зюлейки».

Дедушка, отец моей матери, Яков Матвеевич Хлытчичев был образованный купец первой гильдии, благообразный на старости, с подбородком, похожим на подбородок Бисмарка. Его мать, а наша прабабка, известна мне только по рассказам. Она совершила путешествие в Ерусалим, «ко святым местам», и получила поэтому прозвание «хаджи-мама». с ударением на последнем слоге. Запомнилась своим внукам повязанная черным головным платком, восседавшая на высоком стуле у окна и проклинаяшая окружающих острым, как уксус, голосом. Когда мы шалили, тетки часто грозили: «Вот вырастешь, будешь как хаджи-мама». Дед Яков Матвеевич обожал свою жену, одарившую его двумя десятками детей. Как было тогда принято у богатых нахичеванцев, он заказал тогдашнему учителю, обучавшему его многочисленных дочерей, знаменитому впоследствии поэту Рафаэлю Патканьяну, написать о ней хвалу. Патканьян создал особый жанр семейной «эклоги» — восхваления в виде писем к другу о высоко нравственной матери семейства, об ее доме-очаге, о том, как велся и управлялся ею этот дом, о прислужниках, порядках, организации, воспитании детей. Книга была напечатана в местной армянской типографии, переплетена, снабжена вкладышем с многочисленными фотографиями всех детей — там и головка моей матери, младшей в семье, и подле нее — самой младшей, тети Сани. Книга эта хранится в ереванском Литературном музее, имеется она и в моем семейном архиве.

Все, о чем я пишу, осталось в памяти от коротких наших наездов, начиная с моего одиннадцатилетнего возраста (девятилетнего сестры), на побывку в Нахичевань-на-Дону. Жизнь казалась там узкообособленной, монотонной, мелконациональной и, как масло с водой, совсем не сливавшейся с жизнью большого русского мира в Ростове по соседству, а тем более не похожей и на нашу московскую, русскую жизнь. Уже на старости, когда мне захотелось заняться архивными поисками по линии своих «генов», я столкнулась с любопытным фактом: ролью армянского революционера-демократа Микаэла Налбандяна в жизни обоих моих дедушек, со стороны матери и со стороны отца, двух совершенно разных

<sup>7</sup> У армян при крещении младенца присаливают.



характеров, с совершенно разными «позициями», разделенных тысячами километров и никогда друг друга не знавших. Дедушка со стороны отца григориопольский протоиерей отец Давид Шагинянц (о нем будет речь впереди) служил в молодости секретарем у большого клерикала и реакционера епископа Габриэла Айвазяна (родного брата художника Айвазовского) и как таковой, очевидно, должен был участвовать в клерикальном гонении, какому яростно подвергал епископ сатирика-публициста, активно сотрудничавшего в революционном журнале «Лусисапайл», Микаэла Налбандяна. Между тем дедушка со стороны матери вошел в историю как довольно энергичный защитник памяти Налбандяна (родом тоже нахичеванца) и организатор его публичных похорон с революционными надгробными речами. Об этом черным по белому писано в жандармских документах царского времени, и это стоит рассказать как страничку из жизни и быта армян-колонистов прошлого века.

## 5

Жизнь Налбандяна ярка и коротка. Быть может, самое интересное в его характере — это смесь типично русского интеллигента своего времени с восточно-детской армянско-национальной патетикой, задиристой и застенчивой зараз и тоже сугубо типичной в среде его земляков. С Герценом, Писаревым, революционными демократами его роднил жадный интерес к естествознанию и биологии, подогретый гениальными лекциями профессора Рулье в Московском университете, а с начинавшимся армянским освободительным движением — страстная борьба против своих темных сил, поповского мракобесия, невежественных армян-капиталистов, их грубых финансовых махинаций. И вот молодого, острого на язык публициста те же земляки, порядком искусанные его пером, «армянский магистрат города Нахичевани», решают послать в авантюрную поездку — в Калькутту, чтоб суметь вырвать там из банка огромную сумму денег, завещанную умершим в Индии армянским богачом городу Нахичевани. Пропадут деньги ни за что, а тут бойкий, образованный человек авось да вытянет их из английских лап, — думали, наверное, в городе Нахичевани-на-Дону о свалившемся им с неба неожиданном богатстве. Налбандян получил в Индии деньги и на полагающуюся ему долю за «комиссию» съездил в Лондон, где познакомился с Герценом, Огаревым и Бакуниным; в Париж, где впоследствии была напечатана его брошюра о земледелии в Константинополь, где завязал сношения с передовыми турецкими армянами... Представляешь себе эту полосу его жизни — весь мир распахнут, общение со светлыми, смелыми умами, Европа с ее музеями, театрами, памятниками древности, Азия с ее огненно-яркими красками и контрастами, возможность увидеть, услышать, пережить, с головой окунуться — и эта музыка в ушах, вселенская музыка мировых дорог и перекрестков, гул начинающихся революций, события в Италии, зажигающие ум, беседы в Англии, свобода, свобода, сном кажется далекая Русь с ее самодержавием, с ее цензурой.

Денежная «доля за комиссию» у Налбандяна так велика, что он мог бы скупить для себя что захочет, — и Налбандян покупает. Весь человек, весь характер в том, что купил Налбандян на свои заработанные деньги. Он купил в Индии живого носорога для будущего московского зоологического сада. И не только купил — отправил его в Москву. Это была дань благодарности профессору Рулье, дань благодарности России за русское образование, за светлый ум лучших ее людей, за материализм их сознания, за все, что было хорошего в прошлом. А дальше... Дальше — телеграмма «свиты его величества генерал-майора Дренякина екатеринославскому губернатору» от 1862 года:

«Второго июля выехал в Нахичевань к отцу тамошний житель Ми-

хаил Лазаревич Налбандов сообщник лондонский захватите его с обыском и с бумагами при двух жандармах доставьте в третье отделение от Москвы с товарным поездом...»<sup>8</sup>

Ответная телеграмма — Петербург, начальнику штаба жандармов генералу Потапову:

«Приказание генерала Дренякина выполнено успешно. Дальнейшем исполнении донесу вторично. Генерал Рындин».

Жаркий июль того самого года, когда годовщину отпраздновали с дн я февральского «освобождения крестьян», быстро идет к концу — и с ним начинает идти к концу жизнь человека, полного сил и творческих планов, только что видевшего весь мир, все будущее распахнутыми на все стороны горизонта: 29 июля сам государь-император изволил читать рапорт, подписанный 27 июля:

«Доставленный во исполнение высочайшего вашего императорского величества повеления, объявленного мне в отношении начальника штаба корпуса жандармов № 1620, нахичеванский житель Михаил Налбандов в сего числа в С.-Петербургской крепости принят и заключен в доме Алексеевского рavelина в покой под № 8».

Налбандян в четырех стенах Петропавловской крепости, неподалеку от другого «покая», где сидел Чернышевский. Но можно ли назвать, как стоит в рапорте, это место «домом»? Сейчас множество молодых ног и ножек проходят, с жизнерадостным гидом во главе, по каменным плитам этого поразительного архитектурного комплекса, именуемого Петропавловской крепостью. Если говорить объективно, не вникая в подробности души человеческой и судьбы человека, то «покой» не выглядят страшно. По сравнению с венецианской тюрьмой и орудиями пыток святой Инквизиции, по сравнению с нарами Бухенвальда, волчьими ямами турецких тюрем или звериными клетками Зинг-Зинга с его решетками вместо глухих стен в коридор — эти серые каменные просторные ящики с окошком под потолком, чисто высокобленные, с кроватью и столиком, могут показаться даже комфортабельными, особенно для творческого работника, если ему разрешено письмо и чтение. Лютер в своей каменной камере (Kammer von Luther) в замке Вартбурге, где он переводил с греческого на немецкий Библию, был устроен хуже, чем в этих «покоях». Но холодный ужас, пронизавший меня, пока я двигалась по комплексу Петропавловки, по коридорам этого высокобленного архитектурного целого, серого, как свинцовое небо, когда висит оно в хмурые дни над бывшей русской столицей, и вдобавок замурованного в высокую сплошную каменную ограду, — не могу сравнить ни с каким другим, пережитым от зрелища казематов. Это вернулось прошлое — холод от ужаса царского самодержавия, ужаса того человеческого строя, в котором жила до тридцати своих лет. Я была тогда просто интеллигенткой, не революционеркой, не «политической». Меня не преследовали, не обыскивали, не сажали, не высылали. Не вызывали в Питере «на Гороховую». Но ужас, скрытый, как влага в всячем воздухе, разлитый невидимо в общественной атмосфере, стоял так, что вы себя в нем, как в дурном воздухе, чувствовали постоянно. Это был ужас затвердевшей системы, солидной, уверенной в себе, прочной, как паучья ткань, и — безвыходной, как эта ткань для мухи: системы внутренне скованного человеческого существования.

«Сообщник лондонский» из вольного мира очутился в паутине рапортов, донесений, допросов и каменного молчания Алексеевского рavelина. Спустил три с лишним года его, больного чахоткой, высылают в Камышин «под строгий надзор полиции». А еще через четыре месяца, в ап-

<sup>8</sup> Этот и все дальнейшие документы взяты мною из четвертого тома полного собрания сочинений Микаэла Налбандяна. Издание Академии наук Армянской ССР. Ереван. 1949. Сочинения на армянском языке. Документы в приложении к четвертому тому, стр. 311—350, на русском языке.

реле 1866 года, Налбандян умирает. Вот и вся жизнь. Но смерть не ставит на этом точку. Документов, относящихся к мертвому Налбандяну, намного больше, чем тех, где говорится о нем живом. И лучше всякого драматурга, знающего сцену, разворачивают эти документы время и место действия, характеры и классовые позиции участников. Пройдем по ним, как по ступеням посмертного бытия армянского революционного демократа, — тем более что в них выступает действующим лицом мой дедушка по матери:

«В апреле настоящего года умер в г. Камышине Саратовской губернии находившийся там под надзором полиции житель города Нахичевани Михаил Налбандов. С разрешения начальства тело его перевезено по Волге, железной дорогой на Дон, и доставлено в г. Нахичевань на пароходе «Козак» в начале мая. В Нахичевани гроб встречен был с необыкновенным триумфом и почетом, с образами, хоругвями, музыкой, при стечении почти всего населения города. Потом перевезен в Армянский Кресто-Воздвиженский монастырь, на 5 версте от города, и там погребен, хотя в этом монастыре никого не хоронят. Архимандрит монастыря, в надгробном слове, именовал покойника невинным страдальцем...» Подписано: подполковник Янов.

Под документами — разные подписи полковников и подполковников и, судя по содержанию этих документов, — разные характеры, скрытые подписью: один как будто лезет на стену от усердия и хочет «вырвать крамолу до корня», другой пытается обойти ее стороной, чтоб поменьше хлопот и забот, третий добродушен: зачем раздувать — не случилось бы похуже... Но еще более разными представляются замешанные лица. Тут свой Яго-доносчик, протонерей собора Шапошников; он просит у жандармов защиты себе как верноподданному от мстителей. Тут дряхлый старикан, бывший городской голова Халыбов, — он не прочь подложить свинью тем, кто его сменил в правлении. Тут мелкота, угрожающая той и другой стороне. Тут, наконец, и другая сторона, выявленные крамольники: новый городской голова Гайрабетов, его помощник Каял, председатель магистрата Каракаш, именитый купец Хлытчиев. Следствие копает вглубь, от крамольников — к сути самой крамолы. Если доносчики действуют из сугубо «человеческих» чувств — протоиерей в обиде на архимандрита монастыря, Халыбов в обиде на сменивших его, — то крамольники — из чувств явно политических:

«Город Нахичевань управляется армянским магистратом, руководствующимся древним римским судебником, и, не имея русской полиции, составляет как бы особое государство в государстве. Ссылаясь на высочайше дарованные грамоты и превратно толкуя изложенные в оных привилегии, Нахичеванское Общество упорно сопротивляется введению общественного управления и русской полиции; для защиты прав своих возбудило энергическое заступничество своего экзарха; а в Петербурге — как слышно — имеет поверенным и ходатаем действительного статского советника Султан-бека (Султан-шаха)...»

Самостоятельное управление! Древний римский судебник! Отсутствие русской полиции! — вот она, крамола. Государство в государстве. Ганзея, чистая Ганзея, заноза в жандармском сердце подполковников Яновых, капитанов Белоцерковских. Дознание идет и тянется... документы переходят с месяца на месяц, из году в год, с 1866-го они дотягиваются до 1874-го. И среди этих документов — характеристики всех перечисленных крамольников, а среди них и деда моего, Якова Матвеевича Хлытчиева:

«Купец Яков Хлытчиев также был участником Гайрабетова, в чем он уличается показанием священника Степаносянца, что он первый подал мысль о необходимости вскрыть гроб, а так как он приходится родственником Каракашу и городскому голове и пользуется огром-

ным влиянием в обществе (разрядка моя.— *М. Ш.*), то предложение его имело большое значение; затем уличается показанием Киркора Налбандова, в доме Гайрабетова,— отправляя его, Налбандова, в монастырь для приготовления могилы там, а 14 числа, после погребения, принимал гостей и угощал их завтраком, бывшим в монастыре. Потом уличается показанием Артема Халыбова. Наконец в том, что он был участником, падает подозрение потому, что Хлытчиев был при встрече и погребении, и 13 числа вечером был в доме Гайрабетова, где находились Каракаш, Гайрабетов и откуда исходили, по совещании, распоряжения о дальнейших действиях для придачи торжественного погребения...» Подпись: начальник команды капитан Белоцерковский.

Сколько уличений с помощью самых разных лиц, сколько подходов к человеку со стороны его мелких, случайных действий! А этот «уличенный» ганзеец стоит у меня перед глазами очень цельным в его глубокой старости — круглая голова с выпуклыми глазами из-под густо нависших кустиками белых бровей, с одутловатыми мешками под ними, с бульдожьими щеками и пышными седыми, с желтизной усами над бисмарковым подбородком. Он плохо говорил по-русски, но очень любил с гостями, приезжими из Москвы, беседовать о политике. Он привык к безмолвному повиновению своих многочисленных дочерей, а мы с сестрой сидели за столом вольно, вмещивались в беседу. Последний раз мы обедали с ним, когда мне стукнуло девятнадцать, и я уже писала фельетоны в «Приазовском Крае». Дедушке это нравилось. Он скрывал, что гордится мной, называл меня «он» и всегда говорил обо мне как «о нем» — мужчине, мальчике, а я тоже очень этим гордилась. Под конец жизни Яков Матвеевич дотла разорился, у него остался только один каменный дом в Нахичевани в два этажа, где после смерти отца жила хозяйкой моя мать, перебравшаяся в Нахичевань из Москвы. И мы с сестрой несколько лет подряд приезжали туда погостить, когда наступали каникулы.

## 6

«Гены» ганзейской независимости... Ну а дедушка со стороны отца? Впервые мы с сестрой увидели его в Москве, когда были совсем маленькие. На голоса взрослых: «Дедушка приехал, дедушка приехал!» — мы бросились в гостиную. Там, посреди комнаты, стоял большой, красивый человек в рясе, на груди у него висел крест, волосы были длинные с проседью и с проседью борода, лоб высокий, а глаза удивительной доброты и смущения и такая же добрая, виноватая улыбка. Он держал обеими руками круглый торт, но за верхнюю крышку. Когда шагнул нам навстречу, нижняя часть коробки вместе с тортом выскользнула из-под верхней крышки и с треском упала на пол, разбрызгивая во все стороны крем и цукаты. Так он мне и запомнился на всю жизнь, с его неизъяснимой, нежной притягательностью, с каким-то смиренным чувством вины и тонкими длинными пальцами, не умевшими крепко держать вещи. У него была шагиньянская рука. Она перешла по наследству к отцу, а от отца ко мне.

Второй и последний раз довелось мне увидеть его спустя восемь лет, и это само по себе — очень длинный, очень интересный эпизод в моей жизни, о котором стоит рассказать подробно, потому что он связан со встречей нового века, с последним днем 1899 года.

Наверное, каждый из нас, если он не младенец, может припомнить встречу прошедшего «нового года». Но найти кого-нибудь в 1999 году, кто мог бы рассказать, как он сто лет назад встречал новое, XX столетие, почти невозможно. Для этого потребовалось бы, чтоб рассказчик был не моложе ста десяти, ста двенадцати лет; чтоб он обладал памятью кибернетической машины; и чтоб на той далекой встрече он не спал сладким

сном, как подобало бы в его возрасте, а сидел со взрослыми. Вряд ли, обшарив все горы Абхазии и Азербайджана, удалось бы найти такого образцового старца. Да и сейчас, на пороге последней трети XX столетия, уже совсем мало современников, кто смог бы рассказать, как он его встречал. А такие рассказы нужны. Они донесут до потомков ту смесь ожиданья, надежды, намерений, желанья, что сливаются в глубинном слове «предчувствие» — перед наступлением новой эры.

История учит нас, что каждый век обладает своею зримой доминантой,— основными чертами, создающими его лицо. Человечество как бы видит это основное лицо истекшего века. Историки дают ему определение в каком-нибудь качественном эпитете. Когда-то поэт Андрей Белый, играя словом «человек», расшифровывал его как «чело века». Так вот, какое же «чело» у нашего XX века и о чем думалось тем, кто присутствовал при его рождении?

Но сперва — откажемся от дешевых ответов, приходящих в голову тотчас же: век атомный, век покорения космоса, бешеных скоростей... Все это завершает, а не начинает представление и не относится к человеку в прямом смысле слова. Всего этого не желают вам, поднимая бокал на встрече,— а желают, думают, адресуются к глубоким потребностям, к простейшим вещам — к счастью, здоровью, свободе, исполнению мечты. И думают о будущем человека на земле, простого человека в его личном и общественном душевно-духовном бытии. Чтоб лучше представить себе, о какой «доминанте», каком «лице эпохи» идет речь, когда люди встречают большое, далекое будущее, приведу два разных, на двух полюсах мироощущенья возникших предугазанья, созданных поэтами в разные эпохи. Блоковский «Голос из хора», как бы камнем разрывающий связь времен; и знаменитое гётевское изречение, связующее прошлое с будущим. Слушайте сперва Блока, это страшно читать даже в сотый раз, к этому нельзя привыкнуть:

...Лжи и коварству меры нет,  
А смерть — далека.  
Все будет чернее страшный свет,  
И все безумней вихрь планет  
Еще века, века!  
И век последний, ужасней всех,  
Увидим и вы и я.  
Все небо скроет гнусный грех,  
На всех устах застынет смех,  
Тоска небытия...  
...Ты будешь солнце на небо звать —  
Солнце не встанет.  
И крик, когда ты начнешь кричать,  
Как камень, канет...<sup>9</sup>  
6/VI 1910—27/II 1914.

И вот гётевское, словно ласковая колыбельная у постели новорождающегося времени:

Das Wahre war schon längst gefunden,  
hat edle Geisterschaft verbunden,  
das alte Wahre fass es an!<sup>10</sup>  
1829.

Похоже на Блока даже ритмически, даже строфой, -- вот почему я привожу это «Завещание» Гёте в оригинале. А по смыслу — нет ничего

<sup>9</sup> Александр Блок. Собрание сочинений. Том III. М. Гослитиздат. 1960. стр. 62.

<sup>10</sup> Стихотворение „Vermächtnis“ («Завещание»). Goethe's sammtliche Werke. Leipzig Reclam-Verlag. Zweiter Band. S. 139.

более противоположного: Истинное было уже давно найдено, оно связало меж собой благородных духом, старое истинное, коснись его!..

Если расшифровать гётевский лаконизм, то вместо черного, страшного хаоса, вместо распада бытия и разрыва времени, куда камнем канет крик человеческого отчаяния, вы вступаете на солнечную почву ясно-го мышления. Человек всегда, хотя и ступенчато, знал истину, она была найдена давным-давно, и на разных этапах своего развития он этой ступенью знания связывал себя с потомками, прошлое с будущим, создавая духовное содружество благородных умов человечества. А найти правду еще в глуби времен было неизбежно, ведь правда (Wahre) — все более верное отражение материальной сущности, материального объекта. Сколько понадобилось строк прозы, чтоб объяснить — очень приблизительно — три строки поэзии!<sup>11</sup>

Атомный век или каменный, с прилетом на Луну или с бетховенской «Лунной сонатой», речь идет не об этом. Речь идет о духовном умонастроении, с каким вступает человек в новую эру, об атмосфере, в какой он живет и дышит; о нравственном его существе, о нацеленности воли его, о незримом мире души, как почва, питающем самую могучую из действующих во Вселенной энергий — творческую энергию человека. Вот с какой точки зрения...

Но стоп! Я ушла от своего рассказа на много, много десятков лет вперед. Дело в том, что ведь и я как раз — один из тех немногих уцелевших современников, кому посчастливилось встретить XX столетие. И более того: встретить в крупнейшем коллективе взрослых. И еще больше: не только сидеть с ними за столом 31 декабря 1899 года, но и слушать (и слышать тогда!) жадно, в оба уха, о чем взрослые говорили, сжимая на коленях тетрадку в клеенчатом переплете, на первой странице которой стояло: «Для записи впечатлений».

Мне было в ту пору одиннадцать лет.

Канун рождества прошел, елка в гостиниой начала осыпаться, сладости с нее съедены, — и вдруг в любимый уходящий праздник ворвалась телеграмма: умирает дедушка, зовет проститься отца... Он умирал очень далеко, чуть не на краю света, в неведомом городке Григориполе, где был протоиереем армянской соборной церкви.

Отец собрался в одно мгновение, и тут — словно праздник вспыхнул с новой силой — он неожиданно-негаданно решил взять меня с собой. Сказочное путешествие: сперва чуть ли не три дня на машине (так мы говорили тогда о поезде); потом целый день езды на почтовых (ударение на последнем слогe), через странные деревни, населенные странными, не русскими людьми и странные по своим названиям: Ташлык, Малоешт... «Возьми с собой тетрадку, будешь писать дневник», — сказала мать.

Сборы, хоть и поспешные, были основательны: подушки и одеяла, погребец с дорожными приборами, бутылки с кипяченой водой, пакеты с провизией, подарки для родни. А на вокзале целых три звонка — первый, второй, третий, чтоб щедро предупредить о времени. Прощанье с младшей сестрой — и машина, издав победный, затяжной гудок, двинулась в таинственное путешествие.

В вагоне было жарко натоплено, и так как лежанки второго класса не огорожены в купе, все пассажиры ходили, заглядывая друг к другу. Окна замерзли — стоял лютый мороз, в белых звездах. И все вначале шло как положено — бегали за кипятком, пили чай, опять бегали за кипятком, пили чай. В багажном вагоне один из пассажиров вез собаку, и главной темой служило — не замерзнет ли. Такие хорошие стойкие морозы с певучим скрипом, с синим дыханьем, с колючими искрами сне-

<sup>11</sup> Подстрочный перевод: «Верное было давным-давно найдено. оно связало благородные умы человечества между собой — коснись этой древней правды!» Взято из стихотворения «Завещание», написанного Гёте в 1829 году.

га в воздухе, с сугробами, огромными, как заборы, запомнились мне только в детстве,— позднее они опали во времени, делались короче, перемежались со слякотью оттепелей.

Но на вторую же ночь что-то случилось. Я проснулась от непрерывного стука шагов, каждую минуту закрывали и открывали дверь, влетал ледяной дух, колыхалась свеча в фонаре у проходящего по коридору; неизвестно, стоял или шел вагон. Слова говорились громко, без внимания к спящим, и были какие-то странные: «Мягчает»... «Сыплет и сыплет»... «О прошлом годе в это же время»... «Да, может, очистят»... «Все может стать».

Отца рядом не было, и спросить не у кого. Но вот он пришел, весь запорошенный снегом, с мокрыми бровями и бородой. Сказал: «Заносы. Ты спи». Я записала в свою тетрадку «заносы», но спать уже не могла. Утром выяснилось, что мы прочно стоим у станции Бирзула. И не только мы. Семнадцать поездных составов скопилось у маленькой станции Бирзула перед белыми, в человеческий рост, сугробами снега. Несколько сот человек — чуть ли не население уездного городишка — очутилось на виду друг у друга, разных людей, закутанных по-зимнему, в меховых дохах, в форменных шинелях, в продувных шубенках, в поддевах, в валенках, сапогах, калошах, рукавицах и без рукавиц. Так по крайней мере мне казалось. В тетрадке стоит запись: «Бьют в ладоши, постукивают ногами, чтоб мороз не кусал». Таким было первое впечатление от человеческих множеств.

Я тоже, очень чинно и чувствуя себя самостоятельной, вышла гулять и увидела, как замертво стоят вагоны,— паровозы уткнулись в хвосты составов и тоже не дышат, не дымят, не гудят. Идти до снежных завалов совсем недалеко. Там работают люди: железнодорожники, солдаты, добровольцы-пассажиры. Но лопата кажется игрушкой, а снег — всамделишный, снег — как дом, как улица домов. И перед этими белыми вымерзлыми горами — такая крохотная, облезлая станция с надписью «Бирзула» над дверями, куда не всунуть и два-три десятка пассажиров. Вдобавок — пошел снег, не пошел, а повалил, и небо как будто вниз опустилось, серо-сизое, дымное, густое, не пробить. Те, кто гулял, полезли в вагоны. От людей, от дыханья их, как от печек, шел в воздух дымок, а вот из труб над станцией, над вагонами дым пошел было, но вскоре рассеялся, и словно оцепенело все. В клеенчатой тетради стоит: «Железнодорожники между собой говорят,— неведомо сколько стоим, уголь надо беречь. Не так жарко в вагоне, как раньше, даже стало холодно, и мы закутались в платки и шарфы».

Отец мой, доктор медицины, зачем-то вынул свою врачебную сумку и ушел. Наверно, были больные. В нашем вагоне, кроме меня,— все взрослые и совсем мало женщин. Выясняется, что стоять придется долго, не менее двух суток,— а послезавтра новый год! Нет, новый век! Дедушка и папина сестра, тетя Нина, ждут нас, наверное, завтра — встречать; напекла, наварила, намариновала тетя всякие вкусные армянские закуски, бараньи язычки копченые, бараньи язычки в уксусе, колбасу-эрешкик — и что же теперь делать? А события продолжались.

Отца выбрали представителем от нашего поезда. Он стал совещаться с представителями других семнадцати составов. А ко мне на койку подсел незнакомый человек: «По просьбе вашего папы за вами поухаживаю, мадемуазель, и поведу обедать,— он ведь теперь общественный деятель, занят ваш папа по горло». Незнакомый ухаживатель накормил меня на станции борщом и дал апельсин, а потом, в вагоне, подарил книжечку своего сочинения: Lolo Мундштейн, «Вечный праздник». Пьеса в трех действиях. Lolo — латинскими буквами. То было имя модного московского поэта-драматурга, и от него я впервые получила «авторский экземпляр с автографом». Несколько лет хранился он у меня, хотя са-

лонно-сатирическая пьеса в стихах о походе двух чужих жен с двумя чужими мужьями на курорте в Кисловодске была мне совсем не по возрасту. Но Лоло разговаривал со мной уважительно, как со взрослой, и кое-что из его рассказов я записала в свою клеенчатую тетрадь.

Несколько сот человек на крохотной станции, отрезанной от города и от соседних деревень. Ограниченный запас топлива. Неизвестность впереди. Очистка идет днем и ночью, но и снег валит днем и ночью. Хозяин единственного на станции буфета, возликовав в первые часы от выручки, впал в панику, стал прятать запасы. Пробка снежных заносов — по обе стороны пути. А надо согреть, накормить, удержать от безобразий и беспорядка все поездное население. И для этого — организовать их. И наконец, чтоб взяться за организацию случайной массы людей, надо заработать у них авторитет, право на громкий голос, право распоряжаться.

— Ваш отец и несколько других человек это право, к счастью, заработали. У нас порядок, составились группы расчисток, группы учета угля, учета провизии. Дамы дежурят на кухне, молодежь подает в столовой, приструнили купчину-буфетчика, он плут, но понимает — иначе голод, вспыхнет эпидемия или разграбят без лишних слов его лавочку. Такова ситуация.

И слово «ситуация» старательно выведено в моей тетрадке.

Припоминая сейчас то, что было много лет назад, и даже не заглядывая в сохранившуюся у меня клеенчатую тетрадку, я удивляюсь свежести воспоминания, необыкновенной его яркости. Все стоит, как сейчас, не только зримо, но осязаемо, как дыхание. Ранние, в четыре часа дня падающие сумерки. Снежные хлопья, почему-то, в тридцатиградусный мороз, пахнувшие весной, водой, живой рыбой. Нарезанные кем-то елочные ветки под ногами взамен песка. Протоптанные короткие дорожки в убитом снегу. Красноватый свет керосиновой лампы в окошках станции. Тени людей, по очереди разбирающих лопаты. Водянистый запах борща и картофельной кожуры из станционного буфета. И это не сравнимо ни с чем чувством здоровой, крепкой, отличной зимы, в которой все слажено и стало на свое место. Мне казалось тогда, что каникулы кончились и началась новая, очень приятная и сразу полюбленная школа, — но не книжная, а какая-то другая, школа характера или характеров, потому что нас было много.

Наступил новогодний вечер, которого мы все ждали, и каждый для него поработал. Лоло что-то репетировал у пианино, вынесенного из квартиры начальника станции. Дамы усердствовали у кухонной плиты, у костров на дворе, где потрескивали березовые поленья. Не для тепла: над кострами повесили котлы, и в них кипела еда. Мне досталось наполнить ложкой солонки темноватой, крупной солью и потом разместить эти солонки на равном расстоянии по длинным столам. Все делали всё для всех, всем было весело, никто не хотел спать. И я не хотела спать. Я хотела записывать. Мне передалось ожидание редкого события.

— Не каждому в жизни доводится встречать новый век, — говорили мне в нашем вагоне. — Ты запомни, как с ним встретишься, — на ходу, в снегу, на дороге.

И я запоминала, ни за что не хотела ложиться, хотела сидеть со всеми за праздничным столом и слушать, что будут люди говорить, а потом, когда старые станционные часы прохрипят двенадцать ударов, вместе со всеми поднять свой стакан и крикнуть: «За новый век!»

И вот — в девять часов вечера — стали расслаживаться. Все, кто был в поездах. Без различия чина-звания, платочков и шляпок. Стол был в складчину, но собирали подписным листом на тех, кто не мог заплатить. Стол был дешевый, еды оставалось совсем мало. Выпивки уж не помню, много ли. Мне и другим «несовершеннолетним» наливали по стаканчику сладкого морса. Я не хочу выдумывать и честно скажу, что не помню



речей. Их было множество, говорил даже разгулявшийся купчина, станционный ресторатор. Были и тосты, по тому времени предусмотренные,— за царя и его «августейшее семейство». Но конец — сильный конец, пришедший с особенным нажимом и как бы стряхнувший с ресниц сонливость — врезался мне в память настолько, что я его помню сейчас и буду хранить в памяти до смерти.

Говорил какой-то человек в погонах, высоким, почти бабьим голосом, повизгивая на концах фраз. Он желал нашему государству чести и славы, побед на суше и на морях, флагу русскому развеваться и престижу высоко стоять... а когда заканчивал фальцетом каждую фразу, словно вскидывая ее, как флаг, раздавались одобрительные хлопки в ладоши. Он кончил, утерся платком, осушил рюмку,— и тут встал невысокий человек с каштановой бородкой и добрыми впалыми глазами, о котором я уже знала, что он учитель и бслен сердцем, потому что к нему ходил с врачебной сумкой мой отец в вагон третьего класса. Он говорил очень тихо, и — я рада сейчас, что в те годы слух мой еще не упал.

— Как понимать престиж... — начал он свою речь.— Вот наша великая русская литература подняла престиж русского человека за границей. Чем? Идеалами, отсутствием зависти, умением понимать и любить все хорошее у других, как свое, широким чувством человека и человечности вообще. Благодетством. Вот мы тут подняли престиж русского человека, хотя об этом никто в барабан бить не будет. У нас могла бы тут свалка получиться, худшие стороны показали бы люди — требовали б, искали б для себя привилегий, начальство подкупали, отлынивали от работы — черт-те что произошло бы на станции Бирзула, о чем потом стыдно было бы вспоминать... А сейчас у каждого на душе светло, встречаем новый век организованно, по-человечески. Значит — можно так жить. Желаю новому веку, чтоб пришел к нам в облинии человеческого и научил, как правильно жить!

В клеенчатой тетрадке у меня записано: «Правильно жить!» Так встретила я новый, XX век на станции Бирзула.

## 7

Когда наконец поезд пришел в Тирасполь, старый век был уже позади, но армянское рождество — наступавшее позже, когда православная церковь празднует крещение,— все еще поджидало нас. Почтовая станция с одной горницей для приезжих знакома нынешнему читателю только из русских классиков. Чехов, кажется, последний, кто описал ее. А ведь в свое время она будила в современных ей путешественниках такое же чувство, как вокзал или аэропорт,— чувство отъезда, ожидания, перехода. Может быть, менее торопливо закусывали и закуска была менее прихотлива,— шумный, с угарным дымком самовар, обязательно медный, завернутые в домотканое полотенце теплые яйца, темные мучные лепешки, крупная темная соль в солонке,— но вот звякает бубенец, с лошадиных морд ямщик стягивает холщовые мешки с овсом и куда-то под сено прячет их, а мы закутываемся в пледы поверх шуб и забираемся в расписные широкие сани, полные сена. Деревни Ташлык и Малоешт запомнились мне только тем, что названья их напомнили «шашлык» и «мало ешь»,— почтовые станции такие же, столбики с поперечными черными полосами вдоль снежного пути такие же, дети станционных работников, черноглазые, как цыганята... В Григориополь приехали поздно ночью, и я уже крепко спала, когда скеозь сон перешагнула через порог дедушкиного дома.

Самого дедушку увидела утром. Он сидел, большой и тучный, с грузными, отекающими ногами, изжелта-бледным обвисшим лицом, в кресле, тихо сидел, ничего не говоря, и слышно было, как он тяжело дышит: у не-

го была водянка. Тетя Нина — мы с сестрой хорошо ее знали по частым наездам в Москву — ходила вокруг него с той bestолковой и мелкой заботливостью, какую англичане гениально и непереводамо называют «fussing». Это сравнение, разумеется, пришло мне в голову позже, а тогда я только думала, что тете Нине ее новое положение полной хозяйки, с беспомощным, как кукла, дедушкой на руках, видимо, очень нравится. И мне нравилась тетя Нина и всё в дедушкином доме. Это был большой дом против собора, с чем-то вроде чердачка, куда надо было лезть по крутым, набитым на доску ступеням и где хранились без шкафа и полок, а просто рядами на полу старые книги — главным образом журналы для семейного чтения, переводные романы и календари. Тетя Нина, поповская дочка, была очень хороша собой — золотисто-каштановые густые косы, черные глаза, фарфорово-матовый цвет лица, сохранившийся у нее до глубокой старости. Дома у нас она совершенно влюбляла в себя и меня и Лину, мы часами слушали в детстве, как она рассказывала нам арабские сказки, вычитанные ею из «Тысячи и одной ночи». Творческого дара у нее не было, рассказывала она, как по писаному, ничего не изменяя, но чуть с армянским акцентом, и это придавало сказкам особенную, захватывавшую нас достоверность. По словам матери нашей, у Нины (в семье звали ее Нунэ) был «несносный характер»: каждый ее приезд связан был с найденным для Нунэ женихом, в нашем доме происходили знакомства, но последствий не имели: капризный нрав невесты отпугивал женихов.

Она вышла впоследствии замуж за коренного григориопольца, «столбового дворянина», Ивана Антоновича Сатова — Сатовы, богатые купцы, выхлопотали себе в век Екатерины потомственное дворянство, — и ездила с мужем по разным малоазийским центрам, где он служил консулом. От этого «дяди Вани» мне достался по наследству огромный альбом с марками — он был филателистом. Тетя Нина впервые рассказывала нам о прадеде, врачевателе Макарии Шагинянце, возглавлявшем в 1792 году одну из групп переселенцев-армян из Измаила; и о том, как дедушка служил секретарем у епископа Габриэла Айвазяна, и главное — о рукописи, которую дедушка понемножку писал всю свою жизнь и назвал ее «О подражании Христу». Эту рукопись — сероватые плотные листы бумаги, исписанные каллиграфическим почерком по-армянски, старинным грапаром, — я видела собственными глазами.

Григориополь летом, как я убедилась недавно, — живописнейший городок на Днестре. Тогда же, зимой, он показался мне большой деревней, с непонятным отношением жителей к детям. Как-то вечером отец был приглашен в богатый дом городского головы, он взял и меня с собой. У городского головы была дюжина детей, к ним пришла в гости еще дюжина, и все они, от семи до двенадцати лет, были отправлены вниз, в полуподвальное помещение с длинным деревянным столом без скатерти и табуретками вокруг него — пить чай. Мы сели по двое на табуретку, нам дали по большой чашке кипятка с молоком и по куску сахара на каждого. Посередине стола возвышалась большая груда сухарей из простого хлеба, явно насушенных неровными кусками и корками из того, что собирают после еды со стола. И самое удивительное было для меня — это жадность и быстрота, с какой дети поглощали эти огрызки, их мокрые от кипятка рожицы, лоснящиеся от удовольствия слюнявые губы и щеки. Сахар они грызли мелко-мелко, собирая каждый его осколочек. «Неужели их морят голодом?» — думалось мне в тот вечер. А наверху пировали взрослые, хлопали пробки, доходили аппетитные запахи. Когда я попробовала пожаловаться на это отцу, он посмотрел на меня с удивлением: «Желудки у детей будут здоровые, а подрастут — не станут привередничать. И вкуса касторки они не знают, а вот ты наешься язычков и маринадов — закачу тебе столовую ложку...»

И еще одно тягостное воспоминание связано у меня с Григориополем. Тетя Нина привела ко мне, чтоб не скучала, дальнюю родственницу Розу Касапову, года на три старше меня. Роза говорила со мной при старших шепотом и в первый же день показала дорогу на заманчивый чердачок, где мы тотчас же взялись за чтение. Мы читали романы про любовь. Это было первое чтение «про любовь» в моей жизни. Правда, я уже почти наизусть знала Пушкина, читала и «Вешние воды», и «Обломова», и «Богатого жениха», но ни Тургенев, ни Гончаров, ни Писемский еще не воспринимались мною как писатели «про любовь» — они писали про природу, про жизнь вообще, про человеческий характер, у них выступали на первое место события и качества человека, вы застревали на этом главном, как на частоколе в заборе, а зеленая травка любви, росшая между кольями этого забора, не была сама по себе главной, она казалась частью самого человека. Только много позднее почувствовала я эмоциональную прелесть любви и в «Барышне-крестьянке», и в «Вешних водах». А тут, в романах с продолжением, которые мы жадно поглощали с Розой из старых, пыльных журналов, любовь, как масляное пятно, стояла на поверхности, занимала все содержание.

И почему-то в ней, такой важной и первостепенной у разных героев этих романов, было что-то, заставлявшее нас конфузиться и держать наше чтение в секрете от тети Нины. Но однажды доска с набитыми ступеньками, ведущая в наш чердачок, закачалась под тяжестью — к нам шел мой отец. Мы не успели убрать от него книгу. Он взял ее у меня из рук, посмотрел, полистал, бросил в кучу других, а мне закатиł оплеуху. Первую в моей жизни. На глазах у этой Розы, перед которой я хвасталась своей начитанностью. Не очень сильную, но позорящую оплеуху... «Папа! — крикнула я взбешенно. — Ничего там нет особенного! Давным-давно это все мне известно... Ты сам давал читать Тургенева, Пушкина...» И тут произошел у нас диалог по эстетике, в клеенчатую тетрадь не записанный, но запомнившийся. Отец ответил мне сердито и категорически: «Это пошлятина, серость. Я тебе давал художественные вещи, а ты мразь всякую читаешь. Любую хорошую вещь, любое человеческое отношение можно испоганить бездарным, пошлым языком. Этак у тебя вкус отобьется от настоящего, большого чтения и вырастешь ты пошлой бабой...»

Еще он говорил в этом же духе, а я чувствовала себя оскорбленной, и главное — никак уже не узнать, чем кончилась встреча князя Суконцева с баронессой Эмилней в беседке над Рейном... Я заплакала сердитыми слезами. Но сейчас — сколько лет прошло? Семьдесят один год. Сейчас, спустя семьдесят один год, так ясно помню и его слова, и тон, которым он сказал их, — отец никогда не говорил с нами, как с маленькими, он как будто думал вслух, и это заставляло невольно прислушиваться и против воли, не уступая, соглашаться где-то в глубине души.

Дедушку мы с ним видели в последний раз. Он умер спустя несколько недель после нашего отъезда. Каникулы мои кончились, в Москве ждала гимназия, и когда пришла в Москву телеграмма, я как-то не почувствовала безвозвратность смерти, не пережила ее, хотя это была первая смерть в моей жизни. Мы с Линой еще не знали, что на нас надвигается другая смерть, которую мы безнадежно переживем и почувствуем. Через полтора года, осенью 1902-го, совсем молодым умер и наш отец.

Станным образом первое воспоминание после смены теней на стене и сборчатого подъема штор снизу вверх на окне — с мутным обнажением утра — сохранилось у меня о том, как отец репетировал перед матерью защиту своей докторской диссертации; и даже это длинное, труд-

ное слово «диссертация» запомнилось, как будто застряло в слухе из далекого, далекого прошлого. Сейчас лежит передо мной в бумажной обложке, напечатанная в московской типографии Бархударова, эта диссертация под названием «По вопросу о колебаниях температуры выдыхаемого воздуха при различных состояниях животного организма». У ней подзаголовок: «Экспериментальное исследование». И внизу год напечатания — 1891-й.

В 1891 году мне должно было быть только три года. Но если напечатана диссертация позже защиты, то воспоминание закрепились и того раньше. Оно держится в памяти пластично: фигурой отца, стоящего лицом к матери и положившего обе руки на спинку стула, повернутого к нему этой спинкой. Мать сидит перед ним с опущенными на колени руками, обрамленными у кистей кружевными нарукавничками, и смотрит на него. Отец говорит, не глядя ни в какие бумажки. Он произносит несколько раз слово «собаки». Он делает широкие жесты правой рукой в сторону от себя, но опять возвращает руку на спинку стула. Откуда я это подсмотрела? Почему запомнила? Может быть, множество раз после этого у нас произносилось слово «диссертация» и оно сделалось у нас своим, домашним словом? Не знаю.

Спустя сорок лет в Кисловодске от больного доктора Штейнмана, которому я дала на прочтение отцовскую диссертацию, я услышала о ней похвалу как о труде оригинальном. И еще спустя несколько лет мне опять захотелось проверить это мнение на академике Коштоянца. Он прочел диссертацию и сказал мне, что жалеет, почему не познакомился с нею раньше, — «если б знал раньше, непременно включил бы ее в свою историю физиологии в России, которая уже печатается; вот, может быть, при повторном издании...». Повторного издания до смерти Коштоянца не было. Наконец, за три года до того, как я пишу эти строки, опять в Кисловодске, мне вздумалось самой проштудировать эту книгу с рассыпающимися, плохо сброшюрованными, глянцевиными листами, — книгу, которую я почему-то уже несколько лет таскала с собой по курортам и все еще не заглядывала в нее сама. И чтение ее превратилось для меня в настоящую работу с настоящим мозговым переутомлением.

Я не только читала, а, по всегдашней своей привычке, конспектировала читаемое в своем дневнике и все многочисленные эксперименты, проведенные на собаках, — целых 28 таблиц с восемью подразделениями по вертикали и десятком по горизонтали, — графически перерисовала. Мне нравилось следить за системой мышления, основанной на опытах. Опыты были беспощадны. О собаках указывалось — точный вес в килограммах и какая она — длинношерстая, короткошерстая. И уже то, что вес был в необычном для того времени метрическом измерении, когда у себя в быту мы считали на фунты, четверку, осьмушку, показывало, что диссертация приспособляется к мировому обмену опытом в этой же области, как почти все научные работы тех лет, соблюдавшие и общий календарь с европейскими странами (наш, как известно, отставал на 13 дней), и единство мер и весов. Но прежде чем начать читать о собаках, я была последовательно введена в некоторые, мало мне знакомые области.

Во-первых, в историю учений о теплоте организма — сперва в физическое, потом химическое образование тепла, потом — о разных других его источниках — от движения внутренних частей тела, от трения крови о стенки сосудов, от явлений магнетических, электрических. И тут же прибавила от себя — от горения фосфора в мозгу при творческой работе. Передо мной в очень сухих фразах, коротких, как формулы, начала раскрываться рабочая деятельность нашего тела, почти независимая от нас самих, отделенная от нас, как кусок природы, — и такие

интересные моменты в этой работе, которые тотчас хотелось сравнить с процессами нашей духовной жизни. Скучное место в предисловии: «Атомы химически разнородных тел вступают с собой в химическое соединение и тем освобождают определенное количество теплоты. Наоборот, сложные тела, разлагаясь на составные элементы, приводят к охлаждению (связывают тепло)». Любовь — и смерть! И совсем не скучная аналогия с одним из самых психологических романов мировой литературы — со «Сродством по выбору» Гёте...

Понемножку, двигаясь тугими страницами диссертации и знакомясь со специальной ролью легкого в теплообразовании, с воздухоносными и дыхательными путями (носоглотка, трахеи, бронхи и т. д.), я все время наталкивалась на аналогии с тем, что меня сейчас, спустя много десятков лет после написания диссертации, окружало, как самой новейшей «модерн».

В санатории, где мне пришлось читать отцовскую диссертацию, этим «модерном» был кабинет врача-йога. Он ставил многим из нас дыхание, кое-кого научил стоять на голове, давал читать «литературу», где первым дыхательным уроком у йогов было: дышать через нос. А в диссертации нос не только назван главным органом для дыхания, но и просто и наглядно объясняется механика дыхания через нос как нагревание, увлажнение и очищение вдыхаемого воздуха. Оказывается, целая плеяда врачей прошлого занималась сравнительным изучением вдыхания воздуха через нос и через рот, приходя иногда к неожиданным выводам. Вот врач Коллин: он утверждал, что пороки зубов — от привычки дышать ртом. Или забытый доктор Готтштейн: да, нос играет предохранительную роль, но вот в резких колебаниях атмосферы дыхание через нос и только через него может вредно отразиться на слизистой оболочке... Наблюдение мимоходом, чуть ли не столетней давности, а сейчас, в наш «самолетный» век, хорошенькая стюардесса скажет вам при резком нарастании давления, когда вы сидите в кресле и дышите, как полагается, через нос: «Откройте рот» или «Держите рот открытым», — и это мгновенно помогает носоглотке, всему организму, — как помогает, если идти дальше, крик (при внезапном ужасе), глубокое «ах» (при открытии или удивлении) с непременным вдохом через рот. Находить точки соприкосновения между физиологией и психологией — это ведь тоже «плюс» от таких экспериментальных работ, походя, между главным делом отмечающих явления, ценные для далекого будущего.

После прочтения вводных глав я обратилась к пугающей меня части отцовской диссертации, — экспериментальной. В дневнике перед ее конспектом коротенькая запись красным карандашом с тремя восклицательными знаками: отец, отец! Убивал собак!!! А без этого было нельзя.

Ну что интересного — узнать, как изменяется температура вдыхаемого воздуха по сравнению с температурой вдыхнутого? А ведь это значило — заглянуть в обмен, происходящий в организме, понять процесс его получения и отдачи и — значит — тайну его постоянного, сохраняющего себя равновесия, его status quo. Как и каким образом, при бесконечных переменах условий нашего существования, в смене климата, погоды, давления, влажности, засухи, ветра, жары, холода, бури — хрупкий организм человеческий ухитрится мгновенно выравнять внутри себя стойкость своего бытия? Мы творим свою духовную работу на земле, а наше тело, независимо от нас, делает свою; оно неумолчно, неустанно, безостановочно, даже во время сна, когда мы отдыхаем, ведет эту телесную работу, словно незримый кормчий в корабле нашего тела, меняющий тотчас, по мере надобности, паруса, мачты, рулевое маневрирование, подьем и отдачу якоря...

Но подсмотреть, как изменяется температура выдоха,— не легко. Надо сперва заставить вдохнуть,— вдохнуть разного качества воздух,— разной степени теплоты, в разных условиях, разной длительности; а затем поймать и зафиксировать выдох. И этот эксперимент услужливо помогают провести бедные наши друзья, убогие и беспородные, низшего класса (потому что и тут не затрагивается привилегия знатности пород!) — собаки. Двадцать восемь таблиц — двадцать восемь мучеников, длинношерстных и короткошерстных, разного веса, но одного «социального слоя» — дворян.

Опыт отца имел свою долгую историю еще на человеке. Сколько ученых. сколько приборов! Валентин, Вейрих, Ломбард, Ашенбрандт... Неуклюжая возня со стеклянными и каучуковыми трубками, накачивание воды, охлаждение воздуха, согревание воздуха, взятие пробы «вдоха» и «выдоха» из правой ноздри, из левой ноздри. Но отцу нужна была не наивная техника и манипуляция с человеческими ноздрями, а более сложная аппаратура и более точное изучение теплоотдачи, и не нос, а трахея была избрана как место опыта.

Я написала: 28 таблиц; это — в книге; но сделано было не 28, а 96 опытов, почти сотня собак. Они взвешивались, им давался наркоз морфием, собаки привязывались — к столу животом кверху, им производилась трахеотомия. Холодный воздух впускался через трубку в комнату с улицы. Трубка эта соединялась с маской, плотно надетой на морду подопытной собаки. Воздух измерялся при вдохе, а для изучения выдоха служила канюля, вставленная в трахею после трахеотомии. Собаке давалось дышать сперва нормальным воздухом, но в разных условиях: при вливании в вену физиологического раствора; при введении гноя; при зажатии брюшной аорты, перевязывании крупных сосудов и т. д. И все, что совершалось с дыханием животного при этих искусственных условиях,— длительность опыта, учащение, понижение, прекращение дыхания; степень отдачи тепла легкими, сердцем, прямою кишкой,— все это фиксировали таблицы в их горизонтально-вертикальных клетках. Не видно было в них только мучительных судорог, страдания, долготерпенья, обреченности живого, умного животного, привязчивого, доверчивого к человеку. И лишь эпитафия: «В большинстве случаев собаки умерщвлялись электропунктурой сердца или кровопусканием»,— коротко извещала о конце этих мук.

А в результате... результат оказался очень большой, очень важный.

В 1826 году Пушкин узнал о смерти Амалии Ризнич, той самой гордой красавицы, полуйтальянки, полуюеврейки, дочери венского банкира, которую он любил «с таким тяжелым напряженьем, с такою нежною, томительной тоской, с таким безумством и мученьем»... Ризнич умерла от чахотки в жаркой Италии:

Под небом голубым страны своей родной  
Она томилась, увядала...  
Увяла наконец...

А спустя восемьдесят лет, в самом начале нашего века, мы с сестрой ехали на крохотном катерке «Отважный» из Новороссийска в Геленджик. Тоже под голубым небом юга, в нестерпимой жаре. Мы сидели на палубе, а среди пассажиров одна — лежала. Тут же, на пледе, под раскаленным солнцем. Лицо ее было желтое, в стекающих струйках пота, губы полуоткрыты, руки безжизненны и не сгоняли мух, липнувших к ее щекам. Кто-то сердобольно обмахивал девушку платком. Эту чахоточную студентку послали лечиться на юг, в дешевый курорт Геленджик, а ей было худо от юга. Между тем — из старых романов — мы знаем, что именно южное солнце считалось целительным для чахоточных

и посылали врачи своих больных в Италию, в Ниццу, на Черноморье, где они «томились и увядали».

Лечение туберкулеза южным солнцем вело свое теоретическое начало от большого ученого, Коха. Он нашел, что туберкулезные палочки гибнут (теряют свое действие) от температуры в 42 градуса. Из этой коховской формулы выросло два практических метода: один — лечение больных горячим сухим воздухом — Вейгерта; другой — лечение горячим влажным воздухом — Крулля. С огромнейшим интересом читала я об экспериментах отца над собаками, проверявших со скрупулезным терпением оба метода. Техника этих опытов была страшно сложной: в правый желудочек сердца вводился тоненький ртутный термометр и такой же в левый желудочек — через сонную артерию; потом очень тонкие чувствительные термометры (описание всей мучительной сложности этой операции таково, что, даже читая, стараешься затанцевать дыхание!) вводились через межреберные пространства в плевральные мешки. А собаке с помощью аппарата Вейгерта давался для дыхания сухой воздух, нагретый до 300 градусов. Опыт длился час-два. Опытов произведено четырнадцать. И обнаружилось, что не туберкулезные палочки, а носоглотка пострадала от этого метода. Горячий сухой воздух охлаждался еще в самом начале дыхания, в носоглотке, — он, естественно, стремился насытиться влагой, соприкасаясь со слизистой оболочкой. Слизистая как бы съедала весь жар до его поступления в легкие — на вскрытии она оказалась резко сухой, как бы высушенной жаром.

Итак, губительный для туберкулезных бактерий горячий сухой воздух до легкого доходит охлажденным и при этом повреждает слизистые оболочки. Если бы отец жил в век участвовавшего рака, он мог бы заинтересоваться проблемой слизистых оболочек в их охранном значении для заболеваний раком (ростом аморфных тел там, где слизистые потеряли свою живительную защитную роль). Но в те годы, конец прошлого века, люди меньше курили и меньше загажен был воздух в городах, которым дышат сейчас люди. И вопрос о засорении нашей крови через вдыхаемый воздух, об угрозе всякой закупорки мельчайших сосудов через гнусную пыль и воздушные отбросы, которые стремятся обезвредить наша бедная слизистая, умерщвляемая вдобавок и спиртом, и табачным дымом, — еще не вставал во весь рост... Но вернемся к опытам отца.

Неудачи Вейгерта объяснены были сухостью горячего воздуха. А что, если заранее насыщать его водяными парами и давать дышать влажным горячим воздухом? Тогда что? Этим методом пробовал лечить Крулля, и проверке метода Крулля посвящены следующие опыты отцовской диссертации.

Отнесся отец к теории Крулля очень внимательно, тем более что сочинивший свой аппарат с нагревом увлажненного воздуха до 46 градусов (по Коху) Крулля, по его собственному заявлению, лечил туберкулезных больных, дышавших от тридцати до сорока минут этим воздухом ежедневно, с явным успехом; и в медицинском мире имелось очень много сторонников его метода. Отец провел три группы опытов вдыханием влажного нагретого воздуха. Спокойно вели себя животные до 35 градусов нагрева. Но уже с 38—40 градусов животные начинали беспокоиться, конечности их судорожно подергивались, а при 41—45 градусах возникло страшное беспокойство, привязанная собака билась и рвалась, ее три человека едва удерживали руками. При анатомическом вскрытии оказалось, что излишек влаги, как и сухость, одинаково тяжело действует на слизистые оболочки. Слизистая носоглотки набухла, дыхание стало затруднительным, и способом Крулля

вместо улучшения можно было вызвать грозные явления кровохарканья, сильное повышение температуры, перерыв дыханья.

И вот важнейший практический результат, ради которого собаки пожертвовали своей жизнью: нельзя лечить чахоточных больных жарой и солнцем, сухим горячим и увлажненным горячим воздухом! Те, кто лежит сейчас под пледами среди снежных вершин Давоса и дышит его здоровым холодным воздухом, и не подозревают, какими долгими путями и каким обилем научных работ не одного лишь моего отца шла медицина к простому выводу: «У чахоточных лихорадящих и наклонных к кровохарканью лечение методом Крулля безусловно противопоказуется». А ведь сделан был этот вывод в ожесточенной борьбе сторонников и противников модного не только тогда, но и немало времени спустя доктора Крулля.

Разумеется, все это я представляю себе ярко и образно, прочитав впервые отцовскую диссертацию лишь в свои восемьдесят лет. Но я подсматривала и подслушивала отца из полуоткрытой двери столовой, когда мне еще не было и трех лет. Помню пластику жестов, помню, как врезалось в память слово «диссертация». Может быть, и еще что-то, не сказуемое в слове, не осмысливаемое детским мозгом, через ритм и движение лица, через дождик падающих слов заронило тогда в ребенке магию человеческого опыта, удовольствие пробовать, испытывать, изменять?

Но вот случай из раннего моего детства, постоянно рассказывавшийся у нас в семье, — из-за него я и угостила моего читателя отцовской диссертацией. Кстати, отец защитил ее на доктора с большим успехом, отмеченным в тогдашней печати. А случай, как это ни странно, связан с ней не только моим воображением, но и особым отношением к нему моей матери.

Во всех других семьях, мне кажется, меня бы порядком за него отшлепали и приписали дурному свойству характера...

Дело было так. Сестренка моя, пухленькая, беленькая, спала в своей кровати. Ламп еще не зажгли, был сумрак перед чаепитием. Мать и тетя Ашхэн сидели в столовой, обсуждая семейные дела. Маша, горничная, готовила у буфета чашки. Няня вышла на кухню. Я слушала из открытых дверей детской, что говорят взрослые. «Удивительное дело, — говорила тетя Ашхэн (она же крестная мать обеих нас), — Лина у тебя беленькая, как блондинка. А Мариэтта — настоящий цыган, до того смугла лицом». Совершенно не помню, что я тогда на эти слова подумала. Но ясно помню, что я сделала. Я придвинула стул к полке в маминной спальне, где лежала в металлическом стаканчике кисть моего отца для бритвы. Она и сейчас хранится у нас — с пожелтелой, из слоновой кости ручкой и огрызком очень мягкой кисти. Потом взяла чернильницу из папиного кабинета. Подойдя к кровати, я разбудила сестру. И в ту ее бессознательную пору и до самой ее смерти, акте величайшего сознания, — мне кажется, она сразу поняла меня и всегда понимала больше, может быть, чем я сама себя понимаю. Она протянула мне ножку, потом другую, потом обе ручки. Я обмакивала кисть в чернильницу и мазала их чернилом. Я вымазала ее всю, вошла в столовую и сказала матери и тетке: «Ну теперь идите поглядите».

Они обе поднялись, встревоженные моим тоном. Увидя Лину, мать вскрикнула. И крик и слова врезались мне в память: «С ума сойти! Отец над собаками, она над сестрой!» Лину долго отмывали в воде с содой, и только в ванне она заплакала. А меня никто не тронул, никто не выругал, и слушая, спустя много лет, мамыны рассказы об этом случае, я всякий раз переживала его именно таким психически, каким он был: не из зависти, не из-за дурной досады на сестру, что вот она



белая, а я черная,— но из особенного интереса изменять и пробовать, возбужденного всей тогдашней атмосферой в доме, интереса творческой находки. Белое и черное, мое и твое не воспринимались мною со знаком качества — лучше-хуже, ближе-дальше,— а только как разные, но разные не навсегда, разные переменчиво. Атмосфера в доме была насыщена сообщениями отца о своих опытах и повторением вслух диссертации,— и мать тотчас связала мою выходку с этими опытами.

Еще один случай очень раннего детства запомнился мне опять той же «психической» памятью — до сих пор, вспоминая, переживаю его, как тогда. Случай этот — был ужас, ужас без границ, без облика, без причины, без объяснения,— полвека спустя я прочитала в «Феноменологии» Гегеля об ужасе выпада из времени, ужасе мысли о смерти, переживаемом при жизни, задолго до самой смерти. В кабинете отца, узкой комнате с одним окном, был диван. Как-то в сумерки после обеда я прилегла на этот диван — взрослых не было дома, няня с сестрой в детской — и сразу заснула. И вдруг проснулась от нестерпимого, ледяного кровь, черного ужаса. Он был черный, он клубился, как пар, поднимался и опускался, вытягивался, протягивал безвоздушные ватные клубки к горлу, к мозгу,— я не могла крикнуть, я цепенела. Потом, так же сразу, как пришло, это рассеялось, и сквозь черноту пробилась серость сумерек, потому что в окне еще завершался короткий ноябрьский день. Никому ничего не сказав, я долго унимала в себе какую-то неприятную, мелкую-мелкую дрожь всего тела, дрожь сердца, коленей, пальцев. Вероятно, что-то физиологическое, нажим на какую-нибудь железу, вызывает это состояние смертельного черного ужаса.

Мне довелось пережить нечто подобное еще один раз в жизни, будучи уже «в годах»,— в 1933 году, в Берлине. Я лечилась тогда в клинике профессора Леви, позднее уничтоженной фашистами. Фриц Леви был обаятельный врач-ученый, он мне очень нравился. Я ходила днем в его клинику, а вечером он приходил ко мне в пансион «Frau Glück», где я жила, на улице Клейста. Мы без конца говорили с ним на философские, биологические, медицинские темы. Он работал тогда над исследованием «точки утомляемости»,— и меня тоже интересовало, когда и как наступает эта точка, нужно ли ее преодолевать новым напряжением работы, как это делал Наполеон, или же «пробездельничать» ее (vertändeln), как советовал Гёте.

И вот однажды вечером пришла ко мне вместо профессора Леви его жена — худая, суетливая женщина с волосами мышиного цвета, очень тонкими, вьющимися, но безжизненными, как сухие травинки. Возбужденно болтая, она почти не слушала, что я говорю, она в меня всматривалась сухими, травянистого цвета глазами, всматривалась, точно хотела пролезть в душу, и все повторяла, как много у нее связано с жизнью Фрица, и связь их — особенная, связь сердца, дела, профессии, и она — жена-друг, жена-секретарь. Мне стало ясно, что фрау Леви бешено ревнует меня к мужу и ждет от меня какого-то слова. Какого? Я не могла придумать. Сказать, что никак не посягаю на профессора? А вдруг мне все это мерещится и будет невпопад? Сказать, что мне просто нравится общение с ним? Убедительного слова я так и не нашла. Прощаясь, она встала из-за стола и почему-то повернулась не к двери, а к моей кровати, над которой на мгновение нагнулась. Я чувствовала досаду и неловкость и не придавала значения ее жестам.

Когда фрау Леви ушла, я еще долго сидела за столом, доедая торт, до которого она не дотронулась, и как-то лениво раздумывая над оглупляющим чувством собственности на своих мужей у жен и дурацкой ревности, для которой нет никаких оснований. Потом разделась,

откинула немецкий пуховик, забралась под него и с сознанием своей полной правоты и невинности мгновенно заснула. Проснулась — от леденящего ужаса. Опять клубилась чернота вокруг, она ползла снизу, она угрожала, — ужас был как от присутствия гада в комнате, присутствия смерти, — я вскочила на стол и, босая, почти без сознания, держалась так, стоя, на столе, пока не пришел рассвет и нигде в комнате, ни на полу, ни на постели ничего не оказалось. Только та же самая мелкая дрожь, делающая беспомощным человека, сотрясала всю меня изнутри.

Днем, обыскав всю комнату, я нашла под кроватью бумажку, в какой бывают аптечные порошки или растительные семена. Из рассказов профессора я знала, что они с женой побывали в Африке, путешествовали по Востоку, и у них дома собрано много всяких «достопримечательностей». А из книжек, уж не помню каких, вычитала, что на Востоке есть «порошки ужаса», дающие человеку дурной сон и смертельный страх. Возможно, фрау Леви попотчевала меня таким порошком. Позднее оба они эмигрировали в Соединенные Штаты. А печатные труды Фрица Леви, его клинические работы в каком-то турецком лазарете, его огромный труд об утомляемости хранятся у меня до сих пор на полке — с его любезными автографами.

Ужас, пережитый в детстве, напоминал этот берлинский. Но был безличней. Я назвала его выпадом из времени, провалом сквозь время в Не-Время. А что такое Не-Время и почему оно вселяет смертельный страх — до сих пор не знаю и не понимаю. Только позднее выросло у меня особое, детское, любовное доверие к течению времени, желание как бы держать его всегда за руку, близко, словно родное нечто, и сознать его другом, хранителем, устройтеlem жизни. Так, в годы моей молодости, из теплого чувства любви к течению этой родной реки-Времени, я написала Оду, какой ни один поэт ни в древности, ни в современности не писал, — Оду Времени (с большой буквы).

Приведу ее здесь для читателя, хоть она и была давно уже напечатана.

### Ода Времени

#### I

Тебе, кому миры подвластны,  
Кто чередует свет и мглу,  
Мой скромный стих, мой слабогласный,  
Споет ли должную хвалу?  
Блуждает память в миллионе  
Лет, отмелькавших, словно сон,  
А там, в твоём несчетном лоне  
Роится новый миллион.  
За голубым его теченьем,  
Подобным Млечному Пути,  
Суди грядущим поколениям  
Опять Грядущее найти!

#### II

До той поры, пока могильный  
Приносит сумрак забытью,  
Твой лепет ласково-умильный  
Сопровождает бытие.  
Не перенести любви и боли,  
Ни гнева, ни высоких дум,  
Когда б не пел над нами боле  
Твоих могучих крыльев шум;  
Когда б не плавный лёт, скользкий  
Из мига в миг, из часа в час,  
Таинственной мечты и слаще  
Забвенья — не баюкал нас!

## III

И в соке лозы виноградной,  
 И в песне, что пропел поэт,  
 Твой легкий шаг, твой шаг отрадный  
 Почетный оставляет след.  
 Ты тленный прах даруешь тленью.  
 Но формы, где рождался бог,  
 Животворит прикосновенье  
 Твоих легкокрылатых ног.  
 Творец, не жди мгновенной дани  
 И тьмы забвенья не страшись!  
 Что время сжало в мощной длани —  
 Оно, летя, возносит ввысь.

## IV

Нам душу грозный мир явлений  
 Смятенным хаосом обстал.  
 Но ввел в него ряды делений  
 Твой разлагающий кристалл,—  
 И то, пред чем душа молчала,  
 То непостижное, что е с т ь.  
 Конец продолжив от начала,  
 Ты по частям даешь пррчесь.  
 Ты миру судишь материнство...  
 И с первых дней земной чете  
 Лишь суждено дробить единство  
 В слиянья роковой мечте.

## V

Ты — цепь души неутоленной!  
 Чем от тебя я отделию  
 Свой смертный разум, прикрепленный  
 К тебе, как пламя к фитилю?..  
 Но на стебле твоём растущем  
 Хранит незримая ладонь  
 Взвиваемый к небесным кушам  
 Познания медленный огонь.  
 И может быть, в преддверье света,  
 Остebelённый кончив путь,  
 Вспорхнет, как голубь, пламя это  
 И сядет Истине на грудь.

## VI

Как подойти к последней сени?  
 Как сердцу примириться, чтоб  
 Не быть, не слышать шум весенний  
 Земли, спадающей на гроб?  
 Но тяжкой ношей наши плечи  
 Обременяет ход времен,—  
 И вот уже не страшно встречи,  
 Упокойтельной, как сон.  
 И вот насыщенный, изжитый,  
 Вкусивший от добра и зла,—  
 Дух сам собой возводит плиты  
 Над жизнью, холодной, как зола.

## VII

Так обрастай же все мгновенья,  
 О время,— длиннорунный мох!  
 Да не замрут тебе хваленья,  
 Доколь в груди не замер вздох,  
 Пусть с примиряющим лобзаньем  
 От нас твои отходят дни,  
 И ты спокойным указаньям  
 Волненья сердца подчини.

Судья людей в любви и гнев!  
 Всем взмахам твоего крыла,  
 Тебе, кормящее во чреве  
 Мечту о Вечности,— хвала!

1915.

Хочу здесь сказать и еще одно. Французский ученый Жан Пьяжэ написал труд о восприятии времени у детей<sup>12</sup>. Он не выдумывал, его выводы покоились на проведенных с детьми опытах. Он пытался установить арифметическое, счетное измерение времени у детей исходя из того, что математики и философы, все, кто в истории науки берется определить время, подходили и подходят к нему с числовой, измерительной линейкой. Считая восприятие времени вообще процессом числительным, Жан Пьяжэ так именно и ставил свои опыты. И тут вдруг он наткнулся на странное, как ему показалось, недопонимание, недомышление у семилетнего ребенка. Он приводит в виде примера возможный диалог, характерный отсутствием координации числа времени с его следованием, будто бы трудно дающейся ребенку:

«Сколько тебе лет?»

«Семь лет».

«Есть у тебя товарищ старше тебя?»

«Да, вот этот возле меня — ему восемь лет».

«Хорошо. Кто же из вас родился раньше?»

«Не знаю. Я не знаю, когда его день рождения».

«Но подумай хорошенько. Ты сказал, что тебе семь лет, а ему восемь, кто же из вас родился раньше?»

«Вам надо спросить у его магери, я не могу вам сказать».

Жан Пьяжэ рассуждает дальше о трудности мышления для ребенка, еще не умеющего координировать дату рождения с последовательностью числа лет. Но тот, кто внимательно читает его и следит за приводимыми им примерами, почувствует нечто другое, кроме того, что ребенок «еще не умеет...». Он почувствует, что осечка тут не от неумения, а скорей от разницы восприятия движения времени у ребенка и взрослого, разницы важной, многозначнейшей, интересной. Неувязка с ответом произошла, когда вопрос коснулся конкретного события, — дня рождения. Отпало внимание к числу лет. Выдвинулась последовательность фактов — празднование дня рождения его и его товарища, чей раньше. Это — первичное измерение времени ребенком не по числительной гамме вообще, где последовательность не имеет содержания, абстрагируется от содержания, выражается в голых цифрах, — а по насыщенному содержанию времени, событийному времени, которое запоминаешь не числом, а содержанием, не арифметически, а — исторически. Я выражаю здесь свое впечатление от опытов, приводимых Пьяжэ, выражаю очень несовершенно, очень неумело; но разве конкретность времени, никогда не бывающего пустым или лишенным содержания, не делает числительное, математическое, физическое, астрономическое измерение времени уже недостаточным? И тогда — не окажется ли многое «долгое» — коротким, многое «короткое» — долгим, многое последовательное — непоследовательным, многое разрозненное — логически сцепленным? Опыт детей нельзя рассматривать только под углом зрения их незрелости. Дитя — носитель своих прозрений, своей логики, которую оно еще не понимает само, но может удивить ею взрослого и заставить его задуматься.

Несколько недель назад я ехала в Ереван. Со мной в вагоне был один из милейших армяно-русских ученых, академик А. Г. Иосифьян.

<sup>12</sup> The Voices of Time. A cooperative survey of man's views of Time... New York, 1966. Jean Piaget. Time perception in children. Стр. 202—216

Мы разговорились об измерении времени после того, как он ввел меня в новые не-линейные процессы в электротехнике<sup>13</sup>. А нельзя ли представить себе и движение времени не-линейным, например — волнообразным, как бы «приливо-отливным», не таким, по движению которого чередовались бы исторические факты, а таким, сама природа которого влияет на факты или чередует их своими приливами-отливами, — вроде света, делающего вещи видимыми, спросила я Иосифьяна и, честно говоря, совсем запуталась, сравнивая время со светом. Академик не принял всерьез эту путаницу. Но потом вдруг сказал мне такую вещь: «Если смотреть со стороны человеческого восприятия... Тогда, например, «десять дней, которые потрясли мир», никак не уложишь арифметически в ряд с обычными десятью днями».

Течение времени у детей не укладывается в арифметический ряд. Когда дочери моей Мирэли было три года, Лина несла ее на руках из столовой в спальню, чтоб уложить спать. Дочке спать не хотелось, и, как все малыши, она выдумывала предлоги, чтоб оттянуть время, и попросила дать ей яблочко. «Яблочки уже все сняты», — ответила сестра. «Неправда, — сказала Мирэль, — это маленькие яблочки спят, а большие не спят!» Случай этот, рассказанный другу и тогдашнему соседу нашему, Михаилу Слонимскому, был, как анекдот, послан им в «Крокодил» и напечатан.

А ведь ответ трехлетнего существа был очень сложен, — время в нем оказалось богатейшего содержания, и притом не только «исторического» — маленькие спят, а большие не спят, — но в переносе на яблочки и практического, более выгодного для ребенка, — «большие по объему»...

Обратившись мыслями к своему прошлому, я с удивлением вижу, что многое в нем предвосхищает будущее, а то, что пережито в зрелые годы, озаряется внутренним светом того, что далеко, далеко позади. И снопом света бежит дорожка «отсюда — туда», по Пушкину:

...Невидимо склоняясь и хладея,  
Мы близимся к началу своему...

## 9

Какая же была эпоха в те ранние дни моего детства? Что там происходило исторически, — в обществе, в окружавшем мою семью социальном строе, в мире, лежавшем за его гранью, на планете, плывшей миллиарды лет вокруг нашего маленького солнца, в нашей маленькой галактике? Дети не знают этих вещей. чаще всего — не подозревают о них. С ними все происходит в очень медленном, почти стоячем мире внутренних событий их маленького существа, поставленного в рамки каких-то строгих ограничений и необходимостей бытия — что можно, что нужно, чего нельзя, что обязательно. В частокое этих направлений ребенок как бы стоит, замурованный, развивая внутри себя свой собственный мир возможностей.

У рабочего класса и у крестьянства в тяжелых тисках старого строя такой частокое, как ни странно, был подобен неподвижному ощущению времени в детстве, с таким же малым знанием своего исторического сегодня, только там частокоем было — добывание куска

<sup>13</sup> Вот место в его статье «Прогресс советской электрогехнической науки» (1967), по прочтении которого возникла наша беседа: «Существующие физические и теоретические основы электротехники, созданные Фарадеем, Максвеллом и развитие Лоренцем, являются по существу линейными теориями, не учитывающими атомно-кристаллическую решетку вещественных тел и гравитационно инерционные явления атомов и молекул, участвующих в электромагнитных процессах и создающих фактически не-линейные процессы». Оттиск журнала Академии наук СССР, стр. 7.

хлеба, вставание на заре, обязательная работа, монотония происходящих событий — труда, голода, праздников, похорон, свадеб. И накопление, сохранение традиций — в психологии, в одежде, в искусстве, в том, что искони принято народом. Мне приходило в голову, когда я изучала студенткой историю, что «революционирование народных масс», эти три газетных слова, означало в сущности пробуждение в подавленном тяжестью жизни человеке — чувства исторического времени, внезапно распахнутое окошко вовне себя.

Но дитя подавленного класса — ребенок рабочей семьи в городе и крестьянской в деревне — было свободней городских детей интеллигенции. Частоколу вокруг него было гораздо меньше, воздвигать этот частокол было родителям некогда. Во дворах больших городских домов приходилось нам сталкиваться, а подчас и вместе играть с такими ребятами, и я удивлялась и обижалась, что они, меньше нас зная, больше нас умеют, меньше нашего учась, больше нашего рассуждают, и рассуждения их здравы, практичны, похожи на взрослые. И от них доносилось иногда к нам о разных событиях из внешнего, детского мира, таких, как война, выбор хозяина дома в гласные думы, смерть пьяного на улице, учителя забрали в тюрьму...

Вот из этих редчайших всплесков моря времени, забрасываемых в окно нашей детской со двора, от дворовых ребят, игравших вместе, — понемножку рождался удивительный детский эпос, который мы с сестрой сочиняли, играя в нашу первую большую игру — в «Мэрцу». Мэрца была далекая страна, откуда мы обе пришли, притворившись детьми наших папы-мамы. Притворяться было необходимо, оно было нам задано, как некая тайная задача. В Мэрце происходила война — эту лучезарную страну подстерегали лютые враги, чугунцы, жившие под землей, в сточных ямах, покрытых решетками, куда весной и осенью с шумом и плеском проваливались на углах улиц дождевые потоки. Позднее (спустя полвека!), когда я печатала свою «Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мэрце» (где все было — честная, невыдуманная правда!), редактораша попросила меня заменить слово «чугунцы» каким-нибудь другим, потому что может обидеться рабочий класс, литейщики, сталевары. Я тогда вспомнила, как няня (тоже всплеск волны времени в окошко нашего детства!) рассказывала, сколько дурных людей сидит на шее у народа, — и заменила слово «чугунцы» словом «нашейники». Так вот эти самые чугунцы объявили смертельную войну Мэрце. Во главе нашей страны стояли Сестры. Там были еще белокурый принц Эли и добрая белая змея Эби. Сестер было несколько, они управляли; старшую, как и всю страну, звали Мэрца, но ее никто никогда не мог увидеть из страха ослепнуть (так сияла она!), младшую — Лямэт; и самые младшие были мы с Линой. А среди сестер одна оказалась предателем, — Дэрэвэ, с ударением на последнем слоге, с буквой «э» вместо «е»... Она была безобразной колдуньей, она перешла к чугунцам и стала во главе врагов...

Как мы все это переживали! Тайнственные Сестры говорили с нами в стальные дырочки, откуда всегда выпадали деревянные вкладыши для закрепления дверных портьер поясками. Дырочки находились, как и портьеры, как и тяжелые шелковые пояски для них, сбоку от каждой двери в стене, а вкладыши, которым надлежало быть воткнутому в эти отверстия, валялись внизу, на паркете. Их поднимали, вставляли обратно, они снова вываливались... как будто нарочно для нас! И мы с Линой тихонько подбирались к этим дырочкам, когда нас никто не видел, шептали в них, прикладывали к ним ухо и слушали, будто издалека, из сияющей Мэрцы, бедные осажденные Сестры-мэрцианки передавали нам свои ужасные новости... Чугунцы ползли, ползли, их были полчища, они не имели ни лиц, ни глаз. Они несли с собой в чугунной коробочке «сло-

во». И чтоб победить их, надо было разгадать это невидимое слово и наложить на него другое, более сильное... Все эпосы мира всех народов мира имеют, по-моему, черты глубокого сходства. Это — детство человечества, детство начального ощущения Времени, когда складываются первые контрасты света и тьмы, белого и черного, добра и зла, родного и чуждого. И как и всякое первое пробуждение творчества, теургического воспроизведения вселенной человеком, — оно было связано и с первым в сердце движением эроса, легким, как трепет крыла в полете. Потому что творчество невозможно без затраты той могучей созидательной энергии, которая дарована всему живому эросом.

Но что делалось тогда в мире, в России, в Москве? Незаметное для детей, оно делалось и, наверно, покажется сейчас чем-то очень далеким, старым, старомодным, какими предстают женские журналы мод тех далеких лет? Ведь прошло, если мерить время хронологически, восемьдесят два года, почти столетие.

Я заказала в библиотеке журналы прошлого столетия и погрузилась в чтение. Мой отец, кроме работы над диссертацией и в больнице, был — как тогда делали все врачи — еще и практикующим на дому. К нему приходили больные, — я представила себе даму, затянутую в корсет, в длинном, до пят платье, с пелеринкой на плечах, в черных перчатках, которые она сняла, садясь за стол в гостиной, в ожидании приема. На столе для таких случаев должны были быть журналы, не слишком серьезные, но и не пошлые, — я заказала, просмотрев библиографию тогдашних периодических изданий, журнал «Еженедельное обозрение», год 1888, — год моего рождения, и заглянула в месяцы: март, апрель. В номере от 27 марта была статья: «К вопросу о переутомлении». Самым современным, чтобы не сказать злободневным, языком в ней говорилось: школьные программы слишком обширны, рекреации слишком коротки, физические упражнения в совершенном загоне, гимнастика — на бумаге; школа развивает слабое зрение, искривляет позвоночник от долгого сиденья за партой... Говоря трюизмом, я просто «не поверила своим глазам», читая все это, написанное почти сто лет назад.

Я сразу же вспомнила своего правнука Славика, принесшего на днях от учительницы плохую отметку за то, что он ерзал и двигался на скамейке во время урока. Сто лет! Но разве двести, триста лет назад мудрецы-педагоги типа Яна Амоса Коменского не сочиняли школьный урок как «театр», не вносили в преподавание игру, не требовали физического движения для детей? И передо мной возник живой поток времени, пульсирующего ритмом нашего сердца, нашей крови, механически разделенный на перегородки часов: обязательное сидение ровно сорок минут на уроке (сиди, не вертись!), десять минут рекреации, или, как поздней говорили, перемены, и опять садись на сорок минут. Сиди! Про арестованных говорят: он сидел, он отсидел, он сидит. А как это красиво у греков, даже в пародии Козьмы Пруткова:

После прогулок моих утомясь,  
Я опираюсь на урну<sup>14</sup>.

«Чего захотела! — воскликнет современный педагог, если доберется до этого места в моих воспоминаниях, нарушающих измерение времени. — Урну тебе! А может, еще коринфскую колонну поставить? Может, амброзию в пиалах раздавать и на кифаре играть? Когда хулиган тебе из рогатки с последних скамеек глаз вышибает?»

Или, например, не слушая эту реплику, вспоминаю Владимира Ильича, как он в марте 1923 года писал:

<sup>14</sup> Козьма Прутков. («Библиотека поэта»). «Советский писатель». 1965, стр. 249.

«...наш теперешний быт соединяет в себе поразительной степени черты отчаянно смелого с робостью мысли перед самыми мельчайшими изменениями»<sup>15</sup>.

Отчаянно смело мы внедрились в космос. И робеем, как мыши, когда дело доходит до вещей более простых и маленьких. А ведь за эти маленькие вещи брались в прошлом умные люди, несмотря на самые большие препятствия, которых нет у нас. Брался Далькроз, построивший замечательную школу под Дрезденом в год первой империалистической войны. Построил свой «Гётеанум» по образу и подобию учебных и страннических лет Вильгельма Мейстера, под Базелем и чуть ли не тогда же, Рудольф Штейнер. Пусть — шелуха и мистика чуждых нам идей, но заразительная и умная практика: чтоб ученье было радостью, чтоб идти в школу-академию становилось праздником, чтоб ритм пронизывал и облегчал усвоение знаний, как музыка облегчает движение. Множество попыток создать новый тип школы, — вот и в нашем Новосибирске люди из Академгородка думают об этом. И смелые, свежим озоном революции овеянные, двадцатые годы нашей страны полны разных попыток... Но потом все основное как-то «утрачивается», оставляя «новизну» на поверхности: праздничную встречу семилетних ребят, когда они впервые переступают порог школы, и выпускные балы в белых платьях и взрослых костюмчиках при выходе из нее, — словно все дело в самом здании школы, а не в освоении знаний.

Я стала перелистывать «Еженедельное обозрение» дальше. Стихи Мережковского, Фофанова; восемь лет, как умер Мусоргский, — еженедельный обзор ставит музыку его очень высоко. Две критических заметки — не сами они, а то, как подошел к своей задаче критик, — опять остро смыкаются с современностью: политика! Первая заметка о рано умершем (ему было 24 года) поэте Надсоне, романтически любимом молодежи в конце прошлого века. Автор заметки пишет: пока Надсон воспевает природу, лиричен, интимен — его стихи звучны и музыкальны; но касается «гражданских мотивов» — сразу высыхает язык, беднеет словарь, пошли проанализы. Вы чувствуете: автор, видимо, человек реакционный, он против «гражданских мотивов» в поэзии... Но нет, Фофанов осуждается как раз за то, что он просто лиричен, просто интимен, и нет у него выхода к большим гражданским темам. Значит, «Еженедельное обозрение» стоит на левом общественном фланге? Дальше — длинный разбор новой повести Чехова «Степь» — она была напечатана и о ней говорилось, когда мне и году еще не стукнуло! С этим разбором — в мое, в общем-то скорей снисходительно-юмористическое, перелистывание старого журналчика вошло нечто очень серьезное. Разбор был ругательный. Повесть Чехова была напечатана в «толстом» журнале «Северный вестник». Критик упоминает о ней в общей статье «Журнальное обозрение» — то ли он говорит от себя, то ли пересказывает для читателя возникшую полемику, но смысл статьи такой: повесть, растянутая на шесть печатных листов, в сущности — ни о чем. Никакой фабулы, чуть ли не болтовня по-пустому, а между тем (здесь едкий сарказм в тоне статьи), между тем господин Буренин в «Новом времени» возводит молодого автора этого пустословия в классики, «приравнивает к столпам русской литературы, Толстому, Тургеневу и т. д.». Не потому ли обрушивается критик на поэтическую «Степь» Чехова, что расхвалил ее нововременец Буренин? Клеймо на Чехове от близости его к позорной в глазах тогдашней интеллигенции реакционной газете «Новое время»? И это — восемьдесят два года назад!

Просматриваю дальше — комплекты восьмидесятых годов, тогдашнюю «Русскую мысль», «Мир божий», «Северный вестник», «Вестник

<sup>15</sup> В. И. Ленин. Статьи 1923 г. Госполитиздат. 1951, стр. 41.



Европы», народническое «Русское богатство»,— множество романов, подписанных забытыми именами, их сейчас читать невозможно,— редкие уцелевшие имена: Станюкович, Боборыкин, молодой Короленко. Мы знаем всю эту периодику сейчас больше сквозь призму истории партии, через полемику большевиков с народниками,— но нельзя забыть, что смешанная жизнь общества восьмидесятых годов пульсирует в этих журналах, делает их живыми и злободневными для историка, поднимает, как рыбацьи сети со дна, узловые бесчисленные связи прошлого с будущим, сквозь десятилетия дает пережить всегдашнее состояние жизни — Сегодня.

Удивительное наблюдение сделает читатель, если возьмется за чтение их скопом, как я. Говорят, в человеке позже всего умирает мозг. Вы видите, чувствуете, как у вас на глазах, в этих журналах, беллетристика, целая плеяда имен, создававших романы, рассказы, повести,— если авторы их не «столпы русской литературы»,— все, что когда-то воспринималось как художественное, волновало, питало воображение, и с пепелается временем в труху, в невыносимую скуку штампов, длиннот, условностей, серостей; а порождение мозга, мысль,— в статьях, в критике, в публицистике, отнюдь не только подписанных блестящим пером Михайловского, но сотнями забытых, скромных, неведомых нашему времени имен,— сверкая встает перед вами, как интересная и захватывающая.

Для примера — опять «Еженедельное обозрение», 25 июня 1889 (мне в это время 1 год 3 месяца 4 дня, в словаре моем не больше пятидесяти словечек) — большой формат настольного издания, как раз для ожидающих пациентов,— что в нем? Отповедь «натурализму Золя и его школы»,— молодежь «опять возвращается к забытой классике, Бальзаку, Стендалю, Флоберу». В Гренобле, «обладателе рукописей Стендаля», открыт дневник молодого Стендаля: «Появление его в печати — самое выдающееся событие истекшего литературного года». А я «открыла» для себя молодого Стендаля в том же Гренобле пять лет назад... И в следующем номере, от 2 июля 1889 года, статья некоего Виктора Бибикова об этом новооткрытом дневнике, с характеристикой Стендаля: «Во Франции есть поговорка: это скучно, как страница Стендаля. Его тонкий психологический анализ, простота и художественная правда повествования, строгий и сжатый стиль, отсутствие литературных эффектов и театральности, на которые так падки французы, были причиной создания этой поговорки. Легкомысленному народу пришлось не по плечу писатель, который не хотел знать, что такое вкусы публики, мода, условия времени, который еще восемнадцатилетним юношей восклицал в своем дневнике: «В стране, где тщеславие — господствующая страсть, где одно удачное слово завоевывает всё,— как сохранить в ней хладнокровие», а на склоне писательской деятельности мечтал о круге читателей, состоящем из пятнадцати человек, и из отвращения к Франции принял итальянское подданство»<sup>16</sup>.

Страстная защита Глинки против поклонения Западу — в пересказе статьи из «Северного вестника». «Еженедельное обозрение» выписывает оттуда, как Лист поражался неуважением русского правительства к русским; русской знати — к создателям своего великого композитора. Лист в письме к графине Аржанто приводит услышанное им от великого князя Михаила Павловича в 1843 году в Петербурге «поразительное слово»: «Когда мне надо сажать моих офицеров на гауптвахту, я посылаю их на представления опер Глинки», а «граф Вельгорский, сам музы-

<sup>16</sup> «Еженедельное обозрение», № 281, 1889. Издатель А. А. Гreve. Редактор И. В. Скворцов. Стр. 417 и др.

кант», сказал лично Глинке о «Руслане и Людмиле»: «*Mon cher, c'est un orgeа manqué*» («Дорогой мой, это неудавшаяся опера»).

Все это — обозрение того, что печатают в других журналах, — прерарированное с тенденцией, которую сейчас чувствуешь как смелую и передовую, но отнюдь не групповую, должно было составить чтение тогдашней «широкой публики», может быть, единственное, которое она имеет время или возможности поглотить. Вроде нашей, скажем, «Недели», — но насколько же шире подходом, если вычесть истекшее почти столетие. Вот пьеска — в ней обыгрывается со смешной стороны телефон. Он только недавно изобретен, о нем в народе еще и понятия не имеют, а «сочинители» уже показывают эту невиданную технику в ее смешных возможностях для быта (не из разговора ли взрослых о небывалой новинке стали мы с сестрой переговариваться в дырочки с нашей далекой Мэрпой?). Но — подшучивая над новейшей техникой в быту, это же «Еженедельное обозрение» тогда же подробно рассказывает о статье Фуллье «Кризис в метафизике», напечатанной в очередной книге авторитетного французского журнала «*Révue de deux Mondes*»<sup>17</sup>. А народническое «Русское богатство» знакомит читателя с серьезным изучением явлений телепатии в «Лондонском Обществе для психических исследований». Наука о «внушении на расстоянии» еще очень молода, сообщает автор чуть не сто лет назад: «Ей всего тридцать лет»... А современность три года назад «открыла» для себя явления телепатии!

Начав читать тогдашнюю периодику, я поделилась с читателем предчувствием, что окупусь в мир отжившего, старомодного, давным-давно сошедшего со сцены. А вот оказалось, что, читая массовый, средней руки журналчик, имевший задачу почти сто лет назад обозревать и в популярной форме сообщать своему читателю, что делалось за неделю в мире и в литературе, я не вышла из сегодняшнего дня, а скорей по-новому введена в него. Но не это было самым интересным в таком чтении.

Восемьдесят два года живу я на белом свете и путешествую по морям и странам. Ненавижу восхвалять «свое» только потому, что оно «свое», и ругать «чужое» только потому, что оно «чужое». Но признаюсь честно — ни в одной стране, кроме нашей, я не встретила того особого нравственного качества нашей русской интеллигенции, какое очень трудно описать, но невозможно не почувствовать, когда сравниваешь, наблюдаешь, изучаешь интеллигенцию разных стран в ее жизни или читаешь о ней в книгах. Мне могут сказать, что я преувеличиваю, выдумываю, не беру во внимание предреволюционный слой пишущих и читающих во Франции перед Французской революцией 1789 года, движение романтиков в Германии, масонские ложи во всем мире, критическую литературу и периодику в Европе, у которой учились, с которой заимствовали наши Н. Тургенев, Новиков, журналистика XVIII века, — вообще своевольно поступаю с так называемой «идеей прогресса», идеей по своим историческим корням вполне европейской, осознанной раньше нашего в Европе. Мне могут сказать, что нравственные основы, двигавшие пером Диккенса, воспитали гуманизм и филантропию английского общественного сознания, — и не только английского: даже Достоевский испытал это влияние Диккенса, и многие страницы «Преступления и наказания» перекликаются с «Мартиниом Чезлуитом».

Все это я знаю и понимаю — и хочу сказать не о том, — не об идее прогресса вообще, не о гуманизме вообще. Русский интеллигент — с тех самых времен, как определилось для нас это понятие, — был совестлив. Совесть — непередаваемое свойство души человеческой. Можно объяснить «инстинкт», «подсознание», «склонность», даже то странное

<sup>17</sup> «Обзор двух миров» (Старого и Нового Света, как называли тогда Америку).

качество, которое английские романисты приписывают иногда шотландцам, — «провидение», «второе зрение», «фейность», «психический дар предчувствия», — но нет научных или хотя бы просто объясняющих слов, чтоб понятно передать другому содержание слова «совесть». И даже нет полного эквивалента этого слова в переводах на все другие языки. Даже оттенок в этих языках другой — интеллектуальный (с примесью «науки» в английском и французском, с примесью «знания» в немецком); но на русском языке оно отнюдь не связано с «ведением»<sup>18</sup>, — оно связано с «вестью», с чем-то, подающим голос о себе издали.

Если взять в помощь личный опыт, закрыть глаза, погрузиться внутрь себя и попытаться хотя бы почувствовать, что же это такое «совесть» для тебя самого, то возникает личный соблазн — назвать ее чувством вины. Мне помогло в этом определении перечитывание (для книги «Первая Всероссийская») гениальных страниц П. Лаврова. Словно в чем-то перед кем-то виноват классический русский интеллигент, — а ведь он стоит подчас в продувном пальтишке, с двугривенным в кармане, на ветру, не знает, где пообедает, — но смотрит на переходящего улицу старика, на жмущуюся к стенке проститутку с глубоким чувством вины перед ними. Вина человеческой совести — чего-то непонятого внутри нас — перед человечеством, перед убожеством жизни, перед тяжким, беспросветным трудом, перед «малыми сими», хотя сам ты устроен, может быть, хуже тех, кого жалеешь сейчас острой, пронизывающей, виноватой жалостью. Я не встречала таких интеллигентов на Западе. Помню, когда мы с сестрой пробирались со своими рюкзаками на плечах по холмистым дорогам Баварии, к нам присоседалась и уже не разлучалась с нами до конца каникул тоже студентка с рюкзаком, немецкая девушка — милая, умная, очень простая. Нескончаемые беседы мы вели с ней, странствуя, и как будто во всем соглашались — схожи были вкусы литературные, интересы научные, взгляд на хорошее и дурное в политике, — даже некоторая бесшабашность, безбоязненность делать неприятное, держаться не так, как все. Но вот когда коснулись будущего — мы перестали понимать друг друга.

Наша немецкая спутница знала очень точно, какого места будет добиваться, окончив университет. Она знала, где какая плата, куда попасть выгоднее. У нее не было особенной корысти. Пусть даже плата меньше — лишь бы перспектива интересней и можно идти по служебной лестнице выше, подниматься по ней с годами. Мы с сестрой пережили на ее вопрос большой и неприятный конфуз. Что будем делать? Никаких планов. Никакого представления о «месте» — закрепленном месте где-то на службе, с определенным жалованьем, в расчете на которое она училась и выбрала факультет. А у нас и в мыслях не было такого расчета и таких планов заранее; учились, чтоб учиться, зарабатывали — уроками, в перспективе... разве сама жизнь, широкая, необъятная, — не перспектива? Мы почувствовали себя перед ней цыганами какими-то. «Надо приносить обществу пользу», — снисходительно сказала нам наша милая немочка. А мы выросли плотью от плоти русской интеллигенции, когда «приносить обществу пользу», работая в учреждении, казалось позорным концом «Обыкновенной истории» Гончарова. И мы — не представляя себе хорошенько, чем будем «полезны обществу», — жалели, жалели до слез русскую унылую жизнь, деревенские ухабистые дороги, слепых стариков, пьяного по субботам рабочего, его избитую жену, все, что дышало несчастьем, неблагоустройством, людскою бедой, — мы хотели «послужить», — душу отдать, — но не на «службе».

Эта черта русского классического интеллигента, дорисованная до его конца гениальным пером Чехова, имела еще одно разветвление. Чув-

<sup>18</sup> Вeдaть, знaть: Ge-wissen (нем.), Con-science (франц.).

ство «вины» — как свой антипод — на обратном конце выливалось в чувство «обвинения», дававшего свой привкус во всем, что тогда печаталось, игралось на сцене, говорилось «в обществе». Откройте «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона на букве «ч» и прочитайте там отличную статью знатока русской литературы С. Венгерова о Чехове. Писатель уже вышел к мировому читателю, Венгерov не жалеет эпитетов, он считает его величиной европейского масштаба. И он не боится даже защитить Чехова от многочисленных обвинений. В чем? В «отсутствии мировоззрения». Да, Венгерov согласен, Чехов не имеет мировоззрения, но он по-своему заслуживает оправдания, ведь у него зато есть несомненная «тоска по идеалу». Обвинение, которым тогда клеймили, против которого не было защиты, которое причиняло боль, бессонные ночи, бесильную ярость, спрятанное в два, казалось бы безобидных, словечка — «отсутствие мировоззрения», — было в те годы не менее страшно и серьезно, чем нынешние обвинения в отсутствии нашего мировоззрения, материалистического, коммунистического, ленинского. Подразумевалась аполитичность художника, нежелание его участвовать в борьбе против самодержавия хотя бы только выражением антипатии к нему, в поддержке всего передового, в отказе от близости к чему-то реакционному. «Объективность» тотчас бралась под подозрение. Как-то само собой было ясно, что «объективность» у людей, живущих общественной жизнью, не существует вовсе. Мотив «вины», психологический, и мотив «обвинения», критический, — изнутри первый, извне второй — создавали особое давление в среде русской интеллигенции, более мощное и деспотическое, чем царская цензура.

Для Европы это было явление уникальное и совершенно непонятное. Попытки истолковать его европейскими мыслителями напоминают мне беспомощные попытки собаки перевернуть лапой черепаху на спину. Они делались в терминах знакомого европейцам западного мистицизма, объяснялись словечками Августина Блаженного, Якова Бёма — вплоть до Кьеркегора. Даже бесконечно разумный, трезвый большевизм не был понятен западному мышлению здраво-логически. Осенью 1933 года я лечилась в Крэйцлингене, в санатории доктора Бингсвангера. Однажды за обеденным столом он разговорился со мной о большевиках и назвал их учение «эсхатологией» — модным словечком, обозначающим «чаяние», «ожидание» — царства небесного на земле... Один из Бингсвангеров (как я недавно прочитала где-то) стал сейчас швейцарским философом-экзистенциалистом.

Наша семья была частью московской армянской колонии, но практически жила интересами и жизнью московско-русской интеллигенции. Русское начало проникало во все поры нашего дома: русские кормилицы вскармливали нас с Линой своим молоком (тогда был обычай в интеллигентных зажиточных семьях сдавать новорожденных кормилицам); русская няня была главным звеном нашей связи с внешним миром; учитель и руководитель отца, в чьей клинике отец производил свои опыты над собаками, был русский профессор, Александр Богданович Фохт; ассистент у отца был русский; и пациенты, те, кто ждал приема вокруг круглого стола гостиной, были тоже отнюдь не армяне... И, наконец, работал он врачом в Старо-Екатерининской больнице с ее знаменитыми медицинскими традициями. Иван Иванович Скворцов-Степанов и его туберкулезный брат лечились в годы их молодости у моего отца; Иван Иванович из своей ссылки в Клину приехал однажды к нам в гости на дачу в Пушкино, и отец заставил меня прочесть ему мое «революционное» стихотворение «Богатство». Не мудрено, что и мы, как множество семей вокруг нас, были пропитаны атмосферой дуализма «вины и обвинения», отражавшейся на разговорах, выборе подписных изданий, чтении и суждении о книгах и даже на судьбе отца: когда после защиты

диссертации он был выдвинут на кафедру диагностики внутренних болезней в Московском университете и ему было предложено, для ускорения дела, перейти из армяно-грегорианства в православие, он ответил министру: «Я атеист. Но моя церковь связывает меня с моим народом, и отказаться от нее считаю отступничеством». После этого он долго был под негласным надзором полиции.

Почетное место в нашей квартире было отведено книге. Для нее стояли дубовые шкафы со стеклянными дверцами и в кабинете, и в комнате матери, так называемом «будуаре», и в гостиной, и даже в передней. Ее вынимали после обеда для чтения вслух. Читала обычно мама, отец лежал, отдыхая, на диване и слушал. Иногда читали для нас, — рассказы из толстых детских книг в золоченых переплетах издания Девриена, — «Красный фонарь», какого-то русского автора, — как маленький сын заболевшего стрелочника спас пассажирский поезд; переводные — в стихах: «Макс и Мориц, или Два шалуна», «Плишь и Плум, или Две собаки»; но чаще всего — сказки Андерсена. А когда мы стали постарше, мне пять, сестре три, — отец сам начал читать нам Пушкина. У него была особая, непонятная для меня любовь к Пушкину, особенно к его «Цыганам». Часто с большим чувством, с каким-то личным значением, по самому неподходящему поводу, — но, должно быть, подходящему для него по невидимым внутренним ассоциациям, — он говорил вслух, но самому себе, излюбленный стих: «И от судеб защиты нет».

Образ Пушкина с самого раннего детства стал обрывать для нас чем-то таинственным, словно тут он, совсем еще не умер, но это держится в секрете, потому что Пушкин может пострадать. Я уже с четырех лет усердно пачкала стихами и прозой обоим в детской и подаренные тетрадки: как научилась буквам, стала их складывать в слова, а слова — в предложения, — и пошло, и пошло, — о чем только! Были у меня герой и героиня, герой — чиновник Лимперльский, больной чахоткой; героиня — Раиса, с длинными, до полу косами. Были драмы из итальянской жизни. Одна сохранилась в тетрадке, купленной у Мюра и Мерилиза (где сейчас Мосторг), но там записывались уже сочинения «Марианны Сергеевны 9-ти лет». И там же записан Сон — под влиянием отцовских чтений:

#### Мой сонъ

Когда я мала была  
Любила очень книги я  
Вдруг слышу полъ трещить  
Ломается и провалился  
Вдруг вижу Пушкинъ на землѣ  
В бѣломъ весь лежить  
Кругомъ книги его во мглѣ  
Счастьемъ онъ горить.

Я испугалась и проснулась.

Мне совестно сейчас перечитывать свое косноязычие и полное отсутствие того, что можно назвать талантом. Почти вся моя коричневая тетрадка, сохранившаяся до сих пор, полна таких сочинений, — плохим почерком, без знаков препинания, с ошибками, с рисунками на полях, — и если я решаюсь привести тут кое-что для читателя, то потому, что это все же было, это отражало мою постоянную тягу к творчеству, а главное — это любопытно было сравнить с единственным стихотворением моей сестры, написанным ею в возрасте четырех лет:

Зевака кучер водку пьет,  
А лошади несутся.  
Он ищет их — они спокойно  
На лугу пасутся.

Если б какой-нибудь дядя-журналист сравнил мои детские стихи с этим Линниным, он не колеблясь сказал бы, что скорей Лина станет писательницей, нежели я. В четыре года она видела мир вокруг. Она видела нашего кучера, пьяного по воскресным дням. Видела наших двух вороных в конюшне, беспокойно перебирающих ногами; видела, как втягивают они ноздрями запах сена... И в четырех строках отличилась реальная картина, пересказать которую многословней, чем то, что она написала.

В день моего девятилетнего рождения отец, хорошо говоривший по-немецки, подарил мне всего Гёте в берлинском издании Рэклям,— оно и сейчас стоит у меня на полке. Гёте был вторым его любимцем, после Пушкина. Откуда и почему Пушкин, именно Пушкин и «Цыгане» — я почувствовала по-настоящему лишь в 1970 году, когда решила, что надо бы еще как следует прощупать свои «гены» по отцовской линии. И в самое летнее пекло — лето 70-го было на редкость жаркое — вдруг сорвалась с места и решила съездить наконец в Измаил.

## 10

Отсюда, из таинственного Измаила, по рассказам нашей тетки, вышла в старые времена группа переселенцев-армян под предводительством «врачевателя Макария Шагинянца». Измаил был сперва в Турции, потом, при Екатерине, завоеван Потемкиным. Он последовательно числился в Турции, Румынии, Молдавии, Одесской области... Но что за лицо у Измаила, этой бывшей крепости, когда-то сильнейшей, или одной из сильнейших, в Европе? Байрон посвятил ей увлекательную строфу в «Дон-Жуане», точно указав местоположение на Дунае, восточный характер зданий, европейский характер самой крепости. Суворов рапортовал о ней Потемкину: «Не было крепости крепче, не было обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят». Турки назвали это грозное сооружение, созданное по их приглашению лучшими фортификаторами Европы, «Ишмасль» — услышь, Аллах! И, наконец, Пушкин побывал в Измаиле, когда каменные остатки крепости после штурма еще не были стерты с лица земли. Незримым спутником Пушкина в его поездке была тень опального Овидия Назона. Незримым спутником моей поездки стала тень опального Пушкина, очертившего в десять дней могучий ромб по земле тогдашней Бессарабии. Он проехал в молдавской повозке, «каруце»: Кишинев—Каушаны—Аккерман—Татар-Бунар — Измаил; и оттуда: Измаил — Кагул — Фалчи — Леово — Кишинев. Наши маршруты кое-где совпали; мне удалось даже перешеголять его — попасть в одно место, куда он страстно хотел попасть, но не смог. Правда, я ездила не в каруце, а в машине, но время, потраченное на обе поездки, оказалось одинаковым.

В Пушкиниане кишиневский период изучен как будто до последней буквы. Но если у вас есть свой «предмет» на уме и вы читаете книги с особой, лично вам нужной целью, то самые читаемые и перечитанные, исследованные и переисследованные вещи оказываются полны открытий. Читатель не будет в обиде, если я расскажу здесь об этих «открытиях», лежавших напечатанными сто с лишним лет, со дня опубликования Бартевым дневника И. П. Липранди, — черным по белому, — перед каждым, кто хотел их читать. Пушкин предстает в них удивительно близким, профессионально--рабочим человеком пера, — пламенным исследователем-очеркистом.

Липранди, военный историк и подполковник разведки в Кишиневе, тогда (в двадцатых годах прошлого века) человек с еще не запятнанной предательством репутацией и друг Пушкина, получил задание: обследовать что-то, происшедшее в 31-м и 32-м егерских полках, расквартирован-

ных в Аккермане и Измаиле. Он должен был туда выехать в ужасное время — конец первой половины декабря (14-го или 15-го) 1821 года. Хлещут мокрые метели, дуют дикие ветры, колеса вязнут в грязи, холод пронзает до костей — служебная поездка. И самому ехать тошно, а тут еще «Пушкин изъявил желание мне сопутствовать...»<sup>19</sup> — пишет Липранди. Но милый старик Инзов, наместник Бессарабии, под началом которого жил в Кишиневе ссыльный поэт, «по неизвестным причинам» не пожелал отпускать Пушкина. Инзов любил своего подопечного. И должно быть, в такую погоду да в такое время, когда собаку не выгонишь за дверь, подвергать Пушкина, болевшего полтора года назад горячечной лихорадкой, всем этим простудам и тряскам Инзов попросту не хотел. Примирился ли Пушкин? И не подумал! Он «обратился» к М. Ф. Орлову, и «этот вы просил позволение». Орлов не был начальством Инзова, он был только командиром пехотной дивизии и чином пониже — тот генерал-лейтенант, этот генерал-майор. Так и представляешь себе, как Пушкин умоляет Орлова, а Орлов «выпрашивает» ему позволение. Очень хотелось Пушкину поехать. И они поехали.

И. П. Липранди — рассказчик сухой, эпитеты его всюду очень скромные, восклицательных знаков и многоточий у него почти не сыщешь, но под сухой и отчасти казенной его прозой поведение Пушкина напоминает подземный вулкан Сольфатару. Один твердо ведет свою служебную линию, время у него строго рассчитано, ему надо «вести следствие»; другой рвется увидеть, пережить, узнать, побыть подольше, свернуть в сторону. С первой остановки, с Бендер, начинается этот характерный «дуэт»:

«В Бендерах, так интересовавших Пушкина по многим причинам, он хотел остановиться, но был вечер, и мне нельзя было потерять несколько часов, а потому и положили приехать в другой раз. Первая от Бендер станция, Клушаны (сейчас Каушаны.— *М. Ш.*), опять взбудоражила Пушкина: это бывшая до 1806 года столица буджацких ханов. Спутник мой никак не хотел мне верить, что тут нет никаких следов, все разнесено, не то что в Бакчи-Сарае; года через полтора... он мог убедиться и сам в том, что ему все говорили; до того же времени оставался беспокойным». Едва выехали — и «взбудоражен», «хотел остановиться», «не хотел верить» и, пока сам не убедился, целых полтора года «оставался беспокойным»!

Но вот они приехали в Аккерман, прямо к обеду у полкового командира Непенина. Липранди любил, по-видимому, вне служебных дел засиживаться за столом (он очень подробно описывает обеды, завтраки и ужины) — засиделся и у Непенина, а вечером, когда стемнело — шел снег пополам с дождем, — никто никуда не пошел. Зато утром, возвращаясь с обследования, он Пушкина дома не застал, Пушкин отправился к коменданту аккерманского замка; а когда и Липранди двинулся к нему, Пушкина там опять не оказалось — поэт и комендант пошли смотреть замок, «сложенный из башен различных эпох...». Так и повелось с Аккермана — Пушкин убежал от Липранди, пользуясь каждой минутой, чтоб узнавать, осматривать, спрашивать. И люди ему нравились по главному признаку — когда они удовлетворяли его «бесчисленными вопросами», как это у него было с помещиком Тарданом.

Приехали в Татар-Бунар. «Услышав из моих расспросов о посаде Вилково... он неотступно желал, чтобы заехали туда, и даже несколько надулся...» — бесстрастно рассказывает Липранди; «но я ему доказал, что теперь этого сделать никак нельзя, что к после-

<sup>19</sup> Здесь и всюду цитирую И. П. Липранди «Из дневника и воспоминаний», по книге «Пушкин в воспоминаниях современников». Гослитиздат. 1950, стр. 241—299. Разрядка всюду моя.

завтрему два батальона стянутся в Измаил для моего опроса, а завергая в Вилково, мы потеряем более суток, ибо в настоящее время года и при темноте от Килии до посада по дороге, или, лучше сказать, по тропинке, идущей по самым обрывам берега Дуная, ночью ехать невозможно». И бедный Пушкин «надулся»...

Рукой подать было до Вилкова. Сердце сжимается, когда вспомнишь, как мало пришлось повидать Пушкину на белом свете, как ни разу не удалось ему вырваться за границу и воочию взглянуть на воспетую им Италию,—

Где пел Торквато величавый;  
Где и теперь во мгле ночной  
Адриатической волной  
Повторенъ его октавы,—

и даже эту крохотную полуденную Венецию — посад Вилково — не суждено было ему увидеть...

Не в каруце, а в нашей запыленной «Волге» по дунайским плавням, густо заросшим камышом; мимо болот, где стаями спокойно сидели дикие утки — был сезон, запрещавший охоту на них, и птицы словно знали это,— ехали мы в Вилково по прекрасной дороге в сорокаградусный июльский зной. Вместо липкого, мокрого снега, ветров и холода мы были стиснуты благодатным жаром, исходившим от земли и неба. Жар вытапливал из нас все наши городские недуги, и невольно приходило на ум, что эти мудрые древние египтяне не зря говорили друг другу при встрече не «здравствуйте», не английское «хау ду ю ду», а «хорошо ли вы потеете?».

Степная, протянутая, как полотно, равнина, такая скучная, судя по энциклопедиям, была от самого Кишинева полна для меня неожиданных прелестей. То возникала на горизонте одинокая ветряная мельница, распахнувшая, как веер, свои неподвижные крылья,— словно оставленная тут как музейный экспонат. То показывалась куча сдвинутых амфитеатром каких-то серых кругляков. Я ни разу не видела, как прячутся от раскаленного солнца в голой степи овечьи отары: овцы, кучи овец, защищаются от солнца друг другом; они тесно прижимаются боками, смыкают радиусами круг, низко, почти до земли, опускают головы в одной центральной точке — и так замирают, подобно древним каменным амфитеатрам, на все часы дня. И в придаток к зною, как щепотка соли к еде, неслось в открытые окна машины вкусное веянье заскирдованного хлеба, ароматного сена, сухой земли.

Надо сказать, что вся эта дорога дает ощущение физического счастья: понижаясь к могучему телу Дуная, земля постепенно увлажняется, идет медленное перерождение сухой и горячей степи в горячие и влажные плавни, проступают болота, надвигается царство камыша, и вы дышите вместе с землей наступлением влаги,— и вместе с нею, как бы на крыльях плавней, въезжаете, словно вливаете, в Вилково. Оно, как Венеция, стоит на воде; улиц почти нет — дома связаны каналами. По этим каналам, под бесчисленными мостками, плывут местные гондолы — лодки с приподнятыми бортами, управляемые то семилетним мальчишкой, то дедом, то горсткой девчат. Здесь жили когда-то кержаки-староверы; жители Вилкова — большей частью потомки этой строгой, нравственными устоями и обычаями сцементированной веры. Как понаравилась бы Пушкину старуха, повязанная расписным платком,— она держалась прямо, носила очки, была высока ростом. Увидя, что я заинтересовалась старой церковушкой, скрытой за лесами ремонта, она повела меня под лесами внутрь и показала иконы старинного письма, рассуждая о них интеллигентно и поучительно. Иконы были прекрасны, особен-



но одна — не то воскресение из мертвых, не то вознесение, вся в светлых, ликующих тонах, в летающих с цветами ангелах — ни дать ни взять Фра Беато: краски на ней словно пели, и певучим был полет ангела с белоснежными крыльями...

Отказав Пушкину в заезде в Вилково, Липранди привез его к десяти часам вечера в Измаил. Остановились они в доме у негоцианта Славича.

И для нас, когда мы въезжали в Измаил, наступал вечер, но не зимний, а летний. Багровый шар солнца летел с нами по горизонту, то прячась, то выплывая из облака. Мы въехали в город совершенно незаметно, переговариваясь о чем-то другом, постороннем, и в середине беседы Измаил словно бесшумно подкрался к нам и вдруг обнял — сладко обнял изумрудом зелени, тишиной и удивительным покоем. Нигде на земле и никогда во всей жизни не пережила я так внезапно и так глубоко того, что наш язык называет «покоем». Толкованье этого слова как чего-то связанного с концом и прекращением деятельности, с уходом из жизни, — отпало. Покой показался мне в Измаиле той настоящей человеческой жизнью, тем полным состоянием души, когда получение и отдача совершаются равномерно и глубоко, подобно дыханию, — он показался мне ритмом.

Мы ехали ярко-зелеными садами; прямыми, как стрелы, улицами; под золотым от зашедшего солнца небом; мимо белоснежных колонн собора, чудесно построенного Мельниковым. Перед нами дивным силуэтом мелькнула на площади статуя Суворова на коне — Суворов с поднятой треуголкой, взмахнув ею, полуобернулся, он смотрит назад, на тех, кто за ним, и конь его с крутым восточным носом, со вздыбленной шерстью, уперся ногами в землю, твердо уперся, всеми мускулами, — мы здесь и здесь останемся! Невольно вспомнился Петр у Фальконе и Пушкина:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?

Здесь, в Измаиле, у суворовского коня копыта крепко опущены. Здесь что-то остановлено. Что? Не сразу пришел ответ. И только потом я поняла, что в силуэте победоносном коня, во взмахе суворовской треуголки удивительно верно схвачено не только счастливое ощущение конца войны...

Сто семьдесят восемь лет назад здесь, по этой земле, ходили мои предки... Сто сорок девять лет назад здесь ходил Пушкин. Но почему нигде, ни на одном доме, нет памятной доски о нем? Словно и не было Пушкина в Измаиле! Мне без особой уверенности показали только старое, приземистое здание, наглухо забитое, где когда-то был винный погребок, — и Пушкин с офицерами заходил туда. М о ж е т б ы т ь, заходил... А в Измаиле такой хороший архив, такой интересный музей, такие дельные работники — и неужели не было среди них любителей-следопытов? В середине декабря 1971 года жители Измаила могут праздновать полтора столетия со дня посещения Пушкиным их города. Материалов нет? Есть материалы!

Отказ заехать в Вилково явно не прошел для Пушкина даром. Он стал как-то смелее «гнуть свою линию» в Измаиле, решительно противопоставлять ее Липранди. Почти четыре дня, покуда его спутник дватри часа работал «по службе», а остальное время засиживался за генеральскими обеденными столами, Пушкин исчезал с его поля зрения. Он буквально убежал от него по утрам, он отказывался идти с ним обедать, он на ночь обкладывался бумажками, записывал, дирижировал в воздухе гусиным своим пером, как взмахом крыла в полете. Липранди рас-

сказывает: на следующее по приезде утро «я вышел по делам рано, оставив Пушкина еще спящим; часа через два возвратился; он был уже как свой в семействе Славича и отказался ехать со мной обедать к коменданту генерал-лейтенанту Сандерсу... я поехал один и возвратился уже в полночь. Пушкин еще не спал и сообщил мне, что он с Славичем обошел всю береговую часть крепости... Подробности штурма ему были хорошо известны... В десять часов утра, когда я совсем был уже готов идти для исполнения служебного поручения, вошел ко мне лейтенант И. П. Гамалей; я свел его с Пушкиным, а сам отправился к собранным ротам; кончив, я возвратился, чтобы взять Пушкина и ехать обедать к начальнику карантина Жукову; но Пушкин и Гамалей опять ушли осматривать город и пр. В этот день я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги».

Засмеявшись, Пушкин подобрал свои лоскутки, спрятал их под подушку и рассказал Липранди, что «Гамалей возил его опять в крепость; потом на место, где зимует флотилия, в карантин; а после обеда хозяин возил их в кассино» (казино?). И наконец последний день в Измаиле: «Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову». Пришли друзья, с ними Пушкин опять сбежал и успел осмотреть «крепостную церковь, где есть надписи некоторым из убитых на штурме», — и чуть не опоздал к обеду. А этот последний обед был не простой. На этот раз основатель города (после падения крепости) генерал С. А. Тучков сам напросился к Славичу «на щи», так сильно (по Липранди, «неотменно») пожелал он видеть Пушкина...

Какое обилие материала! Разве нельзя найти дом «негоцианта Славича»? Место, где «зимует флотилия»? Карантин? Казино? Крепостную церковь? Места, где все это находилось? И отметить в них присутствие Пушкина, его жадную любознательность, его профессиональное поведение — страсть поэта-писателя-исследователя?

Предков своих я не нашла — армянская церковь давно уже разрушена, старое армянское кладбище заброшено и заросло. Но воздух и люди Измаила показались родными, — и даже в графике местной городской истории было что-то родное, близкое моей душе: рост в культуре, но не в чине. Чудные сады, уютно-прекрасные улицы, идеально чистый порт — и все это сейчас скромный районный центр, каких у нас сотни в Союзе.

...От крепости Измаил, одной из самых грозных в мире, не осталось и следа; на месте ее, на крутом берегу Дуная, разбит парк, а внизу сербристый речной пляж. В звездном небе темнели только строгие очертания мечети — единственного здесь здания, оставшегося от двухсотлетнего прошлого крепости. Очень мягкое дуновение — речной, не морской ветерок — плыло, едва касаясь наших лиц, с темной реки внизу. Шелест травы под ногами казался шелковым. Великая доброта медленно, словно наливаемая в душу из незримого небесного бокала, заполнила все. Мне было хорошо — неизвестно почему, хотя ноги набегались за день, пальцы устали от карандаша и блокнота, глаза покраснели от обилия увиденного, а сердце изнурилось в работе дня. И тут я как-то не разумом, а скорей этим поработавшим на славу сердцем до конца поняла, что остановлено тут в Измаиле, остановлено копытами буйного суворовского коня с его горбатым восточным носом. Здесь, на месте до корня срытой крепости, осталось жить это прежнее ощущение конца войны, победы и

мира,— мир дышит в микроклимате зеленого речного порта, в городе, где не видно пьяных, нет раздраженных. Те самые струны в человеке, на которых беспощадно бренчат суета и пошлость и которые зовутся в обиходе «нервами», вдруг успокоились, словно и впрямь аллах услышал старую Ишмасль, даровав ей мир.

Таким был вечер нашего прощанья с местом исхода моих предков. А ведь я еще не досказала, каким стал последний вечер в Измаиле для Пушкина.

Старый генерал Тучков, как упомянуто выше, сам напросился на ши к Славичу, где квартировал Пушкин. И поэт, чуть не опоздавший даже к этому обеду, «был очарован умом и любезностью Сергея Алексеевича Тучкова», обещавшего показать ему кое-что интересное, если тот после обеда согласится к нему пойти. Пушкин, сумевший в этой поездке избежать многих генеральских пиршеств, к Тучкову пошел. Он вернулся домой в этот последний вечер поздно и хмурый. Липранди пишет: «Видно было, что он был как-то не в духе. После ужина, когда мы вошли к себе, я его спросил о причине его пасмурности...»

Ну, читатель, догадайтесь, что ответил Пушкин?

«...он мне отвечал неудовлетворительно, заметив, что если бы можно, то он остался бы здесь на месяц, чтобы посмотреть все то, что ему показывал генерал: «У него все классики и выписки из них»,— сказал мне Пушкин». И когда Липранди лег спать, Пушкин остался еще посидеть, «чтобы кое-что записать для памяти».

Так полюбилось ему место исхода моих предков.

Но если я пишу слишком подробно (и читатель мог бы сказать — в неуместной для воспоминаний литературоведческой манере) о том, что делал Пушкин в этой поездке, то не ради одного наслаждения писать о самом Пушкине. Именно в кишиневский период поэт имел много случаев общаться с измайльскими армянами. У него есть пленительный рассказ о храбром армянском юнце, мечтавшем сразиться с турками («Путешествие в Эрзерум»), — но это относится к армянам метрополии, вдобавок простым людям из народной гуши. В кишиневское общество, где вращался Пушкин, попадали армяне другого типа и класса, и ему довелось встретиться с двумя представителями этого класса, связанными очень недобрыми связями с родным городом отца, Григориополем. От них, от встречи с ними Пушкина, тянутся нити уже к самим григориопольцам, а не только «измайльцам». Мне интересно было идти по пятам этих встреч, поднять целый пласт жизни маленького «колониального» городка, куда я ездил в детстве с отцом, — ухватившись только за одно имя, упомянутое Пушкиным.

Имен, собственно, было два, но первое хорошо знакомо всем, кто изучал Пушкина,— это некий Артем Макарович Худобашев, богатый кишиневец, служивший в молодости почтмейстером в Одессе. Когда поэт с ним встретился, это был, по словам Липранди, «человек лет за пятьдесят, чрезвычайно маленького роста, как-то переломленный набок, с необыкновенно огромным носом, гнусивший и бесщадно ломавший любимый им французский язык...». В Одессе он отличился тем, что вступил в драку с козлом в самом центре города, на глазах у семейства графа Ланжерона. Вынужденный оставить свой пост, он перешел на службу в Кишинев. Пушкин только что переложил записанную им народную молдавскую песню в свою знаменитую «Черную шаль». Там гречанку-изменницу «лобзал армянин». «Пушкин с ним (с Худобашевым) встречался во всех обществах и не иначе говорил с ним как по-французски», словно дразня его: Худобашев был идеальной мишенью для его острог. «Александр Сергеевич при каждой встрече обнимался с ним,--- нескладно рассказывает Липранди,— и говорил, что когда бывает грустен, то

ищет встретиться с Худобашевым, который всегда «отводит его душу». Худобашев (продолжает Липранди) в «Черной шали» Пушкина принял на свой счет «армянина». Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно заканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником<sup>20</sup>. В дневниках В. П. Горчакова тот же смешной тип дан в несколько облагороженном виде<sup>21</sup>. Так вот, в воспоминаниях об этом «Квазимодо» интересно то, что Пушкин встречался с ним «очень часто» и что этот «коллежский советник» «не упускал случая приговаривать: «что за важность, и мой брат Александр Макарыч тоже автор»... Это значит, что бывший одесский почтмейстер по своему чину был принят в разных кишиневских домах, имел братьев, мог быть братом однофамильца, служившего полицмейстером в Григориополе, или сам быть одно время таковым. В архивных документах имя этого полицмейстера обозначено буквой «Г», что могло означать и не начало имени, а сокращенно «господина». Можно себе представить, как жилось населению городка при таком начальнике полиции! Что касается до его брата, «тоже автора», то сочинение А. Худобашева об Армении в пятидесятых годах цензурировал не кто иной, как И. А. Гончаров...

Но кто же еще из армян был принят «в кишиневских обществах»? И что это за второе имя, помогшее мне вытянуть ниточку от Пушкина — до больших и важных пластов жизни армянских переселенцев из Измаила, построивших Григориополь?

В «Дневниках» Пушкина есть такая запись на французском языке: «18 juillet 1821. Nouvelle de la mort de Napoléon. Bal chez l'archevêque Arménien» («18 июля 1821. Известие о смерти Наполеона. Бал у армянского архиепископа») <sup>22</sup>. Наполеон умер на острове Св. Елены 5 мая, или 23 апреля по старому стилю. Известие о его смерти шло до Кишинева почти три месяца, во всяком случае Пушкин получил его 18 июля. Вторая строка записи мало кого заинтересовала. В тот же день вечером Пушкин был на балу у армянского архиепископа (как сообщается в комментарии: Григория Захарьянова). Но кто такой этот архиепископ, чью фамилию «Захарьян» в те времена русифицировали, как почти все вообще армянские фамилии, на родительный падеж русского языка? Он жил в Кишиневе и задавал балы. В прошлом он был архимандритом. И, кажется, среди армянских пастырей, где были очень светлые и умные деятели, нет имени более однозного, нежели «Григорий Захарьян». Его история, запечатленная в документах, хранящихся сейчас в архиве католико-сата среди прочих драгоценных архивных собраний Матенадарана (Ереван), дает нам почувствовать весь накал, всю непереносную обстановку настоящей классовой борьбы, какая происходила в маленьком городе Григориополе.

Те, кто погрузил свое имущество на арбы и двинулся из бывшей турецкой крепости, по усердному приглашению правительства Екатерины, строить на реке Днестре новое свое поселение, были разные люди. Богачи с десятками тысяч капитала, имевшие свой транспорт для передвижения и претендовавшие на русские чины и запись в дворянскую кни-

<sup>20</sup> «Пушкин в воспоминаниях современников». Гослитиздат. 1950, стр. 245.

<sup>21</sup> Там же, стр. 184—185.

<sup>22</sup> А. С. Пушкин. Том восьмой. Автобиографическая и историческая проза. Издательство Академии наук. Москва — Ленинград. 1949, стр. 19.

гу. Бедняки, для которых с великим трудом отыскивались повозки и лошади и перевозить которым было не так уж много. И люди, подобные моему прадеду, врачу-ветеринару Макарию, имущество которых заключалось в умении или знании. С самого начала этот переезд не был чем-то похожим на вступление на землю обетованную. Документы хранят записи человеческих чувств и страстей в цифрах, подобно тому, как хранит музыка в нотных знаках свои мелодии. Спустя шесть лет после закладки города положенье бедных жителей так стало невыносимо, что часть их собралась бежать назад, в Турцию. К 27 февраля 1802 года из Григориополя бежало 476 человек. Если в 1790 году было 4440 поселенцев-армян, то через одиннадцать лет их осталось только 1694 — больше половины их «нстаяло».

Доходило до массовых выступлений, до ареста руководителей бедноты. Сверху, с годами, шло постепенное цементирование всех выговоренных при переселении вольностей в самодержавную грузную государственную систему: терял свою власть Магистрат, насаждалась русская полиция, отменялась свобода от рекрутчины, вводилась паспортная система, ставились рогатки для передвижения за границу, — но не это большее всего било по неимущей части населения. Били поборы своего же духовенства, грабежи своих же богачей. И тут выступает на сцену тот самый архиепископ, на балу которого танцевал в Кишиневе Пушкин. Он был назначен в 1820 году (за год до кишиневского бала) — будучи уже «предводителем бессарабской армянской епархии» — еще и «предводителем григориопольского духовенства». Страшно читать документ о том, как подвизался он на этом своем духовном поприще:

«В период правления архиепископа Григория Захарьяна (1820—1827) все церковные сборы были сосредоточены в руках одного человека — предводителя духовного правления. При нем договор 1806 года (для платежа церковных повинностей все григориопольцы так же, как и население других армянских колоний в России, были в соответствии с их состоянием разбиты на три категории) потерял свою практическую силу: взимая церковные повинности, Григорий не соблюдал положения о разграничении жителей города на категории, требуя, например, со всех за крещение и совершение похоронных обрядов до 1500 курушей. В одном из своих писем григориопольские жители сообщали, что во времена Григория они изнывали от церковных повинностей, которые собирались из-под палки, с помощью полиции. Поэтому некоторые из армянской бедноты вынуждены были даже поменять веру, перейдя к молдаванам и русским»<sup>23</sup>.

Вдумайтесь, читатель, в эти строчки. Армяне терпели всяческие бедствия сотни лет, в Персии, в Турции, от всяких иноплеменных завоевателей, — но цепко держались за свое армяно-грегорианство как за стержень их исторического единства, за честь и достоинство их бытия — быть верными и вере. Их ни турки, ни персы, ни монголы, ни римляне не смогли заставить переменить веру. Тут дело было не в религии, дело было в нации, в народном единении. И что же получилось? Свой собственный пастырь, представитель веры, носитель армяно-грегорианства — так искромсал, изуродовал, изничтожил их человеческие жизни, так разрушил возможность справиться с тяжкими повинностями, загнал их в такое отчаяние, что — спасая простое физическое бытие — они сделали то, чего не делали ни под турками, ни под персами, — они предали свою веру. перешли «к молдаванам, к русским». Не знаю, есть ли еще в истории такой пример «антирелигиозной пропаганды», исходящей от служителя религии.

<sup>23</sup> Матенадаран, папка католикосата, папка 55, док. 25. Цитирую по книге Ж. А. Анаяна «Армянская колония Григориополь». Академия наук Армянской ССР. Институт истории. Ереван. 1969, стр. 152. Разрядка моя.

Начитавшись этих документов, я хорошо представила себе жизнь в колонии, где старики еще не говорили ни на каком языке, кроме турецкого, а дети в семье, подражая взрослым, тоже говорили по-турецки. Во второй половине XIX столетия приехал в Григориполь епископ Габриэл Айвазян, брат знаменитого художника Айвазовского. На севере России, в Москве, в армянском журнале «Лусисапайл», молодой революционный демократ Микаэл Налбандян жалил своим острым пером реакционного епископа Айвазяна. А реакционный епископ Габриэл Айвазян, у которого мой дедушка-священник, отец Давид Шагинянц, служил в то время секретарем, имел и свои хорошие стороны. Он пришел в ужас от турецкой речи в семьях григориопольцев, от отсутствия в Григориополе школ на родном языке и немало потрудился, чтоб открыть такую школу. Дедушка мой обучал и готовил учителей для этой первой григориопольской школы, где ребята бедных армян учились говорить и читать по-армянски...

Мирное национальное культуртрегерство — и на другом конце России неукротимый ганзейский дух боевого национального предпринимательства. Два потока «генов» — с материнской и с отцовской стороны. И какой сложный переплет человеческих отношений! Какая трагедия маленьких, заброшенных на чужбину жизней, с тоской вспоминавших голубые воды озера возле зеленого города Измаила, так похожие, может быть, на потерянное в давнишней давности армянское озеро Севан...

«Бес арабский», как звали в Кишиневе неугомонного голубоглазого поэта с африканским профилем, заглянул в своей бессарабской ссылке под рваные шатры бедных цыган, «мирную вольность» которых он так бессмертно воспел для человечества. Но и там, в этой, казалось бы, смиренной, казалось бы, такой нетребовательной, такой простодушной и безобидной, близкой к матери-природе жизни он нашел глубокие человеческие страсти, гибельные драмы:

Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!..  
И под издранными шатрами  
Живут мучительные сны.

А рядом с ним — в маленьком колониальном городке происходили драмы человеческого общества в целом, растущего в старом мире по законам его общественного развития. Величайшая человеческая драма, как в капле воды отразившая большую историю общественной жизни в огромной Российской империи.

Переделкино.  
18/VI—6/XII 1970.

*Конец первой части*



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

## ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ\*

**Ч**рез год после победы в России Великой Октябрьской социалистической революции (участницей которой мне посчастливилось быть) произошла революция в Германии. Как раз в канун ее я находилась в Берлине и наблюдала революционный подъем масс, а главное, встретилась с Карлом Либкнехтом, выпущенным тогда из тюрьмы, и с другими выдающимися спартаковцами. Получилось это так.

В середине октября 1918 года в Австрию была направлена советская дипломатическая миссия, в состав которой была включена и я в качестве секретаря. По пути в Вену по ряду обстоятельств мы задержались в Берлине и стали свидетелями бурных нараставших событий.

Должна признаться, когда мне объявили об этой командировке, я даже огорчилась. Не хотелось уезжать хоть и на время из Москвы — в Московском Совете рабочих депутатов и его большевистской фракции, где я работала с начала революции 1917 года, был непочатый край работы. Да и неохота было расставаться с товарищами. Но события, развертывавшиеся в Европе, все сильнее приковывали к себе внимание. Они наглядно подтвердили всемирно-историческое значение Октября. Волны его уже через год вышли далеко за пределы России и, как предвидел Ленин, захлестнули в первую очередь Германию.

Еще совсем недавно кайзеровская Германия была всеокрушающей силой. И вот она рушилась на наших глазах. Войска восточного фронта в значительной степени успели проникнуться революционным духом и под влиянием нашей пропаганды начали братание с русскими солдатами. Немецкое командование откровенно заявило своему правительству, что на победу нет никаких надежд. Но не только на фронте, а и в тылу Германии положение заметно ухудшилось. Народ изнемогал от голода. Рабочие устраивали забастовки. Назрел правительственный кризис. Германское правительство подало в отставку. Союзники Германии, впряженные с ней в одну колесницу, стали быстро разбегаться в разные стороны. Первой запросила мира Австрия. За нею последовала Болгария. Болгарские солдаты требовали: «Долой войну!», «Смерть виновникам войны!». Затем запросила мира Турция. События нарастали, словно снежный ком.

Прежде чем рассказать о нашей миссии, напомним о том, что послужило причиной ее возникновения. Австрия, как и многие другие капиталистические государства, не возобновила дипломатические отношения с Россией после установления Советской власти. Только в Германии было наше полномочное представительство. Но Австрия как-то разведала, что по дополнительному соглашению к Брестскому мирному договору Советская Россия должна была уплатить Германии разновременными взносами еще шесть миллиардов марок. Этот дополнительный договор Германия скрыла от своих союзников. Когда о нем узнали Австрия, Бол-

---

\* Отрывок из рукописи. Книга готовится к печати в издательстве «Советская Россия».

гария и другие, они страшно возмутились предательством Германии. И тогда Австрия, чтобы урвать хоть кусок пирога, решила начать с Советским правительством переговоры о долгах. И ради этого согласилась даже аккредитовать у себя дипломатическую миссию по урегулированию финансовых вопросов. Ведь, согласно незыблемому правилу капитала, деньги не пахнут.

Едва только пришли первые скудные сведения о назревающих в Германии событиях, как Ленин, находившийся тогда после ранения в Горках, отправил Свердлову (1 октября) записку о необходимости срочно информировать массы и принять ряд мер.

«Дела так «ускорились» в Германии, — писал он, — что нельзя отставать и нам. А сегодня мы уже отстаем.

Надо созвать завтра соединенное собрание

ЦИК

Московского Совета

Райсоветов

Профессиональных союзов и прочая  
и прочая»<sup>1</sup>.

Незадолго до отъезда мне пришлось помочь в созыве депутатов Моссовета на это экстренное объединенное заседание 3 октября, назначенное по предложению Ленина.

Помню, как все депутаты наперебой спрашивали, будет ли Ленин на этом собрании. Ленину очень хотелось выступить перед депутатами. В той же записке Я. М. Свердлову он почти умолял дать ему слово на четверть часа: «...я приеду и уеду назад. Завтра утром пришлите за мной машину (а по телефону скажите только: согласны)»<sup>2</sup>. Но такого согласия Ленин не получил. Опасаясь за его здоровье, товарищи из Центрального Комитета партии не разрешили ему приехать. Надежда Константиновна рассказывала, что Ильич хоть «и знал, что машину за ним не пришлют, а все же в этот день сидел у дороги и ждал...»<sup>3</sup>.

Ленину пришлось ограничиться письменным обращением к депутатам, которое они выслушали с огромным вниманием и искренним волнением. «В Германии разразился политический кризис, — писал Ленин. — Этот кризис означает либо начало революции, либо, во всяком случае, то, что ее неизбежность и близость стали видны теперь массам воочию»<sup>4</sup>.

Несмотря на то, что сведения, полученные из Германии, были кратки и противоречивы, Ленин дал четкий анализ положения и правильно предсказал дальнейший ход событий. Он считал вероятным образование в Германии коалиционного правительства с участием социал-демократов, которых охарактеризовал как... «лакеев буржуазии... продажных людишек. — таких же, как наши меньшевики и эсеры...». (3 октября кайзер назначил рейхсканцлером принца Макса Ваденского. А социал-демократ Шейдеман вошел в правительство в качестве статс-секретаря.)

В записке Свердлову (я ее упоминала выше) Ленин наметил тактику, которой должно будет придерживаться наше пролетарское государство: «Никаких союзов ни с правительством Вильгельма, ни с правительством Вильгельма II + Эберт и прочие мерзавцы»<sup>5</sup>. Но Ленин настойчиво призывал оказывать через их головы всемерную помощь немецкому пролетариату: «...немецким рабочим массам, немецким трудящимся миллионам, когда они начали своим духом возмущения (пока еще только духом), мы братский союз, хлеб, помощь военную

*начинаем готовить»*<sup>6</sup>.

Владимир Ильич лучше, чем кто-либо другой, знал, сколько пострадали массы России, и все же он выразил уверенность, что они по-братски

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 185.

<sup>2</sup> Там же, стр. 186.

<sup>3</sup> Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М. 1957, стр. 393.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 97.

<sup>5</sup> Там же, т. 50, стр. 186.

<sup>6</sup> Там же.



поделятся своим скудным хлебным пайком с изголодавшимся немецким народом, который еще только начинал свою борьбу. А ведь всякое начало трудно, особенно в революции! Ленин призывал удесятерить усилия по заготовке хлеба, создать пункты сбора на каждой фабрике, в каждой ячейке, в каждом селе. Призыв Ленина встретил всеобщее одобрение. Депутаты приняли резолюцию о готовности выполнить свой долг солидарности с немецким пролетариатом. Эта резолюция была передана за границу.

Весь наш народ горячо принял за организацию помощи немецким пролетариям. По всей Москве, помню, происходили собрания. Один за другим выступали рабочие и работницы, матери семей выражали готовность поделиться последним. Вскоре «Правда» запестрела резолюциями собраний и митингов из разных городов и сел. Вот некоторые из них:

«В великий час тяжелой борьбы за социалистическую революцию, когда в Германии, Болгарии и Австро-Венгрии начинаются революционные выступления, мы должны им протянуть руку братской помощи...» Или: «Мы, зачинщики революции, считаем своей обязанностью помочь немецкому пролетариату всеми средствами». И люди отдавали последнюю корку хлеба для борющегося немецкого пролетариата.

Широко известно, как потом реагировали на эту помощь немецкие социал-демократы, занявшие в правительстве министерские кресла. На великодушный акт русского народа, на выраженное им чувство интернационализма по отношению к немецкому пролетариату они ответили отказом и не пустили в Германию вагоны с продовольствием. Они предпочли вымалывать продовольствие у американских империалистов, считая для себя более приемлемым получать милостыню из рук президента Вильсона, нежели принять братскую помощь из рук русского пролетариата. Когда до наших рабочих дошла весть об этом, они заклеили социал-демократических вождей позором.

Но если вагоны с хлебом социал-демократические вожди просто не допустили в Германию, то по поводу военной помощи в будущем немецкому рабочему классу немецкое правительство немедленно выразило официальный протест в переданной советскому полпреду в Берлине А. А. Иоффе ноте. В ней указывалось, что решение Советского правительства якобы противоречит германо-русскому договору. Г. В. Чичерин в своей телеграмме А. А. Иоффе подробно разъясняет суть вопроса и дает необходимые инструкции.

В телеграмме говорилось (привожу ее почти целиком):

«...Речи не может быть о нарушении 2-й статьи, ибо то Германское правительство, по отношению к которому эта статья могла бы считаться нарушенной, после рескрипта Кайзера больше не есть правительство Германии, а вместо него есть новое правительство. В такой момент, когда крысы покидают корабль, буржуазное правительство примкнуло бы к побеждающей стороне и постаралось бы выговорить себе всякие выгоды за счет побежденного... или пыталось бы шантажировать побежденного... Мы прямо заявляем, что мы не сближаемся с противоположной коалицией... Зато мы впервые конкретно и определенно выдвинули тактику союза с революционным пролетариатом...»<sup>7</sup>. В этой же телеграмме Чичерин подчеркнул важность такого шага: «... Это имеет историческое значение—это есть поворотный пункт нашей политики и пролетарской политики вообще».

Когда же позднее произошли революционные события и в Австро-Венгрии и Ленин узнал, что у нас массы трудящихся стихийно вышли на демонстрацию и, по революционной традиции, собрались у Московского Совета (на Скобелевской, ныне Советской, площади), он, приехав сюда, выступил перед народом с горячей речью с балкона Моссовета.

Ленин, разумеется, сразу же решил воспользоваться представившейся возможностью направить дипломатическую миссию в Австрию. И по его предложению

<sup>7</sup> Архив внешней политики СССР, ф 82 оп 1, папка 8, д. 35, л. 69.

нию в ее состав включили не только финансовых специалистов, но политических деятелей, людей, хорошо знающих эту страну, способных ориентироваться в революционной обстановке. Возглавлял ее Ю. Ю. Мархлевский. Но если нашу дипломатическую миссию австро-венгерское правительство согласилось аккредитовать, так как с нею связывались финансовые надежды, то против кандидатуры полномочного посла, предложенного Советским правительством, австрийцы с самого начала категорически возражали. Недаром наш полпред в Берлине Иоффе телеграфировал в Наркоминдел Чичерину: «Из вчерашнего разговора с Кинским<sup>8</sup> вынес впечатление, что они действительно хотят поскорее протащить финансовые дела и избавиться от всяких дипломатических представителей»<sup>9</sup>.

Итак, этой дипломатической миссии и ее техническому аппарату австрийское правительство разрешало въехать в Вену. Хотя официальное разрешение было дано в самом начале октября, но тронуться в путь мы смогли далеко не сразу. Уж очень много непредвиденных препятствий оказалось на этом пути. Причем препятствия чинили не только австрийцы, но, как ни странно, немецкое правительство и даже испанское.

Казалось бы, вполне естественно, что миссия, направляющаяся в Австрию, проездом через Германию остановится в Берлине. Ленину, который в эти дни был полон нетерпения поскорее узнать подробности того, что происходит там, очень хотелось получить информацию от Ю. Ю. Мархлевского, который хорошо знал Германию. Более двадцати лет отдал Юлиан Юзефович немецкому рабочему движению и был тесно связан с руководителями союза «Спартак» — Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. Но именно из-за Мархлевского — главы миссии — германское правительство затеяло волокиту. Оно воспротивилось даже кратковременной остановке в Берлине. А. А. Иоффе писал Чичерину:

«...Что касается проезда, то не будь Мархлевского, можно было бы ехать, как вам угодно: через Берлин или прямо, но относительно Мархлевского я обещал, что в ближайшее время он не приедет в Германию также в экстерриториальном качестве...»<sup>10</sup>.

Говоря о своем «обещании», Иоффе имеет в виду те переговоры, которые он в свое время вел с немецким правительством по поводу обмена Мархлевского. Он в качестве гражданского пленного содержался там в концлагере. И германское правительство выдало его Советской России при условии, чтобы он никогда больше в Германии не появлялся, въезд туда ему навсегда был закрыт.

И пошли хлопоты, переписка: «С Венской комиссией хлопочу, — пишет Иоффе, — но так скоро это не делается...»<sup>11</sup>.

А Ленин настаивает, торопит. И снова Чичерин телеграфирует Иоффе: «Наши очень желают, чтобы вся комиссия могла проехать в Вену через Берлин»<sup>12</sup>.

После долгих препирательств вопрос наконец был разрешен. Но это было не все. Георгию Васильевичу Чичерину достаточно много было еще и других хлопот и волнений: необходимо было получить обратно помещение бывшего посольства Российской империи в Вене для размещения миссии. Дело в том, что здание это, покинутое царским посольством еще в начале войны 1914 года, не было передано позднее Советскому правительству. Оно вместе со всем находившимся в нем имуществом было отдано под временную «опеку» испанскому посольству.

Г. В. Чичерин телеграфировал поэтому Иоффе: «Пожалуйста, заявите испанскому правительству через Австрийское консульство, что мы просим передать здание русского посольства в Вене нашей специальной комиссии. О том же я телеграфирую испанскому поверенному в делах в Петроград. Пожалуйста, просите Австрийское правительство со своей стороны передать наше заявление Испанскому посольству в Вене»<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Секретарь австрийского посольства в Берлине.

<sup>9</sup> Архив внешней политики СССР, ф. 82, папка 12, д. 50, л. 53.

<sup>10</sup> Там же, оп. 1, папка 12, д. 49, л. 73.

<sup>11</sup> Там же, л. 94.

<sup>12</sup> Там же, папка 8, д. 35, л. 144.

<sup>13</sup> Там же, д. 36, л. 41.

Казалось бы, вопрос ясен: дом и имущество — чужое, их надо вернуть владельцу. Но испанцы «вольтырили». В своем ответе Иоффе они ссылались на то, что здание непригодно для жилья, нет, мол, мебели (которую они, видно, сами и растащили). Иоффе им ответил, что это не препятствие для вселения миссии — мебель можно приобрести в магазинах Вены. Тогда испанцы категорически отказались вернуть здание. Иоффе решил обратиться к посредничеству австрийского правительства.

Вполне понятно, что наглые действия испанцев возмутили Ленина, и, видимо, под его воздействием Чичерин телеграфирует Иоффе:

«Нам нужно вовсе не посредничество Австрийского правительства, а просто содействие для осуществления нашего законного права — получения обратно нашего посольства и всего содержимого. Это содействие может выразиться даже в применении вооруженной силы для отнятия у испанцев незаконно захваченного нашего имущества. За бездействие власти мы возложим ответственность на Австрийское правительство. Что касается Испанского, мы сделаем все выводы по отношению к его представителям в России и церемониться не будем. Ленин не любит полумер. Мебель, которая была в посольстве, и архивы подлежат возвращению нам. Не понимаем, зачем идти в магазин, когда мы оставили в посольстве нашу мебель. Вы знаете, что разрыв перед войной произошел внезапно. Никакую обстановку ни с той, ни с другой стороны быстро уезжающие не повезли с собой»<sup>14</sup>.

И вот наконец 15 октября мы двинулись в путь. В Архиве сохранилась телеграмма, посланная в день нашего отъезда Чичериным из Москвы в Германию послу А. А. Иоффе: «Сегодня уехали следующие лица: Юлий Юзефович Мархлевский, Николай Иванович Бухарин, Александр Петрович Спунде. При них секретари: Исидор Давидович Рабинович, Георгий Федорович Лапчинский, Полина Семеновна Виноградская... Пожалуйста, примите меры для беспрепятственного проезда указанных лиц»<sup>15</sup>. Хотя мы трое числились секретарями, но на нас были возложены совершенно разные обязанности. Так, И. Д. Рабинович был специалистом по финансовым вопросам, прикомандированным к миссии Наркомфином. Г. Ф. Лапчинский был кадровым работником Наркоминдела. Мне же была поручена секретно-шифровальная часть.

Одновременно с нами выехали еще два телеграфиста и сотрудники РОСТА, о которых тоже Г. В. Чичерин сообщил в телеграмме.

На руках у Ю. Ю. Мархлевского — главы нашей делегации, — кроме солидной дипломатической «паспортины», еще и дипломатическое письмо, адресованное министру иностранных дел австро-венгерского правительства. Народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин просит в нем «войти в официальные отношения со специальной делегируемой комиссией, наделенной полным доверием Правительства республики Советов». Она наделена всеми полномочными правами для представительства, а также для ведения переговоров; в частности, по вопросам, касающимся дополнительного соглашения к мирному Брестскому договору. Затем выражалась надежда, что «переговоры и работа с комиссией Советской страны будут протекать в полном согласии и в соответствии с теми делами, во имя которых члены комиссии делегированы в Вену»<sup>16</sup>.

Юлиан Юзефович Мархлевский был особенно яркой личностью. Человек почти легендарной биографии, прошедший суровый и сложный жизненный путь, он в общении с людьми был чрезвычайно мягким, обходительным и очень доброжелательным. Веселый, остроумный, неистощимый рассказчик, Юлиан Юзефович был всеобщим любимцем. Невысокого роста, худощавый, с небольшой бородкой и пышными усами, в которых уже пробивалась седина, с горящими задорными голубыми глазами, он меньше всего походил на привычный образ непримиримого и страстного борца-революционера. Между тем Юлиан Юзефович всю свою жизнь посвятил рабочему движению и классовой борьбе. Он был живой

<sup>14</sup> Там же, л. 120.

<sup>15</sup> Там же, л. 75.

<sup>16</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 143, оп. 1, ед. кр. 67.

историей, участником революционного движения в Польше, России, Германии, Швейцарии, убежденным интернационалистом не только в теории, но и на практике. И не удивительно, что со времени создания III, Коммунистического Интернационала он играл в нем очень активную роль.

Мархлевский родился в 1866 году в Польше. Окончил реальное училище в Варшаве, был рабочим-красильщиком, работал на текстильных фабриках Польши, Германии и других стран. Очень рано примкнул он к революционному движению. Лучше многих других он понял, что польский пролетариат добьется своего освобождения и национальной независимости Польши не в союзе с националистически настроенной шляхтой и мелкой буржуазией, а в тесном союзе с русским пролетариатом, борясь вместе с ним рука об руку против царизма и против общего классового врага. Вот почему он не одобрял программы и тактики польской партии «Пролетариат», связанной с «Народной волей». Мархлевский был одним из первых создателей и организаторов «Союза польских рабочих», который стал в будущем основой Польской социал-демократической партии.

Он не раз подвергался арестам, сидел в десятом павильоне Варшавской цитадели, но и в тюрьме продолжал революционную работу: руководил кружками, писал листовки и т. д. После побега из тюрьмы очутился в Швейцарии. В Цюрихе Юлиан Юзефович осуществил наконец свою заветную мечту: поступил в университет. Здесь ему повезло еще в другом отношении: тут он встретился и подружился с Розой Люксембург, которая училась на факультете политических общественных наук Цюрихского университета. Их дружба длилась всю жизнь, вплоть до трагической гибели Розы.

В 1896 году, после окончания университета и блестящей защиты диссертации о «физиократах в Польше», за которую был удостоен степени доктора, Мархлевский уехал в Германию. Здесь он сотрудничал в немецкой социалистической прессе под псевдонимом Карский и принимал активное участие в немецком рабочем движении.

С Лениным Мархлевский встретился еще в период создания «Искры», когда оказывал посильную помощь этому делу. Позднее он, по его собственному признанию, расходился с Лениным по организационным вопросам. Но на V съезде отстаивал большевистскую позицию. Мархлевский принимал участие в международном конгрессе в Штутгарте в 1907 году. Он голосовал вместе с Лениным по всем актуальным вопросам. После угрозы нового ареста Мархлевский переехал в Берлин. Арестованный в 1916 году, он очутился затем в Гавельбергском концлагере. Но Владимир Ильич не забыл старого соратника. По ходатайству Советского правительства Мархлевский был освобожден и провел в нашей стране последние семь лет своей жизни: сначала в Петрограде, а затем в Москве. Заполняя анкету, на вопрос «Где бы вы хотели работать?» он ответил: «Где прикажет партия». В этом был весь Мархлевский.

По приезде в Россию Мархлевский сразу же с головой окунулся в революционную работу — хозяйственную, дипломатическую, журналистскую, преподавательскую, партийную, — «словом, всегда был там, где был нужнее». Но годы, проведенные в тюрьмах и концлагере, не прошли бесследно для его здоровья. Незлечимая болезнь почек свалила его. Я навестила Юлиана Юзефовича в санатории под Москвой. Он был прикован к постели, испытывая тяжкие боли, сильно похудел, пожелтел. Но голубые глаза его улыбались, он оставался жизнерадостным, неколебимым и пытался шутить. По совету врачей Советское правительство отправило его для лечения в Италию. Но спасти его не удалось: в марте 1926 года он там скончался.

Полную противоположность Ю. Ю. Мархлевскому по складу ума, характеру представлял собой более молодой член миссии Александр Петрович Спунде. Латыш по национальности, сын столяра из города Цесис, Спунде рано познал эксплуатацию и национальное унижение. Еще мальчишкой он помогал восставшим рабочим в первую русскую революцию. Семнадцатилетним пареньком, еще в 1909 году, в пору столыпинской реакции, Александр Петрович связал свою

судьбу с большевистской партией. А дальше началась нелегальная деятельность, последовали аресты и ссылка в Сибирь. Освободила его Февральская революция 1917 года. Партия направила его на Урал. Товарищи-уральцы вспоминают его вечно мчащимся на митинг с краюхой хлеба, которую он время от времени осторожно пощипывал, чтобы хоть немного утолить мучивший его голод.

Спунде возглавлял партийную организацию Перми и других городов Урала, был выбран в Учредительное собрание и оказался в Петрограде. После победы Октября его назначили комиссаром Госбанка. Спунде, работая в Госбанке, проводил там все время — там же жил и спал. Н. К. Крупская, сама чрезвычайно скромная, была удивлена его спартанским образом жизни. «...Простая железная кровать, на которой он спал, одиноко и ничемно стояла в каком-то большом зале заседаний»<sup>17</sup>, — писала Крупская.

Этот аскетический, суровый образ жизни не только соответствовал духу того времени, но был вполне естественным для исключительно суровой природы и всего внешнего облика Спунде. Высокий, худощавый, обросший рыжей щетиной, с такими же рыжеватыми волосами, стриженными ежиком, одетый в повидавшие виды красноармейские брюки и гимнастерку, Александр Петрович Спунде даже немного отпугивал людей. Особенно его остро пронизывающий взгляд из-под наспуленных бровей.

В жизни же, оказывается, он был очень мягким и душевным человеком. Позже, познакомившись с его письмами жене Анне Григорьевне Кравченко (она любезно дала мне возможность ознакомиться с ними), я была поражена: сколько трогательной теплоты, нежности таилось в этом человеке за суровой внешностью.

Во время нашей поездки, едва только представлялась свободная минута, Спунде тут же принимался за письма жене. Причем писал их либо на больших листах, очевидно вырванных из каких-то старых конторских книг, либо на листках из школьной тетради. Я как-то сказала ему, что неудобно писать на такой бумаге, и подарила блокнот. И совсем недавно, по прошествии более полувека, я узнала из его письма к жене, написанного тогда, что он не использовал этот блокнот, а отослал жене. Он писал ей: «Посылаю тебе блокнот. Мне его подарила т. Виноградская, которая едет с нами. Сохрани его на память об этих днях».

Отрешенный от всего мирского, А. П. Спунде не удосужился даже перед отъездом запасться ордером на более или менее «приличную» одежду — это полагалось всем отъезжающим за границу. Он так и поехал в своем потрепанном красноармейском обмундировании, но раздобыл только где-то невероятной длины старое драповое пальто, доходящее до пят даже ему, а на голову надел потертую фетровую шляпу с высокой тульей. Он сам понимал, насколько нелепо он выглядит, тем более для европейцев, и с сожалением писал жене: «С моей «европейской наружностью» ничего не вышло. Еду в зеленой гимнастерке и в черном пальто. Почему, расскажу в другой раз. Коротко: чужую помощь прозевал, а ведь сам я — ты знаешь — беспомощен. Ну и тем лучше для меня. Ибо я ведь дураком себя чувствую среди европейцев».

В пути товарищи тоже дружески посмеивались над его «европейской внешностью». Но Мархлевский взял его под защиту и доказывал, что в Германии вообще можно обойтись без пальто. Приподымая полы своего пиджака, он стал кокетливо пританцовывать, изображая, как танцует польская паненка, приговаривая: раз, два, три. Юлиан Юозефович был прекрасным танцором, особенно изящно он танцевал мазурку, но и народные польские танцы здорово отплясывал.

Едва только поезд тронулся, мы прильнули к окнам. Печальна была картина, представшая нашим глазам. Уже сразу за Оршей появились пограничные столбы и колючая проволока: кое-где стояли немецкие пограничники в касках. На станциях русские названия зачеркнуты, пестрят таблички с немецкими надписями. Многие города и поселки, такие, как Сморгонь, Молодечно и другие, разрушены. Кругом безлюдье, на месте домов торчат одни трубы.

<sup>17</sup> Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М. 1957, стр. 359.

Из окон поезда мы видели поля, усеянные могильными крестами. Порой мелькали землянки, блиндажи, а между ними — линии окопов.

Первая война хоть не идет ни в какое сравнение по технике уничтожения людей и варварству со второй, но и она была очень жестокой: десять миллионов человек уничтоженных, двадцать миллионов искалеченных и раненых. Об ужасах империалистической войны, неисчислимых жертвах и страданиях, которые она несет людям, говорили мы тогда между собой в вагоне. И Спунде, который сам был ярым противником Брестского мира, не раз вспоминал, как прав был Ленин, отстаивая этот мир, и как нелегко далась ему тогда борьба.

Собираясь в путь, мы были полны самых радужных надежд, знали, что едем навстречу бурному движению, революционному подъему. Нам не терпелось поскорее увидеть те окрыляющие события. И вдруг эта печальная картина... Она навевала на нас глубокую тоску и даже тревогу. Словно кинолента, движущаяся в обратную сторону, мысль вернула нас назад, к тяжелым дням Советской республики. Недаром древние говорили, что путник в начале пути погружен в думы о том, что осталось позади, дома, а лишь в конце пути думает о том, что его ждет впереди, на новом месте. И мы много думали, говорили о трудностях, переживаемых нашей страной.

Постепенно, по мере нашего продвижения, картина менялась и все больше убеждала нас в точности выводов и предсказания Ленина о том, что, обожравшись, империализм лопнет, а в его чреве созреет новый гигант.

На перронах уцелевших вокзалов и станциях, хоть и довольно запущенных, мы видели все больше немецких солдат. Вид у них был далеко не воинственный, а скорее пришибленный. Нам, естественно, не терпелось поскорей побеседовать с ними, «прощупать» их, как выразился Мархлевский. Сам он, как глава миссии, не решался выходить во время остановок, чтобы побеседовать с ними. Но Спунде на каждой остановке выскакивал из вагона, чтобы понюхать «немецкого духа», как он говорил, и завязать беседы с немецкими солдатами. Выяснилось, что войной солдаты сыты по горло, многие из них говорили: «Ну зачем нам все эти границы?..» «Мы из разных стран, говорим на разных языках, но в пекло нас послали одни и те же господа, едят нас одинаковые вши, так нам надо взяться вместе и послать ко всем чертям и тех и других!» Беседы эти не обходились и без курьезов. На одной из остановок Спунде затеял необычно длинный разговор с солдатами. Он вообразил, что в Германии, как в старое время в России, пассажиры приглашают в поезд двумя звонками, да еще паровозными гудками и свистком. Но не тут-то было! Не успел Спунде «закруглить» беседу с солдатами, как, к своему ужасу, увидел хвост удалявшегося поезда. А мы с не меньшим ужасом обнаружили, что едем без Спунде, что один дипломат пропал... Мархлевский, как водится, пошутил: мол, если революционную агитацию мы продолжим в таком же темпе, то вскоре растеряем всех членов миссии и до Австрии так и не доедем.

Мы ломали голову, что же нам предпринимать. Вдруг поезд остановился, и, к нашему изумлению, мы увидели выстроившееся перед нашим вагоном многочисленное немецкое начальство. Оказалось: Спунде, увидев удалявшийся поезд, помчался на своих длинных ногах за ним и успел вскочить на подножку последнего вагона. Но так как двери вагона в немецких поездах захлопывались герметически, то он не мог проникнуть в вагон. При ускорившемся ходе поезда стало трудненько висеть на подножке, и Спунде как-то ухитрился, используя опыт военных лет, взобраться на крышу вагона. Это было тотчас замечено. Сенсационная новость быстро долетела до начальства и произвела переполох. Поезд немедленно остановили и с немецкой пунктуальностью сразу доставили к нему представителей военных и железнодорожных властей и даже пожарных. Наконец наш дипломат снят с крыши и водворен в купе. А представители военной власти и «Herr Oberst», покачивая укоризненно головой, съездили по нашему адресу: «У нас в Германии волны революции еще не быют так высоко, чтоб надо было забираться на крышу».

18 октября мы прибыли наконец в Берлин. Заехали в полпредство. Строгое серое здание, архитектура в стиле прусской столицы. Над ним — алый стяг Республики Советов. Мы застали там А. А. Иоффе и генерального консула В. Р. Менжинского. Менжинский был в отличном настроении: в Германии, как он радостно сообщил, лед тронулся: за два дня до нашего приезда в Берлин состоялась внушительная демонстрация рабочих, которая направилась ко дворцу кайзера и требовала его отречения. Затем она подошла с восторженными криками «Да здравствует Советское правительство! Да здравствует русская революция!» к советскому полпредству, выражая этим чувство солидарности с русской революцией. Наш полпред, правда, не реагировал должным образом на это приветствие. Он приказал спустить занавесы и жалюзи на окнах. Когда члены союза «Спартак» пришли повидать своего старого соратника Мархлевского, они говорили об этом с чувством досады. И члены нашей миссии также отнеслись отрицательно к поступку Иоффе.

Мархлевский был связан долголетней работой и личной дружбой с Францем Мерингом, который тогда болел. Поэтому в первый же день нашего приезда Юлиан Юзефович отправился к нему домой. Как он рассказывал нам потом, Меринг, несмотря на тяжкий недуг, оставался крепок духом. Он очень обрадовался старому другу, с которым его разлучили война и тюремное заключение. С верой в будущее говорил он о нарастающих событиях в Германии и размахе русской революции. В первое же воскресенье к нам в полпредство, где мы остановились, пришли спартаковцы: Дункер с женой, Берта Тальгеймер, недавно выпущенная из тюрьмы, и другие.

Как известно, левое крыло германских социал-демократов по инициативе Карла Либкнехта создало революционную группу «Спартак». Ленин очень высоко оценивал деятельность спартаковцев, возлагал на них большие надежды. Он писал: «Работа германской группы «Спартак», которая вела систематическую революционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла честь немецкого социализма и немецкого пролетариата. Теперь наступает решительный час: быстро назревающая германская революция призывает группу «Спартак» к выполнению важнейшей роли...»<sup>18</sup>

Находясь в Германии, мы особенно убедились в правоте Ленина. В этот решительный час им прежде всего необходима была своя собственная революционная партия, способная повести массы к победе. Ленин это предвидел и еще в начале октября 1918 года писал, что отсутствие такой партии — «величайшая беда и опасность»<sup>19</sup>. Спартаковцы, судя по их словам, понимали это.

Помню, как товарищи, пришедшие тогда в полпредство, рассказывали, что поражение на фронте всколыхнуло рабочие массы, они воспрянули духом, но бродят как в потемках. Массы не знают, что делать, куда идти, как действовать. Отзвуки этой беседы содержатся и в письме Мархлевского, написанном тогда по горячим следам: «В общем дела обстоят тут скверно и настолько скверно, что даже организации нет, — писал он, — удастся ли исправить это положение — сомнительно. Поэтому я боюсь, что все будет развиваться стихийно»<sup>20</sup>.

Среди тех, кто пришел тогда к нам в полпредство, была и София Либкнехт — жена Карла. Умная, красивая, энергичная, она произвела на нас неотразимое впечатление. Ее голова с шапкой пышных темных волос была гордо откинута назад, а глубоко сидящие большие и выразительные глаза подернуты печалью... Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Лео Тышко все еще были узниками кайзеровских тюрем.

София Либкнехт (урожденная Рисс) родилась в России (в Ростове-на-Дону). В Германию она уехала, чтобы получить высшее образование. София и Карл встретились в Берлине и полюбили друг друга. До этого София была далека от

<sup>18</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 196.

<sup>19</sup> Там же, т. 37, стр. 109.

<sup>20</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 143, ед. хр. 52.

идей социализма и могла бы сказать о себе словами Есенина о «Капитале»: «Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал». Но большая любовь к Карлу привела ее к тому, чему он посвятил всю свою жизнь и что стало целью и ее жизни

С первого же дня замужества она взвалила на свои плечи тяжелое бремя. Непрерывные разлуки, свидания за тюремной решеткой, волнения и тревога за жизнь Либкнехта, когда он в тюрьме и когда он на свободе. И все эти годы ей лично «на свободе» приходилось жить во враждебном окружении. Она рассказывала нам тогда в полпредстве, что непрерывно получала письма с угрозами от бесноватых врагов. В них говорилось, что «Карла вздернут на фонарный столб за его преступные речи», что «размозжат его череп», что «отдадут на съедение собакам его поганое сердце». А порой получала и такие краткие записки: «Моего пса я назвал Либкнехтом».

Свою любовь к Карлу двадцативосьмилетняя София перенесла и на его троих детей от умершей первой жены. Она стала для них настоящей матерью. Их связывал крепко не только дух отца, но и ярая ненависть врагов, которую и дети чувствовали на каждом шагу, даже в школе.

Всего два года в общей сложности София и Карл были вместе, а затем почти пятьдесят лет после его гибели она прожила без него.

Софии Либкнехт суждено было после многих лет страданий увидеть, как немецкий пролетариат стал под знамя коммунистической партии. Ей суждено было дожить до победы германского рабочего класса и создания социалистического германского государства — Германской Демократической Республики. Живя последние годы в СССР, София Либкнехт делала большую полезную работу и постоянно выражала восхищение успехами Советского Союза. Она скончалась в Москве 13 ноября 1964 года.

Хотя Германия сотрясалась уже от подземных толчков, но Берлин, куда мы прибыли с делегацией, сохранял еще обычный казенно-официальный, сурово-помпезный вид. Корона еще держалась на голове кайзера. В витринах магазинов красовались его двухметровые портреты в остроконечной каске, с закрученными кверху усами, а кое-где, несколько меньшего размера, портреты фельдмаршала Гинденбурга. Как известно, вспыхнувшая революция докатилась до Берлина в последнюю очередь.

Несмотря на выступления и демонстрации масс, правительство продолжало держать в тюрьме революционеров, таких, как Либкнехт, Роза Люксембург, Тышко и другие.

Спартакowцы, навестившие нас в полпредстве, показали нам только что выпущенную ими листовку. В ней говорилось:

— Представители правительства утверждают, что в стране — демократия, свобода и народное правительство. Где же эта демократия? Где же эта свобода? Лучшие товарищи, борющиеся за настоящую свободу и демократию, сидят в тюрьме. Карл Либкнехт находится еще в каторжной тюрьме, в то время как его превосходительство Шейдеман красуется перед князьями. Наши единственные действительно преданные товарищи, которые честно и мужественно борются за мир и хлеб для народа, носят арестантские халаты. В Моабитской тюрьме и в других темницах заточены сотни наших товарищей.

Роза Люксембург заключена в крепость, и это называется в Германии свобода и демократия! Товарищи рабочие, можем ли мы дальше терпеть эту комедию? Наш первый долг, наш первый клич: свобода всем политическим заключенным. Мы не нуждаемся в амнистии, в милости. Мы требуем того, на что имеем право. Долой осадное положение!

Листовка распространялась в широких массах, и они откликнулись на ее призывы. В Германии начались внушительные демонстрации. Массы требовали освобождения заключенных. Правительство вынуждено было пойти на уступки и



удовлетворить это требование. 23 октября в Берлине стало известно, что выпускают из каторжной тюрьмы Люкау Либкнехта и он приедет в Берлин <sup>21</sup>.

Сотрудникам полпредства не рекомендовалось идти на вокзал, но поскольку мы не являлись сотрудниками его, а специальной миссией, то А. П. Спунде и я решили встретить Либкнехта и пошли на Антгальский вокзал.

Огромные толпы заполнили все улицы, прилегающие к вокзалу, и саму площадь перед вокзалом. Двадцать тысяч рабочих пришли встречать Либкнехта! Величественное, незабываемое зрелище!

Поезд пришел с большим опозданием, но люди ждали. Наконец из вагона вышел Либкнехт, окруженный родными, бледный, сильно сдавший за время тюремного заключения. Он засыпал встречавших его близких товарищей вопросами: «Каковы планы? Что намечено?» Первыми его словами, обращенными к собравшимся, были: «Долой правительство!»

Восторженными возгласами встретил пролетариат Германии своего верного, испытанного вождя.

Радостно возбужденные рабочие подняли его и понесли по улицам Берлина, держа на плечах, а затем на руках. Либкнехту, очевидно, было не очень удобно находиться в таком положении над колыхающимся морем людей. Вдруг кто-то из демонстрантов увидел кабатчика, который вез тележку с пивом. Недолго думая несколько рабочих отстранили его, захватили тележку, выкинули на мостовую бутылки и посадили Либкнехта в тележку <sup>22</sup>. Так везли они его торжественно по городу с восторженными криками и революционными песнями.

Как ни старалась полиция — шуцманы в черных мундирах с обнаженными шашками и конная полиция — разогнать толпу, отеснить ее от Либкнехта, ей это не удалось. Люди прорывались сквозь их стену, разрывали их цепи и снова окружали своего Карла. На Потсдамской площади, той самой, где 1 мая 1916 года арестовали Либкнехта за его призыв: «Долой войну!» — демонстрация сделала остановку, и Либкнехт произнес короткую речь. Затем демонстранты подошли к зданию советского полпредства. Либкнехт тут выступил снова. Он приветствовал «русскую революцию и первое представительство мозолистых рук». А из толпы раздавались возгласы: «Долой войну! Долой немецкое правительство! Да здравствует Советское правительство!»

Нам сообщили из Москвы, что когда весть об освобождении Либкнехта дошла до Советской России, то трудящиеся массы нашей страны вышли на улицы со знаменами, с песнями. Повсюду возникали митинги. И это вполне понятно. Бедь Либкнехт был не только вождем немецкого пролетариата, но и символом международной солидарности рабочих всех стран. В полпредство поступало из Советской России на имя Либкнехта огромное количество приветственных трогательных телеграмм и резолюций от трудящихся и красноармейцев с фронтов гражданской войны.

Чего никогда не могли простить Либкнехту немецкие социал-демократические вожди, это его выступления 2 декабря 1914 года в рейхстаге, его могучий призыв: «Долой войну!» За это они мстили ему, доносили на него, исключили из фракции рейхстага. Но ничто не могло ни остановить, ни поколебать Либкнехта. Его погнали рядовым на фронт, заточали в тюрьмы, но и оттуда доносился его зычный голос, призывавший массы повернуть штыки против своих правительств. Ленин говорил про Либкнехта, что он «символ преданности вождя интересам пролетариата, верности социалистической революции... символ действительно

<sup>21</sup> Ф. Тых и Хорст Шумахер ошибочно в своей книге написали, что Либкнехт был освобожден 21-го. В этот день был только подписан приказ, но даже 23 октября, когда родные приехали за Либкнехтом, начальник тюрьмы еще не получил этого приказа. Выяснение обстоятельств отняло много времени, и в Берлине встречавшая его масса народа прождала на вокзале много часов. (См. Felix Tychi Horst Schumacher. Julian Marchlewski. Warszawa. 1966. Książka i Wiedza, t. 285.)

<sup>22</sup> Почти все биографы Либкнехта ошибочно указывают, что он ехал с вокзала в автомобиле.

искренней, действительно готовой на жертвы, беспощадной борьбы с капитализмом... символ непримиримой борьбы с империализмом не на словах, а на деле...»<sup>23</sup>

И вот наконец Либкнехт на свободе! Массы вырвали его из тюрьмы. И разве не было символично то, что день освобождения Либкнехта почти совпал с первой годовщиной Великого Октября?! Эти два радостных события Либкнехт отпраздновал в кругу русских товарищей. Вместе с другими спартаковцами Либкнехт вечером 24 октября приехал к нам в полпредство.

В атмосфере шумного ликования праздновали мы тогда в советском полпредстве в Берлине первую годовщину Октябрьской революции и начало революции в Германии. Среди немецких товарищей были Карл и София Либкнехт, Герман и Кете Дункер, Эрнст Мейер и многие другие. Даже смертельно больной Меринг заявил твердо, что он должен вместе с русскими товарищами отпраздновать этот двойной праздник. И его привезли к нам в полпредство. К сожалению, не было тогда с нами Розы Люксембург и Лео Йогихеса (Тышко). Они еще находились в тюрьме<sup>24</sup>. Здесь были и «независимцы» — Эмиль Барт, Гуге Гаазе, Эрнст Деймиг и другие. Пришли также представители революционной молодежи. Вообще народу было очень много. Прием, устроенный Иоффе, был многолюдным и торжественным. Полпред наш, видимо, хотел исправить свою недавнюю ошибку, когда он не проявил должного внимания к манифестации немецких рабочих, пришедших приветствовать Советскую республику.

Либкнехт был возбужден, взволнован. Он все повторял: «Вот она наконец, долгожданная революция. Мы не зря на нее работали!» Он весь просиял, когда ему дали телеграмму Ленина, посланную для него на имя Иоффе:

«Передайте немедленно Карлу Либкнехту наш самый горячий привет. Освобождение из тюрьмы представителя революционных рабочих Германии есть знамение новой эпохи, эпохи победоносного социализма...»<sup>25</sup>

Помню, Либкнехт восторженно воскликнул:

— Мне кажется, что все это происходит точно в сказке. Двадцать четыре часа назад я сидел в тюремной камере за глухими стенами, охраняемый строгими церберами, а сегодня нахожусь среди товарищей, в советском полпредстве, залитом светом, убранном цветами... Здесь звучат близкие сердцу дружеские речи товарищей. За эти несколько часов моей свободы я только успел бегло просмотреть декреты, обнародованные вашей революционной властью за время ее короткого существования, и убедился, что они действительно ведут к освобождению угнетенного класса. Вы указали лучший путь. И для нас нет иного пути.

И еще он говорил о своей ненависти к вождям немецкой социал-демократии — прислужникам империалистической буржуазии. Он порицал также центристов и «независимых» — тех, кто в решающие дни топчется на месте и толкует о «единстве». Единство огня и воды гасит огонь и превращает воду в пар; единство волка с овдой отдаст овцу на съедение волку; единство пролетариата с господствующими классами приносит пролетариат в жертву; единство с предателями означает поражение...

Он осуждал и тех, кто смел и революционен только на словах, — «героев фразы».

Подняв руку, Либкнехт сказал: «Вместе с массами я буду до победного конца, или же я погибну!» Это прозвучало как клятва, и клятву свою он сдержал.

<sup>23</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 458.

<sup>24</sup> Феликс Тых и Хорст Шумахер ошибаются, когда пишут, что Мархлевский встретился с Тышко. Ни он и никто из нас не видел тогда Тышко, потому что он не был на свободе.

<sup>25</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 198.

Либкнехт в своей телеграмме VI Всероссийскому чрезвычайному съезду Советов, собравшемуся в первую годовщину Октябрьской революции, писал: «Мы находимся у поворота истории: революция стала для трудящихся и угнетенных народов призывным боевым кличем... Россия рабочих и крестьян, празднующих ныне свою первую годовщину, и революционная Германия, рождающаяся в эти дни, неразрывно связаны в своей судьбе».

А Франц Меринг, преданнейший друг нашей страны, сказал, что он в восторге от нашей революции и ее размаха. Слезы радости навернулись на его глаза и потекли по белой бороде. Вторя Либкнехту, Меринг сказал, обращаясь к русским товарищам:

— Если даже небольшую толпку из этих декретов вы провели в жизнь, то это уже великое, небывалое чудо, истинное чудо! — И напомнил мудрую мысль Шиллера: «Великий шаг в деле облагораживания человека заключается в том, что законы уже исполнены добродетели, хотя люди еще не стали таковыми».

Белый как лунь Меринг был прикован к своему креслу на колесиках, а Карл Либкнехт — весь в движении. Он то прохаживался с женой и сыном Хельми (Вильгельмом) по залу, то снова принимался горячо говорить о том, как прекрасна революция, сколько еще дел их ждет впереди...

Помню, я набралась храбрости и вместе со спартаковкой Фанни Езерской подошла к Либкнехту и сказала, что теперь можно быть спокойным за немецкую революцию, раз он на свободе. Замахав руками, он возразил: «Сами массы уже действуют. Революция катится неудержимо, словно лава! Никакая сила теперь не сможет удержать массы. Они добьются победы. Теперь уже сами массы, а не вожди решат судьбу немецкой революции», — добавил он. И закончил словами Гёте:

Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной  
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,  
Чтоб я увидел в блеске силы дивной  
Свободный край, свободный мой народ!

Один из членов нашей дипломатической миссии пригласил Либкнехта поехать в Советскую Россию на Октябрьские торжества. Он ответил:

— Я поехал бы с величайшим удовольствием. Знаю, что это были бы самые лучшие минуты в моей жизни. Ведь это небывалое счастье — увидеть, как восторжествовал социализм в громаднейшей стране. Но в данную минуту я нужнее тут, в Германии.

Либкнехт не только понимал это, но на другой же день после освобождения со всей своей кипучей энергией и горячностью окунулся в революционную работу. Желая избежать полицейской слежки, Либкнехт не жил в своей квартире, часто он не знал, где проведет следующую ночь. Но он бывал на заводах, беседовал с рабочими, агитировал. За один только день 27 октября Либкнехт ухитрился выступить на пяти предприятиях. Истинный революционер, он чувствовал неизбежность революционной бури и со всей своей энергией делал все что мог для ее приближения. Он призывал массы к активным действиям. Он выработал детальный план вооруженного восстания... А когда разбуженные им массы убедились, что покончить с ненавистой войной и кайзеровским режимом невозможно полумерами, и поднялись на бой, Либкнехт сам сражался в их первых рядах и отдал свою жизнь. И теперь, когда я думаю о Либкнехте, мне неизменно вспоминаются строки Гейне:

Я меч, я пламень,  
Я светил вам во тьме,  
А когда началась борьба,  
Бился впереди, в первом ряду.

Поэт, слагая эти строки, словно бы видел нашего пламенного Карла в те героические дни.

Грозные тучи нависли и над Австрией. Однако события, развернувшиеся в этой стране, еще не означали близость восстания рабочих и крестьян против капиталистов и помещиков. Здесь в первую очередь решалась важная для страны проблема — национальная. Австро-венгерская империя, представлявшая собой конгломерат наций, насильственно и противостоестественно объединенных, рассыпалась. Но национальное движение началось тут с борьбы между олигархиями

этих наций. Венгерская аристократия стремилась отделиться от аристократии австрийской. Чешская буржуазия выступила против австрийской. Словаки искали союза с чехами и т. д. Центральная власть в стране была парализована. Правительство потеряло голову. Пытаясь спасти положение, император объявил, что берет в свои руки дело освобождения наций, входивших в состав империи, и обратился к ним с манифестом, в котором говорилось, что «Австрия объявляется федерацией свободных народов». Но было уже поздно. Представители чехов, словаков, поляков даже не явились на торжественное провозглашение этого манифеста.

Мы в Берлине читали в немецкой прессе «отходную» империи. Государственные узы Австрии порваны. Венгрия стала самостоятельной. Поляки оторвались. Чехи объявили себя республикой. Хорваты признали себя независимыми. Куда же девалась Австрия? Сошла со сцены одна из самых старых монархий! — с сожалением писали реакционные газеты.

События в Австрии продолжали развиваться, и правительство ее не торопилось допускать в страну нашу миссию, придумывало разные предлоги. Через секретаря своего посольства в Берлине графа Кинского оно заявляло нашему полпреду в Германии Иоффе, что наша миссия слишком многочисленная и ее не смогут принять в таком составе, на что Иоффе выразил крайнее удивление и указал, что миссия состоит всего из шести человек да двух телеграфистов. Граф ушел, заявив, что сообщит об этом своему правительству. Вскоре он явился снова и заявил, что ввиду затруднений с продуктами и предметами первой необходимости правительство просит все же уменьшить состав миссии. Но Иоффе твердо сказал, что состав миссии утвержден и согласован с австрийским правительством еще до выезда из Москвы, что австрийские визы имеются у всех, что миссия случайно задержалась в Берлине и поэтому никаких изменений быть не может. Миссия либо поедет в таком составе, либо вернется обратно в Москву, но в таком случае из Москвы будет выслан австрийский генеральный консул со всеми его сотрудниками. Это будет ответной мерой, потому что Москва воспримет позицию Австрии в этом вопросе как нежелание выполнить Брестские условия об установлении консульских и дипломатических отношений. Граф Кинский ответил, что немедленно сообщит об этом в Вену, а в конце беседы откровенно заметил: «Вероятно, под маркой дипломатической миссии члены ее намереваются вести революционную пропаганду».

Прошло несколько дней, и граф Кинский заявил, что Австрия не может принять миссию. дескать, потому, что там страшная эпидемия испанки и те лица, которые должны вести переговоры с миссией, как он выразился, «тоже лежат с испанками», поэтому членам миссии не с кем будет вести переговоры в Австрии. На это Иоффе ответил, что в Москве тоже свирепствует испанка и что поэтому придется принять те же меры в отношении австрийской миссии, и Иоффе показал ему нашу газету, где говорилось об этой эпидемии у нас. Граф снова обещал снестись со своим правительством.

Но Австрия, разумеется, пугалась «большевистской заразы» куда больше, чем эпидемии испанки. В конце концов граф Кинский явился в наше полпредство и сообщил, что поскольку правительство, которое выдало нам визы, больше не существует, то не при ком аккредитовать нашу миссию, некому вести с нею переговоры... И мы в начале ноября вернулись домой. А вслед за этим германское правительство, испугавшись размаха революции у себя, выслало из Берлина все наше полпредство во главе с Иоффе. Чтобы создать повод для высылки, оно пошло даже на провокацию с агитационными листовками, якобы обнаруженными в нашей дипломатической почте.

На торжественном заседании 6 ноября 1918 года в Москве, посвященном первой годовщине Октябрьской социалистической революции, Ленин вскрыл истинную причину этого вероломного акта германского правительства. Раньше Германия молчала о нашей революционной заразе «...потому, что она была еще сильна... она не боялась нас. Теперь же, после военного краха, мы стали ей

страшны»<sup>26</sup>. А на VI Всероссийском чрезвычайном съезде Советов Ленин в своей речи остроумно заметил: «Германское правительство потеряло голову, и, когда горит вся Германия, оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки на один дом»<sup>27</sup>. Это вызвало всеобщий смех делегатов. Смеялся и сам Владимир Ильич. И в самом деле, Германия горела в огне революции. Восстание, поднятое матросами Киля 3 ноября, катилось по всей Германии.

Но, разумеется, немецкие социал-демократические вожди — «эти сторожевые псы буржуазии» — постарались сделать все, чтобы погасить пламя этой революции. И буржуазия недаром надеялась на них. Еще до начала революции официальные круги Германии (как это видно из информационного письма посла Иоффе, адресованного Ленину и Чичерину еще 21 октября 1918 года) выразили уверенность, что вожди немецкой социал-демократии с ними, а «независимые» если еще не с ними, то будут с ними. Эберт откровенно признался, что он ненавидит революцию, как «смертный грех». А Шейдеман в узком кругу доверительно признался, что предпочел бы сидеть без штанов в «крапиве, нежели в кресле революционного правительства». И в сговоре с немецкими генералами они утопили в крови последующее выступление рабочих в январе 1919 года и зверски убили лучших и преданнейших вождей немецкого пролетариата Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

Вскоре после нашего возвращения из Берлина в Москву пришла телеграмма на имя Мархлевского, где Либкнехт, Люксембург и Тышко звали его немедленно приехать в Германию. Эта пожелтевшая от времени телеграмма сохранилась в Центральном партийном архиве. По тем временам она шла кружным путем — через Стокгольм. И была адресована представителю Советской России в Швеции В. В. Воровскому, который переадресовал ее в Москву «Чичерину для Мархлевского». В телеграмме говорилось: «Из Берлина телеграфируют. Ваше прибытие туда необходимо. Отвечайте немедленно, когда дрибудете. Карл. Роза. Лео». Мархлевский срочно выехал в Германию. Но, к сожалению, германские оккупационные войска не пропустили его. Когда же он нелегально в январе 1919 года пробрался в Берлин, то, к своему великому ужасу и горю, уже не застал в живых ни Розы, ни Карла. Тышко еще некоторое время скрывался, но и он скоро был схвачен контрреволюционерами и умерщвлен.

Даже весьма далекий от коммунизма западногерманский публицист и историк С. Хафнер в своей статье «Великое предательство» (журнал «Шпигель») писал: революция «была разбита не в открытом бою, а была сражена предательским ударом в спину и растоптана с крайней жестокостью. Вожди социал-демократической партии Германии... как хороший, дрессированный пес по команде «апорт!», положили к ногам немецкой буржуазии труп революции».

<sup>26</sup> Там же, т. 37, стр. 133.

<sup>27</sup> Там же, стр. 150.



---

В. МАКСАКОВ

★

## ИЗ ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА-ПОДПОЛЬЩИКА

*Автор этих воспоминаний — Владимир Васильевич Максаков (1886—1964), ветеран русского революционного движения, видный советский историк.*

*В. В. Максаков начал свою революционную деятельность семнадцатилетним юношей, в 1903 году. Он принимал активное участие в работе большевистских организаций Сибири; в годы первой русской революции вместе с И. В. Бабушкиным работал в Иркутском комитете партии, выступал перед рабочими Черемхова, Слюдянки и других сибирских рабочих центров, пять раз судим царским правительством, сослан в Якутию, много лет был вынужден жить на нелегальном положении.*

*После Октябрьской революции В. В. Максаков стал одним из организаторов и руководителей советских архивов. Из-под его пера вышло более ста пятидесяти научных работ, посвященных истории революционного движения и истории архивного дела в СССР. В течение ряда лет он принимал активное участие в издании журналов «Красный архив», «Архивное дело», «Исторический архив», по его инициативе был организован Историко-архивный институт, в котором он работал до последних дней своей жизни и воспитал целую плеяду советских исследователей — историков-архивистов.*

### ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КРИГЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННОГО СУДА

**В** 1930 году в мой кабинет<sup>1</sup> вошел высокий, крепко сложенный мужчина в поношенном, хотя и хорошо сшитом костюме, с располагающим к себе лицом, пожилой, волосы с проседью.

— Вы меня не узнаете, товарищ Максаков?

— Нет, не помню. Где мы встречались?..

— Это было уже давно, тогда я был в другом костюме. Моя фамилия — Кригер.

— Генерал Кригер?! Председатель иркутского военного суда? Теперь узнаю.

— Да, это я. Ведь мне пришлось судить вас и многих других одновременно с вами... Пришел к вам по личному делу...

Вспомнился сразу 1909 год. Иркутск. Тюрьма. Ожидали военного суда. По делу Иркутского комитета партии привлечено к суду пятьдесят четыре человека. Среди арестованных были люди разного возраста и социального происхождения, различной близости к партии. Но жандармы и прокуратура объединили всех в одно «сообщество», «поставившее себе целью ниспровержение существующего порядка путем вооруженного восстания» в грозные дни первой русской революции 1905—1907 годов. Неодинакова была роль каждого из них, но все они почти без исключения принимали участие в революционных событиях 1905 года. Одни были членами иркутской боевой дружины партии, другие — агитаторами и пропагандистами, третьи — членами Совета депутатов рабочих и служащих Забайкальской железной дороги, членами полулегальных профсоюзов, возникших в октябре—ноябре 1905 года. Были здесь и руководители

---

Сокращенный вариант.

<sup>1</sup> В. В. Максаков в 1930 году был заместителем заведующего Архивным управлением СССР и РСФСР.

иркутской партийной организации, черемховские рабочие, рабочие иркутского депо и слюдянских мастерских, рабочие иркутских предприятий, ремесленники, учащиеся, учителя сельских школ, были даже чиновники царских учреждений. Некоторых арестовали в начале 1906 года—вскоре после революционных событий, большую группу захватили в том же году на окружной конференции Иркутского комитета. Здесь были представители иркутских партийных групп, а также мысовской, слюдянской, зиминской, черемховской. В начале 1907 года подверглись аресту участники второй партийной конференции во главе со старыми иркутскими большевиками — А. А. Знаменским и Д. П. Феденевым. Товарищ А. А. Знаменский впоследствии был крупным партийным работником в Москве, заместителем председателя Московского Совета, начальником Военно-Воздушного Флота, дипломатом. Д. П. Феденев также стал одним из крупных работников в Москве: в Наркомате РКИ и в различных издательствах.

В 1908 году были арестованы участники еще одной партийной конференции под Иркутском — на «Звездочке»,— почти исключительно рабочие иркутских предприятий: типографии, депо и других.

Вот все эти в разное время схваченные люди, прямо или косвенно связанные с Иркутским комитетом партии, и были объединены в один «процесс пятидесяти четырех».

Создав такой большой процесс, правительство, иркутские военные и гражданские власти имели в виду выместить свою злобу за тот испуг, который они испытали в дни всеобщей политической стачки, восстания иркутского гарнизона, установленной явочным порядком свободы слова, печати, собраний, устранения полиции и фактической замены ее народной милицией, организованной городской думой и боевыми дружинами большевиков и других политических партий. Особенно были обозлены иркутские жандармы.

Жандармов очень поддерживал иркутский генерал-губернатор Селиванов. Тот самый Селиванов, который во Владивостоке в январские дни 1906 года дал приказ расстрелять мирную демонстрацию. Во главе ее шла бывшая шлиссельбургская узница Волькенштейн. Она и многие другие были убиты, но находившиеся около Селиванова матросы повернули ружья против палача-самодура. Он был тяжело ранен в голову, но остался жив и по выздоровлении назначен иркутским генерал-губернатором. Сама мысль о революционерах приводила его в бешенство. В дни, когда действовали военно-полевые суды, когда озверевшие генералы по всей России состязались в количестве подписанных ими смертных приговоров, Селиванов хвастался, что он не отменил ни одного смертного приговора. Помню, как в конце 1907 года казнили одного юношу, которому не было еще семнадцати лет. Вина его не была судом установлена. Все попытки добиться замены смертного приговора ни к чему не привели. Селиванов не дал даже хода телеграмме на имя царя, и через двадцать четыре часа по вынесении приговора юношу повесили.

В руках мстительного, глупого, невежественного генерала оказалась большая, почти неограниченная власть на огромной территории Восточной Сибири.

Шаткость обвинения против многих из привлеченных к суду была ясна прокурорскому надзору и вообще судебным властям. Несколько раз возникал вопрос о прекращении дела в отношении многих из привлеченных к суду, но Селиванов и жандармы оставались непреклонны. И вот в 1909 году обвинительный акт утверждается, всем подсудным предъявлено обвинение по 102-й статье. За два-три месяца до суда, назначенного на август 1909 года, нам стала известна фамилия председателя суда. Иркутяне о нем не знали. Его перевели как будто специально для проведения нашего процесса из Омска. В Омске незадолго до этого было вынесено военным судом много смертных приговоров и много товарищей осуждены на каторжные работы. Невольно все это связывалось с именем генерала Кригера.

Вскоре нас стали вызывать группами и поодиночке в здание иркутского военно-окружного суда для вручения обвинительного акта и ознакомления с делом.

Здесь произошла моя встреча с генерал-майором Кригером.

Военный чиновник усадил меня в небольшой комнате в полуподвале с зарешеченными окнами и положил на стол грудой дел. Насколько помнится, было одиннадцать очень объемистых томов в темно-синей обложке.

Я стал знакомиться с документами. В делах оказалось много неизвестных мне документов, захваченных при арестах, письма товарищей.

В числе документов — вещественных доказательств я, к великому своему неудовольствию, обнаружил свое письмо, написанное мною к одному из старых партийных работников о необходимости помочь укреплению партийной организации в Черемховском каменноугольном бассейне.

Происхождение письма было таково. Представитель партийной организации Черемховских копей шахтер Антонович на конференции рассказал, что в Черемхове работа тормозится из-за отсутствия профессионалов. Он просил немедленно послать из Иркутска кого-нибудь из крепких товарищей. Незадолго перед этим из Иркутска выехала в Черемхово член нашей военной организации — Елена Мартьяновна с мужем, подпрапорщиком. Туда же выехал студент, бывший у меня в 1905 году в группе транспортировки литературы по линии Забайкальской железной дороги. Я решил их связать с черемховской организацией. Сделать это можно было через старого партийного работника, хорошо знавшего Черемховский каменноугольный бассейн и проживавшего в то время, после провала в Иркутске, на Кутуликских коях. Тут же на конференции — это был последний ее день, когда мы обменивались явками, адресами для посылки литературы, — я и написал это письмо. Его я хорошо запомнил. «Товарищ — податель сего письма — должен с тобой переговорить относительно работы в коях. По его словам, ты стоишь вне публики. Я думаю, что ты должен немедленно же войти с ним в сношение и поддержать, елико возможно, дела Черемхова. Познакомь их со студентом Б. и Еленой Мартьяновной. Оба они могут быть им полезны. Повторяю, ты должен сделать все возможное для поддержания дела в Черемхове...»

Не успел я закончить и передать это письмо Антоновичу для доставки его в Кутулик адресату, как раздался крик: «Полиция!»

Я знал, что надо прежде всего делать в этих случаях: быстро разорвал письмо и пытался изжевать его. Но — не успел. Меня схватили за руки. Мелкие клочки бумаги посыпались на пол.

— Руки вверх!

Уничтожить документы не удалось: на полу валялось множество мелких разорванных листов бумаги; мы их топтали ногами, перемешивали, чтобы затруднить жандармам восстановление писем, протоколов и других документов. Но жандармы заставили нас с поднятыми руками пройти в соседнюю комнатушку, а за это время тщательно собрали все, что находилось на полу.

Все три года после этого происшествия я тщетно гадал, удалось ли жандармам восстановить это письмо. От этого зависело все дальнейшее. Письмо говорило не просто о моей «прикосновенности» к партийной работе или социал-демократических, большевистских убеждениях, оно прямо говорило о моей причастности к Иркутскому комитету партии. Только ответственный партийный работник, член комитета мог писать в таком «директивном» тоне. Это одно, независимо от конкретных фактов моей партийной деятельности, сулило мне каторжный приговор без всяких скидок на «смягчающие вину обстоятельства» — мой возраст в то время. Ни прежний арест в 1904 году и судимость по 126-й статье в начале 1905 года — тоже за принадлежность к партии, ни арест в октябрьские дни 1905 года и оказанное при этом аресте вооруженное сопротивление, ни агентурные и филерские сведения жандармов о моей партийной работе не давали никаких оснований для каторжного приговора. Тем более что в следственном деле я обнаружил письмо, в свое время мною не полученное, относящееся к партийной работе в Черемхове. В письме предлагали сообщить мне, что в Черемхове призыв новобранцев назначен на 25 сентября и что туда нужно послать партийных товарищей.

В тюрьме я тщательно обдумывал свое положение. Оно казалось мне почти безвыходным. В руках суда находилось слишком много улик против меня. Я, как и большинство профессиональных революционеров, во время следствия отказался от каких-либо показаний, чтобы не дать прецедента и для косвенных улик. Сделал я и еще одно (рассказать об этом следует хотя бы для того, чтобы люди, работающие над документами жандармских и судебно-следственных учреждений, знали, как нужно быть осторожными в использовании документов в этих архивах, даже если налицо и подпись



автора). посоветовавшись с членами Иркутского комитета, находившимся в тюрьме, я решил на случай обнаружения моего письма кутуликскому товарищу категорически отрицать, что это письмо написано мною. Для этого нужно было ввести следствие в заблуждение насчет истинного моего почерка. И вот с первого дня ареста все мои заявления тюремной администрации, жандармерии, властям, прокуратуре, даже письма жене (посланные официально, через тюремную контору) писал за меня один из сопроцессников. Он моим именем и подписывал все эти бумаги. Таким образом, при сравнении моего письма, написанного в 1906 году, с письмами и заявлениями из тюрьмы за моей подписью явствовало, что почерк письма 1906 года ничего общего не имеет с почерком Максакова. Письмо 1906 года было подписано довольно неразборчиво одной из моих партийных кличек, и потому отказаться от авторства мне было нетрудно, если только в руках следователя не окажется другого документа, написанного мною лично.

И вот в июле 1909 года письмо, написанное в 1906 году, передо мной. Оно вшито в один из томов следственного дела. Письмо представляет собой тщательно склеенные кусочки разорванной бумаги. Не все клочки сохранились, но текст удобочитаем. В том же томе подшито и показание начальника иркутского охранного отделения, который прямо говорит, что письмо написано Владимиром Васильевичем Максаковым.

Перелистываю дело и с удовлетворением отмечаю, что в нем подшиты многие заявления, написанные моим товарищем своим почерком за меня, — о разрешении свидания с женой, об освобождении под залог ввиду болезни и т. п. Это меня несколько успокаивает.

Пока я читал документы и размышлял о том, какой тактики придерживаться во время суда, в комнату вошел высокий, довольно плотный военный в генеральском мундире.

Чиновник, сидевший напротив меня, вскочил, сделал руки по швам и подобострастно доложил:

— Это обвиняемый Максаков, знакомится с делом, ваше превосходительство.

— Я председатель суда по вашему делу, господин Максаков, — обратился генерал ко мне.

Я догадался, что это и есть свирепый генерал-майор Кригер.

Заняв место за столом, где сидел раньше чиновник, выдавший мне дело, генерал спросил меня, закончил ли я просмотр дела и получил ли обвинительный акт. После моего ответа он заявил:

— По закону я имею право просить о вызове в суд свидетелей, которые смогли бы добавить что-либо существенное к материалам следствия по вашему делу. Есть у вас такие свидетели?

Все это говорилось довольно сухо, но все же в каком-то благожелательном тоне.

«Мягко стелет генерал», — подумал я.

— Вы можете сейчас же написать, что обвинительный акт получили, с материалами следствия ознакомились, и просить вызвать таких-то свидетелей, — заявил Кригер.

О том, что можно ходатайствовать о вызове свидетелей, я знал. Со свидетелями я уже договорился. Их фамилии, имена, отчества и адреса я запомнил. Но я не учел, что все это надо сделать в письменной форме и что писать надо в присутствии председателя суда. Застигнутый врасплох, я тут же на особом листе, полученном от Кригера, написал все требуемое.

Так мы впервые встретились с генералом Кригером. Затем — в продолжение одиннадцати дней — мы виделись с ним в зале военного суда.

Суд был необычный для Иркутска и по числу подсудимых, и по количеству защитников, и по всей строго военной обстановке. Здание суда, находившегося на самой людной Большой улице, напротив городского театра, с раннего утра было оцеплено солдатами. Кругом шныряли шпики. Много наружной полиции. И — толпы народа. Одни уходили, их сменяли другие. Попытались прорваться к зданию суда. Родственники, знакомые, участники революционных событий, просто любопытствующие и ребятишки.

Но самое интересное, что привлекало внимание многих из нас, особенно адвокатов: с первого дня суда самым активным его участником был председатель суда генерал Кригер. Военный прокурор полковник Фелицын сидел почти все время с каким-то меланхолическим, непроницаемым лицом, лишь изредка подавал реплики и задавал довольно обычные вопросы. Два члена суда, сидевшие рядом с Кригером, за все время процесса не издали ни одного звука.

В перерыве адвокаты делились впечатлениями. Сходились на том, что Кригер — умный, знающий юрист, сам хочет разобраться во всем, чтобы закончить хорошо обоснованным с юридической стороны каторжным приговором. Вспоминали суровые приговоры омского военно-окружного суда, где до этого служил Кригер. От прокурора Фелицына, по его замкнутому виду, ждали злобной обвинительной речи и требования каторжных приговоров. Говорили, что сам Селиванов следил за ходом процесса и потому надо быть готовыми к самому худшему.

За исключением очень немногих, мы давно приготовились к этому худшему.

Председатель суда, видимо, хорошо изучил дело. Легко называл том дела и страницы, где находился какой-либо документ, показание свидетеля, справка. Вопросы задавал в очень корректной форме. Изредка советовался с членами суда — скорее мимикой и жестами, чем словами. Изредка обращался к прокурору: нет ли у него вопросов? Почти неизменно получал отрицательный ответ.

Общее недоумение возросло во время моего допроса о пресловутом письме. Самый вопрос, обращенный ко мне, заставил нас всех насторожиться.

— Подсудимый Максаков! В обвинительном акте сказано, что письмо, найденное изорванным на полу в квартире во время вашего ареста, начинающееся словами... принадлежит вам, написано вами. Что вы можете сказать по этому поводу? Предупреждаю вас, что вы можете не отвечать на этот вопрос.

При этих словах прокурор встепенул и протянул руку за делом, которое лежало перед Кригером, и начал внимательно читать документ.

Готовый к этому вопросу, я довольно спокойно ответил:

— Письмо это мне неизвестно. Такого письма я не писал. Принадлежность его мне обвинительный акт приписывает ошибочно. В этом, я думаю, легко убедиться, сравнив мой почерк с почерком письма.

— Хорошо, это будет сделано. Ваше мнение, господин прокурор?

— Я прошу суд назначить экспертизу почерка подсудимого Максакова.

Посоветовавшись с членами суда, Кригер объявил, что суд решил назначить экспертизу. Обращаясь ко мне, он спросил:

— Есть в следственных делах какие-либо бумаги, написанные вами?

— Конечно, есть. Можно взять любое из них, — говорю я по-прежнему спокойно, уверенно.

— Вот тут имеется ваше заявление о вызове свидетелей, — продолжает Кригер, перелистывая дело. — Подойдите к столу, посмотрите. Вами оно написано?

Собрав все силы, чтобы сохранить самообладание, я подхожу к столу и смотрю на собственноручно — в присутствии Кригера — написанную мною расписку в получении обвинительного акта и вызове свидетелей. Поняв, что роковая случайность разрушила весь мой, казалось бы, хитро задуманный план дать в руки суда для сравнения почерк моего тюремного товарища с моим письмом 1906 года, я с подчеркнутым спокойствием заявил, что справка написана мною и что с ней можно, разумеется, сравнивать почерк письма 1906 года.

Вызвали экспертов. Их было два: один — по назначению суда — член Союза русского народа некий Черных, и другой, вызванный по ходатайству защиты, — чиновник Бельденинов, оказывавший иногда некоторые услуги нашей партийной организации. Кригер передал им материалы, их посадили в отдельную комнату, к дверям которой поставили часового. Объявили перерыв судебного заседания.

Когда я во время перерыва сообщил адвокату Б. Г. Барту, защищавшему меня и вообще группу наиболее «скомпрометированных» обвиняемых, о роковой случайности со справкой, которая попала в руки экспертов, он посоветовал мне при всех условиях не признавать письма 1906 года своим.

Перерыв очень затянулся. Наконец Кригер открыл заседание и вызвал экспертов.

Черносотенный эксперт Черных докладывает, что они со своим коллегой не пришли к окончательному мнению ввиду недостаточности материала для экспертизы.

— Что же вы хотите?— спрашивает Кригер.

— Лично я считаю необходимым получить материал, написанный подсудимым в нашем присутствии.

Он добавил, что это его просьба, а второй эксперт на этом не настаивает, выражая готовность продолжать экспертизу с уже имеющимся материалом.

После минутного совещания с членами суда Кригер объявил:

— Суд считает возможным удовлетворить просьбу экспертов, если подсудимый не возражает против этого.

— Надо соглашаться,— шепнул мне защитник.— Только не пишите много.

Я встал и заявил, что согласен выполнить требование экспертов.

В сопровождении солдата из караула я вышел вслед за экспертами в комнату, отведенную для них.

Здесь Черных предложил мне написать на листе бумаги то, что он продиктует, и начал диктовать отрывок из письма 1906 года.

— Позвольте, вам же нужен новый материал, а не то, что уже у вас есть в руках. Я напишу то, что захочу,— возразил я раздраженно.

Меня поддержал второй эксперт. Я начал что-то писать, медленно выводя букву за буквой с небольшим наклоном влево. стараясь всячески сделать свой почерк непохожим на обычный — мелкий, с наклоном вправо.

— Пишите быстрее!..— тоже с раздражением говорит мне Черных.

Я продолжаю выводить букву за буквой.

— Почему так медленно? Пишите как обычно пишете — мельче и быстрее,— не унимается черносотенец.

Я к этому времени написал каким-то полудетским, неуверенным почерком строки две.

— Не могу больше.

— Почему?

— Потому что волнуюсь. Вы меня, господин Черных, нервируете. У меня рука дрожит.

— Все равно пишите. Двух строк нам мало.

— Не буду.

Вмешивается эксперт защиты:

— Действительно, подсудимый взволнован. Нет смысла его насиловать. Используем этот материал.

Черных вынужден смириться, и я покидаю с караульным солдатом комнату экспертов.

В зале напряженная тишина. Под общее молчание я прохожу мимо судей и прокурора, ядовито-насмешливо, как мне показалось, наблюдающего за мной.

— Попросите экспертов!— говорит председатель.

Появляется Черных и докладывает, что заключение экспертов еще не готово, просит дать дополнительный срок.

— Сколько времени вам нужно?

Черных мнется.

— Постарайтесь закончить в пятнадцать минут,— говорит Кригер и отпускает экспертов.

Снова объявляется перерыв. Меня обступает защита и близкие товарищи. Я кратко информирую их о происшедшем в комнате экспертов. Опытный петербургский защитник Барт успокаивает меня, говорит, что я вел себя правильно, сославшись на то, что Черных своими придирками создал при экспертизе нервную обстановку.

— Это можно использовать в случае неблагоприятного заключения,— сказал он.

Перерыв окончен.

По распоряжению Кригера появляются эксперты. Докладывает Черных. Он говорит, что эксперты не пришли к единому заключению. По его, Черных, мнению, много букв и общий характер почерка письма 1906 года очень сходны с почерком подсудимого. Так, например, почти одинаково начертание букв «П», «В», «М» в письме и в

записках подсудимого. И Черных дальше довольно подробно разбирает характер почерков.

— Каково же мнение второго эксперта?—обращается Кригер к Бельденинову.

— Утверждать, что почерк письма 1906 года тождествен с почерком подсудимого, по моему мнению, нельзя. Сходство букв относительное. Больше различия, чем сходства, в начертании большинства букв. Общий характер почерка письма 1906 года никак не свойствен почерку подсудимого.

— Так вы утверждаете, что нельзя письмо, находящееся в деле, считать написанным подсудимым Максаковым?— как-то странно отчеканивая каждое слово, говорит Кригер, смотря в упор на эксперта защиты.

— Так точно, ваше превосходительство. Предъявленное нам письмо, имеющееся в деле, не имеет ничего общего с почерком подсудимого Максакова,— также твердо отвечает Бельденинов.

В зале мертвая тишина.

Кригер поднялся со своего места и, обращаясь на этот раз к Черных, с какой-то жесткостью в голосе спрашивает:

— Ваше окончательное мнение, господин эксперт?

— Видите, ваше превосходительство, я уже сказал, что начертание некоторых букв письма напоминает почерк подсудимого...— робко, неуверенно снова начинает Черных.

— Это суд уже слышал,— прерывает его Кригер.— Суд хочет знать, считаете ли вы, что письмо написано подсудимым Максаковым. Отвечайте определенно...

Черных молчит в полной растерянности.

— Да или нет? — резко, весь подавшись к тщедушному, невзрачному Черных, восклицает Кригер.

— Нет,— тихо отвечает Черных.— Не считаю.

В зале большое волнение.

— Имеются ли у сторон вопросы к экспертизе?— садясь на председательское место, деловито-спокойно спрашивает Кригер.

Поднимается Барт и заявляет, что у защиты нет никаких вопросов и замечаний по экспертизе. Прокурор, стоя у стола судей, рассматривает бумаги экспертизы, также заявляет:

— У меня нет вопросов.

Это был один из самых решающих моментов процесса. Общее внимание приковано к поведению во время экспертизы председателя суда. Для всех совершенно очевидно, что он, не нарушая формально судебной процедуры, фактически оказал личное влияние на результаты экспертизы, и притом — что было совершенно необъяснимым — в направлении, благоприятном для подсудимых.

Второй эпизод, нарушивший ровное течение судебного процесса и равновесие уверенного в себе, деловито-спокойно ведущего судебного следствие председателя Кригера, был вызван неожиданными выступлениями на суде нескольких подсудимых, оказавшихся в «сообществе» с нами случайно, в результате чрезмерного усердия жандармов.

На предварительных совещаниях между собой и затем с адвокатами мы по согласованию с Иркутским комитетом наметили следующую тактику поведения на суде. Арестованные на ноябрьской конференции 1906 года должны показывать, что они собирались для обсуждения вопросов, связанных с предстоящими выборами в Государственную думу. Так как у нас была найдена партийная литература, относящаяся к выборам в Думу, можно было сослаться на то, что предполагалось ознакомление с этими материалами. От показаний по вопросу о принадлежности к партии отказываться. Арестованные на второй конференции 1907 года договорились, что они пришли по приглашению одного из выборщиков, прошедших по списку Иркутского социал-демократического комитета, Д. П. Феденева, чтобы ознакомиться с его взглядами на Государственную думу и переговорить о тактике борьбы социал-демократических выборщиков с кадетами и черносотенцами. Приглашенные были будто бы личными знакомыми Д. П. Феденева. В таком приблизительно духе наметили поведение и других групп подсудимых.

Условились никаких заявлений о принадлежности к социал-демократической партии не делать, чтобы не дать военному суду формальные основания, без рассмотрения прямых и косвенных улик, применить ко всем 251-ю статью Уголовного уложения. Вместе с тем решили не допускать на суде каких-либо заявлений, дискредитирующих — прямо или косвенно — роль нашей партии в революционном движении. В этом случае всем членам партии предлагалось открыто резко отмежеваться от таких выступлений и заявить суду о своих социал-демократических убеждениях, не позволяющих хладнокровно относиться к выступлениям, порочащим партию. Само собой разумеется недопустимость обращения к суду со стороны подсудимых с какими-либо заявлениями, рассчитанными на чувство судей, просьба о смягчении будущего приговора и т. п., компрометирующими каждого из нас как революционеров.

И вот во время показаний один из подсудимых — отец троих детей, квартира которого использовалась в 1906 году для хранения нелегальной партийной литературы, державшийся все время довольно хорошо, — неожиданно закончил показания обращением к судьям учесть, что у него большая семья, которая в случае его осуждения обречена на голодное существование. Вслед за этим подсудимым другой, бывший студент, юрист по образованию, мечтавший об адвокатуре, меньшевик с кличкой Слезка, довольно тонко юридически обосновавший несостоятельность выдвинутых против него обвинений, вдруг встал в какую-то неестественную позу и каким-то особенным, приподнятым тоном заявил:

— Господа судьи! Когда вы пойдете в совещательную комнату, не забудьте, что здесь, на скамье подсудимых, остался человек!!!

В зале поднялась волнение, гневные выкрики по адресу будущего адвоката. Еле дождалась перерыва.

Но перед перерывом произошел еще один инцидент, переполнивший чашу нашего терпения.

Один из защитников, известный иркутский присяжный поверенный Г. Б. Патушинский, впоследствии министр юстиции контрреволюционного «временного сибирского правительства», давал суду какую-то справку от имени своих подзащитных. Не помню уже в какой связи, но он закончил так:

— Господа судьи! Ведь перед вами люди, многие из которых были юношами и девушками в революционные дни девятьсот пятого года. Это не революционная армия, как об этом говорит обвинительный акт, а скорее только потешные, которых обучал Петр Великий...

Поднялся невероятный шум, крики.

Вскочил присяжный поверенный Барт и, обращаясь к Патушинскому, громко выкрикнул:

— Не забывайте, коллега, что из потешных выросли Семеновский и Преображенский полки!

Мы кричали:

— Перерыв! Перерыв!

Когда по требованию Кригера в зале наступила относительная тишина, Барт от имени подсудимых попросил перерыва.

Во время перерыва состоялись экстренные совещания активных партийных работников во главе с Андреем Знаменским, на котором по его предложению решили признать недопустимым поведение упомянутых выше сопроцессников и поставить вопрос о них перед Иркутским комитетом. Во время суда воздержаться от общения с ними.

В связи с этими выступлениями, бросившими тень на всех подсудимых — членов партии, а также в связи с порочащей нас как революционеров репликой адвоката Патушинского — выполнить решение, принятое на совещаниях накануне процесса, об открытии заявления на заседании суда о том, что каждый из нас был социал-демократом по убеждению в момент ареста и придерживается социал-демократических взглядов и в настоящее время и тем самым отмежевывается от всех тех, кто не разделяет этих взглядов. Сперва решили сделать такие заявления суду одному из товарищей — Знаменскому или мне. Но нам разъяснили, что такое заявление суд не примет. Тогда решили предоставить каждому из участников процесса выступить персонально, воспользовавшись для этого продолжавшимся допросом или «заключительным словом»

подсудимых». Об этом решении довели до сведения всех подсудимых и сообщили присутствовавшему в зале заседания члену Иркутского комитета. Ему же передали текст письма-протеста от имени подсудимых по поводу выступления адвоката Патущинского.

Возбужденное настроение среди обвиняемых, по-видимому, не укрылось от внимательно наблюдавшего за всем происходящим председателя. Когда он открыл заседание и вызвал очередного обвиняемого, то встал и как будто намеревался лишить его слова.

А товарищ — не помню, кто был первым: Знаменский или типографщик Чернышев, а может, приказчик Наймушин, кажется, последний, — начал приблизительно так:

— Я отрицаю приписываемое мне обвинительным актом участие в противоправительственном собрании, на котором меня арестовали. В связи с выборами в Думу все российские граждане имели право совещаться о будущих выборах. Меня интересовали выборы как социал-демократа по убеждениям, поскольку социал-демократы принимали участие в выборах. По приглашению одного из знакомых, фамилию которого я называть не желаю, я и пришел на собрание, никак не предполагая, что оно будет признано незаконным.

В этом же духе выступали и другие.

Я, например, сказал следующее:

— В Иркутск я приехал восемнадцатого ноября — накануне своего ареста. Это суду подтвердили три свидетеля: Т. Д. Попова, В. П. Ямпольский и Г. И. Мордохович. Суду известно, что я, как социал-демократ, был арестован в Иркутске и даже судим иркутской судебной палатой. Меня интересовало все, связанное с деятельностью социал-демократической партии. От этого знакомого, фамилию которого по понятным суду причинам я назвать не желаю, я получил обнаруженные у меня при аресте в находившемся при мне первом томе «Капитала» Маркса «Резолюцию западносибирских социал-демократических организаций» и другие партийные документы, с которыми я хотел ознакомиться, но, к сожалению, вследствие неожиданного ареста не успел. От этого же знакомого я узнал, что вечером девятнадцатого ноября в квартире Шафер соберутся некоторые мои старые знакомые, от которых я могу получить более подробные сведения о подготовке социал-демократов к выборной кампании.

В этом же приблизительно духе говорили почти все, кому пришлось до окончания процесса давать показания.

Как я уже писал, Кригер как будто намеревался лишить слова первого же из товарищей, выступивших с таким заявлением. Он склонился к другим судьям, о чем то поговорил с ними и затем сел на свое место, приняв скучающий вид.

Дождались мы наконец и обвинительной речи прокурора. Полковник Фелицын с тем же безразличным выражением лица, с каким он сидел на своем прокурорском месте все дни процесса, начал свою речь словами, что он поддерживает обвинение в пределах обвинительного заключения. И дальше кратко повторил обвинения, выдвинутые против каждого из нас обвинительным актом. Но была одна особенность, обращавшая наше и защиты внимание. Фелицын несколько подробнее остановился на нескольких подсудимых, из которых только против одного имелись серьезные улики: при аресте этого товарища в квартире обнаружили склад литературы и некоторые документы, довольно ясно говорившие, что это — архив Иркутского комитета партии. Большой роли в партийной организации этот сопроцессник не играл, но его казавшаяся «чистой» квартира была использована для хранения партийного архива. Неконспиративность одного неопытного товарища, пославшего распропагандированного им «честного», как он уверял, солдата с запиской к хранителю архива, повлекла за собой провал архива и арест «хозяина» квартиры. Фелицын в своей речи особенно выпятил его роль как одного из наиболее видных партийных работников. С этим подсудимым он связал, также подчеркнув его большую роль в организации, одного гимназиста — хорошего, преданного технического работника партийной организации. В том же духе прокурор говорил еще о четырех-пяти подсудимых, никак не заслуживших этого своей действительной партийной деятельностью. Защита объяснила это стремлением прокурора расширить круг лиц, которым суд должен вынести наивысшую меру наказания, предусмотренную 102-й статьей, — восемь лет каторжных работ.

Характерна была и заключительная часть речи прокурора.

— Поддерживая в полном объеме обвинение против каждого из подсудимых, я не считаю себя вправе предрешать вопрос о применимости ко всем обвиняемым именно статьи сто второй Уголовного уложения. Это дело ваше, господа судьи,— заявил прокурор.

Для нас, не искушенных в процессуальных тонкостях военно-судебной практики, осталась непонятной эта заключительная часть речи прокурора. Но она была прекрасно понята защитой. Нам разъяснили, что, по мнению прокурора, если бы суд не счел возможным применить к обвиняемым 102-ю статью, то он тем самым признал бы подсудимых оправданными, так как военный суд не вправе переходить в этих случаях к другой статье. Для этого требовалось новое заключительное обвинение и новый приказ военного генерал-губернатора о предании обвиняемых новому суду по другой статье Уголовного уложения. При таких обстоятельствах обычно возбуждается новое дело гражданскими судебными властями. Поэтому двое из защитников посвятили свои речи целиком доказательствам юридической необоснованности применения в нашем процессе 102-й статьи.

Суд продолжался одиннадцать дней. Как и всегда во время таких длительных процессов, установились связи с караулом, низшими служащими военно-окружного суда. Через военного юриста, по назначению суда защищавшего одного из обвиняемых, были установлены даже связи с прокурором. Но до последнего дня было не ясно, что ожидает обвиняемых. Адвокаты подсчитали, что человек десять—пятнадцать, при самых благоприятных условиях, будут осуждены на каторгу, большинство — в ссылку на поселение и лишь некоторые — в крепость и оправданы. Наибольшее количество шансов получить каторжные работы имели, по мнению адвокатов, «рецидивисты», то есть те, кто был под судом раньше: Знаменский, Феденев, Максаков, Залогин и некоторые другие. Готовился побег некоторых подсудимых из зала суда. Предполагалось, что осужденным удастся перескочить через решетку и смешаться с толпой родственников, допущенных в зал заседания суда.

Произошло все иначе.

К ночи, когда ожидался приговор, караул усилили вдвое-втрое. Родственников отодвинули от скамей подсудимых на большое расстояние. Помимо решетки, подсудимых отделяла от родственников цепь караульных солдат.

Около двенадцати часов ночи раздался обычный возглас:

— Суд идет. Прошу встать.

Появился Кригер в сопровождении членов суда. Прокурор был на своем месте. Кригер зачитал приговор, буквально ошеломивший всех своей полной неожиданностью. С большим недоумением смотрел на Кригера и прокурор.

Суд признал почти всех подсудимых невиновными в преступлениях, предусмотренных статьей 102-й, и потому по суду оправданными.

Шестеро подсудимых были признаны виновными в приписываемых им преступлениях и приговорены к каторжным работам на срок от четырех до шести лет. Это были как раз те товарищи, которых прокурор Фелицын выделил из общего списка в своей обвинительной речи.

Дочитав приговор до того места, где говорилось о каторжных работах, Кригер сделал паузу и продолжал:

— Суд, учитывая смягчающие вину подсудимых обстоятельства, выяснившиеся во время судебного следствия, постановил: заменить каторжные работы всем осужденным лишением их прав состояния и ссылкой на вечное поселение.

И далее уже совсем неожиданное:

— Суд, пользуясь предоставленным ему... статьей свода военных постановлений правом ходатайства о смягчении наказания осужденным, постановил ходатайствовать перед военным иркутским генерал-губернатором о замене всем осужденным ссылки на поселение заключением в крепости на срок от двух до трех лет с зачетом предварительного заключения. Приговор входит в силу по утверждении его военным генерал-губернатором.

Трудно передать впечатление от этого приговора, в особенности от заключительной его части, поразившей не столько неожиданностью, сколько смелостью, даже дерзо-

стью, проявленной судом. Ведь отношение к этому процессу иркутского генерал-губернатора, самодура-садиста Селиванова, было известно. Со злорадством ждали каторжного приговора и иркутские жандармские власти, и черносотенцы. Сделали, казалось, все, чтобы каторжный приговор состоялся. Как выяснилось уже во время суда, Кригер был назначен в Иркутск ко времени начала процесса, чтобы избежать влияния иркутской общественности на председателя суда из состава членов иркутского военного суда.

Не меняя тона, спокойно, сдержанно председатель суда генерал Кригер напомнил осужденным, прокурору и защите о их праве в трехдневный срок подать апелляционные или кассационные жалобы и объявил заседание иркутского военно-окружного суда законченным.

Остается сказать немногое. Разъяренный неслыханно дерзостным приговором, Селиванов не хотел его утверждать. Но его предупредили, что это будет беспрецедентным случаем и вызовет осложнения. Он потребовал, чтобы прокурор подал кассационную жалобу. Как тогда говорили, прокурор три дня серьезно хворал, и срок для кассации прошел. Выместил свою злобу Селиванов на осужденных в ссылку на поселение. Утвердив приговор в целом, он не удовлетворил ходатайства о замене ссылки на поселение заключением в крепость. Бешенству Селиванова не было предела, когда ему разъяснили, что означала фраза судебного приговора: «С зачетом предварительного заключения». Так как все приговоренные в предварительном заключении пробыли до суда не меньше двух лет, все они в случае утверждения приговора вскоре были бы освобождены.

— Это насмешка, издевательство надо мной!— кричал Селиванов, утверждая приговор.

Большинство оправданных поспешили скрыться, чтобы не подвергнуться аресту под любым предлогом или преданию гражданскому суду.

В городе — не только среди бывших подсудимых и их близких — в течение долгого времени темой всех разговоров только и был неслыханный приговор и необъяснимая роль на процессе генерала Кригера. Скоро мы узнали, что слухи о суровых приговорах, будто бы вынесенных омским военным судом при участии Кригера, были по крайней мере преувеличенными. Затем стало известно об увольнении его в отставку. Но никто не мог объяснить, чем вызвано было такое смелое, прямо вызывающее поведение царского генерала, да еще военного судьи, да еще в период столыпинской реакции.

Вскоре новые события в стране, а затем новый арест, ссылка на поселение в «отдаленные места Якутской области», «этапные» происшествия, путешествие по «проходному свидетельству» и т. д. заслонили события, связанные с «делом пятидесяти четырех», с генералом Кригером.

После Октябрьской победы, встречаясь в Москве со старыми товарищами-сопроцессниками, мы не раз вспоминали о генерале Кригере. Где он? Что стало с ним? И чем все-таки было вызвано такое его поведение в 1909 году? Никто больше Кригера не встречал, и никто не мог дать ответа на этот вопрос.

И вот бывший генерал-майор Кригер, бывший военный судья, в общем, мало изменившийся за истекшие двадцать лет, сидит передо мной:

— Я пришел к вам с просьбой личного характера и потому прежде всего скажу о себе. После известного вам процесса я вскоре получил отставку и несколько лет служил юрисконсультом одного из сибирских золотопромышленных товариществ. После революции я служил в Москве, также юрисконсультом, в различных советских учреждениях. В настоящее время работаю юрисконсультом Института народного хозяйства имени Плеханова.

И дальше мой собеседник рассказал, что привело его ко мне.

— Все годы после Октябрьской революции, где бы я ни работал, я всюду встречал корректное к себе отношение. Помогало то, что генералом и судьей я перестал быть задолго до Октябрьской революции. Но вот недавно в связи с очередной проверкой государственного аппарата мне отказали в выдаче паспорта. Таким образом я сейчас оказался лишенным прав, состояния, которого, впрочем, у меня не было, службы и



средств к существованию, — шутивно охарактеризовал он свое положение. — Я считаю, — продолжал он, — это недоразумением. Решил обратиться в ЦК партии — так мне советовали. Но, как старый юрист, я понимаю, что без свидетельских подтверждений моего поведения в прошлом мое обращение, может быть, не достигнет цели, и я решил обратиться к тем, кто должен помнить меня. Вашу фамилию я встречал в литературе, посвященной истории революционного движения в Сибири. Помогли мне в Обществе политкаторжан справкой о месте вашей постоянной работы.

Я поспешил заверить Кригера, что недоразумение с лишением его паспорта будет улажено независимо от вмешательства «свидетелей». Но, конечно, обещал лично от себя и от имени других товарищей-сопроцессников, находившихся в то время в Москве (Г. И. Лебедева, А. А. Знаменского, Д. П. Феденева, А. В. Цитовича и других), написать, если это нужно, справку о его роли в нашем процессе, повлекшей за собой его отставку, и прочее.

Мне очень хотелось лично от Кригера получить объяснение его поведения на нашем суде. И Кригер рассказал мне следующее.

Как юрист, он видел и понимал творимые кругом беззакония, особенно усилившиеся после спада революционного движения. Он не мог мириться с черносотенным разгулом, расстрелами без суда и следствия, использованием суда для расправы с невинными людьми. Но воспитанный в рамках строгой военной дисциплины, слепого преклонения перед буквой закона, с детства привитого уважения к «исконным началам русской государственности», он долго, по его словам, пытался как-то примирить возникшие противоречия. Иногда это ему удавалось. А иногда он становился в тупик. Веления совести встречали на своем пути требования воинского долга, присяги.

Революцию он не принимал. Он понимал революцию как нарушение естественного, закономерного развития исторического процесса. Однако революционные события 1905 года заставили многое пересмотреть в этих установившихся его взглядах как военного. Внимание его привлекло то, что на скамью подсудимых попадали в большинстве случаев солдаты и матросы из рабочих, рисовавшие на суде в своих речах безотрадную жизнь русского рабочего, крестьянина, задавленных беспросветной нуждой. На скамью подсудимых попадали крестьяне-«аграрники», судимые за поджог помещичьего имения, за сопротивление казакам, защищавшим «дворянские гнезда». Судили солдат, осмелившихся не подчиниться издевательскому приказу пьяного офицера. Для Кригера все больше и больше становилось ясным, что идет непримиримая борьба между обездоленным людом, трудящимися, рабочими и крестьянами и имущими классами — помещиками и капиталистами. И в этой борьбе государство с его атрибутами — судом, армией, полицией — целиком на стороне господствующих классов.

— Не думайте, что я уже готов был сам быть с теми, кого мне приходилось судить, — говорил Кригер. — Были мучительные раздумья, колебания. Но все же я остался среди тех, кому принадлежала власть, продолжая выполнять свои обязанности члена военного суда. В тысяча девятьсот восьмом—девятом годах, однако, было обращено внимание на мое несвойственное военному суду того времени поведение во время разбирательства дел о «государственных преступлениях». Я нередко слишком настойчиво возражал против предвзятого отношения судей и прокуратуры к обвиняемым, против попыток явно незаконных действий судей, их стремления во что бы то ни стало добиться осуждения часто совершенно невинных людей. Несколько неожиданно для меня состоялся мой перевод в Иркутск. Перевод этот некоторые расценивали как предупреждение. Формально он означал тоже как будто понижение...

Когда я по приезде в Иркутск ознакомился с «делом пятидесяти четырех», я сразу же для себя сделал вывод: это будет последнее мое участие в военном суде. Знакомство с вашим делом показало мне, до какого предела возмутительной юридической безграмотности, невежества можно дойти в стремлении во что бы то ни стало «состряпать» процесс для расправы с политическим противником. Никаких сомнений у меня не было в том, что подавляющее большинство обвиняемых по вашему процессу были активными деятелями революционного движения и притом членами социал-демократической партии. Найденная у многих из вас литература и документы подтверждали это. Но для юриста нужны неопровержимые доказательства непосредственного участия каждого из обвиняемых в революционных, антигосударственных действиях. Обвини-

тельный акт был составлен так, что эти доказательства, имевшиеся иногда в деле, не попали в обвинительный акт. Самое же главное — в один процесс объединили три группы арестованных в разное время людей за участие в разных противогосударственных действиях. Эти группы ничем не были связаны между собой. Наконец, обвинительный акт говорил об участии всех подсудимых в вооруженном восстании девятьсот пятого года, а дело рассматривалось в девятьсот девятом году. Это неслыханная попытка мшнения за события девятьсот пятого года Мстили случайно арестованным лицам, а не только тем, кто непосредственно участвовал в событиях девятьсот пятого года или по крайней мере был в числе руководителей этих событий. Так я рассуждал тогда. И решил, держась строго в рамках, предусмотренных военным судопроизводством, доказать несостоятельность обвинительного акта и тем самым добиться оправдания подсудимых, по крайней мере большинства из них.

— Но как же вы, хотя и председатель суда, могли рассчитывать на это при наличии еще двух судей и опытного военного прокурора?

— А вот с разрешения этого вопроса мне и пришлось начать, — ответил Кригер. — Я прежде всего постарался поближе познакомиться с судьями. Судья мне благоприятствовала. Один из судей — армейский полковник — совершенно случайно оказался за судейским столом и очень тяготился своей ролью. Когда я его успокоил тем, что, будучи хорошо знакомым с материалами дела, я не стану затруднять его просмотром документов и ведением допроса, он выразил мне признательность и, как вы, вероятно, заметили, за все время процесса не проронил ни слова, полностью доверившись мне. Второй судья после моей характеристики материалов процесса и сделанного мной вывода, что трудно суду выносить обвинительный приговор за преступление, от момента совершения которого до возмездия прошло почти четыре года, несколько смущаясь, сказал доверительно: «Мне понятно, ваше превосходительство, все это. Я — отец. У меня единственная дочь была жандармами по недоразумению арестована в девятьсот шестом году, и только недавно обвинение с нее снято. Я много пережил и полагаю, что вы правы, когда говорите, что нам нельзя посылать на каторгу людей за то, что им приписали жандармы четыре года назад». Я этого не говорил своему коллеге по суду, — сказал Кригер, — но я не возражал против того, что он меня так понял. После этих бесед для меня стало ясно, что со стороны членов суда я не встречу никакого противодействия. Что касается прокурора Фелицына, то я знал его как очень умного, вдумчивого юриста и был уверен, что, если мне удастся избежать грубого нарушения норм военного судопроизводства, он не будет большим препятствием на пути выполнения задуманного мною плана — вести так судебное следствие, чтобы все искусственное, нелепое, с юридической точки зрения, в обвинительном акте само рухнуло в ходе судебного процесса.

— Ну, а Селиванов? Ведь с ним-то вам приходилось считаться? — спросил я.

— Селиванов мог только не утвердить приговор или не удовлетворить ходатайство суда. Открыто вмешаться в ход судебного разбирательства он не мог. Ведь существовало главное военно-судебное управление, которое могло не допустить такого вмешательства без достаточных для этого оснований. Ему оставалось только расправиться со мной по окончании процесса. Этим правом он широко воспользовался, послав соответствующие материалы в Петербург. Но к этому я уже был готов.

Два момента в ходе судебного следствия были критическими, — продолжал Кригер. — Первый — результаты экспертизы вашего почерка. Если бы экспертиза безоговорочно признала письмо девятьсот шестого года написанным вами, не только вы сами, но и установленный адресат письма, и вся группа арестованных одновременно с вами подлежала бы безусловному обвинению по сто второй статье. Ваша вина в глазах прокурора и суда усугублялась тем, что в письме говорилось об агитационной деятельности среди новобранцев. Подрыва армии, стремления помешать ее пополнению военный суд простить не смог бы. К счастью, прокурор пропустил повод для вмешательства, когда я, воспользовавшись своим положением председателя, по существу оказал моральное давление на одного из экспертов. Второй момент, заставивший меня прибегнуть к тактике объективного наблюдателя, был связан с заявлениями суду ряда подсудимых о их революционных, социал-демократических убеждениях. Я предполагал сперва не допустить этих заявлений. Но это могло привести к инциденту в суде, который мог бы использовать прокурор. Прокурор мог бы ходатайствовать перед судом о занесении

заявлений в протокол и, опираясь на это, доказывать, что некоторые из подсудимых сами подтвердили на суде свою принадлежность к партии,— значит, обвинение их по сто второй статье было ими же самими подтверждено. Я сделал вид, что не придаю этим заявлениям никакого значения, стремясь этим ввести в заблуждение прокурора. Думаю, что прокурор прекрасно понимал, какой козырь вы давали ему для его обвинительной речи своими заявлениями, но он тоже сделал вид, что заявления ничего существенного не внесли в ход дела.

Облегчил мне задачу прокурор Фелицын тем, что затронул вопрос о применимости в вашем процессе статьи сто второй. Я как раз и имел это в виду. Но я рассчитывал опереться при вынесении приговора на речи защитников. Прокурор сделал мою позицию более крепкой. Но прокурор дал материал для обвинения некоторых подсудимых, роль которых в обвинительном акте не так резко была очерчена. С этим пришлось считаться, чтобы не поставить под удар весь приговор. Однако вы знаете, что и из этого положения я нашел выход в виде ходатайства от имени суда перед генерал-губернатором о замене наказания. Не моя вина, что Селиванов не согласился с решением суда.

Этим Кригер и закончил свой рассказ. В те далекие годы, когда происходили описанные события, мы не знали мотивов, которые заставили генерала Кригера освободить от каторги несколько десятков активных участников революционного движения. Но как тогда, так и сейчас, когда я пишу эти строки, я считал и считаю, что нужно было иметь большое личное мужество, чтобы сознательно, открыто бросить вызов правительству описанными здесь действиями.

Нельзя забыть того, что в результате этих самоотверженных действий генерала Кригера немало членов партии смогло тогда же вернуться к нелегальной партийной работе, а впоследствии многие из них были активными участниками Великой Октябрьской социалистической революции и социалистического строительства.

Я и мои товарищи по «процессу пятидесяти четырех», находившиеся в то время в Москве, написали о бывшем генерале Кригере то, что считали своим долгом сказать о его роли в нашем судебном процессе, и передали ему написанное. Через несколько дней Кригер был у меня и с большим удовлетворением сообщил, что все мытарства его закончились.

После написанного им заявления и приложенной к нему нашей справки его разыскали и немедленно вручили бессрочную паспортную книжку.

Больше я Кригера не видел.

Встреча с Кригером невольно заставила меня заинтересоваться последующей судьбой полковника Фелицына, бывшего прокурора по нашему процессу. Выяснить удалось не много. По словам одного из сопроцессников, после Февральской революции, в начале марта 1917 года, Фелицын был назначен командующим войсками Иркутского военного округа, а впоследствии будто бы работал в одном из управлений Вооруженных Сил Советского Союза. Из этого можно заключить, что поведение Фелицына на «процессе пятидесяти четырех» также не было случайным.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ХОХЛОВ

★

## СТРАНА ПАТРИСА ЛУМУМБЫ

Эту огромную африканскую страну называли по-разному: Конго Стэнли, когда желали подчеркнуть деяния этого европейского путешественника, Конго Леопольда II, когда вспоминали бельгийского короля, у которого целая африканская страна находилась в личном владении. Бельгийское Конго, когда оно перешло под управление правительства Брюсселя. Различные ярлыки, впрочем, не меняли сути дела: до 30 июня 1960 года Конго было колонией Бельгии. Лакомый африканский кусок принесил бельгийским монополиям огромные богатства. Мало сказать, что Конго только Судану уступает по размерам территории, что население его составляет пятнадцать миллионов человек. Держава! Природа наградила эту страну всеми атрибутами тропической, экваториальной экзотики: Великие африканские озера, непроходимые джунгли Восточной провинции, побережье Атлантического океана, водораздел Конго — Замбези, могучие водопады на реке Конго, обширные национальные парки со стадами слонов, гиппопотамов, крокодилов, бескрайние саванны, сказочно красивые горы Рувензори, которые в древние времена именовались Лунными...

Конго — поистине конгломерат племен и народностей. Недаром там говорят: в Конго столько племен, сколько притоков у реки Конго, столько языков и диалектов, сколько речных заводей. А сама земля и ее недра? На север и юг от экватора простираются плантации бананов, папайи, хины, чая, кофе, каучука, перетрума, хлопка, масличной пальмы, сахарного тростника. А чего только не таят недра! Золото, алмазы, уран, кобальт, медь, свинец, цинк, германий. Знаменитый «медный пояс» Катанги можно понимать и символически: вся страна была стянута удушающим поясом.

Патрис Эмери Лумумба родился и сформировался как политический деятель в этой стране. В январе 1971 года исполнилось десять лет со дня трагической гибели человека, который боролся за независимость своей угнетенной родины, развернул кипучую деятельность по созданию национального конголезского правительства, вступил в открытую схватку с монополиями Бельгии и других капиталистических стран — пал на поле брани. Бурный 1960 год, вошедший в новейшую историю как «год Африки», был для Патриса Лумумбы годом взлета и гибели. Как могучий паводок, национально-освободительное движение при Лумумбе достигло наивысшей отметки. С ним связан целый переходный период в развитии суверенного Конго: имя его не отошло в прошлое, ибо все то, за что он боролся и погиб, остается жизненной проблемой и для самого Конго и для многих других африканских государств. Вот почему можно сказать, что жизнь и деятельность Лумумбы несли в себе в известном смысле общеафриканскую нагрузку. И все же Патрис Лумумба был прежде всего сыном своего народа, своей страны.

### ТАМ, В САНКУРУ

**П**еред тем, как взлететь, птица еще в гнезде научилась махать крыльями, говорят в Конго и добавляют: не забывай этого гнезда никогда. В нем ты появился на свет. Гнездо — твоя семья, твоя деревня, твой род и племя. В семье Лумумбы существует легенда относительно появления на свет божий Патриса — его обнаружили в хижине после сильной молнии. Огненная стрела ударила в стоявший рядом баобаба, отсекла у него верхние ветви, расщепила ствол и ушла в землю. Мальчик появился с молнией...

Он родился 2 июля 1925 года в деревне Оналуга. Места эти называют Санкуру — по имени реки, прорезающей всю провинцию Касаи.

Отец Патриса Лумумбы — крестьянин Окитоленга Франсуа Лумумба — любил рыбачить. Весть о рождении сына и застала его на рыбалке. Пришли деревенские ребята и принесли новость: в хижине Лумумбы появился новый человек — мальчик.

Добрый улов был как никогда кстати: вечером соберутся гости. Половина деревни — родственники, другая половина — знакомые, не угостить которых нельзя. Традиция племени: все тянутся к хижине, где произошло радостное или печальное событие. Здесь слезы и веселье делят без приглашения. Африканец — человек общительный. Жизненную удачу или неудачу он переживает не в одиночестве, а вместе со всей родней. Рождение человека — событие. У людей на таких празднествах появляется какая-то открытость, временная отрешенность от всех невзгод.

Франсуа Окитоленга рассказывал мне, как все это происходило. Шагах в двадцати от своей хижины он присел, поставил на землю корзину с рыбой. К нему стали подходить односельчане, поздравляли. Разложили костер. Сосед-охотник положил у костра молоденькую антилопу. Появились бутылки с пальмовым пивом. Принесли барабаны, они стояли, дожидаясь своего часа. Деревенский знахарь без слов подошел к костру и в двух шагах от огня воткнул копые кованым наконечником вверх: знак небу, что в племени батетела появился на свет еще один воин.

Говорили старейшие. И наиболее уважаемые. Молчали люди средних лет. В почтительной позе застыли на корточках юноши. Разговор был деликатным и метафоричным. Кто-то сказал: «Без дерева не бывает листьев». Окитоленга поклонился, прижимая руку к груди. «Одним веслом нельзя двигать пирогу», — сказал другой. Смысл ясен: отцу нужен помощник, — с хорошим сыном в житейской пироге плыть куда легче, чем одному. Пусть только растет скорее. Ницего, время терпит. Как говорится, даже гигантская пальма когда-то была маленькой. Пословицы и поговорки одна за другой влетали в беседу у костра. «Два мальчика в хижине — это еще не девочка», — произнес лукаво знахарь. И снова Окитоленга привстал и поклонился собравшимся. Что ж, он вовсе не против — пусть будет и девочка в его семействе, и не одна, а три или четыре. Чем больше, тем лучше.

Парни одним нехороши: рано или поздно они женятся. А это значит, что отец должен готовить выкуп. Понравилась девушка — плати и ей и ее родителям. Закон племени. Если родитель жениха беден, то жених сам должен заработать на подарки. Выкуп — не грошовые безделушки. Отец невесты получает обычно корову, пять или семь козочек, несколько овец, кур, отрезки заморской ткани — матери и отцу, сестрам и братьям невесты, ее близким и дальним родственникам. Кроме того, преподносятся деньги: на угощение, на уплату долгов. Выдавая дочь замуж, отец часто латает прорехи в своем семейном бюджете. Если у него несколько дочерей, пользующихся доброй славой, красивых и работающих, то его старость вполне обеспечена. Туговато приходится тем семьям, которых наградил африканский господь бог одними сыновьями. Разоренье! Женил трех сыновей — трижды выгонял со двора скот, трижды опорожнял карманы и влезал в долги. Да еще местная традиция — традиция провинции с богатейшими алмазными россыпями: жених направляется на сватовство держа в руках бутылку или банку с алмазами, собранными на берегах лесных рек. Первое подношение избраннице. Символ чистоты и твердости в намерениях. До этого парень мог сколько угодно уверять девушку в пылкой любви, сулить прекрасную жизнь. Слова оставались словами, а вот принесенные им алмазы снимают все сомненья девушки.

«Ты еще молод, и у тебя все впереди. У дерева корни не растут в одну сторону. У пальмы листья раздвоены. У фасоли — две половинки. В большую реку впадают притоки и справа и слева, — пусть твоя семья уподобится такой реке!» — продолжали веле-речивые гости. Так ему желали они новых и новых детей — и мальчиков и девочек, чтобы, как любят говорить люди батетела, пирога не давала крена и не зачерпнула воды. Дань добрым напутствиям, предусмотренная этикетом, была отдана полностью.

Окитоленга Франсуа поблагодарил всех собравшихся и тоже перешел на иносказание: угли, мол, хороши в костре, а не на сковородке... Всем все ясно — подходи поближе к костру, снимай котелки с мясом и угощайся.

Окитоленге положено было произнести первый тост. Он сказал:

— С нынешнего дня в моем доме живет новый человек. Мальчик должен посадить пальму и дожидаться, когда созреют на ней плоды. Я пью за то, чтобы и его дети сажали много-много пальм и имели возможность собирать урожай. Так будет без конца, пока жив наш род.

Пили пиво, закусывая мясом, рыбой, орехами, бананами. Все громче становился

разговор у костра. Зазвучали барабаны чонда, возвещающие всех, кто способен услышать и понять, что в деревне Оналуа родился человек и что это событие сейчас должным образом отмечается. Заговорил звучный барабан гома: его зажимают коленями и бьют по коже руками. Под него поют песни. И гости Франсуа Лумумбы запели:

Эту ночь мы посвятим ему —  
 Человеку, у которого еще нет имени.  
 С него достаточно, что он — батетела.  
 Мы будем петь и плясать,  
 Потому что мы рады его появлению.  
 У нас все есть.  
 Есть земля предков,  
 Есть реки, богатые рыбой,  
 Есть леса с изобилием дичи.  
 Нам хватает и солнца и дождей!  
 У нас нет только свободы:  
 Нами повелевают фламани.  
 Нам нужен великий вождь,  
 Который бы стоил ста храбрецов,  
 Который был бы мудрее ста мудрецов,  
 Будем петь и плясать  
 При рождении каждого нового человека.  
 Может иссякнуть любой источник,  
 Наша надежда — никогда!  
 Никогда!  
 Никогда!<sup>1</sup>

А потом и заплясали — им, разгоряченным и пивом и бурными плясками, уже было мало звуков тамтамов. Они барабанили по бочкам из-под бензина, по консервным банкам. Били нож о нож, высекая одновременно и звуки и искры, топали по куску гофрированного железа. Стонали бамбуковые флейты. Плясали все — то разделяясь на группы, то соединяясь в один шумный хоровод. До первых лучей солнца праздновали жители Оналуа рождение Патриса Лумумбы. И то, что новорожденный сын будет называться Патрисом — в честь деда, сподвижника Нгонго Лютете, — Франсуа Окитоленга Лумумба тоже решил той ночью...

Патрис-старший наказывал ему когда-то: «Пусть у тебя будет меньше слез, чем у меня. Пусть у тебя будет больше гнева, чем у меня. Пусть у тебя будет больше разума, чем у меня. Пусть у тебя будет больше веры, чем у меня. О богатстве я не упоминаю — его у тебя будет ровно столько же, что и у меня...»

Патрис-старший видел первых завоевателей, пробравшихся в Санкуру из Европы. Его сын Окитоленга родился и вырос при упрочившемся колониальном режиме. Сын Окитоленги появился на свет не в лучшие времена. Что ждет Патриса-младшего?

...У африканских племен становление человека отмечалось, да отмечается нередко и теперь, особым ритуалом — приблизительно к двенадцати годам все дети проходили испытание зрелости и посвящение во взрослые. Девочек собирали в одну группу, мальчиков — в другую. Отправляли в лес и устраивали два самостоятельных лагеря. Там они жили два-три месяца, выполняя разные для девочек и мальчиков обряды. Примитивными, грубыми приемами там испытываются мужские качества подростка, делающего первый шаг в иное состояние. Все слабости и недостатки, проявляемые до этого, как бы отходят в прошлое.словно человек рождается заново, очищается, крепнет, мужает. Тело, тень и душа, присущие согласно африканской философии каждому мыслящему существу, приобретают новые, более возвышенные свойства. Ему дается и новое имя. Пройдя лесной лагерь, Патрис стал Эмери. Позднее, припоминая лесные игрища, Патрис рассказывал, как многоопытные наставники заставляли их прыгать в глубокие ямы, где курились костры. Как на них набрасывались с душераздирающими воплями люди в страшных ритуальных масках. Как, обливаясь кровью, избитые, они не должны были обращать на это внимания. В том и состояло воспитание мужества: ранен — не кричи, течет кровь — не замечай, не дают есть — не жалуйся на голод, бьют плетью — ну и что ж такого? Ведь тебя готовят к долгой и достойной человека жизни, в

<sup>1</sup> Песня записана автором в деревне Оналуа со слов верховного вождя провинции **Насаи** Пене Сеньха.

ней может случиться всякое. Новая вера достигалась.. плетью! Ты когда-то позволяя себе непослушание и далеко не всегда следовал советам старших, теперь ты будешь знать, что такое покорность; через нее лежит путь к великой силе, которую ты обрешь. И не вздумай роптать, не смей жаловаться: здесь тебя все равно никто не поймет. Не продлевай свое пребывание в лесном лагере.

Сегодня великий день  
Для нас, молодых ребят,—

пели тогда хором, стараясь угодить старшим, всеми своими действиями подтвердить, что период мальчишества с его безответственными поступками кончился, что из лагеря в деревню пойдет новое пополнение мужчин, на которых можно положиться. Физические испытания — лучшее лекарство: они очищают человека от слабости, приучают переносить боль, властвовать собой, помогают возвысить свой собственный дух и тем самым укрепить силу племени.

По ночам сидели они у костра и не узнавали друг друга: верхняя часть лица скрыта маской из коры или листьев. Кожа натерта толченым углем: черный цвет означает нераскрытую тайну. На голове — гирлянды листьев, перевитых лианами. Тропинки вокруг покрыты листьями: во время обряда парни не должны ступать по голой земле. Нельзя начинать разговор первому — молчи, если не спрашивают. Приучай себя к размышлению. Похвал в лагере не бывает, зато наказание подстерегает на каждом шагу. Если надо проучить ослушника, да так, чтобы он запомнил на всю жизнь свой проступок, его клали на муравьиную кучу или заставляли взбираться на дерево и голыми руками собрать мед диких пчел. И чтоб ни единого стога! Даже случайно вырвавшийся крик служит поводом к повторению наказания. Смерти бояться нечего. Когда умирает мужчина, он отправляется в деревню Бвала йя Нзамби — деревню божества — и там перевоплощается в леопарда, а женщина — в антилопу. Душа знахаря переселается в гиппопотама — признак необычной силы.

Лесной лагерь — подготовка к настоящей жизни. После этого испытания юноша становится равноправным членом племени, может обзавестись женой, детьми. Нельзя забывать, чему тебя учили: не бойся воды и леса, вступай в схватку с любым хищником, не дрожи при виде ножа противника. Вставай пораньше: у тебя всегда будет много дел. Не изменяй жене, не кради, не учись лгать. Будь гостеприимен. Пригласи соседа на обед: может быть, он ничего не ел. У тебя все должно быть красивым — улыбка, походка, манеры. Все ли ты усвоил? Если так, то направляйся в лес с копьем и раздобудь для своих наставников лакомств — вкусных корней, ароматных трав, налови птиц, убей антилопу. Надо отблагодарить учителей за их многодневные труды.

Лагерь готовится к пирушке. Начинается купанье в реке. Ребята сбрасывают с себя одежку из ткани и листьев, смывают краску и бросаются в воду. После купанья тело покрывают белой краской: это — возрождение, знак неспорченности, чистоты. Белый цвет предохраняет от болезней. Теперь иди танцевать. Двигайся по кругу — так ходит и солнце на небе. Намажь тело маслом, посыпь его опилками из красного дерева. Цвет крови — символ жизни, радости, здоровья. Какой ты стал могучий! Тебя уже ничто не устрасит...

Костры погашены. Огонь сожрал все, в чем пришли сюда ребята. В деревню двинулись новые люди в новой одежде. Посвящение в мужчины состоялось. Церемония окончена. Осталось лишь немного — жить так, как подобает мужчине!

Патрис Эмери Лумумба именно так и жил.

### НГОНГО ЛЮТЕТЕ

«С горячей воды огня никогда не будет», — говорил Нгонго Лютете, самый популярный вождь племени батетела, к которому принадлежал род Лумумбы. Он говорил на своем родном языке — отетела, — языке разговорном, письменности не имевшем. Нгонго Лютете не оставил после себя никаких трактатов: он не умел писать. Говорил только на одном языке — языке своего племени. Зато как говорил! Сколько мудрости и выразительности в каждом сохраненном народной памятью высказывании. «Вода не может кружиться, если нет переката или водопада».

Вождем он стал по праву наиболее мудро, бескорыстного, честного и смелого.

Племя батетела выбирает своих вождей на сходке, оно не признает права наследования. Превыше всего у батетела ценится ум. И случилось, что простой крестьянин в набедренной повязке облачался по воле соплеменников в шкуру леопарда — знак доблести и власти. Нгонго Лютете был крестьянином, охотником и мыслителем. Про него говорили, что он видит крокодила на дне реки, приближение врага чует по ветру, мысли человека распознает по глазам. «Нгонго Лютете сказал» — эти слова и сейчас производят на конголезцев впечатление, заставляя их почтительно слушать, что же изрек вождь батетела. Что же он сделал для Конго?

Нгонго Лютете редко надевал на себя воинские доспехи вождя племени. Даже перед европейцами, отряды которых он разбивал, предстал босым, с копьем в руке. Он родился на берегу Санкуру. Отец его был замечательным охотником. Из бивней убитых им слонов была сооружена изгородь вокруг хижины. Ворвавшись в деревню, белые пришельцы набрасывались на слоновьи бивни и уносили их до единого. Нгонго Лютете видел все это — он был уже взрослым.

Когда батетела избрали его своим вождем, Нгонго Лютете начал готовиться к военному отпору непрошеным властителям, закрепившимся на конголезской земле. Дело осложнилось тем, что бельгийские колонизаторы сумели набербовать солдат из некоторых конголезских племен, в том числе и из батетела. Солдат кормили, одевали, им платили и их же бросали в бой против африканцев. Про них Нгонго Лютете метко говорил: «Когда баран на веревке, он не может шипать траву в чужом огороде — пожирает свою».

Нгонго Лютете создал боеспособную армию — передовые части были вооружены винтовками, отбитыми у бельгийцев. Солдаты-батетела, набербованные в колониальные войска, подняли мятеж и вышли из подчинения бельгийских офицеров. В 1892 году армия Нгонго Лютете атаковала Лусамбо и другие укрепленные районы, находившиеся в руках завоевателей. В то время все без исключения иностранные компании, обосновавшиеся в Конго, располагали собственными военными отрядами. «Специальный комитет Катанги», предшественник «Юнион миньер дю О'Катанга», бросил свои отряды против Нгонго Лютете.

Батетела сражались тогда за все Конго. В этом была заслуга Нгонго Лютете. Остался его афоризм: «Собака имеет четыре ноги, но бежит она не по двум, а по одной тропинке. Так и страна: Конго должно идти одной тропой».

Он был схвачен и расстрелян колонизаторами. Перед самой смертью Нгонго Лютете сказал: «Орел остается орлом, когда ему отрубят когти. Я ухожу, но у батетела будет и после меня много орлов!» Оставил он по себе и такую выстраданную им притчу:

...Умирают только те, кто боролся. Кто не держал в руках оружия и не разил врагов, тот не жил и не рождался. Поэтому не так уж важно — живет он или умер. Настоящей жизни у такого человека нет и не было. Я умираю, оставаясь жить с вами. Скошенная трава растет еще лучше. Кто видел кровь, тот никогда не убьется воды. Помните: пришелец не знает и никогда не узнает, с какой стороны появится ночью луна. Сороконожку, которая к нам приползла, батетела никогда не полюбит. Бейте ее, бейте! Я ухожу от вас не по своей воле. Я сделал все, что мог. Помните: вождь, умерщвленный чужим оружием, лучше, чем тот, кто пополз на коленях к бельгийцам. Кто сказал, что я — прах? Я уношу с собой в землю семена борьбы. Я надеюсь на всходы. Батетела, я жажду всходов! Спаленная трава — отжившая. Но корни ее живы, и они дадут новые побеги. Я верю в них. Прощайте. Боритесь и верьте! Дух Нгонго Лютете всегда будет с вами. Когти отрастут, когти отрастут!.. Молодой орел будет парить, и я предвижу его взлет. Я ухожу...

И Нгонго Лютете ушел. Патрис Лумумба знал о нем лишь по воспоминаниям старших.

## ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

На родине Лумумбы — в Санкуру — считают, что только охота на крупного хищника воспитывает настоящего воина. Тот, кто отбивался от разъяренного льва, на кого свирепо набросился леопард, кто перехитрил разбушевавшегося слона, — тот не убьется ни пули, ни копья. Смерть от огнестрельного оружия кажется легкой, и глупо проявлять



трусость. О своих подвигах люди его племени не рассказывают: можно говорить о мужестве других, но не о своем. Среди таких людей провел свое детство и отрочество Патрис.

Учиться он начал, когда ему исполнилось тринадцать лет. Учителями были миссионеры. Учили счету — крокодил лежит на песке, а к нему подполз еще один с детенышем. Сколько всего крокодилов греется на камнях? Так просто! В миссионерской школе Патрис впервые услышал французскую речь — она журчала манящим ручейком. Он пристрастился к книгам.

Четыре года мальчик ходил в миссионерскую школу, а на пятый его исключили. Семья с ее растущими заботами нуждалась в помощнике. И Патрис все чаще пропускал занятия. Такой ученик был не нужен школе. Потом отец спохватился и отвез Патриса в Тунду — городок в южной части провинции Киву. Школа называлась методистской. Патриса определили к сестре, которая обучала санитарному делу. Три года изучал он новый для него предмет. Полученные знания ничего, однако, не значили: школа не давала диплома, а о фельдшерах-африканцах бельгийцы и слышать не хотели. Юноша устроился на работу в «Симате» — компании по добыче и переработке олова.

Он стал мелким клерком. Дневное время проводил в конторе, вечером отправлялся в барак, где жили рабочие, нанятые на рудники со всех концов Конго, из Уганды, Бурунди, Руанды, из Родезии и Ньясаленда, Анголы и Кабинды. Он много читал, начал сочинять стихи. Чем больше он читал французских книг, тем сильнее прожуждалась в нем тяга к литературе. Поначалу он даже почему-то считал, что настоящим поэтом или писателем может быть только француз или же человек, овладевший в совершенстве этим языком. Любовь к французскому слову он сохранил на всю жизнь. Когда его упрекали в чрезмерном увлечении всем французским, он говорил, что язык никогда не был и не будет угнетателем. Иноземная культура не может подавлять нас...

Его страстью были гуманитарные науки, которыми он овладевал самостоятельно, — ведь в Конго не было тогда ни колледжей, ни университетов. Все образование конголезской молодежи сводилось к овладению письмом, счетом и законом божьим. В последнем католические миссионеры даже переусердствовали, и некоторые африканцы в теологии не уступали своим наставникам.

Патрис Лумумба решил учиться дальше. Он успешно сдал вступительный экзамен и поступил в альбертвильскую школу железнодорожного движения. Но бросить работу было нельзя, и он учился заочно. Так прошло еще три года. Накапливались знания, приобретался опыт, а по службе продвижения не было — он по-прежнему оставался мелким клерком. В городе Кинду местные миссионеры открыли вечерние курсы, где читали философию, историю и литературу. Лумумба посещал их. В 1947 году он сдал экзамен в только что открывшуюся в Леопольдивиле школу почтовых служащих. Проучился год. Закончил одним из лучших и был направлен на работу в Стэнливиле. Но там его ждало новое назначение — начальником почтового отделения в местечке Янгамби. Теперь ему удастся поступить на заочное обучение в Парижский университет. Французский профессор обнаружил у молодого конголезца отличные математические способности, но озадачивало то обстоятельство, что его студент вместе с математическими задачами присылал и стихи собственного сочинения.

В 1949 году, покончив с карьерой почтового чиновника, Лумумба перебрался в Стэнливиле. Здесь, в Стэнливиле, окреп политический голос Лумумбы, здесь он приобрел популярность, заложил основы своей партии. Тут произошел его подлинно творческий взлет. Он сумел оказать огромное влияние на освободительное движение страны. Здесь Лумумба сблизился с некоторыми образованными бельгийцами, столкнулся с их пониманием природы, характера, психологии черного человека, которое они облекли в понятие «философия банту»<sup>2</sup>.

Теперь он знакомился с «философией банту» и одновременно с характером и психологией белого человека. Еще недавно каждый европеец казался ему богом, сошедшим на конголезскую землю. Европейцы все знали, все умели. Они делали машины, само-

<sup>2</sup> Банту — группа африканских народностей, объединенных общей языковой основой. Банту населяют бассейн реки Конго, некоторые районы Восточной Африки и юга материка. Численность банту (по разным источникам) составляет от 70 до 100 миллионов человек.

леты, корабли, велосипеды. Они строили дороги и мосты, фабрики и заводы, огромные дома и целые города. Они учили африканских детей волшебству чтения. Нет, он никогда не забудет, что белый человек научил его писать и читать, подвел его к книжной полке. Не забудет того, как белая рука отца Доминика гладила его жесткие черные волосы — так старик миссионер выражал свое расположение к прилежному ученику. Но тот же Доминик не раз повторял, что банту — это человек, подобный ребенку. Правда, в этих словах юный Патрис не видел ничего оскорбительного: ребенок ведь растет, развивается — что тут плохого?

Лучше всех осведомлены о жизни банту, их обычаях, истории и образе мышления миссионеры. Нет миссионера, который, живя продолжительное время в Конго, не владел двумя-тремя африканскими языками. Поль Лорион издал в Монте-Карло сборник песен банту. Монсеньер Малула, леопольдвильский епископ, вот уже несколько десятилетий изучает обряды конголезцев. Он записал сотни легенд. В Катанге аббат Плаксид Темплс написал книгу, которая так и называется «Философия банту». Лумумба был знаком с ним: они встречались и в Леопольдвиле и в других местах. Он сразу почувствовал, что священник-философ не просто разговаривает с ним, а пылливо изучает его: господин аббат задумал новую книгу — об африканских эволюэ<sup>3</sup>. Темплс уже третий десяток лет живет в Конго — обосновался в катангском промышленном городке Колвези, где много африканских рабочих, а все инженеры и техники — европейцы. Аббат выдвинул идею «бантуизации христианства». Суть этой идеи сводится к значительному упрощению церковного ритуала. Где, допустим, раздобыть в Африке столько органонов для церквей? И кто в африканской провинции оценит божественные звуки? Где набрать столько органистов? И по его указанию в церквях его округа вместо органонов установили огромные африканские тамтамы!

То, что сделал Темплс, вызвало шумные толки в католических кругах. Некоторым рьяным защитникам выработанных веками религиозных ритуалов подобное новшество представлялось кощунством. Однако Ватикан весьма сочувственно отнесся к деятельности катангского аббата. А реформатор пошел дальше — он ратовал за африканизацию духовенства, направлял африканцев в католические учебные заведения европейских государств.

Книга аббата Темплса содержала обширный познавательный материал. Все факты, примеры, описание жизни конголезцев верны. На что обратил внимание европейский исследователь? На первозданную простоту жизни, на детскую доверчивость африканца, на цельность и неспорченность его натуры, на обостренное чувство ко всякой несправедливости. Лумумба сам бы мог добавить сотни подобных житейских примеров.

Когда речь заходила о необходимости изгнания из страны всех белых, Патрис Лумумба не соглашался с этим. Вполне естественно, что какой-то африканец питает недобрые чувства по отношению к европейскому колонисту. На то есть причины. Почему же все африканцы должны пылать ненавистью или любовью ко всем европейцам? Право на уважительное отношение завоевывается нелегко. Если ты презираешь отдельного африканца, который заслужил презрение, то в этом еще нет ничего оскорбительного, нет проявления расизма. С какой стати европеец будет рассыпаться в комплиментах и юлить перед африканцем, которого сторонятся даже его соотечественники? Притягательной силой служит характер, душевные и умственные качества человека, а не цвет кожи, не его чин и пост, не национальность.

Однако расизм белых существует. Но нельзя забывать и о существовании расизма черного. О нем гораздо меньше говорят и пишут, но он есть, этот не менее страшный в своем примитивизме черный расизм. Иной африканец готов учинить физическую расправу над белым только потому, что тот белый. Разумеется, не каждый африканец

<sup>3</sup> Эволюэ — развитый (франц.). Так во франкоязычных странах Африки назывались африканцы, получившие образование и работавшие в колониальных учреждениях. В Конго прослойку эволюэ составляла преимущественно молодежь. Власти метрополии заигрывали с эволюэ, стремясь сделать из африканских интеллигентов свою надежную опору. Для них смягчался даже гюремный режим. В Стэнливиле еще в 1944 году была создана Ассоциация стэнливилльских эволюэ. В Конго существовали специальные пансионы для детей эволюэ. Небезынтересно отметить, что чуть ли не все политические деятели Конго вышли именно из этой среды.

подвержен этой болезни, нет ни любителей погромов в кварталах для белых вполне достаточно. Их не меньше, чем европейцев, готовых перестрелять сотни африканцев.

Закон африканской толпы жесток, как, впрочем, и повсюду. Бунты, бессмысленные и беспощадные, рождались в пучине политического и экономического хаоса, в атмосфере крушения едва порожденных надежд на полное освобождение от западного засилья, на немедленное улучшение жизни. В разгром бельгийской усадьбы отдельные группы недовольных конголезцев вкладывали всю свою ненависть к старым, колониальным порядкам, не отдавая себе отчета в том, что подобные поступки несомненными с действительно национальным освободительным движением. Из числа ранее покорных конголезцев, для которых авторитет белого человека был всегда высок, появлялись хулиганствующие элементы, мародеры и грабители, опасные не только для иностранных поселенцев, но и для самих конголезцев. Непрочность и недолговечность расистских вспышек как раз и доказывает, что в целом они чужды африканскому, конголезскому обществу. Рожденные на искусственных дрожжах, они довольно быстро пошли на спад, а невообразимо кричащий, бунтующий и протестующий против всех и вся житель Конго снова вернулся в колею нормальной жизни, с ее дисциплиной, нормами закона, требованиями африканского быта. Воспаление прошло, угроза миновала...

Патрис заинтересовался работами французского мыслителя — энциклопедиста Шарля-Луи Монтескье. Его внимание особенно привлек трактат «О духе законов». Монтескье писал: «Принципы свои я вывел не из предрассудков, а из самой природы вещей... Здесь не найдут тех крайностей, которые как будто составляют характерную особенность современных сочинений. При известной широте взгляда все крайности исчезают; проявляются же они обыкновенно лишь вследствие того, что ум писателя, сосредоточившись всецело на одной стороне предмета, оставляет без внимания все прочее... Во времена невежества люди не ведают сомнений, даже когда творят величайшее зло, а в эпоху просвещения они трепещут даже при совершении величайшего блага».

Выводить принципы из природы вещей, а не из предрассудков, вбирать в себя дух народа, дух закона, — это же и есть важнейшая составная часть «философии банту»! Но французский мыслитель, писавший двести с лишним лет назад, понятия не имел о ней! Лумумба знал, что все мироощущение африканца базируется не на отвлеченных понятиях, а на фактах. Предельная конкретность мышления испокон веков присуща жителю Африки. Витать в облаках ему несвойственно. Философ ведь не только тот, кто сочиняет книги, читает лекции в университете, пытается объяснить смысл жизни и окружающего мира. Им может быть и простой крестьянин, рассуждающий о смысле бытия. Первый бросает зерна познания в умы интеллигентов, его мысли и суждения фиксируются печатным словом. Второй и сам неграмотен, и те, кто ему внимают, — тоже. Но он — настоящий мыслитель, мудрец, и не в масштабах деревни, а порой большой округи, а то и всей провинции. Но для него выхода в широкий мир нет, потому что нет своей письменности, которая смогла бы зафиксировать парящие крылья мечты африканского диалектика. Правда, мысль Монтескье о том, что «во времена невежества люди не ведают сомнений», — чужда философии банту. Африканец всегда и во всем сомневается, у него темпераментная натура, он спорит, доказывает и опровергает, соглашается и расходится во мнениях, критикует настоящее и мечтает о будущем. Невежество — это оскотенелость, преувеличенное самомнение, отчужденность, уход в себя. А тут — всеобщее брожение умов, интеллектуальное раскрепощение, какое-то прозрение и страстное желание изменить и переделать все в этом несовершенном обществе.

«Крайность сочинений», о которых писал Монтескье, порой ставила Патриса Лумумбу в тупик. Иные европейские авторы захваливали африканцев и превращали их в ангелов, лишены недостатков. Другие благодетелями почитали европейцев. Третьи кляли на чем свет стоит и африканцев и европейцев. «Крайность сочинений» давала о себе знать...

А как падки европейские авторы на описания африканского быта, тайных обрядов! Лумумба и хохотал и возмущался, когда читал иные сочинения врачей и миссионеров об африканских свадьбах, об интимной стороне супружеской жизни, о многоженстве. Кто-то распространил такую чепуху: когда, мол, африканец хочет сделать

девушке предложение, то должен явиться к ней с печенью антилопы! Сочинять глупости о каком-либо европейском народе небезопасно: автора могут высмеять, уличить в невежестве. Об африканце можно писать что угодно. В школе Лумумба с товарищами устраивали суд над такими горе-авторами — собирались на школьном дворе, избирали «трибунал», выносили приговор. Затем книжку с небылицами об африканцах прокалывали копьем, вывозили на тачке и закапывали...

В быту у африканцев было и есть действительно немало особенного, свойственного только им. Лумумба восхищался африканскими свадебными обрядами. Сколько в них житейской дипломатии, веселья, состязания в мудрости и остроумии, песне и танце! В них — сама Африка.

Если парню приглянулась девушка, то он направляется к ее отцу со своими родственниками. В хижине накрывают стол, подают вареную курицу. Невеста усаживается рядом с женихом. Все сосредоточенно смотрят на нее: дотронется она до курицы или нет, съест ли она кусочек? Напряжение спало: девушка потянулась за курятиной. Слава богу — она невинна! Если же она не притрагивается к пище и смущенно озирается по сторонам, — значит, был грешок. В таких случаях невеста встает из-за стола, а за ней и жених. Они уединяются и беседуют. Теперь все зависит от решения жениха: если он сочтет объяснение удовлетворительным, то они возвращаются в дом и во всеуслышание заявляют о взаимном согласии жить вместе. Бывают и случаи обмана. Невеста смело берется за курочку, давая понять, что с ее девичьей честью все обстоит благополучно. Однако первая же брачная ночь вносит поправку. Оказывается, избраннице не следовало есть курицу. Обманутый жених направляется к отцу невесты и выкладывает ему свои претензии. Дело оборачивается скандалом. Жених в полном согласии с традициями вправе выпроводить из своего дома обманщицу. Позор падает на весь род невесты. Жители деревни высыпают на площадь. Ораторам нет числа. Родственники жениха поносят на чем свет стоит всю генеалогическую ветвь невесты. Преднесенные накануне дары отбираются: со двора отца невесты угоняется скот, приведенный вчера женихом, из плетенок матери невесты извлекаются платья, сорочки и отрезы. В тяжелом положении может оказаться тесть, если деньги, принесенные женихом, истратил, а расплатиться нечем...

Свадьба самого Лумумбы была благополучной и торжественной. Его избранница Полин Опанга покорила всех скромностью, учтивостью, умением вовремя сказать нужное слово. Это произошло в 1952 году. Лумумбе было двадцать семь лет. Свадьбу праздновали дважды — в Стэнливиле и в родной деревне Патриса — Аналуа.

...Патрис начал собирать материалы для собственной книги об африканцах. Ему есть что рассказать и есть о чем поспорить с оравой европейских дилетантов, выдающих себя за знатоков Африки. Нужно правильно понимать факты, «природу вещей», как писал Монтескье. Ведь в Европе все еще удивляются, почему африканцы ходят в одних набедренных повязках...

Друг Лумумбы Морис Мполо рассказывал, как много надо положить труда, чтобы приучить солдат носить обувь. При первой же возможности солдаты снимают ботинки, вешают их на штык и совершают многокилометровые переходы босиком. Настоящий африканский охотник никогда не пойдет в лес обутым: голая нога ступает мягко на землю, покрытую листьями и сушняком, и охотник бесшумно может приблизиться к хищнику на близкое расстояние. К слону, стоящему против ветра, можно подползти вплотную и рубануть мачете по сухожилиям задних ног. Слон беспомощно оседает, вертится на одном месте, и африканец добивает его.

Признаком отсталости считалось и то, что в африканском лексиконе отсутствуют слова «колесо», «колодец», «телега». Но если нет лошадей, то зачем обзаводиться телегами и колесами? Африканцы все грузы переносят на себе. И колодцы не нужны: питьевой воды вполне достаточно и без них. В самом конце прошлого века бельгийцы расписывали «конголезских дикарей», тысячами согнанных на строительство железной дороги Леопольдвиль—Матади, первой стальной магистрали в колонии. Подрядчики привезли тачки; их до этого в глаза не видел ни один конголезец. Они наполняли тачки землей или щебенкой, ставили на голову и несли в указанное место. Когда появились электрические карманные фонарики, то образованные бельгийцы насмерть запугивали ими африканцев. Те боялись фонарей пуще огнестрельного оружия. Подой-

дет цивилизованный господин к африканской хижине в то время, когда там все спят, и начинает щелкать огненной игрушкой. Ночь, ничего не видно. В хижине поднимается паника. Семья выбегает наружу. Раздаются крики о спасении. А визитер заливается хохотом, довольный, что выискал еще одно доказательство мнимой дикости африканцев...

О, что за тяжкое бремя выпало на долю несчастной Бельгии! Угораздило же ее быть опекуном и наставником такого первобытного народа! Голгофа, а не колония! Нет, Бельгия не ~~наживается~~ за счет Конго: наоборот, она отдает чуть ли не последнее, чтобы цивилизовать конголезцев...

Один бакалавр — специалист по колониям — в своем ученом труде доказывал, что Бельгия в Конго начала с нуля, она-де создала конголезское общество без расовой дискриминации; что конголезская демократия сливается с традиционной бельгийской; Бельгия не намерена нарушать африканские традиции: она поддерживает клан как основу конголезского общества; что в бельгийско-конголезской коммуне вожди племен занимают почетное место. Бельгия в высшей степени уважает взгляды и обычаи банту...

Истинная же суть бельгийской колониальной политики была такова: конголезское общество должно застыть, законсервироваться, очистившись от некоторых недостатков, шокирующих цивилизованных европейцев. Пусть африканец остается в саваннах и джунглях. Пусть он слепо подчиняется вождю деревни и племени: бельгийские франки сделали свое дело и в лояльности большинства вождей сомневаться не приходится. Африканец покорен властям тогда, когда он живет в своей хижине. В этом случае он не утрачивает своих добрых качеств. Его развращает городская обстановка. По своей природе африканцы — ораторы. Дай им волю, и они будут митинговать сутками, забросив свои занятия. Европейца образование возвышает, африканца оно портит...

Леопольд Сенгор, поэт, философ и государственный деятель Сенегала, в своих эссе о негритуде тоже доказывает существование особого мира африканской души, отмечает ее непохожесть на другие. Африканские интеллигенты учились и учатся на книгах Сенгора. Каждая его новая работа превращается в предмет острых споров. Ему принадлежит тезис об отсутствии классов в африканском обществе. Он утверждает, что до прихода европейцев уклад жизни в странах Африки был социалистическим. Сенгор неустанно доказывает: движущей, определяющей силой общества служит духовная деятельность человека.

Сенгор призывает к «спасению черной души». Надо лишь разбудить в ней энергию, придавленную колонизаторами, разбудить эту душу, пропитанную мистикой, то есть духовным началом. Он доказывает, что африканец больше интересуется духовной пищей, чем земной. В этих теоретических построениях не так уж трудно увидеть недостатки и достоинства, положительные и отрицательные моменты. Сенгор — вдохновенный певец африканской природы, его учение вселяло уверенность в великое назначение черного человека, которому мешает подняться во весь рост колониализм.

Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр поддержал теорию негритуды и принялся истолковывать ее с позиций просвещенного европейца. Он призывал понять африканца, пойти навстречу ему в его исканиях и чаяниях. Высказанное Киплингом распространенное мнение о том, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток и им никогда не встретиться, — в современных условиях не устраивало ни европейцев, ни африканцев. История властно диктовала взаимное сближение, а оно могло прийти лишь с предоставлением независимости угнетенным народам Черного континента. О помыслах африканцев говорилось и в стихотворении поэта Лумумбы:

Пусть берега широких рек, несущих  
В грядущее свои живые волны,  
Твоими будут!  
Пусть жаркое полуденное солнце  
Сожжет твою печаль!  
Пусть испарятся в солнечных лучах  
Те слезы, что твой прадед проливал,  
Замученный на этих скорбных нивах!  
Пусть наш народ, свободный и счастливый,  
Живет и торжествует в нашем Конго,  
Здесь, в самом сердце Африки великой! <sup>4</sup>

<sup>4</sup> Стихи даны в переводе П. Антокольского.

Лумумба много читал. Книги западных авторов раскрывали перед ним историю и характеры европейского человека, и это спасало его от одностороннего подхода при оценке деятельности Бельгии на его родине. И Бельгия неодинакова, как неодинаковы Англия, Франция, Соединенные Штаты и другие страны. Как же можно говорить о философии банту, если нелепо представлять политику или мировоззрение бельгийского народа как нечто единое и монолитное? Банту проживают не только в Конго, но и во многих других районах африканского континента. Банту Конго лишь понаслышке знают о банту Уганды, Кении или Танганьики. Банту Центральной Африки отличаются от банту Восточной или Западной Африки не меньше, чем фламандцы от валлонов. Само понятие банту — совершенно условное, введенное в употребление для удобства. В одной семье бывают люди с совершенно разными характерами и взглядами. Что же сказать о банту, коих миллионы во всей Тропической и Южной Африке?

Он приходил к выводу, что нельзя противопоставлять Африку Европе, несмотря на огромный вред, нанесенный Черному континенту европейскими поселенцами. Лумумба сказал: «Наше движение не означает бунта против белых. У нас один-единственный враг — колониализм, а вовсе не люди-европейского происхождения».

Во что-то доброе бельгийское Патрис Лумумба верил, хотя вера эта изо дня в день потихоньку подтачивалась и таяла. Но он все же долгое время считал, что без Бельгии Конго не сможет нормально развиваться и существовать. В пятидесятых годах в Стэнливиле его взгляды прошли испытание.

В городе было создано землячество батетела, Лумумбу избрали президентом. Но рамки этой общины, родной и близкой, оказались ему тесными, консервативными. Он все больше укреплялся в сознании того, что конголезцам надо объединяться не по племенному признаку, а на более глубокой и широкой основе — в масштабах всего Конго. Выступая на митингах, он говорил о пальцах руки, сжатых в крепкий кулак...

В Стэнливиле, работая кассиром пивоваренного завода, Лумумба на пожертвования конголезских патриотов основал газету «Ухуру» — «Свобода». Материалы в ней публиковались на двух языках — суахили и французском. Затем стал издавать еженедельник «Индепенданс». В этот период он много писал: статьи для газет и журналов, стихи, которые отправлял в Леопольдвиль, Брюссель, Париж

В 1956 году Лумумба с группой конголезцев побывал в Брюсселе. Перед Всемирной выставкой, открытие которой готовилось в брюссельской столице, шла усиленная идеологическая обработка африканцев. Эта тактика заигрывания угнетателей с угнетенными проявилась в том, что Лумумбу приглашали министры, лидеры бельгийских политических партий. Как-то ему предложили высокий пост в министерстве колоний. Он отказался. Предлагали быть бургомистром Леопольдвилля. Но и на это он не согласился. Тогда колониальные власти испробовали другой метод — Лумумбу обвинили в попытках «подорвать основы существующего порядка» в Конго и арестовали. Он отбыл шесть месяцев предварительного заключения. Первое знакомство с колониальной тюрьмой состоялось. Выйдя из заключения, Лумумба собирает своих единомышленников и обсуждает с ними устав и программу новой политической партии — Национальное движение Конго (НДК). Она заявила о себе в октябре 1958 года.

Вскоре Лумумба вместе с другими конголезскими патриотами опубликовал манифест с требованием независимости для Конго уже в 1960 году. С этого момента началась кампания колонизаторов против «учеников Нкрумы и Секу Туре», против «конголезских коммунистов». Лумумба несколько раз выступал в Леопольдвиле: нигде еще он не собирал такой большой аудитории. И всюду он проводил мысль о едином и суверенном Конго. Это требование поддерживал и лидер партии Абако<sup>5</sup> Жозеф Касавубу.

На митинге в общине Калуму Лумумба заявил:

— Бельгийский колониальный режим переживает в настоящий момент самый острый кризис за все время своего существования. Бельгия не в состоянии справиться с национальным движением миллионов конголезцев. Ее африканская политика зашла в тупик. В одном Леопольдвиле насчитывается около двадцати пяти тысяч безработ-

<sup>5</sup> Абако — Ассоциация народа баконго по унификации и сохранению языка киконго. Основана в 1950 году Эдмундом Нзезе-Ланду. С 1955 года президентом Абако стал Жозеф Касавубу, который вскоре превратил Абако в крупнейшую политическую партию

ных. Они не получают никакого пособия. Правда, сердобольная администрация находит выход из положения в том, что за свой счет — подумайте, какое разоренье! — покупает билеты этим нищим людям, чтобы они отправились в провинцию. А что ждет их на родине? Конголезца изгоняют из родной столицы. Нашу Киншасу хотят превратить в город белых. Оказывается, мы с вами мешаем благополучию господ капиталистов. Что нам делать в такой ситуации? Выход в борьбе, дорогие соотечественники! Высылка африканцев — это провокация с негодными средствами и целями. Полицейские сейчас заняты переписью иноплеменных, они пока что оставляют в покое жителей Баконго. Таким образом, бельгийцы намерены поссорить национальности нашей страны и учинить межплеменную резню. Братья, держитесь вместе! Все мы — сыны и дочери единого Конго. Перед нами один враг. Кто из вас поверит, что колонизаторы лучше относятся к народу баконго, чем к другим национальностям?

Полицейские схватили Лумумбу, отвезли в участок, но вскоре выпустили. Репрессии властей усиливались. Конголезская газета «Конго», выходящая в Леопольдвиле, была запрещена. Полиция рыскала в африканских кварталах.

В ноябре 1959 года Лумумба был снова арестован. Это произошло в Стэнливиле. Полицейские шпики давно охотились за Патрисом. На одном из собраний провинциального отделения партии Национальное движение Конго разразился скандал. в зал были подсланы провокаторы. Началась свалка. Полицейские применили оружие. Свыше пятидесяти конголезцев было убито, около двухсот ранено. Лидера НДК объявили подстрекателем, который требованиями немедленного предоставления независимости подбивает конголезцев к выступлению против «законной власти». Одновременно компания «Браконго», занимающаяся производством пива, где работал Лумумба, предъявила ему денежный иск. Лумумба был приговорен к шести месяцам тюрьмы и направлен в Катангу — в тюрьму города Жадовиля.

Идея бельгийско-конголезской коммуны терпела полное фиаско. Конголезец требовал не опекунства, не снисходительного отношения к себе, а свободы и суверенитета. Вопрос о равенстве, рассматриваемый ранее как проявление наглости отсталых банту, в новой ситуации становился правомерным и ложился на стол переговоров между ответственными деятелями Бельгии и Конго.

## ПИРОГА КОНГОЛЕЗСКОЙ ЖИЗНИ

Летом 1959 года в партии Национальное движение Конго произошел раскол. Жозеф Илео, Альфонс Нгувулу, Сирил Адула и Альбер Калонжи, входившие в состав руководства партии, обвинили Лумумбу в «узурпировании власти» и демонстративно вышли из НДК. Альбер Калонжи, возглавив отколовшуюся группировку, направил свои усилия на то, чтобы обосноваться в конголезской столице и шумными демонстрациями своих приверженцев доказать колониальным властям, сколь велик авторитет лидера, противопоставившего себя Лумумбе...

Многие партии в Конго называли себя социалистическими, народными, патристическими, африканскими и т. д. Каждое племя старалось не отставать от другого. Возникли: Партия защиты народа лулуа, Объединенное движение басонге, Коалиция касайцев. Союз народа баянзи, Объединение племени монго. К 1960 году было зарегистрировано более сорока политических партий! Дробность течений и направлений была поразительной.

В провинции Леопольдвиль в апреле 1959 года возникла Партия африканской солидарности. Главенство Абако в этой провинции было поколеблено. Жозеф Касавубу тут же направил своих представителей к председателю новой партии Антуану Гизенге, с тем чтобы выработать единую программу действий. Партия африканской солидарности не спешила с ответом. Она заняла выжидательную позицию.

Вожди племен и президенты партий получили возможность высказать свои взгляды на страницах печати. Абако заявила о своем намерении объединиться с соседним Браззавильским Конго. Жозеф Касавубу в это время сблизился с Панзу Фумукула — королем племени баяка. Тот выступал за немедленное изгнание всех европейцев, и в первую очередь бельгийцев. В сложном политическом водовороте можно было, однако,

уловить некоторые закономерности: о них писала выходящая на французском языке газета «Авенир», издающаяся бельгийцами. «Прежде всего следует отметить,— констатировала газета,— что патернализм не оправдывает себя и что Бельгия сохранит в запасе козыри на будущее, если согласится обдумать свое отношение к имеющимся в настоящий момент перед ней двум диаметрально различным течениям общественного мнения в Конго. Предельно четкий раздел пролегает между теми, кто посматривает на Аккру, и теми, кто в отчаянии обращается к Бельгии».

Аккру вспоминали частенько. В глазах колонизаторов Гана при Кваме Нкрума была олицетворением нового африканского государства, которое намерено последовательно бороться с засилием империалистов и постепенно вытеснить позиции сильнейшего британского хищника. Коммунистический ярлык приклеивался к ней ради того, чтобы отпугнуть от подобного направления конголезцев, раздумывающих над выбором пути. Да, многие видели будущее Конго в тесном союзе с Бельгией. Перед независимостью ни одна политическая партия в Конго не выступала за разрыв бельгийско-конголезских отношений.

Незрелость политического движения в Конго — результат исторического процесса, который происходил в этой отсталой стране. К руководству партиями пришли клерки средней руки. Почти все они длительное время вращались в бельгийской сфере обслуживания и без опекунов Бельгии не мыслили своего существования. Клерк компании или банка отрывался от родной почвы: он ушел из деревни или города, оставил семью, его воспитавшую, и в значительной степени утратил, растерял характерные черты своего народа. Образование у него жиденькое: он ничему серьезно не учился. Бельгийские курсы и школы, куда принимались конголезцы, лишь готовили служащих, пригодных для отправления ежедневного сервиса в колониальной стране. Ходячие лозунги подхватывались всеми, и трудно было составить точное представление о политических взглядах президентов и генеральных секретарей возникших партий. Все объявляли себя борцами против колониализма, патриотами и националистами. В националистах ходили и те, кто выступал за единое Конго, и те, кто стремился обособиться и создать республику или империю одного племени. Была слепая вера в слово, в заявление, в резолюцию. Волна митингов и собраний захлестнула Конго. Публика поддерживала ораторов, критиковавших существующие порядки: ими никто не был доволен. Патриотом и националистом зачастую слыл наиболее крикливый лидер.

В мае 1959 года партия Национальное движение Конго опубликовала свою первую программу. В ней говорилось о ликвидации бельгийской колонии и создании независимого демократического государства Конго, о проведении всеобщего голосования. Программное заявление партии осуждало расовый подход к разрешению национального вопроса. В экономической части программа предусматривала пересмотр статуса монополий и компаний, введение твердой заработной платы для конголезцев. Шла речь и о «разумном уважении» европейских вложений в конголезскую экономику. Национальное движение Конго разработало программу социального обеспечения трудящихся, о чем ни слова не было в программах других партий. Был выдвинут лозунг об обязательном школьном обучении. Значительное место отводилось работе партии с молодежью, привлечению к движению женщин. Съезд партии, проходивший в городе Лулуабурге, в резких формулировках осудил федералистские тенденции, проявляющиеся в тактике многих союзов и организаций.

При оценке программы партии Национальное движение Конго следует исходить из конкретных условий, в которых оказалась эта страна при переходе от колониального статуса к независимости. Конечно, ее нельзя назвать революционной или социалистической. Но по сравнению с программными заявлениями других политических группировок задачи, выдвинутые Лумумбой и его сторонниками, отличались известным радикализмом, что было значительным шагом вперед по пути углубления всего освободительного движения в Конго. Требования о необходимости проведения демократических преобразований, о предоставлении подлинной независимости, о единстве и солидарности всех племен и народов, населяющих эту огромную страну, возвышали Национальное движение Конго над другими объединениями и превращали эту партию в наиболее передовую в тех исторических условиях, делали ее общеконголезской, общенациональной.



Особое место в партии Лумумбы, в ее повседневной деятельности отводилось установлению контактов с прогрессивными политическими партиями других африканских стран. Можно сказать, что ни одна партия Конго, кроме лумумбистской, не имела таких широких связей с национально-освободительным движением на африканском континенте. Все это вместе взятое приводило к тому, что Национальное движение Конго пользовалось наибольшим авторитетом и влиянием как внутри страны, так и за ее пределами.

Национальное движение Конго наживало врагов внутри страны.

Наживало потому, что партия Лумумбы была единственной, провозгласившей общенациональные принципы, которые исключали местнические интересы. Деятельность активистов из партии Национальное движение Конго в провинциях, многочисленные публичные выступления самого лидера вызывали недовольство тех конголезских руководителей, чьи партии формировались в самый канун независимости и несли на себе груз большого или малого сепаратизма.

Как сочетать общеконголезское с местным, мелким и дробным, центробежным и разбедующим? Как удовлетворить амбиции вождей деревни, района, округа, племени? Во время встреч с вождями всех степеней разговор в конце концов выливался в довольно откровенные претензии: а что будет иметь он, повелитель сотни, тысячи или десятков тысяч африканцев, при независимости? Не будет ли он вышиблен из седла при своей, конголезской власти? Как сочетать институт вождей с органами будущей центральной администрации? Это же — антиподы! И как в такой ситуации удовлетворить всех? Многие вожди поддерживали партию Лумумбы, его программу лишь при условии, что и они не будут забыты... при предстоящем дележе постов. Не так-то просто было разобратся в вопросе о том, кто объединился с Лумумбой из высоких идейных побуждений, а кто подходил к его требованиям с меркантильно-чиновничьей меркой

Лумумба штудировал историю создания крупнейших политических партий в европейских странах. В большинстве своем они отражали интересы тех или иных классов: буржуазная, рабочая, крестьянская, партия интеллигенции. В каждой из них были правые и левые, прогрессивные и консервативные течения — все это естественно и понятно в европейской действительности. В Конго, как, впрочем, и во всей Африке, подобные деления не существовали и не могли существовать. В своем развитии конголезское общество не достигло того уровня, когда бы можно было говорить о резко очерченных классовых перегородках. В формирующейся нации и классы лишь начали формироваться.

Любая конголезская партия отражала не интересы какого-то определенного класса, а несла на своих знаменах общую идею борьбы с бельгийским колониализмом и требование независимости. Бесспорно, эти лозунги имели прогрессивное значение, в особенности — до предоставления суверенитета. Логика политического развития событий подсказывала, что рано или поздно конгломерат партий, союзов, альянсов и ассоциаций в Конго подвергнется серьезному испытанию после провозглашения независимости.

Идеологическая шаткость трибалистских партий, то есть партий того или иного племени, их стремление поставить интересы своей народности над общенациональными, конголезскими, таили в себе определенную опасность перерождения и перехода в иной лагерь, враждебный всему Конго. Так и случилось впоследствии: многие трибальные группировки, порвав с национальными интересами, вступили в прямой союз с колонизаторами, помогли бельгийской агрессивной машине подавить национальное движение, разгромить партию Лумумбы, устранить ее лидера с поста премьер-министра

Все это произойдет потом. А сейчас надо было идти вместе! Как гласит африканская поговорка, если нет кремня, то огонь надо добывать при помощи двух палочек...

Жозеф Касаубу, постоянно сидевший в Леопольдвиле, приглашал лидеров наиболее влиятельных политических партий в столицу, вырабатывая с ними общую программу действий. Касаубу претендовал на исключительное положение своей партии, единственно имеющей якобы право вести переговоры с бельгийским правительством от имени всего Конго. Любое посягательство на это право встречалось в штыки. Появление новых партий причиняло беспокойство руководству Абако, и оно всячески

стремилось подчинить себе их руководителей. Сам Касавубу смотрел скептически на возможность создания единой конголезской партии, как и единого Конго.

Летом 1959 года Патрис Лумумба предпринял большую поездку по стране. Среди руководителей Национального движения Конго были представители многих племен — это отличало партию Лумумбы. Впервые в Конго так широко распространялась идея национальной общности, ломавшая межплеменные перегородки, выбивавшая опору у региональных образований. С кем он только не встречался! С политическими противниками и единомышленниками, с вождями и крестьянами, с европейцами и азиатами, банкирами и нищими, с рабочими и безработными, с женщинами и школьниками, с учителями и врачами, с охотниками и лесорубами, с колдунами и простыми смертными. Во многих местах митинги, на которых выступал Лумумба, заканчивались созданием отделения партии Национальное движение Конго, и тут же избирались его руководители. Лумумба вступал в контакты с вождями племен, и те обещали ему полную поддержку в предстоящих выборах.

— Мы не можем огульно осуждать все действия вождей, — говорил Лумумба в Стэнливиле. — Мы отдаем себе отчет в том, что некоторые свои поступки вожди совершали под нажимом колониальных властей. Я думаю, что большинство вождей — националисты и им ближе интересы нашего народа, чем интересы бельгийской администрации. Вожди должны перейти на сторону Национального движения Конго. Наша партия протягивает им руку.

Побывал Лумумба и в родной стороне. Здесь встретили Патриса восторженно. На митинг собралось несколько тысяч жителей. Его приветствовал верховный вождь Катако-Комбе Пене Сеньха, товарищ его детских лет. Он сказал:

— Я обращаюсь к Патрису с просьбой принять меня в члены его партии. Я готов выполнять все указания, готов сотрудничать с Национальным движением Конго.

Патрис был растроган. Они обнялись с Пене Сеньха под неистовые выкрики толпы. Здесь Лумумба впервые увидел в таком огромном количестве свои портреты. Его фотографии продавались во всех магазинах. Мальчишки на улицах носили их лачками и предлагали прожогим. Не хватило членских билетов: их раскупили моментально. Целые деревни и районы объявляли себя сторонниками Лумумбы. Наиболее сильные позиции Национальное движение Конго завоевало в Восточной провинции и в провинции Касаи. Генерал-губернатор, опасаясь активных действий населения, ввел жестокое положение в центрах этих провинций — Стэнливиле и Лулуабурге. Командующий «Форс публик»<sup>6</sup> бельгийский генерал Янсенс вылетел в Стэнливиле. Лумумбистское движение, не успев окрепнуть, принимало на себя удары карателей.

События в бельгийской колониальной вотчине нарастали. Все крупные политические партии метрополии и колонии открыто выступили за провозглашение независимости. Губернаторство в Леопольдвиле и официальные власти в Брюсселе вынуждены были считаться с этим обстоятельством. Теперь за африканцами признавали силу. «Шахматная игра, где фигуры черных не уступают фигурам белых» — так характеризовал положение дел бельгийский журнал «Пуркуа па?».

В этих условиях Брюссель решил созвать Конференцию круглого стола с участием конголезских лидеров. В начале января 1960 года начальник жадовильской тюрьмы вошел в камеру заключенного Лумумбы и сообщил о декрете: в Конго освобождаются из-под ареста все лидеры политических партий и организаций. Лумумбу ждала автомашина, доставившая его в аэропорт. Невообразимая спешка! Не с кем поговорить, обменяться мнениями, проинформироваться. Суматоха сборов в Леопольдвиле, снова аэропорт, самолет взял курс на Брюссель...

Четырнадцать партий Конго прислали сюда своих представителей. Наиболее влиятельным партиям Конго колониальные власти противопоставляли дробные организации из провинций, а также вождей племен. Положение осложнилось еще больше в связи со странной тактикой Абако. Жозеф Касавубу, выступавший ранее за созыв брюссельской конференции, вдруг начал резко критиковать ее. За этим последовал демонстративный уход делегации Абако с заседаний уже открывшейся конференции.

<sup>6</sup> «Форс публик» — «силы поддержания общественного порядка», созданные в Конго бельгийскими колонизаторами для подавления национально-освободительного движения. До независимости «Форс публик» насчитывали 20—25 тысяч человек.

Касаубу всегда переоценивал значение своей партии. Он ошибался, подчеркивая исключительное положение провинции Леопольдвиль в колонии. Касаубу был одержим идеей немедленного формирования провинциального леопольдвильского правительства, во главе которого стоял бы он. Сколько можно быть бургомистром одной столичной коммуны? Касаубу считал само собой разумеющимся, что править страной будет тот, кто возьмет власть в провинции Леопольдвиль. Лумумба решил с ним объясниться. Он терпеливо доказывал, что бойкотировать конференцию — значит наносить удар по освободительному движению, развязывать руки колониальным властям, давать им повод снова поднять шум о «неподготовленности» конголезцев к самоуправлению.

Лидер Абако длительное время не присутствовал на конференции. Наконец появился и сел бок о бок с катангским вождем Мунонго. Делегация Национального движения Конго соседствовала с группой Монза Чомбе...

Конференция круглого стола, открывшаяся в январе 1960 года и затянувшаяся до середины февраля, определила дату провозглашения независимости: 30 июня 1960 года. Конголезцы одержали верх еще в одном деликатном вопросе: они отказались признать короля Бодуэна главой нового африканского государства. Конго будет республикой!

В мае 1960 года в Конго состоялись первые всеобщие выборы. Они подтвердили, что абсолютное большинство партий и союзов не смогло выйти за рамки регионально-этнического деления. Значительных успехов добились сторонники Патриса Лумумбы, но и у них наиболее сильные позиции были только в двух провинциях — Восточной и Касаи. Национальное движение Конго в Восточной провинции получило в парламент 56 мандатов из 70. В Касаи, чтобы противостоять Калонжи, партия Лумумбы выступила в союзе с организацией племени басонге и коалицией касайцев. Этому тройственному объединению удалось провести в парламент 25 человек. Неожиданными оказались результаты выборов в провинции Леопольдвиль: Абако получила 33 места, уступив первенство Партии африканской солидарности, завоевавшей 35 мест. Национальное движение Конго довольствовалось лишь двумя местами от этой провинции. В провинции Экватор Лумумба собрал больше голосов, чем другие партии, но меньше, чем независимые кандидаты. В Катанге партия Лумумбы не провела в парламент ни одного своего кандидата. В провинции Киву большинство голосов собрала партия Кашамуры. Пробельгийские группировки потерпели поражение.

Итоги выборов повергли в растерянность многих лидеров. Абако, влияние которой в Нижнем Конго ни у кого не вызывало сомнений, не смогла добиться успеха в своем родном крае! Жозеф Касаубу срочно созвал совещание руководителей партии — оно приняло решение отказаться от участия в провинциальном правительстве Леопольдвилья Касаубу снова закапризничал. Он понимал, что самой влиятельной в стране стала партия Патриса Лумумбы, которому по праву поручено сформировать первое в Конго африканское правительство. В свою очередь, Лумумба ясно представлял значение партии Абако в Нижнем Конго, роль Жозефа Касаубу в освободительном движении

...Для Лумумбы этот день был памятным: он решился на важный шаг — предложил пост президента Конго Жозефу Касаубу. Одна его фраза перевернула в этом человеке все, сняла у него все сомнения и претензии к другим партиям.

— Я пришел сообщить вам, господин президент, что центральное правительство сформировано...

Он — президент! В порыве благодарности Касаубу припал на колени, голос его дрожал. Оправившись от волнения, он привстал и принялся пожимать руки Лумумбы. Трудно было начинать деловой разговор, но, как выяснилось, в нем и не нуждался Касаубу, сказавший, что он целиком и полностью доверяет Лумумбе. Конголезская пирога высокочила наконец из заводи!

Пост вице-премьера занял Антуан Гизенга. Из двадцати трех министров, вошедших в кабинет Патриса Лумумбы, восемь представляли партию Национальное движение Конго. Жозеф Касаубу проголосовал за состав правительства, в котором был один абаковец — министр финансов Нкайи Паскаль!

29 июня только что созданное правительство подписало свой первый внешнеполитический документ — договор о дружбе с Бельгией. В нем была одна важная

статья, гласившая: «Всякая военная интервенция бельгийских сил, размещенных на базах в Конго, может иметь место только по ясно выраженной просьбе конголезского министра национальной обороны».

Этот пост принадлежал главе первого конголезского правительства.

### ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ

Бывшая резиденция бельгийских властей стала называться Дворцом Наций. Различные службы, отжившие свое время, переводились в другие районы Леопольдвилля. Вместительное новое здание на берегу реки Конго было предоставлено в распоряжение правительства, сената, палаты представителей. Бельгийский буфетчик обслуживал конголезских избранников, а у входа по-прежнему стояли бельгийские полисмены. Но это обстоятельство уже никого не смущало: во Дворце Наций распоряжались все новые хозяева.

Заботы дня должны были укрепить шаткую политическую коалицию, воплотившуюся в центральном правительстве, в первом конголезском кабинете. Были минуты отчаяния, когда Лумумба видел, как вырывались на простор центробежные силы, готовые разорвать на куски страну. Во многих районах идея единого Конго совершенно не воспринималась. Больше того, в ней усматривали главное препятствие на пути осуществления давних стремлений племен и народностей к самостоятельному существованию. Руководители микроскопических групп, несмотря на их фанатическую приверженность к обособленности, несмотря на боязнь, что их племя будет проглочено гигантским государством и растает среди других, неведомых и враждебных, все же составляли отряд националистов, выступающих против колониального угнетения.

За слом бельгийской системы вели борьбу и крупные партии и незначительные. Расхождения начинались уже при обсуждении вопроса о государственном строе, о характере будущих связей между племенами. И вот тут представители мелких племен в лице своих руководителей проявляли поразительную приверженность к сепаратизму. Психологически и исторически понять такую позицию не так уж трудно. Колонизаторы в какой-то степени считались с крупными народностями и их вождями: россыпь мелких племен сбрасывалась со счетов. Обезличенное, обреченное на вымирание племя угнеталось не только бельгийцами, но терпело притеснения и со стороны соседних, более крупных. Парадоксально, но факт, что многие этнические образования обращались за помощью к бельгийцам и жаловались на «угнетателей-конголезцев». Они-то больше всего боялись объединения, видя в нем... новую форму угнетения. Руководители родо-племенных партий стремились к созданию отдельного государства или республики под всепасающей эгидой Организации Объединенных Наций. С центральным правительством они готовы были установить договорные отношения, основанные на «равенстве сторон»...

Лумумба терпеливо и настойчиво разъяснял позицию своей партии как общенациональной, у которой сочетаются интересы единого Конго с заботой о каждом отдельном племени. В ответ выдвигалось требование: раз это так, то включите в состав правительства нашего лидера. Не важно, что его никто не знает за пределами трех или пяти деревень. Племя, представитель которого не входил ни в провинциальное, ни в центральное правительство, считало себя обиженным, бунтовало, срывало общие мероприятия.

Лумумбе не могли простить, что восемь министров в правительстве — из его партии, хотя конституционные правила были соблюдены полностью. Треть конголезских избирателей отдала свои голоса партии Национальное движение Конго — треть постов она получила в кабинете. Расхождения обнаружились между политическими лидерами, с которыми Лумумба вел длительные консультации по вопросу о сформировании правительства национального единства. Капамура опротестовал кандидатуры Моиза Чомбе и Альбера Калонжи. «Надо подумать», — заявил Антуан Гизенга. Среди сторонников Лумумбы не было единой точки зрения относительно этих кандидатов в министры. Одни настаивали на том, чтобы включить в состав кабинета и Чомбе и Калонжи, обосновывая такой шаг следующими соображениями: Калонжи — фигура

скандальная, но лучше ввести его в правительство и дать ему какой-либо второстепенный министерский пост. Потом, когда обстановка стабилизируется, от него можно будет избавиться. Калонжи связан с алмазной компанией мирового значения, он пойдет наговор с промышленниками и может выкинуть любой трюк, направленный против центральной власти.

Чомбе также одиозен, но надо, пусть временно, заставить явного сепаратиста работать на единое Конго, предоставив ему министерский пост в центральном правительстве. Перетащить Чомбе из Катанги в Леопольдвиль — значит ослабить стремление этой провинции к обособлению. Нет, утверждали другие, ни Чомбе, ни Калонжи вводить в правительство не следует, потому что тогда большинство его будет состоять из представителей сепаратистских движений, каковых и без этих господ вполне достаточно. Кабинет в таком случае не станет органом, выражающим идею единого Конго. Кабинет министров и без того раздут. Ввод в правительство Чомбе и Калонжи вытеснит кандидатов от националистических партий и ущемит их права, завоеванные в ходе майских выборов.

Лумумба согласился с этими аргументами.

Итак, в первое правительство Конго входили министры, отличающиеся крайне правыми и крайне левыми взглядами. Патриса Лумумбу уже тогда причисляли к коммунистам, правда, по недоразумению: коммунистом он никогда не был. Но к какой идеологии причислить Унисета Кашамуру, который был левым из левых и порой критиковал Лумумбу за его терпимое отношение и к бельгийцам и к лидерам сепаратистских партий?

Это был боец! В провинции Киву он наводил ужас на бельгийских колонниалстов. В этой конголезской Швейцарии, где каждый европеец чувствовал себя царем и богом, Кашамура провозглашал социалистические лозунги: национализация частной собственности европейцев, создание единого конголезского банка, запрещение обосновываться на землях Киву вновь прибывающим колонистам, повышение заработной платы рабочим, введение демократических институтов. Партия Кашамуры имела региональное значение, но она направляла свои атаки против мощного промышленного синдиката «Национальный комитет Киву», который играл в провинции Киву роль «Юнион миньер» в Катанге.

Кашамура сошелся во взглядах с Пьером Мулеле, занявшим пост министра просвещения. Мулеле считался теоретиком Партии африканской солидарности и был заместителем Антуана Гизенги. В злобном памфлете «Проникновение коммунизма в Конго», состряпанном колониальными публицистами, Пьер Мулеле характеризовался как человек, следующий учению марксизма-ленинизма и потому представляющий «угрозу обществу».

Интересной фигурой в кабинете был Морис Мполо, министр по делам молодежи и спорта. Он приходил на заседания и совещания в военном мундире: в «Форс публик» он дослужился до старшины — высшего звания для конголезца. До знакомства с Лумумбой Мполо мечтал о создании автономной республики со столицей в городе Инонго, где он родился. Но «автономная республика» была для него лишь формой борьбы с колониальным режимом. Мполо вступил в партию Патриса Лумумбы и стал ее активным деятелем. Среди солдат он пользовался большим авторитетом.

По европейской традиции была отдана дань уважения филиалу Лувенского университета, открытому незадолго до независимости в Леопольдвиле, представитель которого Томас Канза стал полномочным министром Республики Конго в ООН. Он окончил университет в Бельгии, затем учился в Гарвардском (США). Первый конголезец с европейским университетским дипломом, единственный в то время человек в правительстве с высшим образованием. Автор ряда исследований об экономическом и политическом положении Бельгийского Конго.

Министром иностранных дел был назначен Жюстен Бомбоко, один из руководителей партии Союз народности монго (Юнимо). Сметливый толстяк, меняющий в день по нескольку костюмов, вечно спешащий, Бомбоко мог часами разглагольствовать на любые темы. Всюду и всячески подчеркивал свою дружбу со Спааком, которого считал, так же как и генерала де Голля, выдающейся личностью. Во Дворце Наций он

появлялся в конусообразной шапочке из меха леспарда. Встречаясь с Лумумбой, артистическим жестом снимал головной убор и замирал в почтительном поклоне.

Министр внутренних дел Кристоф Гбенье все время подтрунивал над Бомбоко, называл его африканским Дон-Жуаном, намекая на его любовные похождения. Секретарем у Бомбоко работала девица, прибывшая в Леопольдвиль из Женевы. Познакомился он с ней в Брюсселе. Советским корреспондентам, которые заходили на прием к министру иностранных дел, она представлялась: «Дуня...» Была она дочерью русских эмигрантов, получала хорошее жалованье и разъезжала на министерской автомашине. Министры не сдерживали понимающих улыбок, когда Бомбоко принимался объяснять, насколько Дуня ценный для него помощник — ведь по вечерам она слушает передачи московского радио и тут же сообщает их содержание...

Бомбоко — лукавый и угодливый — был счастлив, когда узнавал или предугадывал ход рассуждений начальства. Знал, когда нужно поддакнуть, когда промолчать. На многих Бомбоко производил впечатление искреннего человека, потому что мысль, заимствованную у премьера или президента, развивал уже как свою. При встрече с советскими представителями он заявлял:

— Меня интуитивно тянет к вашей стране. Колосс, северный колосс! Как только подрастут мои дети — отправлю их на учебу в Советский Союз. Меня несколько не пугает, что они станут коммунистами. Вот вам мое мнение, дорогие товарищи и братья...

Кристоф Гбенье, которому я рассказал об этом разговоре, рассмеялся:

— Уж очень много у него детей: вам придется открывать специальный бомбовоский интернат! Кроме того, он и американцам говорит то же самое. А свое потомство он наверняка будет пристраивать в Брюсселе. Я хорошо знаю этого талейранчика и не верю ни единому его слову. Лумумба все воспитывает его. Посмотрим, что из этого получится...

И вот настал день 30 июня 1960 года. В открытой машине проехал ко Дворцу Наций король Бодуэн. Он то и дело приподнимался с сиденья и рукой в белой перчатке приветственно махал людям, которые, выходя на улицы, открыто выражали свое ликование по поводу того, что наступили последние минуты бельгийского владычества над ними. Это не была толпа в обычном понимании этого слова: любая толпа имеет свое начало и конец, какой бы большой она ни казалась. Людское море на несколько дней затопило все улицы, проспекты, площади Леопольдвилья. Здесь пили, ели, дрались из-за мест и мирились, укладывали спать детей и сами никли от переутомления. Люди сидели на крышах, взбирались на деревья, на памятники, на столбы.

Напротив Дворца Наций возвышался добротнo отлитый бронзовый старик с окладистой бородой, взобравшийся на массивный круп скорее тяжеловоза, чем скакуна. Это — бельгийский король Леопольд II. Металл позеленел, от времени в него въелась пыль. Накануне памятник мыли, надраивали, готовили к празднеству, но он даже на солнце выглядел мрачным. Около памятника замерла машина: на ее крыше стоял Альбер Калонжи с микрофоном в руках и что-то кричал надсадным голосом. Завидев эскорт короля, Альбер Калонжи резко повернулся и, с трудом сохраняя равновесие, продолжал:

— Ваше величество! Ваше величество! Моя партия лишена возможности приветствовать вас в здании парламента. В моем лице она с чувством глубокой признательности аплодирует вам здесь, на площади, перед лицом всего народа. Власть узурпирована вашими и нашими врагами. Долой тиранию! Да здравствует король!

Машина короля плавно вкатилась в ворота. А Калонжи, прыгнув с крыши своего лимузина, сел в него и отъехал в сторону, полагая, что в этот исторический день он выполнил свой долг...

В зале установилась тишина, хотя к ней никто и не призывал: в подобных случаях она водворяется сама, покоряясь велению исторического момента. Доносился шум водопадов на реке и шорох фонтанов перед дворцом.

Король вышел из бокового входа и проследовал на сцену. Стройный, подтянутый, в форме полковника бельгийской армии, с золотой шпагой. На белоснежном кителе — ордена. Глаза скрыты темноватыми очками. Он мягко улыбался, поглядывая на публику. Первые ряды кресел занимали бельгийские министры, сопровождавшие короля.

чиновники колониальной администрации, срок службы которых истекал в эти минуты, духовенство, директора компаний, банков, фирм, трестов, президенты синдикатов, советники, высшее офицерство «Форс публик». Дальше, как гряда темных туч над светлой полоской горизонта, нависала масса африканцев. Важно восседали вожди в накиннутых на плечи шкурах всех обитающих в Конго диких зверей, с перьями в волосах и на шапках всех обитающих в стране птиц. Делегации из всех провинций, от всех крупных племен.

Король Бодуэн сидел в просторном красном кресле, установленном на возвышении, ниже разместились Касаубу и Лумумба. Король встал и вышел на середину сцены. Опершись руками на эфес шпаги, он начал говорить, медленно, словно расставлял мысленно знаки препинания. Державный оратор прощался с африканской частью своей короны. Он отметил нелегкое бремя Бельгии, которую бог и судьба связали священными узами с конголезским народом. Теперь Конго, вытщенное Бельгией из тьмы невежества и отсталости, вступает в новую эру своего развития. Еще король Леопольд II говорил, что молодые деревья нуждаются в подпорках только для того, чтобы поддерживать их, но подпорки нужно удалять, когда деревья подрастут, и опытный садовник должен определить время, когда подпорки становятся помехой их росту...

Передние ряды — разодетые, надушенные, отутюженные — вздохнули от умиления. А речь медленно струилась, то унося слушателей к первозданному конголезскому хаосу, то подводя их к современной цивилизации, плоды которой видит в Конго каждый непредубежденный наблюдатель. И сейчас великодушная Бельгия не отступит от выполнения своего долга перед конголезскими братьями.

— Теперь, господа, дело за вами, — заключил король. — Вы должны убедить нас в том, что мы не ошиблись, оказав вам свое доверие.

Король, придерживая рукой эфес шпаги, едва приметно наклонил голову и направился к креслу. Когда Бодуэн уселся, президент Жозеф Касаубу мелкими шажками подошел к трибуне. Скрипучим голосом он прочитал речь — вяло, невыразительно, шумно и неловко переворачивая страницы. Король и Бельгия могут быть уверены, что они не ошиблись, предоставляя Конго статус суверенного государства. Щедрое доверие будет оправдано с не меньшей щедростью! Угкнувшись в бумагу и приподняв правую руку, президент закончил речь пожеланием процветания Бельгии и личного счастья высокому гостю.

Африканцы оживились, захлопали, но зал еще никак не мог преодолеть официальной скованности, неудовлетворенности, навеянной гладкими речами, не задевшими за живое, наболевшее.

Лумумба выступал третьим и последним: заранее согласованный протокол не предусматривал никаких других речей. Глядя на него, можно было подумать, что он не в настроении. Холодно поблескивали сквозь очки устремленные в зал глаза. Он не расшаркивался, не отвешивал поклонов, не произнес обязательного в таких случаях обращения: «Ваше величество», а бросил первые слова им — своим соотечественникам.

— Конголезцы, борцы за независимость, добившиеся сегодня победы! Я приветствую вас от имени конголезского правительства. Я прошу всех вас, моих друзей, неустанно боровшихся в наших рядах, запомнить 30 июня 1960 года как выдающуюся дату, которая никогда не сотрется в вашей памяти, дату, о значении которой вы с гордостью расскажете вашим детям, чтобы они, в свою очередь, поведали своим внукам и правнукам о славной истории нашей борьбы за свободу. Хотя независимость Конго и провозглашена сегодня по договоренности с Бельгией — дружеской страной, с которой мы обращаемся как равный с равным, — ни один житель Конго никогда не забудет, что независимость завоевана нами в борьбе, в борьбе повседневной, упорной, трудной, в борьбе, где нас не останавливали ни лишения, ни страдания, ни огромные жертвы, ни кровь, пролитая нашими народами. Эта борьба сопровождалась слезами, огнем и кровью. Мы глубоко гордимся нашей борьбой, так как это была справедливая и благородная борьба, необходимая для избавления от унижительного рабства, навязанного нам силой...

Мы покажем миру, что может сделать черный человек, когда он трудится в свободной стране, и мы превратим Конго в гордость всей Африки. Мы позаботимся о

том, чтобы земля нашей родины по-настоящему служила ее детям. Мы пересмотрим все ранее принятые законы и переделаем их так, чтобы они были справедливыми и благородными. Мы положим конец гонениям на свободную мысль...

Я прошу всех вас забыть межплеменные раздоры, которые подрывают наши силы и могут представить нас в невыгодном свете перед иностранными государствами. Я прошу всех не останавливаться ни перед какими жертвами ради успеха нашего грандиозного начинания.

Завоевание независимости Конго — это решающая веха на пути освобождения всего африканского континента...

Речь Лумумбы ударом рассклала аудиторию надвое: на белую, колониальную, недовольную, притихшую, и черную, теперь уже независимую, ликующую. Ненстойкий порыв вскочивших со своих мест африканцев сопровождался артиллерийским салютом, возвещавшим о рождении еще одного суверенного государства. Король Бодуэн удалился, сопровождаемый свитой и Жозефом Касавубу. Бельгийский полковник, адъютант его величества, подошел к Лумумбе и передал требование принести сейчас же в «надлежащей форме» извинения.

— Никаких извинений! — отрезал Лумумба. — Моя речь утверждена кабинетом министров.

Он встал, улыбнулся, словно пытаюсь сбить этим огромное нервное напряжение. Африканцы скандировали: «Патрис! Патрис! Патрис!» Под эти возгласы в зал снова вошел король. Умолкли пушки. Воцарилась тишина. Торжественное заседание парламента, сената и палаты представителей окончилось. Дворец Наций опустел. Торжества вышли на улицы. Состоялся военный парад — во главе колонн африканских солдат шли бельгийские офицеры. Католические священники в белых сутанах вели своих воспитанников, разыгрывались сцены из истории Конго, в которых фигурировали арабские завоеватели и работоторговцы. Проползла колонна разукрашенных грузовиков компаний и фирм. Играла африканские джазы. Люди пели. Плясали. Церемониал был бесценен: дать что-либо новое и необычное: так или приблизительно так совершались торжества и до Конго и после — на других территориях, тоже становившихся суверенными государствами.

*(Окончание следует)*





---

---

# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## «ЗАПИСКИ О КОШАЧЬЕМ ГОРОДЕ» И ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ КИТАЯ

*Китай*

«Чайниз литерачер» («Китайская литература»),  
ежемесячный журнал,  
1970, № 4. Пекин.

★

Читатели «Нового мира» помнят повесть китайского писателя Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе»<sup>1</sup>. Обстоятельства вынуждают вновь заговорить об этой публикации в связи с тем шумом, который был поднят в Китае вокруг имени Лао Шэ и его повести. Официальная печать откликнулась на нее резкой статьей (на английском языке для зарубежного читателя), в самом же Пекине было организовано массовое движение, в ходе которого людей заставляли публично предавать Лао Шэ анафеме. Все это началось после длительного замалчивания творчества писателя.

Сама по себе брань, разумеется, не причинит вреда хорошему писателю — пострадают лишь его хулители. И хотя имя Лао Шэ извлечено сейчас из искусственного забвения лишь для того, чтобы обрушить на него злобные наветы, почитатели его таланта и ныне и в будущем будут с благодарностью отзываться о писателе-гуманисте, который в мрачную годину «культурной революции» не отрекся от своих убеждений и ценою жизни заплатил за свои идеалы. Оградно, что у нас в СССР заботливо, бережно относятся к культуре китайского народа. Это свидетельствует о том, что судьбы китайского народа и его культуры безразличны нашей партии и всей советской общественности. Мы верим в светлое социалистическое будущее Китая.

Страна древней цивилизации и многовековой литературной истории. Трагична была судьба ее ученых, писателей и поэтов, подвергавшихся издевательствам и казням. Деспотизм китайских императоров поистине вошел в поговорку.

Сохранилось написанное две тысячи лет тому назад письмо великого китайского историка Сыма Цяня своему другу Жэнь Шао-цину. Это мартиролог китайской литературы. Сам автор письма Сыма Цянь, отец истории, которому благодарное потомство воздвигало храмы, был жертвой императорского деспотизма: по приказу разгневанного У-ди его подвергли «дворцовой казни» — кастрации..

Императоры последней, маньчжурской династии учиняли над крамольными литераторами письменные судилища — «вэй цзы юй», за которыми следовала казнь всех трех поколений: семью провиннившегося истребляли полностью, не щадя ни старцев, ни младенцев, чтобы роду его не осталось на земле империи!

В 1931 году гоминдановцы арестовали пять молодых писателей-коммунистов и расстреляли их. «Первая страница истории пролетарской революционной литературы написана их кровью», — бесстрашно написал тогда великий Лу Синь. Через два года он посвятил памяти погибших статью «Вспоминая для забвения». «За тридцать лет я собственными глазами видел столько крови... — писал Лу Синь. — В Китае тогда не было места, где бы можно было писать. Все было замуровано плотнее, чем консервная банка»

Лу Синь «вспоминал для забвения», надеясь, что мрачные годы гоминдановской диктатуры канут в небытие. Но нет: ныне вновь воскрешают в Китае сходные порядки. «Органы власти в Китае, — писала «Правда» в мае 1970 года, — строятся по милитаристскому, унаследованному от чанкайшистов образцу». По тому же образцу расправляются и с кигаискими литераторами.

---

<sup>1</sup> «Новый мир», 1969, № 6.

Когда в 1966 году я читал хунвэйбиновское сообщение о гибели Лао Шэ, я не верил, не хотел ему верить. Молчание официального Китая, к сожалению, заставляло подозревать худшее. Теперь, после публикации на страницах «Нового мира» повести Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе», журнал «Чайниз литерачер» разразился инвективой в адрес погибшего писателя, стремясь проклятиями и бранью поелику возможно скомпрометировать жертву и обелить преступников.

«Недавно социал-империалисты вызвали дух (!) этого бесстыжого негодяя и напечатали полностью перевод «Записок о Кошачьем городе» в одном из своих журналов,— говорится в заметке от редакции «Чайниз литерачер».— В настоящее время критика этого реакционного писателя широкими массами в Пекине проводится с полным размахом».

В статье брань и клевета перемешаны с высокопарными фразами. Написана она коллективом — бригадой «революционного критицизма». Бригадный метод сочинительства сейчас в Китае очень распространен, на то есть веские причины. За коллективной ответственностью проще и легче укрыться в случае замены руководящих лиц и изменений курсов. Взаимное поедание — постоянная опасность в современном Китае, с которой считаются все. Бригада обезличивает, помогает откреститься от ответственности.

В статье говорится, что «Лао Шэ связал свою судьбу с Лю Шао-ци, Пэн Чженем и им подобными». Пэн Чжень называл Лао Шэ «народным писателем», а Чжоу Ян, бывший заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК,— «прогрессивным писателем эпохи после четвертого мая» (имеется в виду движение 4 мая 1919 года.— А. Ж.). Эти высказывания теперь приводятся как улики против «преступника». Совершенно очевидно даже из этой брани, что Лао Шэ тяготел к тем деятелям КПК, которые накануне «культурной революции» составляли оппозицию.

Трудно перечислить все клеветнические обвинения, содержащиеся в статье. Лао Шэ назван «преданным лакеем британских и американских империалистов и предательской клики Чан Кай-ши». Поскольку бригада «революционного критицизма» не в ладу с истиной и логикой, то обвинение в лакействе перед американскими империалистами осталось голословным и ничем конкретным не подкреплено. О связях же писателя с британским империализмом сказано следующее: «Он бежал в Англию, где жил несколько лет в качестве «китайца из высшего общества». В этой стране он очень полюбил разбойничью философию своих империалистических хозяев.

Что же было криминального в поездке Лао Шэ в Англию? Действительно, он туда ездил и работал в Кембридже преподавателем китайского языка. Попутно использовал свое пребывание за границей для расширения образования. Уехать же из Китая ему пришлось прежде всего потому, что на родине он был безработным. В те годы он еще не вступил на путь самостоятельного творчества, а учителям родного языка и литературы приходилось туго в старом Китае. Лао Шэ подолгу не мог найти работы.

Вся деятельность писателя-патриота настолько опровергает домыслы о его связях с Чан Кай-ши, что сочинителям пришлось высасывать «доказательства» буквально из пальца. «Аргументация» их примерно такова: в романе Лао Шэ «Четыре поколения под одной крышей» одно из действующих лиц радуется-де тому, что Чан Кай-ши стал генералиссимусом. Эти-то восторги реакционера из романа названы в статье «оттиском контрреволюционной души Лао Шэ!» Чего тут больше — литературного невежества или подленького передегеривания?

Но и этого авторам статьи показалось мало, и они приводят убийственный аргумент. «Через несколько лет после публикации «Записок о Кошачьем городе» Лао Шэ и несколько ему подобных послали телеграмму Чан Кай-ши, свидетельствуя свое «уважение». Этого губителя страны и палача народа они тошнотворно приветствовали как «героя войны сопротивления». Вот как низко они пали».

Если не знать историю Китая с необходимыми для случая подробностями, то действительно получается как-то нехорошо: Чан Кай-ши и вправду был губителем и палачом китайского народа, а тут поздравительная телеграмма. Одно обнаруживает. учомиание о войне сопротивления. Тут и обнаруживаешь, как далеко тянется ниточка подлости у фальсификаторов. В те годы гоминдан и КПК проводили политику единого фронта, сотрудничества в войне против японских захватчиков. Естественно, был и обмен телеграммами и даже комплиментами. Сотрудничества без этого не бывает. В официальной

декларации КПК от 25 декабря 1937 года говорилось: «Братья всех общественных кругов, всей страны! Со времени возникновения инцидента у моста Марко Поло наша армия и наш народ под руководством председателя Военного Совета национального правительства Чан Кай-ши ведут героическую освободительную войну...»

Лао Шэ, конечно, не ответствен за политику единого фронта, проводимую в те годы, но несомненно, что подобная тактика была единственно разумной перед лицом империалистической агрессии и помогла китайскому народу сохранить национальную независимость и суверенитет.

Передовая общественность Китая после нападения Японии создала Всекитайскую ассоциацию литературы и искусства по отпору врагу. Лао Шэ был одним из основателей и секретарем этой организации, подчинив патриотическим целям все свое творчество. «Чайниз литерачер» молчит об этом. Вот как характеризует этот период творчества Лао Шэ Збигнев Слупский, исследователь его творчества: «Правительственные круги смотрели на Ассоциацию без всякой симпатии и сочувствия, поскольку лево настроенные интеллигенты внушали им недоверие. Им был также подозрителен сам Лао Шэ не только благодаря его деятельности в Ассоциации, но и благодаря его собственному творчеству, которое отвечало ее целям. Жизнь Лао Шэ в то время осложнялась тяжелым материальным положением и частыми заболеваниями»<sup>2</sup>.

Закономерно, что обвинители Лао Шэ не могут свести концы с концами и сами себе противоречат. Сначала они заявляют, что «Записки о Кошачьем городе» «высоко ценились» гоминдановской пропагандой. Заметим сразу, что это ложь, гоминдановский Китай встретил книгу Лао Шэ враждебным замалчиванием. Далее читаем: «Вскоре он (Лао Шэ.— А. Ж.) безутешно жаловался своим гоминдановским реакционным хозяевам. Он признал, что его роман «провалился», и клялся удвоить свои усилия. Чан Кай-ши, естественно, был доволен этим признанием «вины».

Так как же? Если «Записки о Кошачьем городе» действительно делались на потребу гоминдану, то почему же пришлось «жаловаться»? И откуда тогда взялась «вина»? Логика, недоступная здравому смыслу! Дело в том, что сдтира на китайский национализм гоминдану никак не могла понравиться, и это-то и хотят больше всего скрыть от читателей авторы статьи в «Чайниз литерачер».

«Записки о Кошачьем городе» в Китае запрещены. Чтобы опорочить опасное для них произведение, хулители предприняли подмену: они объявили все инвективы Лао Шэ против гоминдановского режима «клеветой на китайский народ». Дескать, не против реакционного режима, а против самого китайского народа поднял свой голос писатель-патриот. Расчет совершенно ясен: чтобы оклеветать Лао Шэ, брошен призыв к националистическим чувствам как раз тех самых врагов, с которыми боролся Лао Шэ в Китае. «Записки о Кошачьем городе» на сто процентов относятся к предательской литературе империалистической культуры,— объявляет бригада «революционного критицизма».

Кого же на деле обличает повесть Лао Шэ?

Эта книга была горьким предостережением. Она вышла вслед за оккупацией японскими захватчиками Мяньюнжури, которая была отторгнута от Китая. Она вышла после попытки японцев оккупировать Шанхай. Если вспомнить о том, что страна в те годы стояла перед опасностью национального порабощения, понятен предостерегающий голос Лао Шэ. Как верно заметил Збигнев Слупский, он обличал «те паразитические и слепозгонистические элементы китайского общества, которые считались лишь с личными интересами, не задумываясь о катастрофе, в которую они могли вовлечь всю нацию»<sup>3</sup>.

Вот почему повесть кончается уничтожением людей-кошек. Писатель обличал предателей и капитулянтов, которыми кишел гоминдановский Китай, и написал картину гибели как предостережение. Ныне же на него клеветают, будто он «любил японских империалистов». И говорится это о человеке, кто всю войну не откладывал пера — своего острейшего оружия,— клеймя презрением и ненавистью захватчиков. О писателе, который в «Записках о Кошачьем городе» показал, что капитулянтов ждет поголовное уничтожение, что «постоять за свой народ — святая обязанность». О гибнущих обитателях

<sup>2</sup> Zbigniew Slupski. The Evolution of a Modern Chinese Writer. Prague, 1966. p. 91.

<sup>3</sup> Ibid., p. 54.

Кошачьего города он недаром сказал: «Они до самого кошца не научились действовать сообща».

Беспредельна ненависть бригады из «Чайниз литерачер» к человеку, осудившему узколобый национализм. Чтобы придать своим нападкам на Лао Шэ видимость солидности, они ссылаются на Лу Синя. Они цитируют гневные слова Лу Синя о пессимистах и компрадорах, добавляя от себя, будто они относятся к Лао Шэ. Но факты не опровергнешь: за всю свою долгую литературную деятельность Лу Синь не сказал в адрес Лао Шэ ни одного дурного слова.

Ненависть ослепляет. Бессилие ведет к безумию. Жажда оклеветать Лао Шэ привела к тому, что все стрелы беспощадной сатиры, которые тридцать семь лет назад писатель направил на гоминдан, авторы статьи приняли на свой счет. Они даже заявили, что уже тогда «объектом нападок Лао Шэ была великая, славная и правильная Коммунистическая партия Китая». Но КПК того периода не могла быть объектом сатиры. Только сейчас, после разгрома всех честных интернационалистских сил, могло возникнуть опасение у сочинителей из «Чайниз литерачер»: а не их ли изобразил Лао Шэ в «Кошачьем городе»?

Гвардию Кошачьего государства Лао Шэ назвал «красноверевочной», в книге она замышляла учинить военный переворот и согнать «хозяина всех свор» — как титуловался кошачий император. И снова бригада относит эту сатиру на собственный счет, усмотрев в «красноверевочной гвардии» поклев на Красную армию Китая, а в образе императора — защиту единовластия Чан Кай-ши, хотя уже один титул достаточно определяет отношение автора к императору кошек...

Книга Лао Шэ опубликована в СССР без всяких изменений, что также вызывает ярость критиков. За годы «культурной революции» в Китае привыкли кромсать и калечить произведения искусства да еще считать подобный произвол особой милостью, знаком внимания. Богатейшая культурная традиция китайского народа предана поруганию и уничтожению. За четыре года, прошедшие со времени «культурной революции», кроме сборников газетных статей, в Китае не издано ни одного произведения художественной литературы. Только в начале 1970 года вышло два орфографических словаря да переиздаются еще «образцовые пьесы», которые ставятся уже восемь лет подряд.

Полное забвение прогрессивных традиций китайской культуры настолько обеднило жизнь общества, что ныне даже официальная печать забеспокоилась. На пятом году «культурной революции» стали делаться попытки приспособить художественные произведения прежних лет на потребу сегодняшнему политическому курсу.

Начали с массовых песен времен антияпонской войны и войны за освобождение. Песни эти с началом «культурной революции» оказались под строжайшим запретом. Теперь специальные бригады написали к ним новые слова, а прежние тексты с «черными» словами отброшены.

Последний продукт переработок — «Кантата о реке Хуанхэ» композитора Сянь Синхая. Ее превратили в концерт для фортепиано с оркестром, выкинув все слова, в которых якобы обнаружен «правооппортунистический хлам». Восьмичастная кантата сведена к четырем частям, и во время исполнения ее в зале раздаются программки, в которых уверяется, будто музыка теперь стала «революционной».

Лао Шэ убили и хотели забыть. Все его книги запрещены. «Записки о Кошачьем городе» в Китае мало кто читал. Но заговор молчания прорван, «дух» писателя вызван из мира теней. Литература не умирает, ее не может истребить даже «культурная революция». Писатель еще вернется к своему китайскому читателю, он никогда не будет забыт!

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

---

В. ПЕРЦОВ,  
доктор филологических наук

★

### АКСИОМЫ И НЕИЗВЕСТНОЕ

**Я**зыковая стена, к сожалению, затрудняет общение между людьми даже у нас, связанных между собой, по дивному слову Павла Григорьевича Тычины, «чувством семьи единой». Только через два года после опубликования в эстонском журнале «Лооминг» (1969, № 2) статьи Яана Кросса «Лязз одного из лезвий гройных ножниц» я смог ознакомиться с ней в русском переводе. Яан Кросс — интересный художник слова, поэт и прозаик, с творчеством которого мы знакомы крайне недостаточно. Не со всеми остроумными парадоксами, которыми полна его статья, я могу согласиться, но гораздо больше в ней таких вещей, которые кажутся мне угаданными верно и, в частности, нащупывают «болевые» точки в науке о литературе сегодня.

Любопытно, как воспринимает наши теоретические споры художник слова из «глубин литературной практики»:

«Теория литературы математизируется вместе со всеми гуманитарными науками. В теории литературы также идет полным ходом, быть может, не совсем бесперспективная, но пока, к счастью, безрезультатная охота, которую можно назвать охотой на компонент. Охотой на букву п с и. Ту, с которой пишется слово «психе». Мне кажется, что читатели математического подхода к литературе не должны обижаться, если мы констатируем, что первоначальный математический фильм материала еще ни на йоту не уловил эту таинственную частицу. Ни в теории литературы, ни в психологии. И признаем, что нам было бы наверняка, как и очень многим, чего-то глубоко жаль, если бы она однажды действительно пред-

стала во всей своей трепетности под стеклом теоретического микроскопа. пойманная, разъясненная, до конца вскрытая и препарированная...»

Как известно, для того чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. В «охоте на компонент» есть свой азарт. Однако идти по следам зайца еще не означает, что нам гарантировано рагу. Тем не менее следы зайца законно вселяют в душу охотника надежду. Поэтому прав Яан Кросс, что эта охота на компонент «не совсем бесперспективная» (оставим в стороне эмоции, столь естественные, по поводу утраты тайны искусства).

Мне кажется, что Ю. Барабаш, развернув в своей статье «Камо грядеши?» («Новый мир», 1970, № 12) почти глобальный обзор «охоты на компонент», не считает ее бесперспективной, язвительно высмеивая лишь необоснованные претензии подменить «алгеброй гармонию». (Заметим кстати, что слово «компонент» в понимании Яана Кросса представляет душу искусства, в то время как для Ю. Барабаша оно имеет и другое значение — составного элемента.)

Математизация науки о литературе вовсе не означает возврата к формализму. Напротив. Успех к сторонникам математического метода (или, вернее, аспекта) изучения литературы может прийти только при том условии, если в своей «охоте на компонент» они будут исходить из единства содержания и формы, если они смогут «математизировать» определяющее значение содержания, потому что только этот путь ведет к тайне искусства.

Пока же мы можем констатировать вместе с Яаном Кроссом, что «первоначальный

математический фильтр материала еще ни на йоту не уловил эту таинственную частицу». Слишком часто след зайца принимается за самого зайца. Иногда это могло бы быть трагикомическим, но я думаю, в подобных случаях мы должны руководствоваться чувством юмора. Я согласен с Ю Барабашем — идти по следам все-таки нужно. Но «поверять алгеброй гармонию» не означает подменять алгеброй гармонию.

Попытку такой подмены сделал Роман Якобсон в своем анализе грамматического строя пушкинского стихотворения «Я вас любил...». В этом анализе очень важную роль играет число:

«Стихотворение поражает уже самым отбором грамматических форм. Оно содержит 47 слов, в том числе всего 29 флексивных, а из них 14, т. е. почти половина, приходится на местоимения, 10 на глаголы и только пять остальных на существительные отвлеченного, умозрительного характера. Во всем произведении нет ни одного прилагательного, тогда как число наречий достигает десяти. Местоимения явно противопоставлены остальным изменяемым частям речи, как насквозь грамматические, чисто реляционные слова, лишённые собственного лексического, материального значения. Все три действующих лица обозначены в стихотворении единственно местоимениями. *Я* in recto, а *вы* и *другой* in obliquo. Стихотворение состоит из двух четверостиший перекрестной рифмовки. Местоимение первого лица, всегда занимая первый слог стиха, встречается в общем четыре раза — по одному случаю на каждое двустишие: в начальной и четвертой строке первого станса, в начальной и третьей второго. *Я* выступает здесь только в именительном падеже, только в роли подлежащего, и притом только в сочетании с винительной формой *вас*. Местоимение *вы*, появляющееся единственно в винительном и дательном (т. е. в так называемых направленных падежах), фигурирует во всем тексте шесть раз, по одному случаю в каждом стихе, кроме второй строки обоих стансов, причем каждый раз в сочетании с каким-либо другим местоимением. Форма *вас*, прямое дополнение, всегда находится в зависимости (прямой или опосредствованной) от местоимения подлежащего. Таковым в четырех примерах служит *я*, а в одном анафорическое *она*, т. е. любовь со стороны первого лица, между тем как дательный *вам*, приходящий в ко-

нечном, синтаксически подчиненном стихе на смену прямому объекту *вас*, оказывается связан с новой местоименной формой — *другим*, и этот периферический падеж «творительный производитель действия» при равно периферической дательной форме.. вводит в концовку заключительной строки третьего участника лирической драмы, противопоставленного номинативному *я*, с которого начинается вступительный стих».

Приведя эту цитату в своей книге «Тетива», В. Шкловский замечает: «Кажется мне, что в результате анализа стихотворение не очень приблизилось к читателю». Одной с юмором сказанной фразы оказывается достаточно — никаких комментариев к старательному подсчету Р. Якобсоном грамматических форм в стихотворении Пушкина не требуется, чтобы понять, что эта математическая операция никакого отношения к поэзии Пушкина не имеет.

Но может быть, Р. Якобсон устарел и не он представляет сегодня математическое направление в науке о литературе? В нее пришел сегодня кадровый математик. Что является предпосылкой того, что его «охота на компонент» не будет безрезультатной? Прежде всего чувство художественного произведения как целого, как определенного единства содержания и формы, соразмерности «компонента» и общего. Если нет у математика художественного вкуса, чутья, таланта критика, то есть качества совершенно определенных, но не поддающихся количественному измерению, то как он сможет определить, что и зачем нужно считать?

Приведем есенинские стихи, о которых Маяковский говорил, что они «не могли не нравиться»:

Видели ли вы,  
Как бежит по степям,  
В туманах озерных кроясь,  
Железной ноздрей храпя,  
На лапах чугунных поездов?

А за ним  
По большой траве,  
Как на празднике отчаянных гонок,  
Тонкие ноги закидывая к голове,  
Скачет красногивый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,  
Ну, куда он, куда он гонится?  
Неужель он не знает, что живых коней  
Победила стальная конница?

Есенинская ритмика своеобразна, в чем суть ее своеобразия — может помочь ответить и число. Но сама по себе, как и рит-

мика Маяковского, сна не объясняет и, так сказать, не обеспечивает прелести его стихов. У обоих поэтов на основе их ритмики есть и замечательные и не замечательные стихи. Если изучение компонента как составляющего с помощью математических методов сегодня является аксиомой, то программировать это изучение может только «таинственная частица», в смысле «пси», а она-то и остается неизвестной...

Как бы к этому ни относиться, но характерной фигурой для науки о литературе сегодня стал и математик. Нельзя не видеть в этом знаменья времени. Как, однако, не заметить и явлений прямо противоположного свойства и тоже связанных со временем. Нельзя не заметить, что в Дом литературоведения с его многочисленными пристройками и службами специального назначения пришли такие новые фигуры, как журналист и поэт. Если Маяковский писал в свое время, что «в Союзе Республик понимание стихов выше довоенной нормы», то в деле понимания литературы, расширении круга читателей, интересующихся ею, немалую роль сыграла литературная печать. Наука о литературе обращается ныне не только к специалистам и учащимся, но и к читателю, любящему литературу. Возник спрос на популяризацию достижений науки о литературе. (Стотысячные тиражи литературоведческих книг, адресованных любителям художественной литературы, не должны, конечно, заслонить первичного значения сугубо академических исследований, выходящих очень часто, если так можно выразиться, чудовищно малыми тиражами.)

Что же представляет собой сегодня эта отрасль литературоведения для любителей? Здесь не может не привлечь внимания целая серия книг, пользующаяся успехом у читателя, — мы остановимся на одной. Отметим некоторые ее выходные данные: издательство «Наука», ответственный редактор — член-корреспондент АН СССР Н. Бельчиков. Но при всем при том книге дано название вовсе не академическое — по строке поэта: «Все волновало нежный ум...» Что заключено в этом несоответствии, которого не снимает и подзаголовок: «Пушкин среди книг и друзей?»

Читать книгу приятно и полезно. Это эпизоды литературной биографии поэта, оговоренные с умом и вкусом. Не рассказы о Пушкине. Здесь нет претензии на художественный домysel, все — только факты, изложенные спокойными, ясными фразами,

с живыми подробностями, но без нарочитой занимательности, с перечислением имен и дат без страха утомить. Подобраны материалы, не лежащие на поверхности, выстроены они с заботой о читателе.

— Хотя в книге нет того, что составляет душу литературоведческого исследования, анализа художественного произведения, но если поставить вопрос: приближает ли она к пониманию творчества Пушкина и его личности? — ответ может быть только положительным. Автором этой книги и ряда других того же характера, или, если хотите, жанра, является А. Гессен — в прошлом, в течение своей большой жизни, журналист, в последние годы увлекшийся литературоведением.

Но вот в область нашей науки вторгся поэт, чьей историко-литературной эрудиции может позавидовать ученый. Я имею в виду книгу Сергея Наровчатова «Необычное литературоведение». Оно необычно прежде всего потому, что, излагая основы истории возникновения литературы и письменности на Руси, характеризуя своеобразие поэзии и прозы, особенности композиции художественного произведения, знакомя (конечно, в самых общих чертах) с понятиями о реализме и романтизме, Наровчатов вовлекает читателя в свои размышления о литературе и учит незаметно, без школьной указки и конкуренции с учебником. Говорю об этом достоинстве книги Наровчатова с грустью и тоской по поводу многих наших учебников. Его книга привлечет к себе всякого, кто захочет повысить свою культуру понимания литературы, в частности и в особенности того юного читателя, который с законной неохотой берется за учебники.

В начале двадцатых годов как-то попала мне книга одного немецкого инженера с таким названием: «История техники для жен инженеров». Задача ее хорошо определена в этом названии. (Думаю, что подобная книга была бы вполне уместна и у нас, в эпоху технической революции, причем не только для жен, но и для мужей инженеров в том смысле, когда инженер как раз жена, а муж по своей специальности не имеет отношения к технике.) Книга Наровчатова может быть полезна и для жен и для мужей, все отношение которых к литературе исчерпывается одним: любовью к ней. Таких бескорыстных, «чистых» читателей в нашей стране миллионы...

Со всей серьезностью — на уровне современной науки — С. Наровчатов делится с чи-

тателем своим опытом человека, влюбленно-го в литературу; опытом поэта, человека искусства, иногда переходя с прозы научно-го изложения на цитаты из собственных произведений, имеющих отношение к данной теме, ссылается не только на книжные источники, но и на впечатления своей жизни и своего обширного знакомства с мировой литературой, на творческую историю вырабатываемых научных понятий.

И это не только форма изложения, но и методика введения читателя в сущность предмета литературоведения.

«Необычность» трактовок Наровчатовым предмета нашей науки не в том, разумеется, что его книга написана хорошим языком, а, между прочим, в том, что автор находится «внутри» своего объекта, проникает в него из «глубин литературной практики», по выражению Яна Кросса.

Один известный поэт однажды убеждал меня, что критик, каковы бы ни были его талант и ученость, никогда не сможет дать анализ стихотворения так, как это делает поэт (предполагается, хороший), который «углядит» в стихе тайники образности и мысли, недоступные глазу и чувству поэта. Я с этим спорил и продолжаю не соглашаться. Но книга Наровчатова подсказывает мне, что в позиции Семена Кирсанова (это был он) есть рациональное зерно. С. Наровчатов доказывает, например, что между стихом и прозой трудно провести строгую границу. При этом он опирается на такие грандиозные явления в истории русской литературы, как «Слово о полку Игореве» и «Мертвые души» с их лирическими отступлениями (Гоголь, как известно, называл свое произведение поэмой). Собственный глубокий опыт поэта противится у Наровчатова ограничению области поэзии лишь тем, что написано стихами. Читатель становится свидетелем этой борьбы на пути к истине. В итоге автор соглашается на временное перемирие с наукой, призывая читателя — «подчинимся ее авторитету». Искание истины, а не только изложение признанных выводов науки о литературе составляет привлекательную особенность «Необычного литературоведения» С. Наровчатова.

Я уделил столько места книге С. Наровчатова не только потому, что она талантлива, но и потому, что она, как уже говорилось, является знаменем времени не меньше, чем попытки использования математики в изучении художественной литературы. Теперь представим себе: любящий ли-

тературу читатель «проработал» книгу Наровчатова в такой степени, что не просто «усвоил ум чужой», а внутренне вооружился знаниями и подходом автора «Необычного литературоведения». Можно ли ожидать, что в этом случае у читателя повысится то, что хочется назвать «эстетической сознательностью»? По-моему, в этом нельзя сомневаться, для того и написана книга, удачно popularизирующая науку о литературе.

Думаю, что в этом вопросе существует, говоря по-современному, и обратная связь: литературоведение для любителей не может не действовать и на академическую науку.

Видимо, характер наших литературоведческих исследований не может не измениться. Измениться в двух, казалось бы, противоположных направлениях. Наши книги должны стать и «легче» и «труднее». Но в этом — диалектика. Легче в том смысле, что исследователь литературы не может ныне ограничивать себя «домашним кругом» литературных друзей и «старших научных сотрудников». Ему приходится иметь в виду и любителя литературоведения, проявляя элементарную заботу о читателе и не перекладывая на его плечи задачу расшифровки своих текстов, как неких древнеегипетских папирусов. Но наши работы должны стать «труднее», потому что мы избавлены от боязни быть непонятыми и можем идти в глубь сложного предмета, добираясь, пробиваясь в сем и средствами к той самой таинственной частице «пси», за которую болеет Ян Кросс.

Есть индивидуальные особенности анализа у таких авторов, как Д. Благой и Д. Лихачев, чьи книги привлекли к себе общее внимание.

Работы Д. Благого — второй том его «Творческого пути Пушкина» и отдельные «выходы» в третий том (отрывки в периодической печати) — представляются мне лучшим из того, что довелось читать о Пушкине в последнее время. Едва ли нужно говорить об авторитетности автора и о современном значении этого труда: «эффект присутствия» Пушкина в нашей жизни проверен всем нашим бытием, он — первый поэт для нас.

Как ставит перед собой задачу Д. Благой? «В центре внимания автора книги, — говорит он в предисловии ко второму тому, — анализ художественных творений Пушкина в их литературном и общественном, национальном и всемирном значении. Но рас-



смаатриваются они не в некоем отвлеченно-эстетическом пространстве, а в органической связи с той национально-исторической почвой, на которой, питаясь ее соками, они выросли, и с живой личностью поэта.

Прекрасно. Задача поставлена предельно точно и научно.

Но успех начинается с того момента, когда — при правильном научном подходе к задаче и наличии всех нужных материалов — на первый план выступает мастерство анализа и, даже лучше сказать, искусство анализа, предполагающее у литературоведа не менее острое чувство изменения искусства, чем должно быть у критика.

Я беру у Д. Благого анализ «Арапа Петра Великого», произведения, как известно, не завершенного Пушкиным, переломного для него — от поэзии к прозе, важной вехи на творческом пути Пушкина-реалиста. То, что произведение осталось незаконченным, особенно благоприятно для иллюстрации моей мысли, поскольку литературовед в данном случае отказывается на догадку о возможной развязке сюжета, на гипотезу о причинах отказа Пушкина от завершения «Арапа Петра Великого». И то и другое получилось у автора исследования необычайно убедительным. Как ведется анализ?

Д. Благой исходит во всем своем труде из «одновременности» у Пушкина формы и содержания. Указывая на то, что «Арап Петра Великого» был «вызревшим и необходимым литературным экспериментом» (первый опыт русской повествовательной художественной прозы), исследователь в очень весомых словах подчеркивает, что его содержание было продиктовано самыми живучими вопросами последекабристской действительности и острыми раздумьями самого Пушкина. Анализ идет сразу по трем линиям: 1. складывание языка русской повествовательной прозы; 2. обращение к истории как способ воздействия на современность и 3. живая личность поэта как прототип героя. Эти три аналитических подхода существуют вместе в исследовательской позиции ученого.

Говоря о единстве у Пушкина формы и содержания, Д. Благой, развивая мысль Белинского, замечает: «Для этих... «идей времени» Пушкин ищет и наиболее подходящие, наиболее им соответствующие «формы времени».

Очень хорошо сказано. Но к слову «ищет» я хотел бы сделать одно уточнение. Определяющее значение содержания иногда пони-

мается так, что существуют как бы два акта: «сначала» содержание, а «потом» форма. Так вот этого «сначала» и «потом» нет, конечно, ни в реальном процессе творчества, ни в реальном бытии художественного текста и его воздействия. Именно «одновременность» обеспечивает художественность — при сохранении доминирующего, определяющего значения содержания. Но отсюда и возникает трудность анализа. Ведь в каждом отдельном случае это определяющее воздействие содержания проявляется по-разному. Научно-методические предпосылки анализа общие, но только искусство анализа обеспечивает победу, то есть решение каждый раз другой, неповторимой конкретной задачи.

Благой «засекает» сразу и внедрение прозаической речи в стих Пушкина, и давление общественной мысли на сознание писателя после поражения восстания декабристов повысился интерес к проблемам русской истории. Рождение русской повествовательной прозы как прозы исторической неизбежно в литературном эксперименте Пушкина. На первый план выступает живая личность поэта: «История России была для него в какой-то степени семейной хроникой». Выбрав для романного героя одного из своих предков, «арапа», в его самой непосредственной соотнесенности с Петром, Пушкин мог надеяться и на «уроки» для Николая I в духе «Стансов»:

Семейным сходством будь же горд;  
Во всем будь пращурю подобен:  
Как он неутомим и тверд,  
И памятью, как он, незлобен.

Анализ Д. Благого дает возможность прийти к выводу, что первый наш исторический роман был, по существу, романом семейным и в какой-то степени автобиографическим. «Домашний характер» изображения поддерживался не только воспоминаниями о «семейной хронике» автора, но и литературной традицией, идущей от всеми признанного в эти годы Вальтера Скотта.

Так «идеи времени» — идеологические, исторические, литературно-политические — неразрывны в анализе Благого с «формами времени». И то и другое «просвечено» анализом языка, обеспечивающего, как говорит автор, «зримость изображения эпохи и людей, ее населяющих...».

Исследователь достиг такой степени знания материала и понимания значения фактов, которая дает ему право на догадки о

возможном творческом решении не завершеного Пушкиным романа. В развязке его — трагическая коллизия. Она вытекает из того, что героиня, Наташа, любящая стрелцкого сына, по приказу Петра выходит замуж за нелюбимого ею «царского арапа». Пушкину был известен эпизод из биографии его прадеда А. П. Ганнибала — неверность его первой жены, родившей белого ребенка и за то посаженной им в монастырь. Этот эпизод, по гипотезе исследователя, предопределил судьбу романного героя (Рождение белого ребенка у Наташи композиционно уравновешивало то, что в начале романа у парижской возлюбленной «арапа» родился «черный младенец».) К этому источнику семейной драмы добавилось еще и то, что сам Ибрагим, осиротев после смерти Петра, лишившись его защиты, стал объектом дискриминации со стороны реакционного боярства. Семейная драма была бы поднята Пушкиным на высоту подлинной трагедии низших рас — «жалких творений, едва удостоенных названия человека».

И Петр и Ибрагим были даны в романе исключительно в положительных тонах. Но дальнейшее развертывание романа у Пушкина-реалиста должно было бы показать последствия «самовластия» Петра и жестокости Ибрагима в расправе с женой. Но так Пушкин не мог написать ни о Петре, ни о своем предке — вот схематически (у Д. Благого все это дано полнокровно) причина того, что работа над романом была прервана в 1828 году и Пушкин никогда не сделал попытки возвратиться к ней.

Эти догадки являются счастливым дополнением к плодотворному научному анализу.

Д. Лихачев в своем исследовании «Человек в литературе древней Руси», вышедшем в 1970 году вторым изданием, стремится быть кратким (он прямо говорит об этом в одном месте своей книги), хотя задача его огромна — дать художественный анализ русской литературы за целые семь веков — с XI по XVII. Ему это удается: в удивительно сжатом, но не конспективном изложении он раскрывает богатство медленно развивающейся литературы с невероятным ускорением процесса ее развития в XIX веке, ошеломившим весь мир. Шедевры непреодолимого значения — от «Слова о полку Игореве» до «Жития прогопопа Аввакума» — у нас на памяти. Но автор прав, замечая, что «прочсть, особенно на языке, ставшем чужим», и оценить красоту древней литературы в целом труднее, чем познакомиться с

древнерусской живописью. Тем большее значение приобретает анализ художественных творений, который дает Д. Лихачев и который вводит нас в это богатство. (Впрочем, оговорюсь — язык не стал совсем «чужим», он не мертвел, и только на нем можно прочесть «Слово о полку Игореве» во всей его первозданной мощи; к сожалению, даже талантливые переводы никак не дотягивают до оригинала. Стало быть, нужно этому языку учиться, возродив для него в школе какие-то часы, скажем, факультативно.)

Художественный анализ древнерусской литературы, который дается Д. Лихачевым в разных аспектах ее развития, производит сильное впечатление. На одном примере изменения отношения писателей и читателей к имени изображаемого лица (здесь автор как раз и предупреждает: «постараюсь быть кратким») Д. Лихачев необычайно выразительно показывает развитие художественного обобщения. Вся суть в том, что древнерусская литература не знала открыто вымышленного героя, а знала только лиц исторических или претендующих на историчность, или, как мы бы теперь сказали, на документальность. Вместе с демократизацией литературы появляется в ней герой — «простой человек», не исторический, не князь, не святой, не церковный иерарх, «бытовой» человек, без имени. Наименовать его нельзя, потому что нет у него исторического «паспорта» в феодальном обществе. Процесс обретения имени к XVII веку героем литературного произведения, по преимуществу вышедшим из демократической среды, предстает в лихачевском анализе семи веков развития русской литературы конкретным, простым и ясным. При этом нет нигде ни малейшего «спрямления», упрощения пути литературы. Интересно выступает связь права на вымышленное имя героя в XVII веке с правом на художественный вымысел в пародии и животном эпосе. «Дело в том, что в вымысле средневекового читателя пугала ложь; все, что не «исторично», чего не было в действительности, — обман, а обман — от дьявола. Но открыто признанный вымысел — не ложь, тем более, если этот вымысел прикрыт шуткой. Отсюда-то и идет возможность вымысла в пародии как одной из переходных форм к новым принципам художественного обобщения».

В обретении имени героем неисторическим отражался также рост понимания характера и ценности человеческой личности.

Собственно, без знания тех закономерностей

стей, которые установлены Д. Лихачевым, гораздо труднее войти в мир раннего русского художественного слова. Мы начинаем понимать, как много мы обязаны поискам зачинателей русской литературы, поискам, которые и привел в конце концов к созданию воображаемого героя литературы нового времени.

Теперь о герое писатель мог писать все, «подчиняясь лишь внутренней логике самого образа, воссоздавая этот образ в наиболее типичных для него положениях».

Но по отношению к этому произведению и к этому герою возникают вопросы, которые читатель сам не может решить, оставаясь наедине с книгой, да и художник не может на них ответить. Широко известно письмо Л. Н. Толстого, раскрывающее эту ситуацию. В нем Толстой отвечал на письмо Н. Н. Страхова (к сожалению, утерянное) по поводу недавно вышедшей «Анны Карениной».

«Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман, и что я думаю о ваших суждениях.— Разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание; но не все обязаны понимать, как вы. Может быть, вы только охотник до этих делов, как и я. Как наши тульские голубятники. Он турмана ценит очень дорого; но есть ли настоящие достоинства в этом турмане — вопрос. Кроме того — вы знаете — наш брат беспрестанно без переходов прыгает от уныния и самоунижения к непомерной гордости. Это я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не все — т. е. все верно, но то, что вы высказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я всегда чувствую — знаю, но этого я не имел в виду. Но когда

вы говорите, я знаю, что это одна из правд, кот[орую] можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, кот[орый] я написал, сначала. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Обл[онский] и какие плечи у Карен[иной], то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения».

На сцену выступает критик и литературовед со своими знаниями, долгом и талантом. Задача его в том, чтобы выволить мысль художника из «сцепления» так, чтобы она не «понижилась». Дойти до этой «таинственной частицы», составляющей душу литературы.— Психеи.

Известно, что сам Л. Н. Толстой с восхищением отзывался о статьях Белинского, посвященных Пушкину. Они помогли ему понять Пушкина.

При всей, казалось бы, широкой доступности, доходчивости образно-эмоционального языка произведения, только его анализ — в каждом отдельном случае особый, как мы это пытались показать на примерах,— может повысить кпд — коэффициент полезного действия художественной литературы.



---

---

ГЕОРГИЙ РАДОВ

★

## ЧТО МОЖЕТ ПУБЛИЦИСТИКА

**Р**ечь пойдет только о публицистике художественной (в том числе и об очерке). Зачем нужна эта оговорка? А вот зачем. В последние годы на страницах периодики большое место занимает публицистика, условно говоря, «деловая», то есть экономическая, социологическая, вообще научная. Явление это в высшей степени отрадное. Сам нынешний уровень развития страны требует глубоко научной оценки явлений жизни, да и люди нашей науки, индустрии, сельского хозяйства, как говорится, поднаторели, и широкий обмен мнениями по животрепещущим вопросам экономики, социальным проблемам, наконец, культуры стал жизненной потребностью.

А тут еще и социология, которая, кажется, вчера была в пеленках, сейчас уже довольно прочно стоит на ногах и развивается в темпе стремительном. Словом, если полистать литературно-художественные и общественно-политические ежемесячники, еженедельники, не говоря уже о ежедневной прессе, вы непременно встретите десятки умных, хорошо аргументированных и подчас весьма живо написанных статей партийных работников, хозяйственников, ученых. Думаю, что «деловая» публицистика будет активизироваться и впредь — таково требование жизни.

Но «деловые» статьи, как бы ни были они умны, содержательны и полезны, могут ли они заменить художественную публицистику, и прежде всего очерк?

Я начинаю с этого банального вопроса потому, что «напор» деловой публицистики оказывает заметное влияние и на развитие художественного очерка. Влияние это, увы, не всегда положительное.

Дело в том, что когда была слаба у нас социология, когда экономическая публици-

стика не шла дальше разъяснения уже известных истин (сами статьи назывались «пропагандистскими»), именно художественный очерк выполнял обязанности этих наук, частенько поступаясь собственными целями, то есть тем, что принято называть человековедением. Теперь положение изменилось. Публицистика экономическая все больше становится остропроблемной. Социология обрела силы. Теперь художники-публицисты, кажется, могут заняться своим делом. Ан нет, на практике подчас получается по-иному. Публицисты-художники как бы вступают в состязание и с экономистами, и с социологами, и с историками, пользуются их инструментом познания жизни, инструментом науки. Что выходит из этого? Да чаще всего то, что «чужие» задачи решаются в художественной публицистике по-дилетантски, а задачи «свои» не решаются вовсе! Из очерка — и это очень заметно — уходит человек!

Да, если взять художественную публицистику, допустим, посвященную той же деревне, можно легко заметить: она, как и раньше, рассматривает и экономические, и социальные, и даже технологические (по парам сеять или не по парам) проблемы деревенской жизни, но в ней так редко появляются по-настоящему выразительные фигуры деревенских людей. Типы рядовых крестьян и деревенских руководителей — а сколько их открыла художественная публицистика в пятидесятых годах, начиная от овечкинских Борзова и Мартынова, дорошевского Ивана Федосеевича, тендряковского Ивана Чупрова! — так вот, типы современных крестьян порой еще мало интересуют писателей-публицистов. Во всяком случае, куда меньше, чем типы севооборотов или почвообрабатывающих орудий.

А между тем как это важно на новом этапе деревенского бытия — исследовать средствами искусства не сами по себе проблемы технологии и экономики (с этим «деловая» публицистика справится!), а людей, решающих эти проблемы. Что за люди? Какие типы, какие характеры вышли на передний край сельской жизни в пору научно-технической революции? Какие новые конфликты между ними, людьми, родила жизнь деревни в шестидесятых—семидесятых годах? На эти вопросы ответить обязана именно публицистика художественная. Социология, ее поиски и выводы, дают писателю-публицисту поверять свои наблюдения и эмоциональные ощущения инструментом науки. Опирается на то, что добыто социологией, а не состязаться с ней — вот ведь как теперь стоит вопрос...

К сожалению, и критика как бы растерялась перед напором «деловой» публицистики. Ей бы, литературной критике, взять да помочь художникам-публицистам найти свое место в новой обстановке. А она? Как бы потеряв ориентиры, наша критика в последнее время и к очерку подходит словно к «деловой» публицистике, не видя между ними принципиальной разницы. Не так давно в литературном еженедельнике я прочел обзор журнальной публицистики, в котором и статьи хозяйственников и партийных работников, и художественные очерки писателей оценивались по одним меркам, были свалены в «одну кучу». И, конечно же, при этом автор обзора не мог, да, видимо, и не собирался подвергать художественные очерки эстетическому анализу. Речь шла опять-таки лишь о проблемах, которые подняты в упомянутых сочинениях, и ни слова о том, как это сделано, какими средствами, с каким художественным успехом.

Вот почему, по-моему, совершенно своевременно и даже злободневно поставить в современной критике вопрос о возможностях художественной публицистики и ее «инструментарии». Что она может? На что способна? В чем именно не способна ни заменить ее, ни подменить публицистика «деловая»?

Есть расхожая формула: «публицистика — жанр разведочный». Что это обозначает? Что публицистика — наиболее мобильный жанр литературы и поэтому быстрее других может и заметить и исследовать новые явления? Но если она ведет разведку, то для кого? Для тяжелой «литературной артилле-

рии», то есть повестей и романов? Тут ведь можно судить по-разному. Если смотреть на очерк и публицистику лишь как на мост-временку, который и нужен-то до тех пор, пока рядом вырастет капитальный мост, так ведь и отношение к временке будет соответственное, и спрос с нее невелик. Но, оказывается, «разведочный жанр» — вовсе не временка, и обладает он свойствами удивительными...

Вспомним то время, о котором я говорил выше, — начало пятидесятых годов, когда выступил отряд публицистов, известный всем как «овечкинский» отряд. О произведениях этих очеркистов тоже говорилось, что они имеют характер разведывательный, то есть призваны обследовать то поле, которое будут обрабатывать — пахать, засеивать, растить на нем урожаи — более крупные жанры литературы. Но прошло почти два десятилетия — и что же? В одном ряду с лучшими повестями и романами о послевоенной деревне остаются и те самые «очерки-разведчики», которым как бы самим жанром предопределялась преходящая, едва ли не однодневная судьба. И сегодня служат и не собираются умирать произведения и самого В. Овечкина, и В. Тендрякова, и Г. Троепольского, и А. Калининна, и Л. Иванова.

Вот тут-то и сказывается важная черта художественной публицистики: будучи самым мобильным жанром, она может иметь и характер долговременный. Умиряют конъюнктурные поделки, что, впрочем, случается не только в публицистике. Сколько «толстых» сочинений о послевоенном селе, родившихся на поле, разведенном очерком, — сколько их умерло. А «разведчики» живут!

Нет, если всерьез думать о роли художественной публицистики, надо непременно иметь в виду не только ее «разведочность», но и самостоятельное и, повторяю, долговременное значение. И чтобы подтвердить это практикой, сошлюсь еще на два примера.

Как известно, одним из героических подвигов народа в минувших десятилетиях было преобразование восточных районов страны. «Деловая» публицистика, надо отдать ей должное, весьма подробно и обстоятельно информировала читателей о путях, методах и размахе освоения Сибири и Дальнего Востока. Но сколь скудным, сколь неполным было бы наше представление о выдающихся событиях и явлениях, происходящих там, далеко за Уралом, если б не живое художественное слово писателей-очеркистов.

Я говорю «очеркистов», имея в виду не узкую профессиональную принадлежность авторов очерков о Сибири, а тот род оружия, который в этом случае избрали писатели, а среди них были и, так сказать, собственно очеркисты, и романисты, и поэты. Вы только окиньте взглядом ее, только взвесьте ее, нашу художественно-публицистическую «сибириану»!

Смотрите. Енисейские очерки Г. Кублицкого. Обские заметки Г. Маркова, а в них — анализ проблем Сибири и запоминающиеся характеры сибиряков. Путевые заметки К. Симонова и очерки В. Кетлинской о гидростроителях. Книги Майи Ганиной о Камчатке и Саянах. Очерки Марии Белкиной и «Саянские тетради» Бориса Полевого. «Братская» серия Анатолия Приставкина, байкальские очерки Анатолия Злобина и Олега Волкова. Очерки Владимира Чивилихина о тех, кто воюет за сохранение сибирского кедра. Очерки Иосифа Осипова о рождении нового нефтяного района страны. Книга «Семь баллов по Бофорту» молодой очеркистки Тамары Илатовской, как бы «открывающей» нам Чукотку...

Пусть простят меня товарищи по оружию, я не перечислил и десятой доли того, что написано очеркистами о Сибири и Дальнем Востоке, что осталось у нас на вооружении. Да, осталось — вот в чем дело! Перед нами — не преувеличиваю — настоящая художественная летопись победоносного наступления народа, который на глазах изумленного мира создает в глухих, необжитых районах центры цивилизации. Еще раз говорю: художественная летопись! «Деловая» публицистика дала пищу уму читателя, снабдила его необходимой информацией, публицистика же художественная дала пищу и уму и сердцу, более того — она в лучших своих произведениях запечатлела для памяти народной те черты характера советского человека, которые так явственно проявились именно в суровых условиях и на сибирских стройках, и на сибирских реках, и в экспедициях геологов и геодезистов, и на целине. Я думаю: если б собрать под одну обложку все сибирские очерки писателей, выдержавшие испытание временем, какая бы отличная получилась книга или серия книг!

Еще пример: современная публицистика, посвященная героическому прошлому народа. Велик читательский интерес к литературе о войне, о тридцатых и сороковых годах. Мемуары участников войны идут в книжных магазинах, что называется, нарасхват.

Но мемуары есть мемуары. Я же имею в виду очерки, в которых писатель выступает и как очевидец и участник давних событий, и как историк, и как художник прежде всего. Весьма любопытно, что среди авторов этих книг мы встречаем и тех бывших фронтовых корреспондентов, которые стали широко известны как очеркисты еще во время войны, потом, не оставляя военной темы, выступали как романисты, а теперь опять вернулись к старому испытанному оружию художественной публицистики. И как вернулись! «Записки молодого человека» Константина Симонова я считаю не менее интересными с точки зрения художественности, чем лучшие страницы симоновской же «крупной» прозы. В записках явственно обнаруживается особенность симоновского писательского зрения: его приметливость, зоркость к деталям, которые вводят читателя в самую атмосферу грозного времени. К. Симонов в предисловии объясняет, что в этом случае он лишь обработал свои военные дневники. Но сравнивая записки с теми очерковыми книгами автора, что выходили по горячим следам, замечаешь явное преимущество нынешних записок. И форма куда совершеннее, и усилилась в них та — вог не подберу слова, — ну, лирическая, что ли, струя: на себя молодого и на своих коллег автор смотрит как бы с улыбкой зрелого мужа...

Одну за другой несколько книг военных дневников выпустил Борис Полевой, и среди них особенно ценны дневники «нюрнбергские» — художественное свидетельство о событии, которое никогда и ни при каких обстоятельствах не должны забывать люди планеты. «Долговременность» — можно сказать об этом уже сегодня — обладает и книги Юрия Жукова о войне и людях тридцатых и сороковых годов. Есть книга, которая уже показала нам «временные» возможности художественной публицистики, посвященной военным годам, — я имею в виду «Брестскую крепость» С. С. Смирнова, которая стала добрым спутником нескольких поколений молодежи. А ведь и эта книга создавалась в разведке, в поиске...

Итак, с одной стороны, мобильность, не уступающая мобильности «деловой публицистики», в том числе и газетной, а с другой стороны, долговременность, как у лучших произведений крупной прозы, — вот возможности художественной публицистики, подтвержденные ее практикой.

Чем достигается это сочетание?

На этот вопрос нельзя отвечать вообще.

Тут нужен бы разбор конкретный. Секрет долголетия надо искать в самих произведениях, в каждом из них. Возьму для примера две книжки одного из мастеров художественной публицистики, Александра Кривицкого, — «Подмосковный караул» и вышедший несколько ранее сборник «Ночь и рассвет». Попробую посмотреть на них с этой точки зрения, имея в виду, что критика если и баловала похвалами этого писателя, то главным образом за содержание сочинений.

Две темы занимают Кривицкого: минувшая война и повседневность международной политической жизни. Не трудно уловить связь. Для писателя, который еще до войны стал профессиональным военным литератором, видел и писал войну от горьких дней сорок первого до того дня, когда наконец своими глазами увидел, как «Кейтель... никак не мог удержать монокль у глаза, вскидывал стеклышко, прищуривался, оно снова падало, повиснув на черном шнурке, — прыгали мускулы лица. Наконец он с ним справился и вывел свою подпись...», — так вот для Кривицкого... Помочь людям осознать в полной мере уроки войны и вместе с тем обрести бдительность к фашизму, поверженному в Берлине, но отнюдь не потерявшему способность в разных обличьях и на разных материках «возрождаться из пепла», стало делом жизни писателя...

Около тридцати лет Кривицкий «дописывал» и шлифовал главную свою книгу «Подмосковный караул» — о двадцати восьми панфиловцах. После первой статьи и очерка А. Кривицкого (они еще тогда, в начале войны, миллионными тиражами разошлись по фронту и тылу) два слова «двадцать восемь» стали символом не только обороны Москвы, но и символом той необходимой стойкости, которую должны явить и человек и народ в минуты опасности.

Подчеркиваю — не о б о ж д и м о й стойкости, потому что Кривицкий и в первом очерке, и уже более подробно в книге со знанием дела доказывает прямую — военную! — надобность подвига, которую знали и чувствовали те, кто вместе с политруком Василием Клочковым встал на смертный рубеж у Дубосекова...

Слова «велика Россия, а отступать некуда — позади Москва» — они ведь, эти слова, облетевшие фронт, как, впрочем, и другие приведенные Кривицким меньше чем год спустя на страницах «Красной звезды» сло-

ва: «За Волгой для нас земли нету...», — потому они и запомнились миллионам и были взяты на вооружение армией, что, в первых, отражали объективную реальность, обнаженную правду времени, а во-вторых, с лаконизмом и образностью, свойственными национальной традиции, выражали готовность народа защищать свою землю...

У двадцати восьми героев — в том и была необходимость их подвига (не вообще, а в совершенно конкретных обстоятельствах!) — позади была действительно только Москва. Так сложилась обстановка, что, не оказавшись на пути десятков немецких танков преграды — огня двадцати восьми героев, — дорога на Москву была бы открыта. И это знал Панфилов, и Кривицкий как «бесценную подробность» приводит тот факт, что Панфилов через командира полка Капрова передал командиру роты Гундиловичу: «Пусть... скажет всем: Панфилов, мол, лично приказал держать рубеж, хотя бы на него пошла вся немецкая армия. Держать!» А мы уже знаем из книги Кривицкого, каким непререкаемым авторитетом в дивизии пользовался Панфилов, что именно значили его слова для каждого солдата... Так что, вступая в бой с танками, двадцать восемь панфиловцев отлично знали, какого рода ответственность легла на их плечи. Знали, как это важно для судеб страны — задерживать немецкие танки именно на дубосековском рубеже. Не подвиг-порыв, а подвиг осознанный, которого нельзя не совершить, если Родина тебе дорога, — вот что открыл военный писатель...

Вспоминая, как потряс страну краткий газетный очерк «О 28 павших героях», я сейчас доискиваюсь до причин этого резонанса. Ведь было в ту тяжелую пору немало героических подвигов, описанных литераторами, — почему же именно двадцати восьми было суждено стать и символом и знаменем народа? В какой мере тут «повинен» автор очерка? Читаю у А. Кривицкого: «Автор был тогда молод, но уже не питал никаких иллюзий насчет своего литературного таланта. Он понимал: судьба столкнула его с Великим, у нее не было в тот момент под рукой никого другого, и она сказала ему: «Видел, понял? Теперь пиши, да поскорее!»

Нет, Кривицкий не только воспроизвел картину памятного боя, но и сумел донести до читателя самое главное: государственный смысл содеянного Клочковым и его товарищами. Этим, кстати, во многом объясняется популярность «Подмосковного караула» и

у самих участников минувшей войны, и — что важнее — у молодых читателей, в том числе и у сегодняшних военных. События прошлого пронизаны зрелой мыслью. «Более чем на четыре часа,— пишет Кривицкий,— задержали двадцать восемь героев танки противника, не дали им прорваться в Москве. В те дни это был неосцимимый выигрыш во времени. Из таких вот часов свирепого топтания немцев на месте и возникло крушение их стратегии «молниеносной войны»...»

Тут писатель пользуется привычными и надежными инструментами публицистики: логикой аргументов и обоснованностью выводов. Но есть в его арсенале и другое оружие...

Я перечитываю «Подмосковный караул», чтобы понять, какими средствами создан удивительно живой портрет генерала Ивана Васильевича Панфилова. Не роман же о нем написан, а очерк. И военная биография генерала предельно коротка. 28 августа дивизия прибыла на фронт, 18 ноября Панфилов был убит осколком мины. Он не дожид до разгрома немцев под Москвой. Вообще не дожид до наступления. Отступал. Вернее, держал оборону, хотя и отступал при этом. Но имя Панфилова стало легендарным.

Как Кривицкий пишет генерала?

Тут надо заметить, что «Подмосковный караул» — произведение и многослойное и многоплановое. Не зря Сергей Михалков в предисловии замечает, что читал книгу «как маленькую военную энциклопедию». Описание боев. Картины военной Москвы с точнейшими деталями. Размышления о типах полководцев, и анализ корнейчуковской пьесы «Фронт», и гневные слова о том, что «только на фоне подхалимов и тупиц расцветает самовлюбленность невежды»... И экскурсы в далекую военную историю. И мысли об армии сегодняшней: «Знаете ли вы, что такое современная мотострелковая дивизия? Это — красавица! Сам понимаю: не военное определение, а другого слова не подберу». И разумеется, портреты панфиловцев: Клочкова, Момыш-Улы, Гундиловича, Мухамедьярова, Логвиненко, Егорова, Галушко... Они — всяк на свое лицо. Вот Логвиненко, политработник, тонко чувствующий воинскую психологию:

«...добрались мы с Логвиненко до узла связи. Усталый, почерневший — он только что выскочил из огненного пекла — Логви-

ненко опустился на лавку, переводя дух. В углу колдовал над аппаратом русоголовый связист и понуро повторял:

— Я «Сова»... Я «Сова»... Я «Сова»...

Вдали еще слышались минометные разрывы. Бой догорал.

— Какая же ты сова? — вдруг встрепетнулся Логвиненко. — И чья это казенная душа придумывает такие позывные! Какая же ты сова? Ты орел? Орел ты или сова? Отвечай, солдат...

— Так точно, товарищ комиссар! И верно, какая я сова? Даже обидно...

...А спустя два часа я слышал, как Логвиненко говорил в штабе:

— Связист не попугай. Ему не все равно, что он будет повторять весь день. Представляет себе — переключается полк с батальоном: «Я кролик, я кролик», — и ему в ответ: «Я суслик, суслик слушает», — а потом тому же кролику нужно ползти под огнем противника — искать обрыв на линии...»

Короткий разговор открыл читателю характер героя весьма существенной стороной...

Поначалу «чистой» прозой написан и Панфилов. Дан зримый внешний портрет. В главе «Чаепитие у Панфилова» уловлена и характерная интонация панфиловской речи, о которой комиссар Егоров сказал: «Иван Васильевич говорил, как врезал в память. Его слова в решете не просеешь. Полновесно говорил». Полновесность речи генерала — она тоже разная, и это подмечает автор. Накоротке она чаще всего предельно афористична: «Как заварить бой — так и попеть»... «Как заварить бой и как его прихлебывать или, вернее, расхлебывать»... «Где жарче бой, там и мы с тобой»... «Когда хорошо знаешь людей — потерь меньше»... В неторопливой же беседе тоже афористичность, только иного рода, более, что ли, глубокая, полновесность речи тут выражалась абсолютной предметностью, отточенностью мысли: «Чем крупнее масштаб действия офицера, тем более отодвигается на второй план храбрость как свойство темперамента и, соответственно, тем большее значение приобретает смелость мысли, храбрость ума...»

Словом, перед нами генерал умный, незаурядный, обожаемый солдатами и бесстрашный. Достаточно для портрета? Нет, автору этого мало. Чтобы выявить до конца неповторимость личности Панфилова, стержень его натуры, он обнажает «наклон» военного почерка именно этого, а не вообще



генерала, руководящую панфиловскую идею...

И тут вступает в дело публицистика, как бы сплавленная с «чистой» прозой. Сплав естественный, тут нельзя разграничить: это — одно, это — другое. Потому что и публицистика в том же ключе — образная. Автор передает нам разговор с Панфиловым, тот, в котором корреспондент допытывался насчет «секрета стойкости дивизии» Панфилов сперва отшучивается: «А вам на что? Собираетесь командовать дивизией?» Потом уже серьезно: «Скажу коротко: не боимся танков!» От этого «не боимся», сказанного в дни, когда именно «танкобоязнь» пехоты была губительна — немцы превосходили нас в технике, в танках, и удары панцирных колонн врага приходились по пехоте, — от этого важнейшего «не боимся» и ведет исследование писатель...

И мы представляем себе «зеленую Алмату», отделенную тысячекилометровыми пространствами от огнедышащей линии фронта, и «скромного русского человека в генеральской форме — Ивана Васильевича Панфилова, и сухие, знойные ночи, когда он оставался наедине с картой России». Представляем и то как «размышляя над среднесуточным темпом наступления противника, генерал Панфилов понимал (в тылу, еще до выезда на фронт. — Г. Р.), что основа этого движения — «мотор, броня и огонь: самолеты — в воздухе, танки на земле...». И это приводило генерала к единственному умозаключению, что «пехота, раз уж того требует обстановка на многих участках фронта, не только должна, но, главное, может один на один выстоять против танков противника... Спор между танком и пехотинцем он решил для себя, для своей дивизии в пользу пехотинцев»: подготовленный для такой схватки боец выстоит!

Картины жизни сменяются размышлениями о ней. Лаборатория военной мысли генерала, в которую вводит нас писатель, становится как бы трамплином для понимания и его, генерала, поступков, и действий всей дивизии. Решив для себя спор «в пользу пехотинцев», Панфилов тут же формулирует название новой военной специальности — «истребители танков». И приступает к боевой подготовке дивизии именно в этом духе! Повторяю, еще тогда, в тылу, до выезда на фронт.

Так обнаружена и раскрыта — средствами публицистики — руководящая панфиловская

идея. Так найдена и исследована связь между мыслью военачальника и тем, что последовало за ней: «Кто же были двадцать восемь героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково? Они и были теми истребителями танков, о которых мечтал Панфилов, формируя свою пехотную дивизию».

Стремление дойти до самой сути и явления и характера потребовало и средств портретной живописи, и глубины рассуждений, типичных для публицистики. Естествен сплав красок, взятых как будто с разных палитр. Но палитры-то вовсе не разные — и та и другая принадлежит искусству...

В связи с этим небольшое отступление. Когда в «Новом мире» было опубликовано начало «Районных будней» Валентина Овечкина (помните: возвращение Борзова с курорта и его первое столкновение с Мартыновым), один из друзей покойного писателя воскликнул. «Слушайте, так это же повесть! Чистейшая повесть, — при чем тут очерк?! Продолжай так же...» Восклицание не столь уж легкомысленно, как может показаться. Дело в том, что уже к той поре сами понятия «очерк» и «публицистика» претерпели известную девальвацию. Читатель уже тогда привык встречать под этими, выражаясь по-газетному, рубриками бог весть что: и поверхностные репортажи, и «зарисовки», и скучные ведомственные статьи, — поэтому и удивило его, читателя, что в очерке (в очерке!) обнаружились вдруг элементы высокой прозы! Как известно, Овечкин был мастер и прозы повествовательной (вспомните его довоенные рассказы и повесть «С фронтовым приветом»), однако продолжать «Районные будни» он стал по-особому! Для решения той идейно-художественной задачи, которую он ставил именно в «Районных буднях», ему нужны были все «подручные средства», и в особенности публицистика. Правда, ему понадобились и объемные, развернутые характеры Мартынова и Борзова, но, еще раз говорю, писателю нужно было выйти на прямой разговор с читателем о тех социальных проблемах, которые писателя занимали, и поэтому он, преодолев соблазн живописать, скажем, уже обнажившийся перед нами конфликт Борзова с женой, избежав иных искусов прозы беллетристической, сосредоточился на главном конфликте, общественном! И, если вы помните, после первых сцен в произведение густой струей ворвалась публицистика. И вот что любопытно: вещь соткана как бы из разных

материалов, а поражает своей цельностью. Почему? Да потому, что всеми «подручными средствами» одинаково владел художник! Под его пером и сцены жизни, и рассуждения о ней становятся явлениями искусства...

Но вернусь к книгам Кривицкого. О его очерке «Судьба генерала» я также слышал. Тут материал для повести, ах, какая получилась бы повесть! Какая бы получилась повесть — об этом судить нельзя, так как ее нет, но есть очерк...

Генерала Александра Ильича Лизюкова мы видим в разных обстоятельствах и в разных состояниях. Видим и до войны на параде — в открытой башне первой нашей «тридцатьчетверки», — и позже, когда он, выйдя из тюрьмы, куда попал по вздорному нелепому обвинению, не плакался, не хандрил, горько усмехнувшись, сказал: «Бывает». И в первые дни войны под Борисовом, где он, следуя в свою часть из отпуска, внезапно оказался лицом к лицу с прорвавшимся сюда, к Березине, противником. Там, в лесу, «в беспорядке и неразберихе скопилась не одна тысяча командиров и бойцов... Еще час, два, и в хаосе неизвестности паника одержала бы верх над естественным стремлением военных людей к четкой системе и организации. Но вот в людском водовороте, в волнах стихийной неурядицы возник... островок порядка. Он излучал во все стороны твердые импульсы. Они были замечены, как мигающий свет маяка, к которому правят свои суденышки рыбаки во время внезапно разыгравшегося шторма. Эти импульсы оказались приказами. Островок спокойствия расширился, он все более выступал на поверхность, и вскоре хлябь бесцельного волнения уступила место твердым осмысленным действиям, центром притяжения стал Лизюков». А осмысленные действия состояли в том, что Лизюков, по словам очевидцев, так сказал бойцам: «Наше дело — мост. Дождемся своих, перетянем их на тот берег — тогда другое дело. А пока — стоять. Я стою, и вы стойте. Наше дело — мост!»

Я обращаю внимание на то, что заметил и в «Подмосковном карауле»: как наглядно объясняет читателю Кривицкий военную надобность подвига и как предметно он пишет обстановку боя. Достоверность писателяского знания помогает и нам в натуре увидеть то, что сделал Лизюков, полюбить его, понять, почему и за что именно полковнику Лизюкову в числе первых на войне было присвоено звание Героя Советского Сою-

за. И здесь снова бросается в глаза образность «собственно публицистических» рассуждений писателя

А потом одна за другой встречи автора с Лизюковым, раскрывающие и своеобразие и богатство этого цельного, но отнюдь не простого характера. Лизюков страдающий: «Черт возьми, не могу привыкнуть к этому смертному калейдоскопу, мельканию лиц! Иногда разговариваю с новым комбатом, а вижу того, старого...» Лизюков, озабоченный, под Наро-Фоминском: «Ничего не хочу сейчас в жизни. Только одного: наступать!» Лизюков веселый: «Вот дойдем сами до Ла-Манша, тогда они опомнятся, скажут: «Ай-яй-яй, что же это такое, как нехорошо получилось!» Посмотрит Черчилль в подзорную трубу через пролив и спросит: «А кто это там на берегу стоит такой невысокий, лысоватый, но в общем ничего, видный из себя генерал?» А начальник штаба ответит ему: «Так это же генерал Лизюков, сэр. Он самый, сэр. Неужели не узнаете, сэр?»...» Еще Лизюков, удовлетворенный, после того, как ему «дали» корпус: «Довольны. Александр Ильич?» — «Доволен, — не задумываясь, ответил Лизюков. И повторил: — Корпус — дело не шуточное, доволен. Если честно сказать, манят меня, конечно, танки, но ведь пехота — царица полей. Послужим с государственной-матушкой...»

И наконец, Лизюков в те трагические дни лега сорок второго года, когда он «получил» желанную танковую армию и она потерпела неудачу, причем отнюдь не только по его вине. Лизюков буквально за несколько часов до гибели: «Лизюкова закрывала от меня спина командующего, но я услышал повторенную несколько раз фразу:

— У меня были связаны руки, товарищ командующий, связаны руки, да и в руках этих, кроме танков, ничего не было и нет: ни авиации, ни артиллерии...

...Наступила пауза, и вдруг в тишине я явственно услышал громко произнесенное:

— Это называется трусостью, товарищ Лизюков. Вы трус!

И тотчас же я увидел Лизюкова. Он, видимо, шагнул к командующему, а тот отступил немного, не назад — мешала машина, а в сторону.

Лицо Лизюкова, измученное, черно-зеленое лицо выражало страдание. Он стоял в безмолвной группе военных, не сводя воспаленных глаз с грузного широкоплечего человека, чью набыченную шею я видел в по-

лотора метрах от себя. Потом Лизюков повернулся и молча пошел прочь...»

И была еще одна встреча автора с героем, и еще один ночной разговор, а потом Лизюков погиб, погиб, как тогда казалось, таинственно (потом Кривицкий разыскал свидетельства очевидцев, и «туман» таинственности рассеялся: Лизюков был сражен в бою, когда пробивался к окруженной противником своей части), и «с этого самого дня странная тень упала на имя Лизюкова. Оно нигде не упоминалось...».

Очерк «Судьба генерала» написан на одном дыхании. Чем он захватывает? Прежде всего не иссякшей с годами любовью писателя к своему герою и неугасающей острой болью за него: и за то, что так безвременно он погиб, и за то, что было попрано, предано забвению его светлое имя. Я не знаю, как это достигается, да и вряд ли это знает сам Кривицкий, но это достигнуто: читателя этого короткого (два авторских листа) очерка с первой и до последней строчки не оставляет ощущение кровной близости к Лизюкову...

И уж когда исследовательски всматриваешься в очерк, видишь, сколько на него пошло различных «строительных материалов»: и личные воспоминания, и воинские аттестации, и свидетельствования очевидцев, и выписки из журналов боевых действий немецких частей, противостоявших Лизюкову, и личный архив генерала, и рассказ его сына, участника сражения под Борисовом...

Автор провел кропотливое исследование, чтобы вернуть стране доброе имя ее верного сына и вместе с тем воспроизвести образ одного из полководцев минувшей войны.

Так почему же все-таки не повесть?

Вопрос неправомерный, несерьезный, но я ставлю его, чтобы обострить проблему. А она в том, что художественная публицистика может своими средствами решать идейно-художественные задачи самого крупного масштаба. Ей, этому синтетическому жанру, доступно многое...

Писатель не мог не написать того, что написал, и не мог написать это иначе. Перо направляла цель не просто литературная — автору важно было вернуть людям образ генерала Лизюкова, сказать о нем всю правду. Для этого понадобились «строительные материалы» во всем их изобилии.

Да, назначение очерка «рабочее», но как часто именно из гражданской заинтересованности художника и рождается настоящее искусство! Разве Ольга Берггольц «выбира-

ла жанр», когда из соприкосновения ее таланта с гражданским долгом (нельзя было не рассказать людям о мужестве ленинградцев), — когда из этого соприкосновения высеклись строчки «Дневных звезд»? Уверен, спроси у Ольги Федоровны: что такое ее «Звезды» — очерк, повесть, поэма? — она отмахнется: какое ей дело до этого...

Кстати, настоящая художественная публицистика всегда «личная». Уточняют: «исповедальная». Не уверен, что это слово тут подойдет. Но что личная — совершенно убежден! И тогда, когда автор ведет рассказ от первого лица, и когда он будто бы скрывается за лицом третьим. Но и в том и в другом случае жанр этот (как, впрочем, и любой жанр литературы) не терпит сторонности взгляда, бесстрастия.

Настоящие художественные очерки, как и те, которые я разбираю, всегда очень личные. Потому что в них бьется сердце писателя, живут его позиции, пристрастия, взгляды на действительность вообще и на ее конкретные проявления и проблемы. К слову сказать, именно так возникает перед нами сам лирический герой книг Кривицкого: увлеченный, не скрывающий ни симпатий, ни антипатий, ни восхищения, ни страданий, ни горечи, ни гнева, дотошный в смысле раскопок «до самого дна».

Да, она много может, художественная публицистика. Если говорить об очерке как о разновидности прозы, то сколь многоцветна его палитра, сколь велико стиливое многообразие...

Пройдемся по вершинам художественного очерка последних десятилетий. «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Ледовая книга» Юхана Смуула, «Районные будни» Валентина Овечкина, «Капля росы» Владимира Солоухина, «В одном населенном пункте» Бориса Галина, «Деревенский дневник» Ефима Дороша, «Липяги» Сергея Крутилина, «Бездна» Льва Гинзбурга... Что во всех этих произведениях есть изрядная доля публицистичности, в том сомнения нет. Но как же они самобытны, как не похожи друг на друга!

И вот этот-то жанр со столь ярко выраженными художественными достоинствами, жанр, подтвердивший свою способность создавать ценности непреходящие, пытаются подчас объединить с публицистикой «деловой», практически отделить от прозы, от искусства...

Причем делается это чаще всего вот как красиво. Говорят — «нержавеющее оружие».

Говорят — «разведка боем». Но и вздыхают при этом: «А все-таки не проза». Иное дело, если бы, грубо говоря, сочинение начиналось: «Прокофий слез с печи и, почесав всклокоченную, темную, с серебристой проседью бороду и зевнув шербатым ртом, сказал Марфе...» — или: «Мальвина, выпорхнув из-под атласного одеяла, увидела висящий на спинке кресла майорский китель и вспомнила...» — тут у нормативной критики сомнения нет: проза! Худая проза, пошлая, никудашная — это критик заметит, но что это проза, то бишь беллетристика, род изящной словесности, тут вопроса и не возникнет. Зато сколько раз, отмечая «очерковость» и «публицистичность» произведений «странного жанра», критики как бы извиняются перед читателем: дескать, вот произведение и страстное, и талантливое, и воистину художественное, но есть, простите, в нем очерковость! Как будто это порок, а не особенность и не достоинство именно этого сочинения и этого художника. Поразительно забываются при этом традиции отечественной критики, которая вот уж за что — за очерковость — не упрекала ни автора «Записок охотника» (как известно, Белинский ценил их выше некоторых романов), ни Глеба Успенского, ни Короленко, ни Горького. В наши же дни можно назвать немало отличных сочинений очеркового жанра, которые сами авторы называют романами или повестями, только чтобы не навлечь на себя упреков в «очерковости»...

И опять-таки я не стал бы говорить об этом, если бы все это не настораживало редакции и издательства, если бы не мешало самой критике объективно разобраться в каждом из сочинений. Так ведь теория переносится в практику! Рукописи подчас злободневнейших, нужных народу очерков — подчеркну: истинно художественных — зачисляются по разряду «социально-экономической литературы» и издаются минимальнейшими тиражами. В журналах любой трехкопеечный рассказ о том, что «она» его любит, а «он» ее нет, наберут крупным шрифтом (проза!), как наберут и любого «Прокофия, слезшего с печи», и любую «Мальвину», а очерк, будь он во сто крат талантливее и нужнее народу, и наберут пепитом, и напечатают на задворках рядом со статьей на хозяйственные темы. Как о празднике вспоминаешь о той поре, когда «Новый мир», например, открывался рубрикой «Очерки наших дней», а «Октябрь» на видном месте из номера в номер вел «Три-

буну жизни». Еще деталь: хотя почти все перечисленные мною произведения, которыми гордится наша литература, были напечатаны «Роман-газетой» и не только не унизили это издание, но и прибавили ему популярности, но какие, я слышала, споры разыгрываются в редакционном совете, когда сочинение с признаками «очерковости» или «публицистичности» ложится на стол!

Попытку смешать художественные очерки в «одной куче» с публицистикой деловой вызывают девальвацию самих понятий «очерк» и «публицистика».

А последствия?

Не секрет, что литературная молодежь как бы совестится заниматься публицистикой или всерьез заявлять, что она ею занимается, чувствуя, что к этому делу относятся не как к искусству. Мне рассказывали, что при приеме в Литературный институт за последние годы никто из абитуриентов не заявил себя ни очеркистом, ни публицистом (опасались, что не примут!), а некоторые поступающие, имея отличные очерки, предъявляли вместо них средние и даже плохие рассказы вроде того же «Прокофия», не без основания думая, что рецензенты уж «Прокофия»-го сочтут хоть за дурную, но за «изящную» словесность, тогда как очерки будут сразу же объявлены журналистикой... А недавно в Москве на семинар молодых было приглашено более трехсот начинающих литераторов, и хотя многие из них в своем творчестве тяготели именно к очерку, но очеркистами себя не называли! Так-таки и не удалось собрать ни одной группы по художественной публицистике. Не тревожные ли это факты?!

И вопрос тут отнюдь не «организационный». Речь о будущем важнейшего жанра нашей литературы. Что скрывать, и «нержавеющее оружие» и «разведка боем» — все это сейчас находится по преимуществу в руках писателей весьма преклонных лет, тогда как еще недавно и публицистика и очерки вследствие, кстати, и своей мобильности были делом прежде всего литературной молодежи!

Так что отношение к жанру влияет и на состав его кадров, а это весьма и весьма серьезно.

Между тем настоящая художественная публицистика способна выдержать самые высокие эстетические критерии. Самые высокие! Она с не меньшим успехом, что и остальные жанры литературы, выдерживает и

проверку временем. Не первый раз придется повторять: ни очерку, ни публицистике снисходительность не нужна. Более того, снисходительность к жанру, попытка принизить его, подравнять под уровень «деловых» статей — все это в конечном счете поведет лишь к дальнейшей девальвации жанра, а это повредит всей нашей литературе.

Надо помнить, глубоко понимать, что страна, выполняя Директивы XXIV съезда Коммунистической партии, в самое ближай-

шее время будет решать задачи столь высокой сложности, что ей как никогда понадобится и яркое художественное слово, слово действительно в роли нержавеющей и быстродействующего оружия!

Лучшие, галантливые книги писателей-публицистов — несомненное свидетельство того, что художественная публицистика принадлежит искусству. И помогать ей надо соответственно, и судить ее по законам искусства, без всяких скидок!



# ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В. АДМОНИ

★

## МИФ О ТВОРЧЕСТВЕ ТОМАСА МАННА

*В шестом номере нашего журнала за 1970 год был опубликован очерк польского писателя Ст. Лема «Мифотворчество Томаса Манна», посвященный истолкованию романа «Доктор Фаустус». Как говорилось во вступительной редакционной заметке, не со всеми положениями автора, развиваемыми в этой работе, можно согласиться. С его концепцией в свое время спорил С. Алт в журнале «Иностранная литература» (№ 8 за 1969 год), затем Е. Книпович (№ 12 за 1970 год).*

*Ниже мы публикуем один из откликов на работу Ст. Лема, полученных журналом. Столь разнообразные и заинтересованные отклики свидетельствуют, что проблемы, затронутые в статье Ст. Лема, действительно важны и общезначимы и заслуживают серьезного обсуждения.*

Эта статья написана не в защиту Томаса Манна.

Надо ли защищать писателя, творчество которого уже стало в сознании многих миллионов читателей во всем мире важнейшей составной частью самой глубокой и благородной литературы, созданной XX веком?

И надо ли защищать Томаса Манна от критика, который в конце своей статьи, нацелив, по его собственному выражению, в роман «Доктор Фаустус» «кибернетическую пушку», все же пишет: «...никакой армии доводов не поколебать этот апробированный шедевр», а в предисловии отмечает, что его критика вообще направлена не столько против романа, сколько против распространенного истолкования «Доктора Фаустуса».

Но многое, о чем идет речь в статье Ст. Лема, нуждается в защите. Анализ Лема, острый и наблюдательный, вместе с тем и односторонен. Лем абсолютизирует одни аспекты исследуемых им явлений и не замечает других. Поэтому он оказывается несправедливым. Он несправедлив и к человеку XX столетия, и к литературе XX столетия. Он несправедлив и к природе искусства, и к природе мифа.

Против этих несправедливостей мы и будем спорить, оставаясь в тех рамках, которые наметил сам Лем, то есть в рамках исторической действительности и литературы XX столетия на Западе. Мы начнем с проблем непосредственно социальных и конкретно-исторических. Но перед тем, как приступить к спору, необходимо отметить, что в статье Лема есть и в высшей степени правильные и интересные положения.

Напомним — в самом основном — концепцию Лема.

Показав трагедию немецкого народа, «соблазненного» фашизмом, в образе гениального композитора Адриана Леверкюна, продавшего душу дьяволу, чтобы найти новые пути в творчестве, Томас Манн возвысил гитлеризм, представив его жалкое ничтожество высоким демонизмом. Идя по этому пути, Томас Манн заменил причинное («эмпирическое») толкование исторических событий толкованием мифологическим, поскольку именно миф, по Лему, есть способ внести иллюзорный порядок в реальное течение вещей — такой порядок, который нельзя проверить реальным опытом. Но если для других эпох сочетание эмпирического подхода с подходом мифологическим может привести к значительным художественным результатам, то в XX веке, особенно в

периоды, подобные тому, который описывается в «Докторе Фаустусе», это невозможно: здесь вообще дело идет не о личностях, а о массовых судьбах, не о свободном выборе человека в трагической ситуации, а о его приравнивании «к материальному предмету, лишенному возможности управлять собою и таким образом выброшенному за грань того свободного пространства, на котором может разыгаться возвышенная трагедия, выбор между ценностями». Здесь господствуют закономерности статистические, управляющие случайными событиями, и литература, пытающаяся усмотреть в их сцеплении глубокую, осмысленную взаимосвязь, внести этическую упорядоченность в хаос человеческих взаимоотношений, находится на ложном пути, подлежит осуждению.

Бесспорно в этой концепции только одно: указание на ничтожество нацистских вожаков. «Дьявол фашизма был не гением, не вдохновенным творцом, а скорее идолом зла», — говорит Лем и подчеркивает, что у этого зла, при всей его чудовищности, не было ни демонического величия, ни всеведения. И приписывать гитлеризму эти качества значит окружать его незаслуженным ореолом. Так говорит Лем, и с этим невозможно не согласиться.

Поэтому вполне закономерна полемика Лема против того взгляда, согласно которому Леверкун воплощает в себе судьбу немецкого народа, попавшегося на фашистскую приманку. Такой взгляд действительно незаконным образом облагораживает фашизм и его приспешников.

Но все остальное в концепции Лема представляется нам неверным. Особенно неправильна, с нашей точки зрения, лемовская трактовка соотношения между человеком и исторической действительностью XX века — трактовка, которая лежит в основе всех общих построений и даже многих частных выводов Лема.

Поэтому мы и начнем наш спор с вопроса о человеке XX столетия.

«Фон времени» в XX столетии, по Лему, — это фон полной обезличенности человека, полного стирания личности как значимой единицы. Непосредственно это говорится о годах гитлеризма: «Мы в Европе были зернами, которые миллионами летели в жернова; и в щелях, разделяющих жизнь и смерть, миллионы существ не имели ни времени, ни места не только на разговоры с адом или с небом, но даже на единственный жест поправной человечности. Жертвы были лишены лица, имени, личности. Тот, кто, названный поименно, погибал за свои заслуги или грехи как избраннык дьявольских или недьявольских сил, — находился в чрезвычайной, в исключительной в завидной ситуации: он хоть на мгновение выходил из безвестности, становился человеком хотя бы для убийцы, который распознавал в нем личность, а не только сырье для химических фабрик. Это была эпоха массовых боен, организованных хорошими специалистами. В стенах этих боен гениальность не имела ни малейшего значения, над ней не склонялся дьявол, распознавший великую душу, дабы подвергнуть ее соблазну. Можно ли представить себе дьявола в концлагере — не как метафору, а как личность, вступающую в переговоры с кем-нибудь из людей? Какая чепуха — и какая глупая, возвышенная фальшь!»

И далее Лем с большой силой показывает, как с помощью изощренных методов нацисты превращали свои жертвы в соучастников своих преступлений, и подчеркивает, что «достаточно опытный палач» может перед физическим уничтожением уничтожить духовно даже человека с самой редкой, ненормально упорной верой в высшие ценности — «предоставив ситуацию выбора, являющуюся карикатурой на трагедию».

Косвенно такой фон времени, пусть не в столь крайнем виде, дан, по Лему, для всего нашего столетия. Повсюду человек оказывается в XX веке у Лема лишь игрушкой статистических закономерностей, а последствия человеческих поступков в хаосе меняющегося современного мира никак не соотносятся с дальнейшей судьбой человека. Лем иронизирует над литературой, которая видит особый внутренний смысл в совпадении «двух случайных серий, причинно не зависящих друг от друга». В связи с этими своими рассуждениями о судьбах людей в современном обществе Лем вспоминает о броуновском движении молекул с его абсолютной беспорядочностью.

Но все эти утверждения обладают лишь кажущейся убедительностью. Потому что они рассматривают самого человека лишь внешне, не учитывая его реальных душевных сил и внутренней истории его жизни.

И в годы нацизма, несмотря на то, что миллионы жертв были действительно доведены своими палачами до состояния полного отчаяния, существовали люди с несогнутой душой. Свою душевную силу они пронесли сквозь самые безнадежные ситуации, свою готовность к борьбе хранили до конца в самых унижительных и жутких условиях существования. Многие из них — вероятно, огромное большинство — так и погибли, не сумев выявить вовсе твердость своей души. Но о том, что такие люди были, свидетельствует все движение Сопротивления в захваченных Гитлером странах, а особенно восстание в варшавском гетто, предпринятое в условиях полной безнадежности.

Такие люди не только делали свой выбор — выбор между добром и злом, но и оставались ему верными несмотря ни на что. И когда представлялась хоть малейшая возможность претворения этого выбора в действие, они начинали действовать — пусть в самых неблагоприятных условиях. Но если такая возможность так и не представлялась до физической гибели этих людей, само наличие у них душевной непреклонности необычайно значимо — не только этически, но и социально. Ведь внутренняя настроенность человека, если только она устойчива, означает определенную потенцию социальной деятельности. Стоит хоть несколько измениться обстановке — и эта потенция реализуется. К сокровенным силам души надо относиться с величайшим уважением и с величайшим вниманием даже тогда, когда сам человек скован. Недаром В. И. Ленин противопоставлял раба, обладающего стремлением к свободе, рабу, который не только лишен такого стремления, но и оправдывает и приукрашивает свое рабство. О рабе с таким сознанием Ленин говорил, что он есть «вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам»<sup>1</sup>. И это указание не только является призывом ко всем людям даже в самом недостойном внешнем положении, в условиях полной внешней несвободы сохранять в себе и воспитывать внутреннюю независимость, подлинную свободу своего духа, но является и констатацией того, что такая внутренняя свобода, свобода сознания, возможна.

XX век с небывалой силой показал неистребимость человеческого духа и силу человеческой души. При всей его «статистичности» и конформизме, в нем есть — даже оставаясь в пределах той действительности, о которой говорит Лем, то есть не выходя за границы Запада и не обращаясь к образам последовательных революционеров и к подлинно революционной практике, — место и для людей, обладающих особой индивидуальностью, внутренней свободой, для людей поистине неконформистских.

О наличии таких людей свидетельствуют и исторические события, и литература XX века. Достаточно назвать Роберта Джордана из романа «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя, чтобы это стало очевидно. И сам Хемингуэй своим обликом и всей своей жизнью подтверждает, что в XX веке были и люди с настоящей внутренней свободой, вставшие в единообразие со статистическими закономерностями.

В последние десятилетия, после второй мировой войны, борьба против конформизма, утверждение суверенных прав и силы человеческой души в ее неповторимом своеобразии становятся особенно сильными, приобретают чуть ли не массовый характер. Уже в пятидесятых годах в разных видах искусства (у Ф. Феллини, Дж. Д. Сэллинджера, Г. Бёля и других) возникают персонажи, следующие требованиям своей души, хотя бы это означало для них всевозможные невзгоды и лишения. В шестидесятые годы эта литература продолжает развиваться<sup>2</sup>. И в те же шестидесятые годы борьба против конформизма за более широкое и свободное проявление внутренней жизни человека оказывается, по сути дела, составной частью того массового молодежного движения против «потребительского общества», которое, выступив под наименованием «внепарламентской оппозиции», причудливо соединило в себе подлинно освободительные и агрессивнореакционные черты. Но даже находясь на ложном пути и частично сбивое с толку, современное движение протеста на Западе свидетельствует все же о крайне интенсивной духовной жизни молодежи.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 108.

<sup>2</sup> О различных этапах развития на Западе такого рода литературы нам уже довелось писать на страницах «Нового мира» — в рецензиях на романы Г. Бёля (1964, № 12) и Г. Зойрена (1970, № 8).



Среди людей XX века вопреки всему есть люди, следующие требованиям своего духа и своей совести, живущие не средневековой, не эссенциально детерминированной жизнью. И хотя такие люди составляют лишь меньшинство (а в некоторые периоды даже, может быть, ничтожно: меньшинство) в той среде, в которой они живут, о них никоим образом нельзя забывать, когда говоришь, употребляя термин Лема, о «жизненном фоне» XX века. Они составляют неотъемлемую часть этого «жизненного фона».

А поскольку «жизненный фон» XX века оказывается иным, чем утверждает Лем, и поскольку литература каждой эпохи возникает как выражение «жизненного фона» этой эпохи и в многообразном взаимодействии с ним, появляется возможность (и необходимость) начать с Лемом спор о литературе XX века.

Наличие в XX веке людей со свободной внутренней жизнью делает вполне оправданными произведения искусства, в центре которых стоит проблема выбора, совершаемого героем между представившимися ему альтернативами. Обращение к такому выбору, который может носить более внешние формы, но может касаться и самых глубинных проблем человеческой жизни, может быть выбором между добром и злом, оказывается не только допустимым в XX веке, но и является закономерным, даже необходимым для искусства, а прежде всего для литературы XX века.

Как раз грозный и трагический характер действительности XX века ставит перед человеком основные вопросы его существования, заставляет его определять свое отношение к этой страшной действительности и свое поведение — не только практически, но и в общем виде, путем внутреннего решения. Именно катастрофическое, а не благополучное эпохи вызывают в людях наиболее настоятельную потребность вникнуть в самые общие проблемы бытия и сделать выбор между разными путями в жизни — даже если этот выбор не может проявиться вовне.

Но как раз совершаемый героем «выбор» как движущая сила в построении литературного произведения и является основным объектом критики Ст. Лема.

Ст. Лем противопоставляет друг другу в творчестве Т. Манна (а насколько можно судить, и вообще в литературе XX века) два «типа моделирования»: эмпирическое моделирование и моделирование мифологическое при множестве переходных форм между ними. Миф понимается при этом как такой способ упорядочения действительности, который не совпадает с реальной причинной связью событий, вообще является «трансцендентной надбавкой» к реальному миру. Таким образом, миф, по сути дела, воспринимается здесь в своем расхожем бытовом значении как синоним пустой выдумки, лжи. И введение в структуру романа момента выбора, совершаемого героем, как момента, определяющего все сюжетное развитие произведения, оказывается, по Лему, — в условиях XX века — «мифологическим моделированием», то есть привнесением мифа в реальную действительность, а попросту — ложью.

Правда, Лем выдвигает этот вид «мифологизирования» действительности в более широкий ряд. Обращение к «выбору» приравнивается ко всяким искажениям реальных связей для доказательства какого-либо авторского тезиса, ко всякой попытке приписать чисто случайной связи событий некий внутренний смысл. В частности, Лем высмеивает попытки усмотреть расплату за преступления там, где столкнулись лишь два ряда случайных событий и где по-настоящему можно было бы только сказать: «всякое бывает на свете» или «чем черт не шутит». И здесь и там действует стремление упорядочить действительность, то есть мифологизировать ее.

Но, по существу, здесь явления совершенно различного порядка.

Попытка построить сюжет литературного произведения целиком как доказательство того, что дурные поступки наказываются, а хорошие поступки вознаграждаются, не может увенчаться художественным успехом. Все это сушая истина, к тому же истина общезвестная. Европейский роман при своем возникновении в новое время с самого начала и с абсолютной убедительностью продемонстрировал, что в мире действуют совершенно иные закономерности. В великом романе Сервантеса герой, обладающий высокой душой и движимый самыми возвышенными мотивами, претерпевает всевозможные злоключения и подвергается насмешкам. А в плутовском романе выясняется, что успеха добивается герой предельно ловкий и не стесняющийся в средствах.

Почти через триста лет Марк Твен в одном из своих рассказов жестоко высмеял лживость нравучительных книжек для воскресных школ: мальчик, поверивший, что добрые дела приносят практическую выгоду, терпит одно бедствие за другим и гибнет.

Но совсем по-иному повертывается проблема воздаяния в произведениях, где судьбы героев вилетены в основные закономерности человеческого бытия. Там, где история отдельной личности смыкается с историей целого народа или целой эпохи, где образ человека в значительной степени становится воплощением общих черт человеческой природы, возмездие за злодейство оказывается одним из самых глубоких и неистребимых элементов сюжета, который может — и в XX веке — лечь в основу произведений огромного художественного значения. Конечно, и здесь нетрудно обнаружить известное «упорядочение реальной действительности», «мифологизацию», но такое упорядочение отнюдь не делает произведение мертвым и фальшивым: в каком-то общем плане, если глядеть из обширнейшей исторической перспективы, возмездие за злодейство отнюдь не является чистой фикцией, хотя в реальном сегодняшнем мире оно совершается не всегда, отнюдь не наступает автоматически и часто заставляет себя долго ждать.

Но чрезвычайно важен — в частности, для литературы XX века — другой поворот в литературе, оперирующей мотивом возмездия, а именно когда речь идет вообще не о внешнем сюжетном действии, а о тех последствиях, которые имеют действия персонажей для их внутреннего мира.

Ведь для людей, душевный мир которых не окончательно выжжен практической жизнью и своекорыстными устремлениями, совершаемые ими поступки не проходят бесследно. Если это были дурные поступки, несправедливые, идущие во вред другим, то совершившие их люди с незаглохшей душой не смогут равнодушно отбросить их и забыть о них. Они будут к ним постоянно возвращаться, мучиться ими — и тем самым терпеть за них наказание.

А такие люди всегда были. Есть они и в XX веке. Слово «совесть» отнюдь не стало архаизмом, хотя всегда были и в большом количестве есть и сейчас люди, сумевшие ее в себе заглушить. Поэтому проблема возмездия и расплаты как таковая была и остается в мировой литературе, стремящейся к глубокому постижению жизни, одной из самых главных, самых важных проблем. И хотя такое возмездие непосредственно совершается во внутренней жизни человека, оно может иметь на каком-то этапе решающее значение и для его внешней жизни, вообще для всей его судьбы. И то, что в западной литературе XX века наряду с многочисленными другими ответвлениями есть и ответвления, для которых характерно максимальное внимание к ответственности человека за свои поступки, нередко перерастающей в ответственность человека за все, что совершается вокруг него, это составляет силу и славу современной западной литературы, а не является результатом «мифотворчества». В книгах Э. Хемингуэя, А. Камю, Г. Бёля и многих, многих других решающим для судьбы человека является свободно сделанный им (иногда в условиях величайшей внешней несвободы) выбор — выбор между добром и злом, вообще выбор своего пути, причем воздаяние за этот выбор мыслится в духовном плане, а не как совершаемый кем-то внешний расчет с человеком за его внешние деяния: внутренняя моральная жизнь человека оказывается здесь определяющей при построении сюжета.

Как и всякое подлинное произведение литературы, «Доктор Фаустус» не простая аллегория, не замысловатая иллюстрация к заранее выдвинутому тезису. Сам Лем говорит о многозначности романа, о том, что у «Доктора Фаустуса» есть целые «фронты смыслов» и что в своей критике он затронул лишь «один, да и не главный», из этих фронтов. Но Лем считает при этом, что объективное прочтение художественного произведения фактически невозможно, что всякое художественное произведение «неопределенно» и что в различной культурной среде, в разных исторических формациях одна и та же книга «значит не одно и то же». И Лем подчеркивает, что он счел возможным начать полемику против «Доктора Фаустуса» как против книги, делающей историю доктора Фауста моделью приобщения немецкого народа к фашизму, поскольку такое восприятие этой книги широко распространено.

Тема вины в романе несомненно есть — вины, лежащей на композиторе Адриане Леверкуне. И эта вина сопряжена с виной Германин, вставшей на преступный путь

нацизма. Но сопряженность здесь сложная. Объективно, по всей своей реальной образно-смысловой системе, «Доктор Фаустус» отнюдь не приравнивает своего героя к соблазненному немецкому народу.

Вскоре после смерти Томаса Манна в книге, написанной Т. Сильман и автором этих строк, отмечалось:

«При всей своей связанности с «дурным» Адриан Леверкюн все же предстает перед нами как образ в значительной мере высокий и благородный, который олицетворяет свою эпоху не тем, что буквально воспроизводит ее черты в своей собственной натуре, а тем, что вынужден отразить их в своем искусстве... Те черты характера, которые, по концепции Томаса Манна, сближают Леверкюна с немецкой реакцией, с предфашистскими и фашистскими тенденциями в немецкой идеологии, направленными на разрушение всякой человечности,— это лишь более внешние, хотя и весьма многозначительные и символические черты — такие, как высокомерие, холодность, эгоцентризм. Но все то, что составляет суть антигуманистических устремлений фашизма — кровожадность, презрение к жизни других людей, ненависть к интеллекту,— все это у Леверкюна отсутствует»<sup>3</sup>.

Вместе с тем в той же книге сразу же подчеркивалось, что такое понимание образа Леверкюна в какой-то мере противоречит точке зрения самого создателя романа. Томас Манн всячески подчеркивает — и в своем произведении, и в своих высказываниях о нем, во время работы над романом и сразу после его издания — такие черты Леверкюна, как его безмерную холодность и безграничное высокомерие, его равнодушие и даже беспощадность к другим людям, его сатанизм. С прямым касательством к Леверкюну, хотя без его упоминания, Томас Манн говорит в своей речи «Германия и немцы» (1945) в связи с фаустовской темой в немецкой литературе: «Где высокомерие интеллекта сочетается с архаическим складом души и душевной связанностью, там появляется дьявол». А в книге «Возникновение доктора Фаустуса. Роман о романе» (1949), в которой описывается создание романа, история Адриана Леверкюна названа «историей крайне подозрительной и греховной жизни художника». Авторский замысел Томаса Манна состоял в том, чтобы пронизать книгу «холодным дыханием бесчеловечности», и т. д.

Но даже великие писатели далеко не всегда правильно осмыслиют свои собственные произведения в момент их создания. Несмотря на всю глубину своего понимания литературы, несмотря на блестящий аналитизм своего мышления, Томас Манн часто как раз в процессе создания своих произведений не очень точно судил об их подлинной значимости, об их объективном содержании, перенося, может быть, некоторые черты из своего замысла на готовое произведение, хотя бы оно на самом деле уже значительно от этого замысла отдалилось. Так было с «Будденброками», так было с «Волшебной горой», так было с «Признаниями авантюриста Феликса Круля». И в какой-то мере это произошло и с «Доктором Фаустусом». Вероятно, в начале работы над романом, весной 1943 года, у Томаса Манна действительно было чрезвычайно сильным желание воплотить в Адриане Леверкюне всю скверну немецкой духовной жизни в ее исторической преемственности. Но затем, в результате развертывания сюжетных линий романа, логики развития самих образов, здесь произошел сдвиг: герой романа во все большей мере стал превращаться в страдающего человека, воплотившего в себе безмерные муки эпохи, и искусство Адриана оказалось не утверждением, а лишь выражением ее бесчеловечности.

Непосредственно в «Докторе Фаустусе» не показаны лагеря уничтожения, не воспроизведены стоны бесчисленных жертв. Но они все же в романе присутствуют — в безмерных страданиях больного композитора, в страшных мучениях умирающего Непомука, необычайно одаренного мальчика, которого Адриан полюбил всеми силами своей души: у искусства есть много способов показать те или иные стороны изображаемой эпохи, даже минуя прямое их воспроизведение.

До какой-то степени и сам Томас Манн воспринимал Леверкюна в те годы, когда он всячески подчеркивал его сатанизм, как жертву своего времени, а не просто как воплощение его дьявольских сторон: в той же книге, посвященной истории созда-

<sup>3</sup> В Адмони и Т. Сильман. Томас Манн. Очерк творчества. Л. 1960, стр. 259.

ния «Доктора Фаустуса», Томас Манн пишет, что он любил Адриана Леверкюна больше, чем все другие созданные им образы,— может быть, за исключением Ганно Будденброка. И там же Томас Манн говорит о своем герое как о «человеке, который несет бремя страданий своей эпохи».

Но еще отчетливее и безусловнее проступает понимание Томасом Манном своего героя как жертвы в одном его позднем письме, когда писатель уже отошел от своего произведения настолько, что мог более объективно увидеть его подлинную суть. 29 мая 1954 года Томас Манн пишет: «Впрочем, только исходя из очень плоского понимания привлекательности, можно считать Леверкюна непривлекательным. Некоторой симпатии он все же достоин, так как, в конце концов, он является человеком, который несет на себе бремя страданий эпохи»<sup>4</sup>.

В свете всего этого сам выбор, который делает Адриан, заключая свой договор с чертом, в конкретной ткани повествования поворачивается не столько как «моделирование» поворота немецкого народа к гитлеризму, сколько как решение художника ценой любых жертв дойти до пределов возможного в своем искусстве, как будто уже всесторонне исчерпанном. А уже на эту основу — впрочем, достаточно трагическую — наслаивается тема безмерных страданий, порожденных фашизмом, тема вины и тема конца. Вот как поворачиваются фактически некоторые из тех многочисленных смыслов, о наличии которых в романе говорил и сам Лем.

И здесь мы подошли к вопросам, которые касаются не только «Доктора Фаустуса» и не только литературы XX века, но общей природы литературы и вообще искусства. Поэтому мы отвлечемся теперь от Адриана Леверкюна и приступим к спору с Лемом о природе искусства слова.

Такой спор необходим потому, что в концепции Лема, хотя прямо и в общем виде об этом в статье не сказано, литературное произведение, по крайней мере с точки зрения своего сюжета, фактически трактуется как структура, точно построенная по заранее предначертанному плану и соответственно функционирующая.

Между тем и при структурном, системном рассмотрении литературное произведение отнюдь не оказывается на самом деле конструкцией, изготовленной по аккуратным чертежам.

Множество смысловых планов и их сложное взаимодействие — не случайный, а постоянный признак подлинного искусства. Глубина художественного произведения в литературе измеряется именно смысловой емкостью образов в их взаимодействии, дальностью перспектив, которые ими открываются. Это свойственно искусству слова всех веков, а в частности, и XX века, когда, кстати, такая образно-смысловая множественность нередко выражается более подчеркнуто и открыто, с большей «игрой», чем в прежние эпохи. А основывается такое свойство на самых общих структурных чертах той материи, которой располагает литература, — то есть речевого ряда.

В простейшей фразе на каждый звуковой отрезок речевой цепи наслаиваются десятки многообразных и взаимодействующих значений, грамматических и лексических, которые в значительной своей части даже специально не осознаются слушающим, хотя и присутствуют в воспринимаемом им общем смысловом комплексе<sup>5</sup>. Что же можно сказать о количестве смысловых слоев и пересекающихся смысловых связей в художественном тексте, где на основе непосредственно данных смыслов возникают образы, находящиеся друг с другом в сложном взаимодействии и образующие целые системы?

Художественное творчество писателя — это создание таких систем. И хотя писатель, а особенно писатель реалистический, чаще всего подходит к созданию такой системы с определенным, иногда даже четко очерченным замыслом, вытекающим из его мироощущения и мировоззрения, с определенной концепцией мира и с определенным представлением о том, какова должна быть создаваемая им художественная система, он никогда не может заранее предусмотреть все, что войдет в его произведение, все этапы судьбы своих героев, все ракурсы, в которых они предстанут перед читателем, все соотношения отдельных эпизодов, да и сам набор эпизодов, все сцеп-

<sup>4</sup> Т. М. Манн. Briefe 1948—1955 und Nachlese. Berlin und Weimar. 1968. S. 361.

<sup>5</sup> См. В. Г. Адмони. Основы теории грамматики. М.—Л. 1964. стр. 35—51

ления слов и мотивов. Литературное произведение в своей художественной конкретности создается именно в процессе писания, который отнюдь не сводится к простой реализации заранее выработанных заданий. Все это звучит как триумф, но об этом нужно сказать, чтобы подойти к одному моменту в художественной системе литературных произведений, который весьма существен для понимания «Доктора Фаустуса».

Чрезвычайно важно, что повлекаемые автором в состав произведения смысловые структуры обладают до известной степени способностью к саморазвитию и сами оказывают влияние на организацию этого произведения. Почерпнутые из действительности под определенным углом зрения и вставленные в определенную систему отношений, образы обладают как бы некоторой собственной жизнью и отнюдь не поддаются каждому «нажиму» со стороны автора. Для них оказывается свойственной определенная логика поступков, определенные тенденции внутреннего развития, и подлинный художник всегда чутко прислушивается к требованиям своих героев, вникает во внутреннюю логику их поведения, неразрывно связанную с внутренней логикой развития всего произведения. Подлинный художник не навязывает своим героям ничего, что противоречило бы этой логике, строит их судьбу в соответствии с нею, хотя бы это шло вразрез с его первоначальным замыслом. В конечном счете, считаясь со своеобразной логикой поведения своих героев, писатель считается с самой жизнью, которая за ними стоит и в них воплощается, считается с внутренней сутью постепенно объективирующихся образов.

Поэтому нет ничего необычного в том, что в процессе работы над «Доктором Фаустусом» Томас Манн фактически создал Адриана Leverkюна не таким, каким он его первоначально видел, а таким, каким этот образ вырисовывался из реального контекста романа, в свете своей страшной судьбы. Ведь мы имеем дело с подлинным художественным образом, живущим своей собственной жизнью в рамках романа, а отнюдь не мифологемой, созданной в порядке искусственного «упорядочения действительности».

То сложное взаимодействие, в котором существуют все компоненты художественного произведения как системы, весьма важно и для понимания той роли, которую приобретают в этой системе события, представляющиеся случайными с точки зрения реальной жизни.

Не переставая быть случайными в общей причинной связи, эти события оказываются в произведениях настоящих художников отнюдь не случайными в общей ткани повествования. Из бесчисленного множества случайных событий, которые сами по себе могли бы быть выключенными в состав произведения, они отбираются — сознательно или бессознательно — для того, чтобы соучаствовать в построении целого, чтобы мотивировать те или иные поступки героев, чтобы выявить какие-либо черты их характера, чтобы создать эмоциональный колорит произведения и т. д. Все это также звучит как триумф. Но и данный триумф оказывается здесь необходимым, чтобы отметить: то, что является случайным с причинной точки зрения, предстает в совершенно ином облике, выступая не как факт реальной жизни, а как компонент художественного произведения.

Даже в самом натуралистическом, бессюжетном романе, даже в произведениях немецких «последовательных натуралистов» конца восьмидесятых годов прошлого века или представителей французского «нового романа» недавних лет, даже в потоках сознания, фигурирующих у множества писателей XX века, отбор деталей не является случайным. Несмотря на всю бесчисленность деталей, они все же и здесь всегда не нейтральны в плане построения художественной структуры произведения хотя бы в том смысле, что их разнокалиберность является средством для разрушения целостности произведения, для того чтобы оно рассыпалось на отдельные зарисовки.

Поэтому и случайное в художественном произведении значимо — конечно, в той мере, в какой талант и такту писателя, используя любые моменты — смысловые, эмоциональные, ритмические. — удается органически вплести эту случайность в состав произведения. И на наш взгляд, образ и судьба маленького Непомука возникают в «Докторе Фаустусе» так естественно, вырастая из всей атмосферы романа, из всего его эмоционального и языкового лада, что они становятся закономерными художественными компонентами произведения и влияние мучительной смерти мальчика на

участь Адриана — внутренне мотивированным. Скрещение этих, с точки зрения реальной жизни, случайных линий становится в контексте романа художественно оправданным и многозначительным фактором развития основного действия, и не просто иллюстрацией к положению «всякое бывает на свете». Другими словами, введение в «Доктора Фаустуса» маленького Непомука отнюдь не означает — в какой бы то ни было форме — мифологизацию романа.

Но мы уже слишком долго пользовались словом «миф» почти как бранным словом, обозначая им всякое отступление от реальной правды. В этом отношении мы фактически следовали за Лемом, который определяет миф как совершаемое в мышлении упорядочение действительности, не поддающееся эмпирической проверке. На самом же деле миф в своем подлинном, исторически-конкретном виде — это нечто совсем иное. Мифологические герои отнюдь не то же самое, что образы, создаваемые в художественных произведениях послемифологических эпох, а мифы в целом принципиально отличны от литературных сюжетов.

Но из-за недостатка места у нас уже нет возможности коснуться этого вопроса и поспорить по этому поводу, хотя он очень важен и для Томаса Манна, и для концепции Лема.

Пора подвести итоги.

Мы увидели, что Лем неверно трактует и исторический жизненный фон, на котором действуют герои «Доктора Фаустуса», и общий характер литературы XX века, и общий характер произведений словесного искусства, и сам роман Томаса Манна, явившийся непосредственным объектом его критики. Если применить здесь слово «миф» в том его значении, которое придает ему сам Лем, а впрочем, и в его «бытовом» значении, то можно сказать, что в статье Лема сотворены мифы и о «Докторе Фаустусе», и о творчестве Томаса Манна в целом, и обо всех только что названных явлениях.

Как это объяснить? Почему такой талантливый писатель и острый мыслитель, как Ст. Лем, дал такую неадекватную, обедненную характеристику всем этим предметам своего исследования?

Думается, что виной здесь сам метод исследования К своему материалу Лем подошел, всячески подчеркивая это, порой даже бравлируя этим, с позиции теории информации и кибернетики.

Теория информации успешно, даже чрезвычайно успешно работает там, где она применяется к кодам сравнительно несложным. Но теория информации оказывается практически беспомощной уже в применении к естественным языкам, когда она сталкивается с целостной речевой цепью в ее реальном существовании, нагруженной всем тем множеством наслаивающихся друг на друга грамматических и лексических значений, о которых мы говорили выше. Как же может теория информации оказаться действенной в применении к таким несравненно более многослойным и сложным сплетениям смыслов, как произведения искусства?

А что касается кибернетики, то не надо забывать, что сама кибернетика возникла как моделирование процессов, свойственных человеку — человеческому мышлению и определенным сторонам человеческой деятельности. Всякое моделирование означает известное обеднение. Поэтому вряд ли можно достигнуть многого, опрокидывая эту модель обратно на самые сложные и многоаспектные виды человеческого мышления и человеческой деятельности — на сферу искусства.

Итак, как предвидел сам Лем, выстрелы «кибернетической пушки», которую он нацелил в «Доктора Фаустуса», не принесли вреда замечательному роману Томаса Манна.

Впрочем, может быть, вообще не стоит стрелять из пушек по литературе?



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

\*

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ф. Левин.** О Ленине — детям.— **Л. Аннинский.** Опровержение одиночества.— **А. Овчаренко.** Новое исследование проблем литературы.— **Т. Хмельницкая.** Сложный путь к простейшим истинам.— **Н. Кузьмин.** Пушкин-рисовальщик.— **А. Аникст.** Новеллы о Шекспире.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Брайнин.** Штрихи к портрету Ильича.— **В. Буганов.** Книга об удивительном открытии.— **С. Михайлов.** Энгельс и естествознание.— **А. Пархоменко.** Энциклопедия технического прогресса.— **О. Феофанов.** О «мыслителях» и «казначейх».— **А. Аникин.** Занимательные финансы.

## *Литература и искусство*

### О ЛЕНИНЕ — ДЕТЯМ

**Мария Прилежаева.** Жизнь Ленина. Повесть для детей. Иллюстрации **О. Верейского.** М. «Детская литература». 1970. 278 стр.

За последние годы наша художественная Лениниана пополнилась немалым числом новых книг: их написали М. Шагинян и В. Катаев, С. Дангулов и З. Воскресенская, А. Коптелов, З. Фазин, Е. Драбкина, Б. Галин. К этим романам, повестям, очеркам относятся и повести М. Прилежаевой «Удивительный год», «Три недели покоя». Рецензируемая книга — естественное продолжение трудов писательницы.

В связи со своей работой над ленинской темой М. Прилежаева писала: «Ленин — идеал. Не надо, мне кажется, пугаться слова «идеал» в применении к Ленину. Но надо за сто верст бежать сахара, сиропа, сусальности — всего того, что — увы! — не совсем чуждо некоторым книгам. Надо с малого возраста внушать ребенку, затем подростку и юноше чувство высокой и сильной любви к памяти Ленина, образ которого неразрывен с образом Правды, Смелости, Величия духа, Человечности, Революции. И при всем том нужно, чтобы он был просто человеком. Не богом, а человеком».

Этими мыслями, очевидно, и руководилась писательница, создавая книгу о жизни Ленина.

Создание художественного образа Ленина требует проникновения в психологию Ильича, представления об особенностях развития его личности. Необходимо глубокое понимание истории России и человечества в целом, истории нашей партии, истории Советского государства.

Как без этого уловить становление гения? Да и что такое гений? Как произошло превращение ребенка, подростка, гимназиста в революционера, в такого мыслителя, который двадцати четырех лет от роду сумел наметить, предсказать путь исторической борьбы, приведшей Россию к победоносной социалистической революции? В сущности, это еще не познанная нами тайна гения. Но наша литература с разных сторон подходит к раскрытию личности Ленина, хотя до создания его художественного образа во всей полноте нам еще далеко.

Задача, стоящая перед писателем, который берется за ленинскую тему, необыкновенно трудна. Рассказать же не о каком-либо отдельном эпизоде или периоде жизни Ленина, а обо всем его пути, обо всей деятельности — еще во много раз труднее. И оттого, что книга предназначена для ре-

бят младшего школьного возраста, дело, за которое взялась Мария Прилежаева, вряд ли стало легче. Ведь надо написать повествование доступно, но не примитивно, просто, но не упрощенно, серьезно, но не тяжеловесно, найти верный тон, писать живо и занимательно, но нигде не пожертвовать правдой, фактами, не прельститься вымыслом, держать воображение в рамках действительности. И при всем этом суметь дать детям представление о многогранной личности Ленина, возглавившего величайшую в истории человечества революцию, организатора и вождя Коммунистической партии и Советского государства. Какая смелость нужна, чтобы решиться писать такую книгу, даже не смелость, а дерзость! Но, с другой-то стороны, кто-то должен дерзать, потому что долг советской детской литературы рассказать об Ильиче новым подрастающим поколениям, и это, не откладывая, должны делать современники.

Впрочем, нужно сразу оговорить, что в рецензируемой книге М. Прилежаева поставила перед собою более скромную задачу, чем создание целостного художественного образа Ленина. Обращаясь в начале повести к своим юным читателям, она пишет: «Хотелось, чтобы, читая эти страницы, вы еще горячее полюбили родного Ильича — нашего вождя, учителя, самого близкого друга... Эта повесть лишь одна из ступеней вашего познания Ленина».

В отличие от прежних своих книг М. Прилежаева здесь строго придерживается рамок документально-биографической повести. Писательница не вводит никаких вымышленных персонажей, почти нигде не разрешает себе лирико-публицистических отступлений. Лишь изредка комментирует она в немногих словах поведение Ленина в сложных обстоятельствах, на крутых поворотах истории, черты его характера, особенно ярко проявлявшиеся в такие моменты, его мудрость, революционную страстность, беззаветную преданность делу рабочего класса, его честность. Шаг за шагом освещается семья Владимира Ильича, благотворное влияние отца и матери, старшего брата — Александра Ульянова, подавшего пример благородства и самоотвержения в борьбе против царизма. В отдельных микророманах речь идет о работе в подполье и в эмиграции, о создании большевистской партии и «Искры», о революции 1905 года, Февральской революции 1917 года, борьбе за переход власти в руки пролетариата, о Великой Октябрь-

ской социалистической революции и первых годах Советской власти.

Разумеется, М. Прилежаева не проследит день за днем всю биографию Ленина — это было бы невозможно: Книга представляет собою цепь наиболее значительных, тщательно отобранных событий жизни, этапов деятельности Владимира Ильича. Мастерство писательницы сказалось как в отборе материала для отдельных глав, новелл, так и в умении рассказывать живо, с душевным волнением, которое передается читателю, в искусстве педагога, хорошо знающего уровень и психологию своей аудитории. Жизнь Владимира Ильича так богата и драматическими перипетиями борьбы, и примерами высокой нравственности! О том, как ведет свой рассказ М. Прилежаева, может дать представление один из эпизодов, который мы приведем целиком. Глава называется «Первый декрет»:

«Вторые сутки члены Военно-революционного комитета работали без отдыха. Свердлов, Сталин, Дзержинский, Бубнов, Подвойский, Антонов-Овсеенко и много других большевиков.

Вторую ночь Владимир Ильич не сомкнул глаз. Надежда Константиновна поглядела на его радостное и живое, но такое осунувшееся лицо и вздохнула.

— Отдохнуть Владимиру Ильичу надо бы, а дома-то у нас нет. К нашим далеко. Ума не приложу, где его устроить, — сказала она Бонч-Бруевичу.

Бонч-Бруевич был товарищем и помощником Ильича с женеvских времен. Писал в газету «Искра». Переправлял партийную литературу русским рабочим, а в 1905 году оружие.

— А моя квартира на что? — воскликнул Бонч-Бруевич. — И недалеко и спокойно.

И сейчас же потащил Владимира Ильича с Надеждой Константиновной к машине, которая стояла у Смольного.

Владимир Ильич как сел на заднее сиденье, так и уснул. А когда приехали через четверть часа, проснулся, будто ни в чем не бывало.

— Пужинаем чем бог послал, — сказал Бонч-Бруевич.

Тихонько, чтобы никого в квартире не разбудить, они собрали на стол. Хлеба нашлось, кусочек сыра да молоко.

— Великолепный ужин, — похвалил Владимир Ильич. — А есть как охота!

И они стали ужинать и все вспоминали, что произошло за эти дни, какие события.



Рабочая социалистическая революция свершилась. Теперь навеки ей будет наименование: Великая Октябрьская социалистическая революция!

Они размечтались о будущей жизни и опять забыли про сон. Хозяин наконец вопреки:

— Ложитесь, а то ведь свалитесь, Владимир Ильич! А вам сейчас болей воспрещается.

И он проводил Владимира Ильича в свою комнату, где и письменный стол у окошка стоял. Владимиру Ильичу без письменного стола да без пера невозможно. Надежду Константиновну положили спать у хозяйки на диване.

Владимир Ильич погасил электричество. Но уснуть не мог. Совершенно не мог! Мысли толпились в голове. С завтрашнего дня надо строить новое государство. Будет первое в мире рабоче-крестьянское государство. Не бывавшее никогда, во всем свете, нигде.

Планы один за другим, один другого значительнее являлись Владимиру Ильичу. Он знал учение Маркса. Идеи Маркса вели Ленина в революционной борьбе. Маркс всегда приходил на помощь. А создавать рабоче-крестьянское Советское государство надо самим, своим трудом, своим разумением.

Владимир Ильич прислушался. Тишина в доме. Вых сморил сон. И неутомный Бонч-Бруевич утомился, должно быть. Владимир Ильич зажег свет и сел за письменный стол. В окно глядела черная ночь. Минуту Владимир Ильич сидел без движения, слегка склонив голову, словно вслушиваясь в свои мысли. Он был очень серьезен и задумчив в эту глухую, темную ночь.

Взял перо и быстро начал писать.

Ленин писал, что помещичьи, церковные, монастырские земли и земли всех богатеев переходят бесплатно крестьянам. Кто не работает на земле, тому земли нет. Кто работает на земле, тому земель и владеть.

Ленин страстно писал о том, что было вековой мечтой и надеждой народа. Новая жизнь в Советском государстве начиналась с мечты, которая становится былью.

Как легко дышалось Владимиру Ильичу, как хорошо! А над Петроградом, после волнений, залпов и штурмов, бесшумно шла ночь. В темной улице одно светилося окно. Так и в Шушенском было. Все село спит. Только у ссыльного Ульянова горит зеленая лампа. Владимир Ильич положил перо. В нем чуть заяснило. Близилося утро.

«Часа два успею соснуть», — подумал Владимир Ильич и лег. И только голову опустил на подушку, в ту же секунду уснул крепким сном.

На столе лежал исписанный лист.

За окном набирало силу утро. Небо белело. Вот из мутных облаков вырвалось солнце, забежало в комнату, где спал Владимир Ильич. Скользнуло по листу. И осветило торжественный на листе заголовок: «Декрет о земле».

В приведенной главке можно увидеть, как сочетает писательница живую картину с популяризацией исторических фактов и изложением сути документа, как осторожно пользуется домыслом, касаясь поведения и размышлений Ильича.

Следует отметить, что, рисуя жизнь и деятельность Ленина, М. Прилежаева, как правило, освещает историческую обстановку, рассказывает о людях, окружавших его. Перед читателем в связи с биографией Ильича возникают его спутники и соратники — Иван Бабушкин, Анатолий Ванев, Свердлов, Дзержинский, Подвойский, Ворошилов, Фрунзе, Цюрупа, Калинин... Особенно привлекают ребят младшего школьного возраста главы, в которых рассказано, как Владимир Ильич скрывался от шпионов Временного правительства и как прятали и охраняли его Емельянов, Эйна Рахья, Густав Ровио. Фофанова, как Ленин в решающий момент появился в Смольном и взял на себя руководство восстанием против Временного правительства, борьбой за переход власти к Советам.

Конечно, гораздо труднее было рассказать о содержании главнейших работ В. И. Ленина. Автор в таких случаях порою ограничивается общими словами. Ленин писал-де о том, что рабочим надо бороться против самодержавия, против капиталистов, о том, как тяжело живет рабочим и крестьянам под властью помещиков, буржуев, кулаков.

Иногда это приводит к чрезмерному упрощению. Так, например, о труде Владимира Ильича «Развитие капитализма в России» вряд ли достаточно сказать: это книга о том, «что в русских деревнях и городах все большие силы набирают капиталисты и кулаки и все беднее и тяжелее жить под властью капитала народу». Тут можно было бы добавить, что эта книга Ленина по-новому осветила историю России. Но во многих других местах М. Прилежаева, как мы уже

видели, сумела кратко, доходчиво объяснить сложные события. Весьма удачно освещен, между прочим, переход к новой экономической политике.

Разумеется, только в будущем — на читательских конференциях, в детских библиотеках, в школах — вполне выяснится, какая окажется судьба книги, какой прием найдет она у детей. Взрослому читателю трудно судить о перспективах повести в кругу детей. Но поскольку это доступно критике, хочется предсказать книге М. Прилежаевой большой успех.

Можно сделать несколько мелких критических замечаний. Вряд ли следовало писать: «княжество финское», оно — финляндское. М. Прилежаева зачастую вместо «пошел», «зашагал» употребляет режущий ухо и глаз провинциализм «поцагал». В следующем издании это следовало бы исправить.

Но в целом получилась книга нужная, полезная, сделано большое дело. Пусть это начало, но оно положено хорошо. Будут потом и еще книги; возможно, и самой М. Прилежаевой захочется улучшить свою

повесть, развить свой успех. Ее книга о жизни Ленина для детей — первая в таком роде.

Особое надо сказать, что книга издана с любовью, что перед нами первоклассное, можно сказать, подарочное издание. Повесть проиллюстрирована многочисленными цветными рисунками Ореста Верейского. Художник, прославивший свое имя многими работами (в том числе иллюстрациями к «Василию Теркину» А. Твардовского, «Тихому Дону» М. Шолохова), и на сей раз оказался на высоте задачи. Его работы — не только вклад в живописную Лениниану. Вспомним, что в детской книге иллюстрации имеют особое значение, они помогают читателю увидеть то, чего он не может уловить из текста, так как малышу не хватает знания и опыта. Не знает он, как одевались люди пятьдесят, сто лет назад, какими были города, улицы, здания и т. д. Рисунки О. Верейского дополняют повесть, расцвечивают текст, приближают его к читателю, обогащают повесть и соперничают с писателем в достижении его высокой цели.

Ф. ЛЕВИН.

★

## ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА

Владимир Максимов. Мы обживаем землю. Повести. М. «Советская Россия», 1970. 304 стр.

Пять повестей Владимира Максимова, вошедшие в его новую книгу, охватывают лет десять работы писателя и уже, кажется, прочно входят в круг читательского интереса. О Максимове охотно пишут. Но его повести решительно не вписываются ни в одно из общепризнанных направлений нашей современной прозы.

Начинал он вроде бы как исследователь «молодой души», как писатель «становящегося характера». Но его проза совершенно лишена того чисто умственного красования, каким отличались начинавшие вместе с Максимовым исследователи «молодой души», — максимовская проза и теперь не щеголяет внешним умничаньем, она вскормлена на тяжелых, земных сюжетах, на тасжном опыте, на хлебе и воде.

И к распространенной теперь «прозе быта» В. Максимова не отнесешь: он чужд спокойного и методического интереса к каждодневности, у него не найдешь ни обилия подробностей, ни чисто социологического мышления, которые отличают сейчас эту «прозу быта». Максимов слишком нестроен,

прерывист, его сюжеты исключительны, его характеры несут романтическую возбужденность поиска, для него подробности — не самоцель, а символика, и нужны они не для «картин жизни», а для «исканий духа».

Наконец, пытались отнести В. Максимова к «лирической прозе». Надо, однако, представить себе стилистику современной «лирической прозы» с ее туманами, с размытостью контуров, с ее мечтательными ритмами и сказовой интонацией, чтобы почувствовать всю странность того, что среди «лириков» оказывается Максимов — этот жесткий, жестокий, почти испуганный исследователь мятушей души, совершенно чуждый элегии, сводящий своих героев на очные ставки в почти театральных ситуациях, — вот уж где никакого лирического тумана!

И все-таки... почитайте критические статьи о В. Максимове. Эпитет «лирический» всплывает в этих статьях — невзначай, вдруг, с оговорками, но всплывает непременно. Это понятие то соединяется с каким-то чисто «максимовским» определением (А. Бочаров писал о «лирической напряжен-

ности» прозы Максимова), то описывается косвенно (И. Гринберг говорил о максимовской способности «решительно группировать жизненные факты» — эта «решительность» явно независима от логики внешних фактов, она имеет какой-то иной источник). Я хочу сослаться также на точное наблюдение С. Еремниной (ее статья о В. Максимове в «Московском комсомольце» кажется мне одной из лучших): заметили ли вы во всех повестях Максимова настойчиво повторяющийся лейтмотив: «Я с трудом расклеиваю веки...» — мотив пробуждения, тот момент, когда сон переходит в явь, когда человек на какое-то мгновение изумляется яви... Внутреннее состояние — вот что здесь диктует.

Я концентрирую внимание на внутреннем состоянии рассказчика не потому, что это единственно возможный аспект разговора о максимовской прозе. Нет, можно, конечно, исследовать в его повестях и эмпирический опыт, картины жизни. Можно сказать, что в повести «Мы обживаем землю» описаны трудности таежной жизни бригады плотников, которые проходят по необжитой земле впереди геологов, готовя для них жилье. Можно перечитать «Дорогу» — как повесть об освоении Севера, о том, как сквозь тундровые хляби люди тянут стальную нитку дороги. Можно увидеть в повести «Жив человек» историю раскаяния уголовника. И так далее. Если видеть в Максимове только тематический план, то, пожалуй, его проза покажется чересчур специальной: «перековка уголовников» — тут Максимов неоригинален.

Понять его оригинальность можно, только поняв существо его нравственной позиции, суть его поиска, глубину его внутреннего столкновения. Именно это внутреннее состояние повествователя диктует здесь и стилистику, и сюжеты, и пафос.

Максимовская проза субъективна. Но это не та субъективность, к которой нас приучила так называемая «лирическая проза». Максимов — не мечтатель, созерцающий горизонты, а уж скорее неистовый режиссер, заставляющий актеров сшибаться насмерть. Или — неистовый следователь, который одержим жаждой дойти до сути, до смысла человеческой судьбы. Его проза — это, конечно, философская проза, вот что держит ее, вот что искупает в ней и тяжелую словесную ткань, и гяжелую символику подробностей, и тяжелую драматическую непоправимость сюжетов. Максимов-прозаик прямо связан в моральных исканиях с проблемати-

кой современного человека, он отвечает не столько «жажде чтения», сколько «жажде понимания» — вот где интерес.

В его повестях — философское «гравитационное поле», люди здесь действуют как бы в духовно символической сфере. Здесь нет пластики описаний, нет музыки слова, нет того ощущения, будто перед вами — сама действительность. Нет, это проза громоздкая, субъективная, проседающая под тяжестью слов. Чувствуется учеба у молодого Горького. «Гривастые волны с грохотом били в берег и, насытившись до черноты его суглинистой крошкой, отступали назад, чтобы уже через минуту вновь кинуться на приступ медленно отступающей тверди...»

У Максимова немислима та лукаво-артистическая ирония, которая у многих современных писателей (от В. Шукшина до И. Друцэ и от В. Аксенова до В. Белова) часто смягчает текст. Нет, у него все серьезно, впрямую серьезно, безоглядно серьезно.

В. Максимов начал свою первую повесть с горьковской фразы, которую можно поставить эпиграфом ко всей его прозе: «Знаю ли я людей?»

Этот вопрос не мог бы прийти в голову, скажем, городскому рефлекснрующему герою Андрея Битова, — тот занимался другой темой: знаю ли я себя?

Этот вопрос чужд и современным знатокам деревенской души, скажем Василию Белову, который настолько изначально слит с людьми и не умеет отделить себя от них, что вряд ли он понимает, как это можно подойти к ним вот так, извне.

Максимовский герой — на вечном распутье. И для него поиски своего места становятся вопросом жизни. Знать людей, найти с ними связь, понять смысл своего пути к ним — здесь это проблема почти всепоглощающая.

Владимир Максимов исследует человеческое самосознание на изломе. Он всматривается в линию излома. Его герой — странник, обломок, человек, отломившийся, ушедший от людей. Если с точки зрения внешней тематики Максимов — писатель «перековывающегося» уголовного мира, то с точки зрения этики — он исследователь резко очеркнутого личного, индивидуального, заброшенного в пустоту сознания, которое хочет жить в зверином одиночестве, но начинает гибнуть без людей, как только открывает в себе нравственное начало. Это типичная драма отдельности, отделенности, и — по традиционной схеме — это никакая не

«лирика» и не «эпос», это, конечно, завершенная «драма».

Вот почему Максимов драматичен, драматургичен, почти театрален. Так, вся его повесть «Стань за черту» есть не что иное, как разыгрывание нравственной драмы перед зрителем, спрятанным за занавеской, драмы, где есть и режиссер и актеры — те самые дети, что решают: прощать или не прощать преступника-отца и которых мать по очереди приводит в дом, чтобы отец из-за занавески мог услышать их решение. Даже и занавес есть, хоть он и не поднимается...

Вы каждую секунду ощущаете театральность мизансцены, и вместе с тем вы чувствуете неподдельность текста. Парадокс! Но то, что у другого писателя показалось бы выпяренным лицедейством, у Максимова сохраняет вкус правды. Разгадка здесь одна: его проза настолько прикована к своей проблематике, что не слишком заботится о внешнем обыденном правдоподобию. Все остальное вполне можно воспринять как «лирический беспорядок» описаний, если упустить то главное, чем спаяны воедино странно распавшиеся, перемешанные, причудливо соединенные элементы, — если упустить нравственный опыт личности.

Что соединяет воедино элементы максимовской прозы? В его стиле нет той обволакивающей связующей силы, которая сопрягает концы уже хотя бы одной интонацией. У него нет и той всеохватывающей любви к мирозданию, которая в современной лирической прозе создает ощущение своеобразного панпсихизма: каждая травинка — сестрица...

Максимов отдает этому поветрию лишь чисто внешнюю дань: «Видела до того, к примеру, дерево, думала — дерево и есть, только оно вдруг для меня листиком всяким, былинкой затрепетало. И у речки — всякая струя в отдельности». Но этот мотив (из наиболее противоречивой повести «Стань за черту») для Максимова не характерен. Душа предметов — не его принцип, и мир в его представлении — отнюдь не взаимосвязанная гармония, а острая сшибка, почти слепая, почти случайная сшибка обстоятельств.

Тоскуя о солидарности, отыскивая свой путь к людям, максимовский герой мучительно размышляет; ему нужен ответ, истина, «философский камень», он живет в атмосфере жесткого выбора, жесткой мысли и жесткой истины. Путь к людям лежит через осмысление их жизни. Отсюда — страсть

максимовских героев к разговорам, в которых вся суть дела...

Его герои, сходясь на случайных перепутьях, тоскливо смотрят в глаза друг другу: «Эх, не вышло разговора!» Жажда разговора, того самого «русского спора», где все — до дна, — вот их главная жажда. И все люди, и все события, и все малые детали максимовской прозы настроены на эту волну смысла, все ловят единую связь вещей и событий, ищут миру всеобщий контур.

В повести «Дорога» Иван Васильевич Грибанов размышляет: «Ведь ничто не исчезает бесследно, не может исчезнуть! Даже самая бессмысленная работа составляет другую, не осязаемую на ощупь, но человечески определенную ценность — опыт».

Ничто не исчезает! Все должно иметь смысл! Ни добро, ни зло не прячет концов. Воздается — вот тот нравственный фермент, который плачивает воедино элементы максимовской прозы. Мы еще увидим и сильные и слабые стороны этой этики воздаяния. Но пока отметим ее неотвратимость для Максимова: у него ничто не сбрасывается со счета, ничто! «Зряшный труд» в повести «Дорога» страшен именно моральной зряшностью: не только тем, что брошены на ветер миллионы, а прежде всего тем, что «зряшность» убивает в человеке творца — и остается холодный исполнитель. Главное: ведь зло все равно где-то выплывет! Как в повести «Стань за черту» выплывает наверх, на поверхность тайная злоба Михея Коноплева, убийцы, который приполз просить прощенья у своих детей, — и надо бы простить, да ничто не забывается, и остается Михей «за чертой».

Ничто не забывается: ни зло, ни добро! Ни коварство того рыжего парня, которого убивает максимовский Сашка, ни самоотверженность Саввы из «Шагов к горизонту» (в новой книге эта повесть названа «Баллада о Савве») — когда тот же Сашка, обессиленный посреди тундры, кончает с собой, чтобы не мешать Савве идти дальше. Самоубийство — вообще один из кардинальных нравственных актов в максимовской этике: нравственный суд над собой и расплата — расплата за все содеянное зло, за все — до последней копейки... Человек у Максимова осуществляет себя в условиях беспощадно действующего нравственного закона, при котором и воздаяние и возмездие непреложны. В мире эмпирических фактов у Максимова господствует случай: фарт и фортуна. В ми-

ре этических ценностей царит жесточайший закон возмездия.

Есть две крайних ситуации, в которых испытывает человека В. Максимов. Две крайности. Два полюса, где для Максимова искажается человеческое.

Один полюс мы уже назвали: это холодная деловитость, опутывающая человека суета, слепой расчет металла и лошадиных сил, предполагающий индивида в качестве бездушного элемента бесперебойно работающей системы. Максимов люто ненавидит рациональную прагматику, для которой человек — только функция. «Жесточайшая ясность», глядящая сквозь человека, — предмет мучительных раздумий в повести «Дорога». Закрывать стройку — целесообразно, конечно, но и кощунственно по отношению к человеку, ибо для людей, проложивших дорогу через тундру, дорога стала частью их самих, она обрела для людей нравственный смысл, существующий помимо сухих инженерных расчетов.

Человек не вписывается в систему этих расчетов, не подчиняется математике соотношения сил, выгод и интересов. И человек — вот главный сюжет В. Максимова! — человек, не знающий у него никакой земной тяги, никаких традиций, пытается бежать от людей в одиночество.

Это и есть другой полюс максимовского морального поиска: неограниченная, нерасчетливая, дикая, волчья свобода, которой В. Максимов испытывает человека. Здесь — главная проба. Здесь, на пустынном Севере, где мы обживаем землю — мы, шестеро, из которых в живых суждено остаться одному. Жизнь человека — по какой цене: смертная цепочка тянется за Сергеем Царевым, бежавшим из заключения, — спасая его, гибнут другие. Дорога, раскрывающаяся перед героями Максимова, — это путь в пустыню, это бегство в пустую свободу, это... шаги к горизонту...

Та свобода, которой Максимов испытывает человека, — это свобода от чего-то, не знающая свободы для чего-то, это жуткая, формальная, звериная свобода, не утоляющая жажды. «Раньше в миру маялся, теперь одному тяжко»... У той одинокой «свободы», в которую бежит максимовский человек, крутые законы. Здесь «прав тот, у кого луженая глотка и крепче мускулы». И опять — сила свое ломит, только на сей раз откровенно, по-волчьи, не прикрываясь рациональной «целесообразностью».

Это и есть та этическая ситуация, в которой возникает для В. Максимова категорическая необходимость человеческой солидарности и конкретного добра. Добро — нерасчетно, нерезонно, оно на грани абсурда среди луженых глоток и стальных мускулов. Оно необъяснимо, оно ни из чего не рождается...

Но оно есть, и все тут.

Пусть оно даже не облегчает, это живущее среди людей реальное и трудное добро, — оно скорее долг, бремя (вспомним «Бремя нашей доброты» И. Друэ — как перекликаются наши прозаики в этических поисках!) Добро у Максимова побеждает вопреки внешней логике. Оно изначально и нестремимо, а почему — это уже вопрос другой. Почему — Максимов не знает. Для него важен факт: одинокий, выброшенный в гиблую свободу изгой, привыкший жить по жестокому закону борьбы, наталкивается на другой закон: на укорененное в человеке сочувствие, на непобедимое добро. Смысл максимовской прозы — именно это безрасчетное упрямство добра, его нестремимость, его неодолимо присутствия, его неизбежность. С логикой лучше не подступать к этой нравственной силе — она сама по себе уже есть реакция на «логику борьбы».

На максимовском «дobre» лежит, конечно, печать того «зла», сквозь которое проходит его герой. Да, для той драматичной судьбы, которую знает и пишет В. Максимов, этот путь благотворен, потому что это путь к людяности. Но мы должны понимать и другое — неизбежную ограниченность этого варианта добра. Максимовское добро есть реакция на зло. Это выход из положения, казавшегося безвыходным. Это моральная акция отдельного человека в ответ на мучительное ощущение внеморальной ситуации, в которую попадает человек, когда он один. Иными словами, это добро атомарное, рождающееся не из широты осознания общественных связей и не из высоты духа, порожденной его свободным развитием, а из глубины боли, испытанной существом, отверженным от людей и отторгнутым от духовной жизни.

Сильная сторона максимовской этики — сила страсти. Почти безумная преданность добру, безудержность стремления к нему, императив добра.

Слабая сторона — нерасчлененность страсти, почти безумная нелогичность добра, импульсы непосредственной реакции в этом



## НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЛИТЕРАТУРЫ

**М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М. «Советский писатель». 1970. 392 стр.**

Ныне даже наши закоренелые противники не решаются отрицать, что теоретическая мысль, творческие искания искусствоведов и эстетиков из социалистических стран необычайно оживились. В острых дискуссиях обсуждаются самые сложные проблемы, выдвигаются смелые гипотезы, становятся разными точки зрения.

Отличительной особенностью дискуссий, ведущихся в нашей стране и в других странах социалистического содружества, является то, что такие коренные проблемы, как сущность реализма, место и значение его в художественном развитии человечества, пути и этапы его становления в различных национальных, социально-исторических условиях, становление социалистического реализма, отличие свойственных ему принципов познания и художественного воссоздания жизни, исторической истины от принципов реакционно-модернистского искусства решаются посредством все более широкого и вместе с тем очень конкретного рассмотрения мировой литературы в целом, всех ее демократических и социалистических элементов в особенности.

В одной из своих последних работ академик Н. И. Конрад с большой гордостью писал о том, что советское литературоведение сумело подойти к мировому литературному процессу «с позиций нашего общего понимания исторического хода вещей. Такой подход,— продолжал он,— привел к мысли об исторических переходах литературы — их составе, их переходах друг в друга, их смене; привел к мысли о возможности построения исторической и структурной типологии литературных явлений».

В органическом соединении комплексно-синтетического изучения мирового литературного процесса, выявления его типологических закономерностей с всесторонним конкретно-историческим исследованием отдельных литературных произведений — отличие нашей науки от современного буржуазного литературоведения и эстетики, которые так и не могут преодолеть дильтеевско-риккертанского скептицизма относительно возможности установления общих понятий, выявления закономерностей в области гуманитарных наук. «Отдельное произведение,— утверждает немецкий исследователь В. Кайзер,— является истинным предметом науки

о поэзии. Метод исследования, который полностью этому не соответствует, не находится во внутреннем круге науки. Такие предметы изучения, как личность писателя, поколение, возраст, эпоха, находятся за пределами внутреннего круга литературоведения». Ему вторит английский философ и искусствовед Р. Коллингвуд: «...Одно произведение искусства не ведет к другому, каждое из них является замкнутой монадой, и от одной монады к другой нет исторического перехода».

Отсюда — отрицание не только типологических явлений в искусстве, но и возможности установления каких-либо закономерностей в его развитии, а также отрицание идеи эволюции и прогресса вообще в искусстве. Преодолеть до конца эту догму не смог даже такой видный теоретик, как Бенедетто Кроче. Современный же немецкий ученый А. Хаузер безоговорочно утверждает: «Не существует реально никакого прогресса в искусстве...»

Вызов подобным теориям ученые социалистических стран бросают уже темами своих исследований: «Реализм» (С. Петров), «Новая эпоха всемирной литературы» (И. Анисимов), «Социалистический реализм» (Бела Кёпеци), «Образ человека в социалистической литературе» (Ганс Кох), «Социалистический реализм и современность» (Тодор Павлов). Вызов содержится и в заголовке недавно увидевшей свет книги академика М. Б. Храпченко: «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы».

Уже названия глав книги: «Мировоззрение, идейность, искусство слова», «Творческая индивидуальность писателя», «Октябрьская революция и творческие принципы социалистической литературы», «О прогрессе в литературе и искусстве», «Горький и современность» — показывают, что перед нами исследование типологических особенностей литературы. И это действительно так. Автор с полным правом мог бы предположить в качестве введения главу «Типологическое изучение литературы». Но, как подсказывают названия глав, он вступает и в прямые споры с наиболее устойчивыми теориями буржуазной эстетики и литературоведения. Более того, такие споры ведутся на протяжении всего исследования. Кстати,

приведенные мною выше высказывания буржуазных ученых цитируются и подвергаются убедительной критике в главах «Типологическое изучение литературы» и «О прогрессе в литературе и искусстве».

Однако не только и даже не столько в этом достоинство книги М. Б. Храпченко. Главная ценность ее в новых поворотах, иногда в нюансах, но очень существенных нюансах, которые вносятся в истолкование важнейших эстетических и литературоведческих категорий. Автор существенно обогащает и уточняет наше понимание того, что называют философским мировоззрением художника, выступая против сведения мировоззрения к политическим взглядам. «Мировоззрение писателя охватывает не только политические явления, оно касается широчайшего круга вопросов — философских, общественных, исторических, моральных, эстетических, оно затрагивает взаимоотношения классов и понимание явлений природы, проблемы познания и вопросы судеб человеческой личности в обществе и т. д. И нередко политические взгляды писателя находятся в резком противоречии с пониманием и раскрытием процессов жизни, социальных отношений, исторических событий».

Соответственно, исследователь более тонко истолковывает то, что принято называть «противоречиями в мировоззрении художников», показывает неоднотипность их проявления не только у разных писателей (для примера берутся Гоголь, Бальзак, Достоевский), но и в разных произведениях одного и того же писателя. Он выступает против не всегда обоснованного противопоставления художественной мысли и мысли публицистической у таких писателей, как Толстой или Успенский, доказывая, что даже у самых больших реалистов контроль жизни по отношению к творческим идеям не является всеобъемлющим.

Книга М. Б. Храпченко заострена против упрощенного представления о связях искусства с действительностью, о соотношении между жизненной правдой и правдой художественной. Исследователь говорит о неправомерности всемерного сближения «жизненной правды» и «творческого метода», уравнивания их, так же, впрочем, как и противопоставления их. Столь же неправомерным, по его мнению, является, с одной стороны, фактическое отождествление художественного метода с мировоззрением, с другой — противопоставление их друг другу.

«И если мировоззрение,— формулирует он свое решение проблемы,— мы рассматриваем как совокупность взглядов, представлений о мире, о явлениях природы и общества, то художественный метод — это путь *образного* обобщения действительности, это основные творческие принципы, свойственные тому или иному писателю, целому направлению».

Глубоко разработана в книге проблема творческой индивидуальности писателя. Признак подлинно творческой индивидуальности, говорит ученый, не в многократно повторяемом «я», не в словесной изощренности; творческая оригинальность писателя — в своеобразии и глубине его мышления, видения жизни, в умении открывать, отбирать, синтезировать то, что не было открыто раньше, и рассказывать обо всем этом своим голосом, с своей неповторимой интонацией так, что твои произведения воспринимаются как «открытия, которые способны поразить читателя, захватить его до глубины души, покорить своей убедительностью, своей эмоциональной силой, способны будить его мысль, помочь ему понять жизнь и самого себя».

Вполне естественно, что другой проблемой, которую не мог не затронуть исследователь, является проблема стиля — одна из самых запутанных в науке. М. Б. Храпченко кратко определяет стиль как «способ выражения образного освоения жизни, способ убеждать и увлекать читателей». Из этого определения, в дальнейшем все углубляемого, нетрудно заключить, что ученый не приемлет ни часто встречающегося у нас фактического отождествления стиля с художественным методом, ни столь же частого разделения их глухой стеной.

Аргументируя свои положения, автор рецензируемой книги широко и свободно оперирует опытом как русской, так и зарубежной литературы. Особенно охотно он прибегает к творчеству Пушкина, Гоголя, Стендаля, Бальзака, Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького. Иногда он дает меткие характеристики творческой индивидуальности, своеобразия стиля, специфики произведений. Но эти характеристики нигде не имеют самодовлеющего значения. Не приобретают такого значения и теоретические построения. Они подводят читателя к главе «Октябрьская революция и творческие принципы социалистической литературы», которая и составляет как бы фокус всего исследования. Собственно, вся книга



нацелена в будущее, связываемое с социалистической литературой. Тем убедительнее сама собой вытекающая из этой главы мысль о социалистической литературе как ведущей в мировом художественном процессе, мысль о том, что именно с этой литературой, вдохновляющейся гуманизмом подлинного раскрепощения человечества, связана самая перспективная тенденция всего последующего художественного развития человечества. Ученый показывает, что становление социалистической литературы «не было спокойным и безмятежным»; характеризует такие коренные принципы, или, по более точному определению исследователя, движущие начала, как народность, партийность, проявляющиеся во всем строе художественных произведений. Он не обходит стороной и комплекса спорных вопросов, связанных с пониманием путей становления социалистического реализма («Формирование это нередко происходит очень противоречиво, с большими зигзагами»), выдвигая широкую и вместе с тем совершенно конкретную платформу, позволяющую, как мне кажется, плодотворно продолжать споры, избегая крайностей в решении сложнейших вопросов.

«Добиваться объемности понятия «социалистическая литература», — пишет он. — вовсе не обязательно за счет сужения границ социалистического реализма, ибо ложные представления о нем возникают не только тогда, когда его свойства неправомерно переносятся на произведения писателей других течений в социалистической литературе, но и в тех случаях, когда из-за узости критериев крупные писатели признаются не причастными к нему. Это вместе с тем не означает, что можно и нужно расширять понятие социалистического реализма до такой степени, что оно теряет свои конкретные очертания, свой подлинный смысл. Стремления в этом направлении в последнее время проявляются очень сильно, так же как и тенденции характеризовать иные явления социалистической литературы в качестве эмбриональных форм реализма, подступов к нему, временного ухода в сторону и т. д.».

И еще: «Наши устоявшиеся терминологические обозначения далеко не всегда оказываются эффективными. Но существо вопроса заключается не столько в необходимости подыскать соответствующие обозначения и термины, сколько в том, чтобы раскрыть специфические черты различных явлений и течений внутри социалистической литературы».

Особо хочется сказать о главе «Время и жизнь литературных произведений», хорошо дополняющей только что рассмотренную проблему. В сущности, в этой главе дается ответ на вопрос, что вбирает и будет вбирать в себя и впоследствии из достижений прошлого социалистическая литература.

Здесь мы находим новую для нашей науки постановку важнейшей проблемы историко-функционального изучения словесного искусства. От правильного решения ее зависит очень многое, в частности и создание учебников по литературе, в которых вместо обветшавших схем и трафаретов будут демонстрироваться непреходящие ценности, и сегодня заставляющие тонко вибрировать все струны человеческой души, зажигающие ярким пламенем мысли юные умы.

Здесь нет возможности подробно остановиться на бесчисленных выходах исследователя в современную литературу, в нынешний день. Не могу, однако, не сказать об убедительности критики, которой М. Б. Храпченко подвергает тех, кто считает, будто «необходимой предпосылкой нового сценического прочтения классической пьесы» является ее «трансформация, «перемонтировка» или что-либо в этом роде». Вместе с тем, как уже говорилось, ученый выступает и против бездумного, механического отношения к классике.

Книга М. Б. Храпченко, повторяю, полемична. Он спорит много и охотно, не упрощая взглядов своих оппонентов. Лишь в двух случаях, мне показалось, исследователь допустил неточности. В первой главе он упрекает А. С. Бушмина в статическом понимании соотносительности реализма с философской категорией материализма. Можно подумать, что А. С. Бушмин все другие течения в литературе так же, как творчество всех писателей, не стоящих хотя бы стихийно на материалистических позициях, соотносит с идеализмом. Между тем А. С. Бушмин далек от такого упрощенного понимания проблемы. В критикуемой работе он лишь по-своему, может быть не совсем безупречно, излагает суть вот этой мысли, завещанной нам В. Короленко: «Историку литературы и искусства интереснейшая тема для размышлений: материализм и реализм в философии и искусстве идет рядом с материализмом образов в реально осязаемых типах. Туманному идеализму соответствуют бесплотные символы, стремящиеся выразить условно неуловимые настроения».

В заключительной главе «Горький и современность» подвергаются критике «советские исследователи», которые, «желая показать широту творческих завоеваний Горького, отмечают, что даже в той области, которую авангардисты считали и считают своим достоянием, например, в освещении крайней запутанности, глубокой конфликтности человеческого сознания, автор «Жизни Клина Самгина», рассказов «Карамора», «О тараканах» сделал многое и, как можно понять этих исследователей, отнюдь не хуже, чем виднейшие авангардисты».

Насколько мне известно, «некоторые советские исследователи» отнюдь не стремились к «установлению родства» Горького с представителями авангардизма, а доказывали как раз обратное, а именно, что авангардисты незаконно присвоили и довели до

абсурда многое из найденного реалистами, в том числе и в сфере изображения запутанности, расщепления, распада буржуазной личности, присвоили и опять-таки довели до абсурда некоторые художественные средства и приемы, открытые и испытанные еще Толстым, Достоевским, Горьким, но не приобретавшие у них самодовлеющего значения и не угрожавшие внутренним взрывом искусству. В этом, в частности, был смысл и статьи «Великие искания», опубликованной автором настоящей рецензии в 1968 году на страницах «Правды».

Впрочем, спорность отдельных положений, наталкивающих читателя на новые размышления, только повышает ценность этой глубоко содержательной, во многом новаторской книги.

**А. ОВЧАРЕНКО.**

★

## СЛОЖНЫЙ ПУТЬ К ПРОСТЕЙШИМ ИСТИНАМ

**Курт Воннегут. Колыбель для кошки. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. М. «Молодая гвардия». 1970. 224 стр.**

Когда-то Бернард Шоу делил свои пьесы на «приятные» и «неприятные». Трудно представить себе книги более «неприятные», чем «Колыбель для кошки» и напечатанная в прошлом году в «Новом мире» «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» американского писателя Курта Воннегута (более верное, на мой взгляд, написание фамилии, чем избранное издательством «Молодая гвардия»). Мы найдем в них квинтэссенцию самого уродливого, страшного, жестокого, садистического даже, к тому же перекошенного чепухой и гротеском. Но при всей гиньольной фантастике происходящего, речь — о событиях реально знакомых, свидетелями и участниками которых были и автор, и многие его читатели, пережившие вторую мировую войну, трагедию Хиросимы и продолжающие жить под угрозой новых попыток вселенского разрушения и уничтожения.

Для современной западной литературы характерно головокружительное смешение и смешение жанров, стилей, даже времени повествования. Фантастический гротеск обрачивается автобиографией, включающей реальный жизненный опыт автора и исторический опыт его эпохи. Воспоминания о бомбежке Дрездена, которую Воннегут действительно пережил в 1945 году, к концу войны, чередуются с воображаемым путешествием

его героев на вымышленную планету Тральфамадор. Герой свободно перемещается во времени из прошлого в будущее, а оттуда в настоящее.

Какофония трагического и смешного, иронического и странного, сплав анекдота, парадокса, репортажа, издевательского конферанса, полемических намеков на современные условия существования создают причудливую ткань этой подчеркнута пародийной и зловеще актуальной прозы.

О жестоком опыте войны можно говорить, просто и правдиво воспроизводя пережитое. Беспощадные реалистические книги о войне до сих пор не утратили силы своего воздействия. Таковы в Америке книги Мейлера «Нагие и мертвые» и недавно переведенный у нас роман Джонса «Отныне и во веки веков».

Но наряду с этим неприкрашенным воспроизведением событий возникает в искусстве стремление обобщить пережитое, иронически смешая его, гиперболизируя античеловечность и бессмысленность самого механизма войны. И такие косвенные пути иногда приводят к прямому попаданию.

В книгах Курта Воннегута сознание и автора, и избранного им рассказчика, и главных героев словно контужено всем увиденным и пережитым на войне. Его персонажи — дергающиеся марионетки, на пер-

вый взгляд лишены всех признаков человеческого характера и эмоций. Все, что они делают, неожиданно и вопиюще неоправданно. Но за этой демонстративной античеловечностью скрыта глубокая тоска по, казалось бы, безнадежно утраченным человеческим чувствам. Окольными тропинками иронии, бессвязными скачками повествования Воннегута прорывается к простейшим гуманистическим истинам. Анекдотом и абсурдом он подчеркивает ставшую слишком привычной ненормальность современной действительности.

Автор как бы идет по следам событий и пытается восстановить утраченную причинно-следственную связь происходящего. Что привело к неоправданной стратегическими соображениями бомбардировке Дрездена в самом конце войны, когда победа над гитлеровской Германией уже была предрешена и без этого явно можно было обойтись? Такой главный вопрос в «Бойне номер пять».

Как должен себя чувствовать ученый — изобретатель атомной бомбы в трагический час, когда от реализации его открытий в Хиросиме гибнут многие тысячи людей? Это — исходная позиция автора в повести «Колыбель для кошки».

Хонникер — герой условный, собирательный, ничего общего не имеющий с реальными прототипами физиков, работающих над созданием атомной бомбы. Это фигура откровенно карикатурная. Воннегуту важно показать, как отсутствие нравственных императивов, нежелание задуматься над последствиями собственных опытов приводит ученого к неслыханным преступлениям. Хонникер у Воннегута начисто лишен нормальных человеческих чувств — жалости, ответственности, умения поставить себя на место другого. Хонникер выключает себя из сложного комплекса человеческого общения. Для него существует только изобретение ради изобретения. Открытие атомной бомбы или наблюдение над позвоночником черепахи для него равно увлекательная научная задача. Он ищет, над чем бы поразмышлять, с чем можно «повозиться» без всякого «во имя». Полное отсутствие этого человеческого «во имя» и приводит такое гениальное ученое чудовище к его гибельным открытиям.

Не удивительно, что разоблачительная повесть «Колыбель для кошки» — откровенно антивоенная книга, иронически замаскированная под книгу «антиледниковую». Генерал предлагает Хонникеру изобрести что-

нибудь для осушения болот — ведь болота мешают продвижению войск. И вот Хонникер изобретает портативный кристаллик «лед девять». Магический кристалл превращает болота в твердый ледяной покров. Обледенение болот постепенно приводит к обледенению всех водных пространств на планете и в конце концов к гибели всей жизни на земле. Но Хонникеру это совершенно безразлично.

Не случайно Воннегут сочетает в своей книге реальные, широко известные факты современной истории с совершенно фантастическим вымыслом — Хиросиму и придуманный «лед девять», вызывающий конец света в «Колыбели для кошки», историческую бомбежку Дрездена и общение с несуществующей планетой Тральфамадор в «Бойне номер пять».

Так очень актуальный в современной западной литературе жанр научной фантастики проникает в сугубо злободневный материал, иногда даже автобиографический. Недаром Воннегут, помимо его последних остропамфлетных книг, написал ряд законченно фантастических романов — «Утопия 14», «Сирены Титана», «Да благословит вас бог, мистер Розуотер».

Все они по замыслу своему очень близки к самому современному на Западе виду фантастики — к так называемым «антиутопиям». В давние времена, когда люди были недовольны действительностью, — а мир всегда был далек от совершенства, — они мечтали о гармоническом счастливом устройстве жизни и создавали утопии. Вспомним книги Кампанеллы, Кабе, Беллами, Мора.

В наше время на Западе пугающие симптомы настоящего как бы сигнализируют угрозу будущих бедствий. Люди боятся, как бы не стало еще хуже, и создают антиутопии. Наиболее характерны в этом плане — «451° по Фаренгейту» Бредберн, «Скупщик детей» Херси и другие. Недаром на Западе синонимом антиутопии стал термин «жанр предостережения».

В каждой антиутопии доводятся до гиперболического конца процессы, проявляющиеся уже сегодня: создание средств массового уничтожения в антиутопиях приводит к гибели и разрушению всей планеты, к тотальному умерщвлению человечества; развитие технической обезличивающей цивилизации — к тому, что роботы начисто вытесняют людей, а хитрые кибернетические устройства становятся заменителями органических мыслей и чувств человека. Будущее

в представлении авторов антиутопий — не прогрессивное движение открытий, усовершенствований, изобретений человеческого разума, а возрастающая прогрессия уничтожения жизни и духовной культуры на земле.

Скрытый лозунг большинства антиутопий — «назад к человечности»: к всестороннему проявлению духовности, к утверждению индивидуальности, к возрождению совести, сочувствия и взаимной ответственности. Это крик души большинства современных западных гуманистов, и Воннегут в очень своеобразной, предельно сдвинутой, нарочито глумливой форме отдал дань этим настроениям в своих изощренно-гротесковых книгах.

А наряду с этой очень симптоматичной для современной литературы проекцией зловещего будущего Воннегут виртуозно развивает традиции иронически-памфлетной прозы, идущей еще от Вольтера и продолженной А. Франсом в «Острове пингвинов» и К. Чапеком в «Войне с саламандрами». Тут речь идет уже не о конкретных симптомах современности, угрожающе гиперболизированных в жанре антиутопии, а о более устойчивых и присущих всякому государству, основанному на эксплуатации народа, формах угнетения и обмана.

В погоне за своими героями рассказчик в «Колыбели для кошки» попадает в памфлетную республику Сан-Лоренцо. В главах о Сан-Лоренцо остроумно раскрыта механика всенародного обмана. Жизнь республики превращается в авантюру, в пародийный спектакль, когда все — от главы государства до последнего нищего — играют роль и никто не верит в истинность своего жизненного поведения. Квинтэссенцией обмана и цинизма становится учение Боконона — религия, провозглашающая спасительность утешительной лжи. Авантюрист и прожженный плут Боконон сам берет на себя ампулу гонимого и преследуемого святого. Боконон понимает, что ложь, утверждаемая его «заповедями», будет куда заманчивее, эффективнее и гипнотичнее, если она притворится «незаконной». Учение Боконона, внешне запрещенное, исповедуется в Сан-Лоренцо всеми.

Главная идея книг Боконона — апология лжи. «Когда стало ясно, что никакими государственными и экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда

стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, прикрашивая ее все больше и больше».

Вся жизнь в республике Сан-Лоренцо — сплошная «фóма», то есть ложь на языке Боконона. Нелепость и бессмыслица возводятся в пер: создания — от искусства, щеголяющего непонятностью и отсутствием реалий (картина маленького Ньюта), до запретных обычаев. Если в нормальном мире рукопожатие — символ дружбы, понимания и братства, то в республике Сан-Лоренцо распространен запрещенный обряд «бокочмару». Люди тайно пожимают друг другу пятки в знак солидарности и единомыслия. Все делается наоборот. Страна завязла в разорении и нищете, а государственные деятели, мнимые святые и журналисты лгут народу. Все притворяется, что все нормально, и все понимают, что преступная и бессмысленная политика этой республики ведет страну к гибели. Чисто декоративная «ложь во спасение» — очень непрочная завеса от надвигающихся бедствий. Узаконенная бессмыслица для тотального обмана человечества — вот исходный пункт горького иронического памфлета Воннегута.

Наивное бесстыдство религиозных «откровений» Боконона Воннегут закрепляет в подчеркнуто корявых, бездарных, хромящих на все стопы виршах, именуемых «каллипсо»:

Тигру надо жрать,  
Порхать — пичужкам всем,  
А человеку — спрашивать:  
«Зачем, зачем, зачем?»  
Но тиграм время спать,  
Птенцам — лететь обратно,  
А человеку — утверждать,  
Что все ему понятно.

Р. Райт-Ковалева виртуозно уловила в переводе косноязычие, беспомощность и нелепость этих стишат, их откровенно пародийный характер.

Цитируя книги Боконона, описывая полуфантастические, сгущенно-нелепые происшествия в республике Сан-Лоренцо, автор с легкостью необычайной издевается над всем: и над законами государства, обманывающего свой народ, и над постоянным нарушением этих законов, и над неверием, прикидывающимся святой верой, и над тупым фанатизмом, и над самодовольным расовым и классовым предпочтением «своих».

Гротескной насмешкой над абсурдностью современного Воннегугу общества, ко-

торое, несмотря на все технические достижения, стремительно катится к тотальному и неизбежному концу, пронизана буквально каждая строка «Колыбели для кошки». Разорванность повествования, вопиющий алогизм поступков, какая-то принципиальная бессмысленность позиции героев вызывает в читателе двойное чувство — радуется и восхищается неистощимостью комизма и настораживает. В «Колыбели для кошки» Воннегут настолько увлечен воспроизведением абсурдного мира, что сознательно пишет предельно абсурдную книгу. При всей виртуозности прозы, книга эта оставляет привкус какого-то недоумения, а подчас даже досады: стоило ли тратить столько остроумия, изобретательности, находчивости, пронзительно-злободневных намеков, чтобы в конечном счете усомниться во всем, расплясаться в глумливом озорстве над очень не смешными, трагическими процессами истории? Не перечеркивает ли эта лихая карикатура ту горькую суть современной западной жизни, которую автор пытается разоблачить?

Но все становится на свои места, когда мы переходим от «Колыбели для кошки» к последней книге Воннегута «Бойня номер пять». Целый ряд мыслей, образов, лейтмотивов, впервые мелькнувших в «Колыбели для кошки», включен в «Бойню номер пять». И здесь они куда оправданнее, органичнее работают на главную суть замысла автора.

Заглавие «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» как бы выносит за скобки и делает центральной мысль, мельком брошенную еще в повести «Колыбель для кошки». В республике Сан-Лоренцо в день Ста мучеников за Демократию посол Минтон произносит неожиданно очень человеческую и умную речь, чтобы почтить «память детей, всех детей, убиенных на войне». «Обычно в такие дни этих детей называют мужчинами... но все равно все они — убитые дети». Юноши, приказом государства безответственно брошенные в пекло войны и бессмысленно там погибающие, — убитые дети. Эта мысль подхвачена и подробно раскрыта в «Бойне номер пять, или Крестовом походе детей».

Инфантильность, неразумие, растерянность, удивление окрашивают собой каждый шаг и каждый жест главного героя, Билли Пилигрима. Его контузили, и контузия эта перерастает в символ. Он странен, чуждаковат, не такой, как все. Связь времен

и логика повседневной жизни распались в его сознании. Билли Пилигрим — своего рода Дон Кихот, наивный и не приспособленный к деловой действительности, со своими необычными, иллюзорными представлениями о мире.

У ряда прогрессивных гуманистов Запада мы найдем множество разновидностей современных донкихотов, описанных с нежным сочувственным юмором. Пауль Шаллюк создает «Дон Кихота из Кельна», а раньше, в романе «Энгельберт Рейнеке», — пленительный и сложный образ учителя Леопольда Рейнеке, сочетающего в себе черты и комические и героические.

У Апдайка в романе «Кентавр» учитель Колдуэлл — жалкий, смешной и растерянный в быту, но наделенный творческой силой воображения и мудростью активной ищущей мысли — из того же племени донкихотов наших дней.

Лео Гартинг в романе Ле Карре «В одном немецком городке» падает жертвой нового фашистского движения в ФРГ, потому что он не постиг хитрую и ловкую науку «забывать». Он все еще рыцарски защищает истины времен второго фронта — антигитлеровскую позицию англичан эпохи конца войны, не желая понимать, что в шестидесятые годы империалистическая политика требует от дипломатов объединения с ФРГ в холодной войне против Советского Союза. Тут перед нами политическая разновидность современного донкихота.

Всех этих героев очень разных масштабов и калибров роднит подчеркнутая чуждаковатость, инфантильность и искренность. Они беззащитны перед звериными законами власти, лжи, уничтожения. Все они «не жильцы» в мире бизнеса — политического и повседневного.

Детство перестало быть возрастной категорией. Это в современной литературе Запада — мироощущение, состояние человека и в какой-то мере — его судьба.

Но вернемся к сквозным и принципиально существенным лейтмотивам книг Воннегута.

В «Колыбели для кошки» жители Сан-Лоренцо, когда происходит что-то таинственное и необъяснимое, говорят: «Дела, дела, дела». В «Бойне номер пять» каждый раз, когда речь идет о чьей-либо смерти, неизменно появляется фраза: «Такие дела». А так как на протяжении этого романа очень много умирают, фраза «Такие дела» встречается по крайней мере раза три на каждой странице. «Мать его сгорела во

время бомбежки Дрездена. Такие дела». «Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила семьдесят одну тысячу триста семьдесят девять человек. Такие дела». «Оси колес на танке бы ш смазаны жиром убитой скотины. Такие дела». «Литературные критики пришли участвовать в дискуссии — жив роман или уже он умер. Такие дела». «Шампанское выдохлось. Такие дела».

Недаром в джазово-плакатном авторском анонсе, предваряющем роман, «Бойня номер пять» охарактеризована как «служебная разписка со смертью». Смертей, убийств, разрушений в этой книге так много, что их уже перестаешь замечать. И каждый раз после фразы «Такие дела» читатель словно спотыкается о труп. Перенасыщенность смертью нашла свое конкретно-фразеологическое выражение в романе.

И наконец еще один образный лейтмотив, очень специфичный и характерный для современной литературы Запада. Миру тотального разрушения и насилия, миру крови и смерти, грохоту разрывов и стону раненых противопоставлен непосредственный, полный радости жизни образ поющей птицы.

Впервые он появляется в «Колыбели для кошки» в главе «Великий А — бум!». После беспощадной бомбардировки, предвещающей вселенскую гибель, героя «вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она».

Этот непосредственный, как сама жизнь, птичий щебет дословно повторяется и в «Бойне номер пять». «Предположительно, после бойни наступит огромная тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц. А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне: «Пьюти-фьют?»

Вопросительно-радостным щебетом птиц и завершается роман Воннегута: «Разговаривали птицы. Одна птичка спросила Билли Пилигрима: «Пьюти-фьют?»

Этот, казалось бы, столь неожиданный и непредвиденный природный образ в романе, полном жестокого абсурда уничтожения, не случаен у Воннегута, а главное, встречается в современной западной литературе не только у него.

В начале шестидесятых годов, ничего не зная о Курте Воннегута и его книгах, я писала статью о французском поэте Превере. Называлась она «Кровь и птицы». Во всей поэзии Превера настойчиво противопостав-

лены мир абсурдных преступлений, жестокости, крови, войны — и радостно-ясный, цветущий и вечный мир природы. История залита кровью. Природа говорит доверчивым, счастливым голосом птицы. Превек, мастер поэтического гротеска, пагнетающего страшные нелепости, в то же время естественно жизнерадостен, и эта особенность его творчества выливается в легкие, грациозные, лучезарные стихи о любви, цветах, прелести Парижа. И всегда символом этого чудесного природного мира становится птица.

Но не только в литературе, будь это поэзия или проза, встречаем мы противопоставление истории и природы, трагического разрушения и вечного воспевания жизни. Современный французский композитор Мессиаен — сам участник Сопrotивления, в годы войны пленник гитлеровского лагеря, чудом уцелевший, — в своих симфонических поэмах и камерных вещах, в особенности в квартете «Конец света», дает нам то же контрастное сочетание. Квартет построен на двух противоборствующих музыкальных темах — трагическое состояние узника, обреченного на небытие, и победное звучание в душе человека ликующего щебета птиц.

Образ этот возникает в разных странах, в разных областях и жанрах искусства у художников, наиболее остро чувствующих и передающих время.

Быть или не быть жизни в этом безрасудном патологическом мире, как предотвратить эту неудержимую политику уничтожения — вот главные вопросы, которые в предельно иронической форме задает Воннегут в своих книгах. Но эволюция от «Колыбели для кошки» к «Бойне номер пять» значительна и отраднa.

В «Колыбели для кошки» гипертрофия абсурда сатирически сгущена автором так сильно, что в конце концов начинает заслонять его замысел. В «Бойне номер пять» зловещая абсурдность войны и разрушения обретает поистине трагическое звучание. События подчас анекдотичны, мир, атомно взорванный, распадается на логически бес-связные эпизоды (недаром книга эта, по словам самого Воннегута, написана «в слегка телеграфически-шизофреническом стиле»), и несмотря на все, в ней слышится — приглушенно, словно взятая в иронические кавычки — глубоко лирическая нота подлинной скорби и боли за судьбу современного человечества.

Воннегут сложными, обходными путями гиперболизации и предельного абсурда

своеобразно восстанавливает простые и вечные истины попорченного гуманизма. Но приходит он к этим истинам «от противного». Перо его резко и беспощадно, с графической остротой карикатуриста очерчивает разрушительную сущность этого «безумного, безумного, безумного мира».

С подлинным блеском, изобретательностью и талантом передана сложная и многогранная пародийность стиля Воннегута в переводах Р. Райт-Ковалевой.

**Т. ХМЕЛЬНИЦКАЯ.**

Ленинград.

★

## ПУШКИН - РИСОВАЛЬЩИК

**Т. Цявловская. Рисунки Пушкина. М. «Искусство». 1970. 168 стр.**

Рисунки Пушкина — одна из самых больших радостей, доставшихся на долю нашего поколения среди художественных открытий двадцатого века, во владение которыми мы вступили совсем недавно.

Только в наше время они получили должную оценку, и в этом не столько заслуга отдельных лиц, сколько следствие изменения эстетических критериев в оценке произведений графического искусства. Мы научились ценить трепетную живость беглых набросков Рембрандта, Калло, Тьеполо, Домье.

Пушкинские рисунки публикуются уже давно и в собраниях сочинений поэта, и в альбомах юбилейных пушкинских выставок. Иногда эти публикации были сенсационными. Я помню обжигающее впечатление от рисунка виселицы с пятью повешенными и началом ямбического стиха: «И я бы мог как шут на...» Рисунок этот был опубликован в 1908 году во втором томе венгерского шеститомного собрания сочинений Пушкина. В этом издании, обильно, но бестолково и безвкусно иллюстрированном, снимки с рисунков Пушкина представляли самую интересную и привлекательную часть иллюстраций.

Но комментарии к ним С. А. Венгерова были по-дилетантски беспомощны. Сам графический язык рисунков Пушкина был непонятен почтенному ученому, и он толковал его вкривь и вкось. Так он усмотрел в изображении Кюхельбекера и Рылеева на Сенатской площади 14 декабря 1825 года «карикатуру» и укоризненно отметил, что когда Пушкин рисовал эту «карикатуру», Кюхельбекер был на каторге, «и это, однако же, не останавливало веселого расположения духа Пушкина». Это ворчливое менторское замечание, характерное для некоторых пушкиноведов старшего поколения, основано на добросовестном заблуждении.

Нужно было пройти еще десятилетиям,

народиться новой эстетике графического языка, чтобы рисунки Пушкина привлекли внимание исследователей. Я, кажется, не ошибусь, если назову первой серьезной заявкой на рисунки поэта как на особую область пушкиноведения статью А. М. Эфроса в № 2 «Русского современника» за 1924 год. Не случайно, что их биографическую, иконографическую, а главное — художественную ценность выявил не литературовед, а художественный критик, почувствовавший их графическое своеобразие. Он установил, что особая ценность графики пушкинских рукописей в том, что «это дневник в образах, зрительный комментарий Пушкина к самому себе, особая запись мыслей и чувств, своеобразный отчет о людях и событиях».

Т. Г. Цявловская, чье имя упоминает А. Эфрос в предисловии ко второму изданию книги «Рисунки поэта» среди лиц, помогавших ему справками и советами, в своем труде посвящает его памяти прочувствованные строки: «Имя Абрама Эфроса, художественного критика, искусствоведа и переводчика, навеки войдет в историю культуры и как основоположника изучения графического искусства великого поэта».

Однако в 1924 году даже столь отважный и независимый в своих оценках критик еще ставил над рисунками поэта осторожный вопрос: «Но согласны ли мы уже наконец считать их искусством?»

Он не снял этого вопроса и во втором издании своей книги «Рисунки поэта» в 1933 году: «Искусство ли это? Будем ли мы по-прежнему любить рисунки Пушкина только за то, что это следы его руки, или сам он станет нам милее потому, что существуют его рисунки?»

Для Т. Г. Цявловской такого вопроса уже не существует.

«Стремительность рисунка Пушкина, — пишет она во вступительной главе, — край-

няя лаконичность его, обобщающий взгляд художника, отбирающий в предмете лишь самое важное,— все эти органические черты пушкинской графики роднят его искусство с эстетикой нашего века. Рядом с рисунками Пушкина мы видим безупречную чистоту линий Матисса, горячий темп рисунка Пикассо.

Внезапным скачком в следующее столетие представляется рисунок Пушкина. Эта особенность его графики присуща только искусству гениев».

Что ж? Теперь вряд ли кто будет оспаривать эту оценку. Это не только мнение соотечественников поэта, продиктованное, может быть, пристрастием и желанием приписать Пушкину воображаемые совершенства. Таково же убеждение и иноземцев. Этторе Ло Гатто, итальянский пушкинист и переводчик «Евгения Онегина» на итальянский язык, в своих примечаниях к переводу без колебаний называет Пушкина «рисовальщиком-дилетантом, но гениальным».

История мировой литературы знает немало имен писателей, занимавшихся рисованием. Есть писатели выдающихся способностей в рисунке — Гюго, Бодлер; у иных это второе призвание, как у Блейка, Д. Г. Россети. В русской литературе перечень писателей, оставивших нам свои рисунки, начинается протопопом Аввакумом и кончается Багрицким. Пушкин занимает в этом списке особое место.

Теперь нет необходимости доказывать не только ценность рисунков Пушкина как документов, но их самостоятельное художественное значение, их высокую графическую квалификацию и в особенности проявившийся в них редкий дар портретиста, способного минимумом графических средств метко характеризовать портретируемое лицо.

По свидетельству современников, Пушкин владел линией виртуозно. «Бывало,— рассказывает В. П. Горчаков,— рисует Крупянскую,— похожа; расчертит ей вокруг лица волоса,— выйдет сам он; на ту же голову накинёт карандашом чепчик,— опять Крупянская». И. П. Липранди добавляет: «...Александр Сергеевич на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом изображал сестру Катакази Тарсису — Мадонной и на руках у ней младенцем генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками и пр. Пушкин делал это вдруг, с поразительно-уморительным сходством». Сове-

ременник, видевший эти летучие шаржи Пушкина в Кишиневе, отзываясь о них с восхищением, сравнивая их со скульптурными карикатурами Дантана, имевшего в ту пору всеевропейскую славу.

Даже теперь, когда нет возможности сравнивать портреты, нарисованные Пушкиным, с живыми оригиналами, в них чувствуешь убедительное сходство. Особенность его дара в том, что каждый профиль, им однажды найденный,— это кратчайшая формула сходства, которую он может повторить без запинки многие годы спустя, уже не имея перед глазами оригинала. Примером этому — более тридцати портретов Е. К. Воронцовой, набросанных на страницах его рукописей в разное время.

С тех пор, как при изучении рукописей Пушкина обнаружилось, что большая часть набросков на полях — портреты живых людей, началась трудная и увлекательная работа разгадывания: кто есть кто? Для того, чтобы комментировать этот «графический дневник» и разгадать его смысл, нужно было понимать язык графики Пушкина, хорошо, до мельчайших деталей, помнить хронологическую канву трудов и дней поэта и иконографию его современников.

Благодаря этим открытиям мы получили целую портретную галерею современников, созданную Пушкиным. Кроме автопортретов, которых насчитывается более пятидесяти, в списке, приводимом Т. Г. Цявловской, перечислено восемьдесят восемь имен, среди которых есть цари, писатели, декабристы, актрисы, друзья, родные, знакомые, женщины, которых он любил.

Т. Г. Цявловская работает над рукописями Пушкина более сорока лет и много времени посвятила изучению графики поэта. «Исследование рисунков Пушкина,— говорит она в своей книге,— показывает, что они являются богатейшим источником для изучения как биографии его, так и творчества поэта, источником тем более ценным, что он не только не исчерпан, но даже не разработан».

Ее горячая увлеченность предметом изучения помогла ей увидеть в рисунках поэта те качества, которые не заметит равнодушный глаз: «Бьющая через край талантливость Пушкина в портретных набросках, редкая зоркость глаза, неисчерпаемая вдохновенность превращали его наброски в драгоценные свидетельства о внешности человека. И не только внешности. Поэт-художник проникал во внутренний мир человека.



Острота характеристики, выразительность рисунка при суровом лаконизме его, необыкновенная артистичность и являются основными свойствами вообще графики Пушкина. Это те же черты, которых исполнена его поэзия и проза».

Мне, смолоду влюбленному в рисунки Пушкина, от всей души хочется присоединиться к этим словам. У Пушкина действительно был редкий, редчайший дар зрительной памяти на лица, позволявший ему даже через годы разлуки восстанавливать на листе бумаги облики лицейских товарищей и петербургских знакомых. Т. Г. Цявловская убедительно доказывает, что как документы эти портреты даже предпочтительнее изображений профессиональных художников: «Непритязательные наброски поэта в его рабочих тетрадях так метко, остро, бесспорно передают впечатление от изображенного им лица, что рядом с ним порой меркнут, теряют силу, убедительность портреты, принадлежащие прославленным мастерам».

Как профессионал-график, могу еще добавить, что при таких крошечных размерах портретных профилей на рисунках Пушкина, чтобы добиться сходства с маху, в один прием, надо иметь очень тренированный глаз и виртуозную руку.

«Художник-варвар кистью сонной...» Вот самый тяжкий укор в устах Пушкина: сонная кисть! У него самого линия исполнена силы, жизни, движения!

Автору принадлежит честь открытия восемнадцати портретов из воспроизведенных в книге. Как это, должно быть, радостно и увлекательно угадать в профиле, который все сто раз видели, какое-нибудь историческое лицо! Теперь и мы видим: ну да, конечно же, это — Баратынский, это его убегающий назад лоб, сильные надбровные дуги, печальное выражение глаз. Автор приводит также свои соображения: почему появился на полях рукописи этот портрет, почему пришел Пушкину на память Баратынский? Оказывается — Пушкин вспомнил о Баратынском потому, что готовил статью о нем и в эти дни проходила цензуру их

общая книга, куда входили «Бал» и «Граф Нулин». Или вот профиль П. В. Киреевского, замечательно похожий на воспроизведенную рядом литографию в анфас. Т. Г. Цявловская угадывает ассоциативные ходы мысли Пушкина, которые заставили его вспомнить о Киреевском.

Среди этих новооткрытий меня особенно радуют и поражают два портрета Катеньки Вельяшевой. Во-первых, этими набросками подтверждается авторское предположение, что она послужила прототипом одной из героинь «Романа в письмах» — Маши, девушки, «воспитанной на романах и на чистом воздухе». А во-вторых, — это одно из чудес Пушкина-портретиста: с такой поразительной экономией средств передано очарование юной, расцветающей красоты! Мы чувствуем, что эти оба профиля похожи, раз увиденные, они крепко остаются в памяти.

«Поле деятельности в области отождествления рисунков Пушкина с портретами современников безгранично. Достаточно сказать, что из нескольких сотен изображенных Пушкиным лиц узнано до сих пор всего сто человек», — говорит Т. Г. Цявловская. Кстати, после сдачи книги в печать ею же угаданы и опубликованы еще три портрета — Веневитинова, Булгарина и Смирнова, мужа «черноокой Россети».

Из аннотации к перечню иллюстраций мы узнаем, что общее число сохранившихся рисунков Пушкина достигает двух тысяч и более половины их так и не опубликовано до сих пор.

К месту вспомнить, что еще в 1937 году был обещан и запланирован дополнительный том к академическому изданию сочинений Пушкина — факсимильный свод всех пушкинских рисунков. С тех пор протекли подлинно былинные сроки: тридцать лет и три года, а обещанный том так и не появился в свет. Издательство «Наука», почему?

**Н. КУЗЬМИН,**  
*член-корреспондент Академии  
художеств СССР*

## НОВЕЛЛЫ О ШЕКСПИРЕ

Ю. Домбровский. Смуглая леди. Три новеллы о Шекспире. М. «Советский писатель». 1969. 184 стр.

Жизнь Шекспира — удобный материал для художественных домыслов. Биография его известна, можно сказать, только с официальной стороны: сохранились акты гражданского состояния (записи о рождении, бракосочетании, смерти его и членов его семьи), документы финансовые и имущественные, подобие послужного списка (время работы в разных театральнх труппах, расписки в получении платы за участие в придворных представлениях), даты регистрации рукописей пьес и время их издания. Потомкам, естественно, этого показалось мало. Они захотели узнать о его личной жизни, но выяснилось, что это невозможно, ибо не сохранилось ни одного интимного документа — ни дневника, ни частных писем, ни мемуаров близких.

Между тем чем больше росла слава Шекспира и развивался вкус к тайнам личной жизни великих людей, тем ревностней старались разгадать, как прожил свой век Шекспир. При этом, с одной стороны, в доступных данных оказались факты, представляющие собой загадки, а с другой, обнаружались пробелы в биографии, еще более разжигавшие любопытство. К числу таких относится, например, вопрос о семейной жизни Шекспира. Немало умов ломало голову над тем, почему драматург в завещании оставил жене «вторую по качеству кровать», а не первую. Заинтриговала также неуловимая личность смуглянки, которой Шекспир посвятил два с лишним десятка сонетов (127—152), написанных с мучительной страстью.

Шекспироведы занялись писательским делом — пустили в ход воображение. Стали возникать догадки, которым для большей авторитетности дали название «гипотез». Потом этим занялись беллетристы. Первый роман о Шекспире появился в начале XIX века, и постепенно возникло изрядное количество романизованных биографий, новелл и пьес. Фактические данные у ученых и у писателей были одни и те же, однако литераторы чувствовали себя вольнее в обращении с ними; впрочем, некоторым шекспироведам тоже нельзя отказать в романтической изобретательности.

Словом, если у кого-нибудь еще остались сомнения относительно права беллетризировать биографию Шекспира, то их пора от-

бросить. Право есть, и, главное, поприще благодарное. Там, где история молчит, каждый осведомленный и вдумчивый человек может высказывать свои предположения о людях и событиях. Более того, если говорить правду — выдаю профессиональный секрет, — всякая биография Шекспира есть сочетание бесспорных фактов с отнюдь не бесспорными домыслами ученых. Поэтому научная биография Шекспира — тоже творческое дело. Правда, у ученого наукообразность изложения прикрывает вымыслы, а у беллетриста они демонстративно обнажены. В этом невыгода положения писателя, пишущего о Шекспире. Ученого-биографа поостерегутся критиковать, а о беллетристическом произведении, посвященном Шекспиру, смело судит всякий.

Надо отдать должное Ю. Домбровскому — с фактической стороны биографии Шекспира он знаком не хуже любого шекспироведа. Мелкие неточности, встречающиеся у него, не стоит даже отмечать. Анахронизмы допускал сам Шекспир — так будем ли корить скромного литератора за то что прощаем величайшему из литературных гениев? Важны не мелочи, а то, какой образ создает в своих новеллах Ю. Домбровский. Но прежде чем сказать об этом, нужно заметить, что каждая эпоха создает свой образ великих людей и любая следующая вправе противопоставить ей свое представление о гении. Лики Шекспира за века его славы менялись не раз. Кроме типичных эпохальных признаков в трактовке великих людей, всегда играла роль и личность того, кто воссоздавал портрет Шекспира. Нередко писатели «накладывают» на Шекспира свои черты, и в этом нет ничего незаконного или нескромного, ибо всякого человека мы способны познать только в меру понимания самого себя.

Жизнь Шекспира в изображении Ю. Домбровского была трудной и сложной. Он был человеком безрадостной судьбы, прожившим свою жизнь путано и умершим чуть ли не с ощущением бесплодности ее.

Такая версия односторонняя, но имеет право на существование не меньше любой, рисующей Шекспира творцом-победителем, шедшим от успеха к успеху. В трагическом Шекспире, изображенном Ю. Домбровским, больше достоверности, чем в иных радуж-

ных портретах великого драматурга. Этот Шекспир и ошибался, и знал неудачи, и запутывался в жизненных обстоятельствах безвыходно и безнадежно. В этом отношении Ю. Домбровский смыкается с общей тенденцией толкования личности Шекспира, утвердившейся в наш век. Нынешние биографы и авторы романизированных биографий стремятся разрушить иконописный лик Шекспира, созданный викторианскими биографами в XIX веке, придававшими Шекспиру благообразие и величавость, подобавшие, по их мнению, национальному герою. Как изображает Ю. Домбровский, благополучие у Шекспира было — и лучший дом в Стратфорде, даже два, и деньги, — а душевного благополучия — никакого.

Ю. Домбровский выбрал из жизни Шекспира только три момента, но он представил их так, что сам драматург и окружающие его ссылаются на предшествующие обстоятельства, и поэтому в этих трех новеллах по существу отражена вся жизнь Шекспира.

Первый эпизод относится к поре расцвета театральной деятельности Шекспира. Он в Лондоне, и в атмосфере напряженной драматургической работы живет сложной личной жизнью. Где-то в захолустном Стратфорде осталась нелюбимая жена и подрастают две дочери, а в столице у него роман со смуглолицей красавицей, дразнящей мужчин капризной легкостью, с которой она меняет свои склонности. В разгар любовной интриги бывший фаворит королевы Елизаветы граф Эссекс поднимает восстание против нее, кончающееся его гибелью.

В этой новелле мы видим Шекспира в гуще жизни: здесь перемешаны любовь, дружба, политика, творчество, но, что бы ни происходило, в конечном счете у Шекспира все откладывается как материал для его будущих произведений. Зыбкость женских чувств, гибель благородного графа естественно подводят Шекспира к темам «Гамлета». В новелле это сделано тоньше и сложнее, чем изложено здесь, но суть именно такая: все, что ни переживает художник, отливается потом в произведение искусства.

Две другие новеллы посвящены концу жизни Шекспира. «Вторая по качеству кровь» — рассказ о том, как больной Шекспир, покинув Лондон и работу в театре, возвращается в Стратфорд. Как обычно, по дороге домой он останавливается в Оксфорде, где происходит его свидание с женой содержателя местной гостиницы, с ко-

торой Шекспир, по преданию, был в близких отношениях. Тема новеллы — прощание с деятельной жизнью, с любовными увлечениями и возвращение блудного мужа в свою семью.

Шекспир у Ю. Домбровского — больной человек. Многие биографы склоняются к мысли, что драматург страдал какой-то болезнью, вынудившей его покинуть театр. Чем болел Шекспир, мы не знаем. По воле Ю. Домбровского, у него астма. Но в больном Шекспире нет ничего патологического. Подчеркиваю это, чтобы провести различие между повеллами Ю. Домбровского и романом современного английского писателя Энтони Берджеса «На солнце не похож».

Новелла «Королевский рескрипт» описывает последние дни Шекспира. В изображении Ю. Домбровского они невольно напоминают «Смерть Ивана Ильича»: та же мелкая суета из-за практических интересов и те же счеты, которые человек перед смертью сводит со своей жизнью. Говоря так, я отнюдь не хочу обвинить автора в подражании. Он избрал лучший прием для того, чтобы изобразить все, что могло твориться у смертного ложа Шекспира.

Очень хорошо и правдоподобен эпизод беседы Шекспира с королем Джеймсом. Шекспир вспоминает, как после представления «Макбета» король толкует ему о том, какую политическую мораль следует проводить в пьесах. «Я монарх, милорд, — сказал король, — монарх, а «монос» — это значит один и един...» Потом опять повернулся ко мне (к Шекспиру. — А. А.). «Я не хотел бы, сэ, — сказал он, — чтобы вы когда бы то ни было касались того, что связано с таинственной областью авторитета Единого. Это недопустимо для подданного и смертный грех для христианина. В «Макбете» вы, правда, подошли к этой черте, но не перешли ее. Я ценю это». Затем король, бывший большим специалистом по части охоты на ведьм, делает Шекспиру замечания о неточностях в изображении нечистой силы. Пообещав свести его с библиотекарем, который подыщет ему книги по колдовству, король заключает: «...если увижу в ваших дальнейших произведениях какое-нибудь отклонение от истины, то всегда приму меры, чтобы поправить их». Шекспир понял все, что подразумевал король...

Вам может нравиться или не нравиться Шекспир, каким его изображает Ю. Домбровский, но бесспорно, что писатель соз-

дал образ живого человека, с определенным характером и особой судьбой. Шекспир, которого мы видим здесь, не придает большого значения своему поэтическому дарованию, а о посмертной славе даже не мечтает. Все созданное им кажется ему эфемерным, жившим только краткие мгновения на сцене театра и обреченным на забвение.

Книга написана с любовью к Шекспиру, с глубоким уважением к нему, с желанием понять его сложную жизнь как человека и художника. В ней есть мысли о месте писа-

теля в обществе, о его судьбе, о переплетении личного и общего в его произведениях. Эта книга и о том, что жизнь писателя может быть безрадостна, тогда как другим плоды его мук и труда приносят удовольствие и высокое эстетическое наслаждение. И еще о том, как печально, что есть люди, равнодушные и к художнику, и к его творениям, проживающие жизнь без соприкосновения с миром поэзии, больших чувств и красоты.

А. АНИКСТ.

★

### Политика и наука

## ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ИЛЬИЧА

(О письмах В. И. Ленину)

«Москва, Кремль, Ленину». По этому адресу шли тысячи писем и телеграмм, в которых ярко запечатлены дух и колорит эпохи величайших свершений послеоктябрьских лет.

В 1960 году на прилавках книжных магазинов появился впервые изданный Политиздатом сборник «Письма трудящихся к В. И. Ленину». В последующие десять лет книг, в которых собраны адресованные на имя Ленина письма и телеграммы, вышло более шестидесяти. Если добавить к этому сотни публикаций в газетах и журналах, то станет ясно, какое огромное количество этих «подлинно человеческих документов» стало достоянием читателя. Видимо, настало время обобщить обширную почту Ленина, и надо полагать, исследователи займутся этим. Мне же хотелось бы поделиться лишь некоторыми мыслями, возникшими при чтении писем и телеграмм В. И. Ленину как в архивах, так и в печатных изданиях.

Ленин и народ. Прочтите присланные Владимиру Ильичу за какой-либо период письма и телеграммы, а затем сопоставьте их с ленинскими выступлениями, статьями, письмами, записками за тот же период, и вы как бы услышите примечательнейший диалог. Одними тревогами и заботами, помыслами и стремлениями жили народ и вождь.

В первых числах декабря 1917 года солдат Петухов писал Ленину:

«Хотелось бы мне, сидящему на фронте и знающему окопную жизнь и настроения

солдат, поделиться с Вами теми мыслями и теми чаяниями, которые питает в настоящее время получить солдат от правительства Народных Комиссаров...» Обрисовав создавшееся положение, солдат далее пишет: «Фактически ведь фронт наш беззащитен, фактически ведь армии у нас не существует, она умерла, и никакая сила ее не воскресит. Вот почему, любя Родину, любя свой народ и не желая полнейшего рабства и уничтожения завоеваний революции, я только прошу Вас — заключайте скорее мир»<sup>1</sup>.

Известно, что в те дни Ленин очень интересовался состоянием русской армии (что видно, в частности, по его вопросам делегатам общевойсковой сессии по демобилизации армии, состоявшегося во второй половине декабря 1917 года) и неоднократно говорил о необходимости заключения мира с немцами.

Нередко письма были прямым откликом на выступления Владимира Ильича.

«В свое время привлекло к себе всеобщее внимание Ваше положение: «Социализм — это учет». Я позволю себе теперь на него сослаться». Так начиналось опубликованное в «Новом мире» письмо одного из корреспондентов Ленина<sup>2</sup>.

«Многоуважаемый Владимир Ильич!

Из произнесенных Вами на Всероссийском съезде Советов речей видно, что Вы

<sup>1</sup> ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 78, д. 65, л. 34.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1968, № 4, стр. 183.

желаете сократить многосложность по управлению...»<sup>3</sup>, — писал Ленину 19 марта 1920 года гражданин В. и далее излагал свои соображения о реорганизации управления текстильной промышленностью.

«Беру на себя смелость обратиться Ваше внимание [на] следующее, — телеграфировал Ленину 20 января 1922 года буинский районный лесничий Струнников. — Лесное хозяйство гибнет оттого, что средства, кои дает лес, разбиты по весьма многим учреждениям...»<sup>4</sup> Надо централизовать управление лесным хозяйством, предлагает автор.

Почта Ленина, отражающая народный характер Октябрьской революции, свидетельствует о стремлении трудящихся принимать деятельное участие в управлении первым в мире государством рабочих и крестьян.

Это наглядно видишь, читая сборник «Товарищу Ленину»<sup>5</sup>. Составители В. В. Анисеев, Н. В. Бычкова и Н. С. Зелов выявили новые документы в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма и в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, изучили сборники, выпущенные местными издательствами, а также публикации в периодической печати. Расширив «представительство» различных районов страны, коллективов предприятий, сельских обществ и воинских частей, они увеличили также количество включенных в сборник индивидуальных писем, что заметно оживило книгу. Существенные изменения внесли составители также в «подачу» документов: раньше заглавием служило сообщение, от кого данное послание, а сейчас в заглавие вынесена главная мысль письма или телеграммы, например: «Обеспечим рабочих и Красную Армию хлебом», «Вы вырвали нас из цепей рабства», «Сибирь возрождается», «Надеемся на нас». Документы как-то сразу ожили, приобрели боевитость.

Особую значимость и интерес придают книге публикуемые в ней телеграммы, записки, распоряжения Владимира Ильича в связи с присланными ему письмами.

«От души благодарю за приветствия и добрые пожелания...»

«...Прошу исполнить просьбу, если возможно».

<sup>3</sup> ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 240, л. 37.

<sup>4</sup> Там же, оп. 6, д. 309, л. 2.

<sup>5</sup> «Товарищу Ленину. Письма трудящихся В. И. Ленину. 1917—1924». Издание 2-е, дополненное. М. Политиздат. 1969. 528 стр.

«Требую немедленного назначения строжайшего следствия и доклада мне о назначении его и об итоге» (по поводу неправильных действий председателя одного комбеда. — И. Б.).

«Избранные могут приехать, когда угодно. Постараюсь принять лично...»

«Ответьте ему (крестьянину Егору Никитину, который просил присылать в их партийку декреты Советской власти. — И. Б.), что я передал адрес для декретов в Бюро ЦК (и пошлите туда), а что писать мне может прямо в Москву, Кремль».

«...Надо принять энергичные меры».

«Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По секрету скажу, что подарков посылайте мне не следует. Прошу очень об этой секретной просьбе пошире рассказать всем рабочим».

Но если даже на письме нет никакой пометки и Ленин не написал в связи с этим письмом какую-либо записку, это еще не означает, что до Владимира Ильича письмо не дошло. Нередко он давал работникам Секретариата поручения, связанные с письмами. Так, направляя члену коллегии Наркомата продовольствия т. Свидерскому письмо военного курсанта Дмитрия Попова от 23 октября 1919 года о тяжелом положении в его уезде, сотрудница Секретариата Совнаркома тов. Аллилуева писала: «Тов. Свидерский, Владимир Ильич просит Вас сообщить ему о том, что будет Вами предпринято по этому делу»<sup>6</sup>.

Далеко не все такие письма выявлены, и тут исследователям еще предстоит немалая работа.

С тех пор как были написаны письма и телеграммы Ленину, прошло полвека, и потому важно напоминать о событиях того времени, об обстановке, в которой рождались эти документы, о корреспондентах Ленина. Не всегда, однако, это делается. Вот два примера из сборника «Самарцы — Ильичу» (составители З. А. Никишина, А. Д. Фадеев, Э. С. Шарикова, А. П. Яковлева)<sup>7</sup>.

«Председатель съезда пяти волостей гражданн с. Корнеевки С. Радюшкин» — так подписана телеграмма, присланная Ленину 18 января 1918 года. Из телеграммы видно, что автор ее обращается к Владимиру Ильичу от имени группы коммуни-

<sup>6</sup> ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, л. 398.

<sup>7</sup> «Самарцы — Ильичу. Письма, документы, материалы». Куйбышевское книжное издательство. 1970. 240 стр.

стов пяти волостей Пугачевского уезда. «...Приложим все свои знания к проведению трудовых коммун на местах»,— обещает он. Комментариев к телеграмме нет. А как выиграла бы публикация, если бы читатель узнал, каким был этот съезд коммунистов пяти волостей, о чем шла речь на нем, что конкретно было предпринято для организации в деревнях коммун, как обещано было Ленину и, наконец, что представлял собою С. Радюшкин, какова его дальнейшая судьба. Разумеется, чтобы добыть такие сведения, потребовалось бы немало времени.

Не меньше усилий надо было бы, наверно, употребить, чтобы проследить, был ли послан ответ другому корреспонденту Ленина — жителю села Русского, Новоузенского уезда, Самарской губернии С. Куликову. 5 марта 1920 года Куликов обратился к Ленину с просьбой разрешить ему открыть мастерскую по ремонту сельскохозяйственных машин и орудий. «Надеюсь принести великую пользу Советской республике»,— писал он. Из краткого примечания к телеграмме узнаем, что составителям не удалось установить, была ли открыта мастерская. Но ведь читателя интересует и сама реакция на телеграмму, характер ответа. Из книги видно, что Владимир Ильич распорядился созвониться с Председателем ВСНХ об ответе автору. И конечно же, надо было пойти по следу этого распоряжения. Если бы исследователь так поступил, он нашел бы в Центральном государственном архиве народного хозяйства (в фонде ВСНХ) переписку по этому делу и заключение Сельмаша<sup>8</sup>. Это дало бы нить для дальнейших поисков, и вполне возможно, что нашлась бы и копия ответа Куликову. Но, видимо, такого поиска не было. А жаль...

Надо ли говорить, какая тщательность нужна при подготовке документов к печати? Не ясно ли, что тут недопустима малейшая небрежность, приводящая к искажению текста? Руководитель редколлегии сборника «Письма Ильичу»<sup>9</sup> В. П. Усачев это, казалось, понимал. В предисловии к книге он предупредил читателей, с каким тщанием готовились к печати публикуемые в ней документы: восстановлены ясные по

смыслу сокращения и соединительные слова в телеграммах; если дописано какое-то уточняющее слово, оно взято в квадратные скобки; если какая-то часть текста опущена, это отмечено отточием. Но слова разошлись с делом.

Вот пример безответственности, допущенной составителями этого сборника. На странице 75—76 публикуется письмо Ф. Козьмина от 19 октября 1918 года. «Лично Ленину»,— пометил автор сверху. Из примечания к документу узнаем, что Ф. П. Козьмин родился в 1898 году, в августе 1918 года вступил в большевистскую партию, в 1918—1919 годах был секретарем Раненбургского уездного комитета РКП(б) Рязанской губернии. Письмо он прислал Ленину по очень важному, животрепещущему вопросу. Но как же искажено оно!

Козьмин пишет, что наши газеты несовершенны, и далее предлагает: «Побольше положительных элементов и простоты». А в книге читаем: «Побольше положительных элементов и простора». А ведь именно о доходчивости газет, о простоте языка писал автор, а ни о каком-то «просторе». Далее он замечает, что устная агитация поставлена плохо, высказывает мысль о необходимости иметь для ее налаживания хорошо организованный сильный коллектив и с сожалением пишет: «Налицо же только **необъединенные** слабые ручейки живого слова». А в книге читаем: «Налицо же только **необходимые** (?) слабые ручейки живого слова». Совсем другой смысл получился. Именно о важности объединения агитационных сил пишет Ленину молодой партийный работник, он даже предлагает создать Народный комиссариат агитации! Подчеркивая важность привлечения к агитационной работе трудовой интеллигенции, автор пишет, что среди нее уже **много коммунистов**. А по книге получается, что **много сочувствующих... коммунистам**. Козьмин указывает, что надо дать агитаторам элементарные понятия о психологии, ибо они «не умеют подойти к народу»; далее у него следует такая фраза: «**Вместо простых, картинных объяснений они говорят отвлеченные, трескучие, книжные фразы**». Хорошо сказано. Не правда ли? А вот составителям эта фраза не понравилась,— они ее выбросили. И никаких отточий! Как нет их и в двух других случаях, когда столь же бесцеремонно опущены важные мысли автора. И никаких оговорок нет также и в тех десяти случаях,

<sup>8</sup> ЦГАНХ СССР, ф. 3429, оп. 1, д. 2297. лл. 5—10.

<sup>9</sup> «Письма Ильичу 1917—1924». Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж 1969 256 стр.

когда слова пропущены или заменены другими. Как можно поступать так?!

На письме, о котором идет речь, автор сделал пометку: «Письмо 2-е». В архивной папке, где оно хранится, подшита также копия четвертого письма Козьмина Ленину. И тут мы получаем очень важные сведения: оказывается, на подлиннике сверху есть пометка сотрудницы секретариата: «Владимиру Ильичу на стол», а внизу — резолюция Ленина, из которой видно, что Владимир Ильич распорядился переслать письмо в Секретариат Центрального Комитета партии (кстати, и то письмо, которое опубликовано в сборнике, также было направлено в ЦК). Из этого следует, что Ленин заинтересовался дельными письмами Ф. Козьмина. Тем досадней грубые искажения, допущенные в сборнике.

Стремлением подробно рассказать об обстановке, в которой рождались послания Владимиру Ильичу, об их авторах, о городах и селах, откуда отправлялись письма и телеграммы, выгодно отличается сборник «Ленин и Тверской край» (составитель В. Н. Полосухин, руководитель общественной редколлегии В. И. Смирнов)<sup>10</sup>. Так, телеграмма высшесволюцких текстильщиков Ленину с выражением благодарности «за поддержку» при национализации фабрики комментируется статьей, в которой рассказывается, как в условиях саботажа и вредительства рабочие учились управлять своей фабрикой и каких они добились успехов в развитии производства. Или вот письмо граждан Кострецкой волости, сообщающих об открытии в селе Народного дома имени В. И. Ленина, а через несколько страниц — подробный рассказ о том, как родилась идея создать Народный дом, как на торжественном открытии его крестьяне писали письмо Ленину и как в последующие годы росла на селе культура; телеграмма из Торопца об открытии электростанции и «репортаж» о собрании, принимавшем текст телеграммы, в которой рабочие выразили желание, чтобы «яркий свет электрических лучей с началом хозяйственного строительства осветил все уголки необъятной РСФСР».

Наиболее же характерна, пожалуй, история телеграммы крестьян Гриминской волости Ржевского уезда от 29 декабря

1918 года, в которой они писали, что, заслушав доклад тов. Воробьева, приветствуют аграрную политику Советской власти. Кто такой Воробьев? О чем был его доклад?

11 декабря 1918 года, выступая на I Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун, Ленин говорил, что перед трудящимся крестьянством «сама жизнь ставит теперь в упор вопрос о переходе к общественной обработке земли...»<sup>11</sup>. На съезде присутствовал делегат ржевских крестьян — Воробьев. Вернувшись из Москвы, он на сходе крестьян Гриминской волости рассказал о выступлении вождя, и тут же крестьяне решили послать Владимиру Ильичу телеграмму, чтобы выразить свое согласие с идеей «артельной обработки земли». В книге рассказывается об этом сходе, о большом подъеме в деревне и публикуется вторая телеграмма ржевских крестьян, полученная Лениным 8 апреля 1919 года. Они писали в ней: «Дорогой учитель, посеянные Вами семена коммунизма дали уже всходы. Ржевский уезд покрылся сетью коммун, сельскохозяйственных артелей, которые практически и идейно наглядным образом убедят всех трудящихся в преимуществах коллективного землепользования перед единоличным».

Такое стремление выйти за рамки письма или телеграммы, вникнуть в обстановку того времени, проследить, как в последующие годы осуществлялись высказанные в посланиях Владимиру Ильичу мечты и планы советских людей, достойно подражания.

В Собрании сочинений В. И. Ленина, особенно в томах, где собраны письма Владимира Ильича, мы нередко встречаем упоминания о его корреспондентах. И каждый раз возникает желание ознакомиться с текстом письма или телеграммы, на которые Ленин обратил особое внимание. Поэтому похвально, когда составители сборников удовлетворяют читательский интерес. Характерный пример этого находим в той же книге «Ленин и Тверской край».

«Поручаю Вам расследовать дело по прилагаемой жалобе и как можно скорее сообщить мне итог»<sup>12</sup>. — писал Ленин председателю Тверского губисполкома Булато-

<sup>10</sup> «Ленин и Тверской край» «Московский рабочий» 1969 520 стр.

<sup>11</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 358.

<sup>12</sup> Там же, т. 50, стр. 224.

ву 25 декабря 1918 года. Приложение — письмо учительницы В. С. Ивановой, в котором она сообщала о пропавших в комитет бедноты черносотенцах. И вот сейчас составители сборника дали нам возможность ознакомиться с ее письмом. Мы также подробней узнали об ответах Булатова Ленину, — в них сообщается, что от работы в комбете отстранены бывший жандарм Тетерин и участник черносотенного погрома в 1905 году Козлов.

В многочисленных сборниках и публикациях напечатаны послания рабочих, крестьян, местных партийных и советских работников, хозяйственников. Но, за редким исключением, в них нет писем и телеграмм друзей и соратников Ленина. Даже в главной книге этой серии — в сборнике «Товарищу Ленину» — таких документов раз, два и обчелся. Очевидно, так и было задумано: дать письма представителей широких масс народа, и в этом, разумеется, есть свой смысл. Думается вместе с тем, что назрела необходимость и таких публикаций, в которые бы вошли письма членов правительства, руководящих работников наркоматов и крупных экономических районов, ученых, писателей, военных деятелей... В этих письмах — коллективный опыт гражданской войны и начала социалистического строительства, и наряду с другими письмами они представляют богатый и пока еще недостаточно исследованный источник, помогающий в изучении ленинского наследия.

Примеров тому немало. Известно, в частности, какой сильный резонанс получило письмо, направленное Лениным 16 октября 1922 года в Президиум ВСНХ и еще в несколько адресов о сланцевой промышленности, и какой толчок дало оно развитию этой отрасли экономики. А ведь все началось с письма, которое Владимир Ильич получил от наркома внешней торговли Л. Б. Красина.

Уместно в связи с этим упомянуть о двух письмах, полученных Лениным в начале ноября 1922 года от Управляющего каменноугольной промышленностью Донбасса В. Я. Чубаря. Одно из них начиналось такими словами: «Жизнь опять бьет расчеты наших плановых органов...»<sup>13</sup>.

6 ноября 1922 года В. И. Ленин писал в Госплан Г. М. Кржижановскому:

«Посылаю Вам копии двух писем тов. Чубаря, в которых он доказывает, что жизнь опрокинула решение Совета Труда и Обороны от 13-го октября о Донбассе.

Необходимо в срочном порядке пересмотреть вопрос в полном масштабе, с привлечением к обсуждению Наркомфин и ВЦСПС»<sup>14</sup>.

А вот еще один, сравнительно свежий, пример того, как письма Ленину помогают лучше понять ленинские документы. В XXXVII Ленинском сборнике, увидевшем свет в прошлом году, впервые на русском языке опубликовано следующее письмо В. И. Ленина Фрицу Платтену от 14 августа 1918 года:

«Дорогой товарищ Платтен!

Конечно, было бы очень хорошо, если бы Вы еще раз приехали к нам. Говорят, что швейцарская атмосфера оказывает плохое влияние на Вас (эта атмосфера слишком мелкобуржуазна, слишком «спокойна», слишком «приятельская») — я позволю себе надеяться, что наша атмосфера может оказать другое влияние.

До свидания

Ваш Ленин.

Р. С. Все контрреволюционные силы собрались против нас. Бушует восстание кулаков. Но я надеюсь и уверен, что мы их разобьем»<sup>15</sup>.

Само начало этого письма («Конечно, было бы очень хорошо, если бы Вы еще раз приехали к нам») звучит как продолжение диалога, как ответ на заданный Платтенем вопрос. И это действительно так. 29 июля 1918 года Платтен послал Владимиру Ильичу записку, в которой писал:

«Дорогой товарищ Ленин!

Я подал ходатайство в Берлине о выдаче мне визы для проезда в Москву. Я хочу посетить Вас. Напишите мне, считаете ли Вы это целесообразным. Для моей ориентации я бы очень приветствовал это. Если по Вашему мнению это не нужно, я прошу сообщить мне...»<sup>16</sup>. (Перевод с немецкого. — И. Б.)

А сейчас прочтите еще раз ответное письмо Ленина, и вы почувствуете, что яснее представляете себе обстановку, еще от-

<sup>14</sup> В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 308—309.

<sup>15</sup> Ленинский сборник XXXVII М 1970, стр. 99.

<sup>16</sup> ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 1150, л. 24.

<sup>13</sup> Письма В. Чубаря хранятся в ЦПА ИМЛ.



четливой видите ленинские отзывчивость, такт, величайший оптимизм.

Тщательное изучение ленинской почты дает много ценного и еще в одном важном деле — в пополнении и уточнении хроники жизни и деятельности Ленина. С интересом встречена читателями вышедшая в конце прошлого года книга «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника». Это первый том предпринятого Институтом марксизма-ленинизма большого издания (предполагается, что оно будет состоять из десяти томов), в котором по дням, а иногда и по часам будет прослежен жизненный путь Владимира Ильича Ленина. По крупицам собирается все, что войдет в эти тома. Есть такие крупнцы и в ленинской почте.

Работники государственных хранилищ, историки, журналисты — все, кто обнаруживает в архивах адресованные Ленину письма, могут и должны внести свой вклад в большое дело составления хроники жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина.

★

## КНИГА ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ОТКРЫТИИ

Л. В. Черепнин. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М. «Наука». 1969. 438 стр.

Людей нашего столетия не удивишь великими открытиями и научными сенсациями. Это относится и к естественным и к гуманитарным наукам, в частности к истории, археологии.

Благодаря усилиям ученых-археологов в прошлом и нынешнем столетиях одна за другой появлялись из небытия великие цивилизации давно минувших времен. Вспомним хотя бы знаменитые раскопки Шлимана на месте гомеровской Трои или дворца Агамемнона в Микенах, расшифровку египетских иероглифов Шампольоном и многие другие столь же сенсационные открытия. На острове Крит раскопали дворец легендарного Миноса, из которого Тезей выбрался с помощью пилы Ариадны, а в долине царей около Луксора и Карнака — гробницы фараонов древнего Египта. В джунглях Центральной Америки среди буйной тропической зелени открылся удивительный и загадочный мир древних майя; многие специалисты в ряде стран занялись расшифровкой их письменности, подключив к этому и электронно-вычислительные машины.

Изучение ленинской почты — не кратковременная кампания. В годы, предшествовавшие 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, выявлены тысячи присланных Владимиру Ильичу писем и телеграмм. Многие из них опубликованы. Думается, однако, что это лишь начало большой работы. И, очевидно, на втором этапе, наряду с продолжением поисков новых документов, основные усилия должны быть направлены на исследование истории каждого письма, выяснение всего, что с ним связано.

Почта Ленина... Сквозь призму тысяч писем и телеграмм взору читателя предстает величайший революционер, мудрый государственный деятель, чуткий, душевный человек. В потоке посланий, которые шли по адресу: «Москва, Кремль, Ленину», словно крупнцы золота в богатой руде — четкие и выразительные штрихи к портрету Ильича.

И. БРАЙНИН.

Мы привыкли ко многому, в том числе и к такому понятию, как великие археологические открытия XIX и XX веков. В нашей стране известия о новых находках уникальных памятников идут со всех сторон, часто появляются они на страницах газет и журналов. Это и неудивительно — отряды историков, вооруженных лопатой, как нередко называют археологов, каждый год отправляются во все концы нашей страны. В результате их неутомимой работы становится известным ранее неведомое. О многих необычайных находках сообщили они в последние десятилетия — о петроглифах Карелии, Приангарья и Чукотки, живописи древнего Пянджикента и античной скульптуре Причерноморья, палеолитических рисунках Каповой пещеры на Урале и крепостных сооружениях на Украине и северо-западе, курганах и жилищах южной степной полосы и культовых сооружениях Закавказья и европейской России.

Но даже и в этом широком потоке находок обнаружение в 1951 году первых берестяных грамот в Новгороде нельзя не выделить особо и не назвать его одним из

самых выдающихся археологических открытий века. Его научная ценность огромна. В самом деле, историки и археологи, изучающие отечественную историю XI—XV столетий, имеют в своем распоряжении, по существу, только летописи, в которых, как правило, записывались сведения о событиях исключительных — войнах, деяниях князей, церковных делах. Летописцев и их заказчиков — тех же князей, бояр или церковных иерархов — повседневная жизнь простых людей не очень интересовала. Актовый материал за это время сохранился плохо. К этому можно добавить отдельные законодательные памятники (например, «Русская правда» и др.), литературные произведения, церковные тексты. Частые пожары в деревянной Руси и не менее частые вторжения иноземцев привели к гибели огромного количества рукописей, документов. От былого богатства остались только крохи, которыми теперь вынуждены довольствоваться ученые.

Находка берестяных грамот привела в волнение ученый мир — историков и археологов, лингвистов и этнографов, литературоведов и юристов. Специалисты получили в свое распоряжение документы, написанные новгородцами, представителями разных слоев населения (от феодалов до простолюдинов) восемьсот—пятьсот лет тому назад. Береста, пролежавшая многие столетия в обильно увлажненной повгородской почве, донесла до нас живой голос живых людей, и многие явления и события далекого прошлого, о которых раньше говорили на основании изучения юридических памятников или даже общих соображений, теперь обрели плоть и кровь.

Помимо их чисто научного значения как богатейшего и уникальнейшего источника для изучения истории нашей страны, они являются выдающимся фактом истории отечественной культуры. До недавнего времени довольно широкое хождение имели взгляды, согласно которым древняя Русь была страной сплошь неграмотных людей за исключением немногих — князей и бояр, купцов и отдельных ремесленников. Подобные теории подверглись убедительной критике, ученые доказывали не раз их ошибочность; теперь они получили новый, и притом исключительно яркий и убедительный, материал, говорящий в пользу их мнений.

Исключительное значение повгородского открытия нашло признание в нашей стра-

не и за рубежом. Недавно группе ведущих сотрудников Новгородской археологической экспедиции во главе с А. Арциховским присуждена Государственная премия.

К настоящему времени накопилось более 400 грамот на бересте. Они найдены во время многолетних раскопок экспедициями А. Арциховского в Новгороде — некогда Новгородской Великом, столице знаменитой боярской республики, которая еще в XII веке стала независимой от Киева и лишь в конце XV века склонила гордую голову перед Москвой — столицей единого Русского государства. Этот город славен богатой историей, героическими делами предков. Отсюда уходили на бой с врагами дружины Александра Невского, а его широкие торговые связи и предприятия отразились в былинах о Садко и Василии Буслаеве.

Со времени открытия берестяных грамот посвященные им статьи и книги составили уже целую библиотеку. Среди них в первую очередь нужно назвать исследования инициатора и руководителя раскопок — члена-корреспондента АН СССР А. Арциховского, который, издавая год за годом новые тексты (вышло шесть томов, некоторые совместно с М. Тихомировым и В. Борковским), сопровождал их рядом ценных наблюдений. Интересно и живо написана книга члена-корреспондента АН СССР В. Янина «Я послал тебе бересту...» (М. 1965) — название книги повторяет начало одного из берестяных писем.

Появившееся недавно исследование известного советского ученого Л. Черепнина, выдающегося знатока источников по истории древней Руси, сразу заняло особое место в научной литературе. Это, по существу, первое обобщающее источниковедческое исследование о берестяных грамотах. В нем подвергнуты детальнейшему анализу не только более 400 берестяных грамот, но и другие источники — летописи и акты, законодательные памятники и литературные произведения, светские и церковные тексты и др. Сделано это с целью понять содержание берестяных грамот, что бывает подчас весьма затруднительно, с помощью данных из других источников, хотя нередко и более поздних, которые имеют сведения об аналогичных случаях, ситуациях, явлениях. Одновременно определяется место берестяных грамот среди других документов. Источниковедческое исследование преследует главную цель — выяснить

ряд кардинальных вопросов отечественной истории с XI по XV век — за время, к которому относятся берестяные грамоты.

Содержание грамот самое разнообразное: здесь и судебные документы и частные письма, духовные завещания и записи купцов и ремесленников о своих делах, донесения приказчиков господам-феодалам и челобитные крестьян, церковные тексты и загадки, ученические прописи и своего рода избирательные бюллетени. Столь же широк круг вопросов, в них рассматриваемых.

Большую трудность представляет датировка грамот — дату имеет только одна из них. Ученым нужно проявить много терпения и искусства, чтобы по упоминаниям отдельных лиц или фактов, известных по другим источникам, приурочить ту или иную грамоту к определенному времени. Правда, на помощь приходят и другие приемы, подчас необычные и неожиданные. Такую роль в данном случае сыграл так называемый дендрологический метод, разработанный применительно к новгородским раскопкам одним из ее участников — Б. Колчиным. Дело в том, что раскопки выявили ряд слоев бревен — остатков деревянных домов новгородцев — и уличных мостовых. Все они настолько хорошо сохранились, что их и сейчас можно употреблять при строительстве домов. Изучение срезов бревен и сравнение их со срезами бревен, положенных в основание древних каменных храмов того же Новгорода (время основания которых известно), дало возможность по количеству годовых колец точно определить время, к которому относятся те или иные археологические слои и тем самым находимые в них берестяные грамоты.

Автор рецензируемой книги вносит свой вклад в уточнение датировки некоторых грамот, прочтение их текстов, понимание их смысла.

Исключительный интерес представляют главы книги Л. Черепнина, в которых говорится о практическом применении законодательных норм «Русской правды» и других памятников древнерусского права. Один из очерков книги так и называется «Русская Правда» в действии». По существу, на глазах у читателя берестяных грамот происходит своего рода персонификация исторического процесса — обобщенные, отвлеченные и подчас сухие нормы наполняются определенным содержа-

нием, появляются реальные лица, жившие, трудившиеся и страдавшие многие столетия тому назад.

Мы видим, как проходит суд по уголовным и гражданским делам, знакомимся с системой судебных доказательств, процедурой «свода», то есть розыска утерянных или похищенных вещей и рабов, тяжбами по делам о кредите и ростовщичестве, судебными спорами купцов, спорными делами о наследстве. Для общества, в котором происходили все эти судебные казусы, характерны распад старых общинных отношений, становление и укрепление новых, феодальных порядков, построенных на классовом антагонизме. Все это выступает наглядно, «в лицах». Вот несчастный Лудислав, попавший в сети кредитора. Более удачлив Уйка, сумевший вырваться из цепких лап ростовщика-заимодавца. Творимир и Фома раздают кабальные хлебные ссуды, записывая на «досках» имена должников.

Здесь упоминаются: муж, защищающий через суд честь избитой жены; купцы Богша, Местиллов сын, Семок, Кулотка, Гордей и другие, объединявшие свои капиталы для совместных торговых операций, конкурировавшие между собой и подбивавшие друг друга; скованный холоп Матвеец; несчастный пасынок Гостяты, которого отчим выгнал из дому; безземельный крестьянин Шибанец, работающий на господской земле; феодалы и ростовщики, грабившие и эксплуатировавшие зависимых от них людей; крестьяне-смерды, грозившие побить «клеветника».

Новгородцы, как и все русские люди того времени, вынуждены обращаться к помощи суда, «послухов» — свидетелей, они «сводят» с себя обвинения — «поклепы», страдают от «волокуты».

Обильны берестяные документы о земельных делах — купле-продаже, спорах, о системах земледелия и многом другом. Они говорят, например, о том, что наряду с трехпольем еще в XIV—XV веках употреблялась подсека (выжигание леса для подготовки земли под посев). Новгородский крестьянин, производитель хлеба, одновременно готовился к севу и «поженному времени» (времени жатвы), а то и к неурожаю, которые были нередки. Л. Черепнин отмечает, что, несмотря на лаконизм берестяных грамот, который иногда ставит исследователя в тупик, их внимательное прочтение и сопоставление с

другими данными позволяет выбраться из него. Главное, что выступает при их изучении, это огромное значение в глазах людей того времени земли как основы богатства, тяга к земле, борьба за нее, приводящая в конечном счете к неравномерному ее распределению, к социальному неравенству.

Берестяные грамоты рисуют тяжелое экономическое положение крестьян-бедняков в XIV—XV веках. Так, в одной из них крестьяне во главе с ключником Кошеем жалуются на недостаток лошадей у одних из них и полное отсутствие у других. А жители деревни Побрятилова Шижнепского погоста не имели зерна не только для еды, но и для посева, мороз побил хлебные всходы; они просят помощи у своего господина. Крестьяне жалуются на господских управителей-ключников, которые их притесняют, «буянят», обкладывают поборами и штрафами, протестуют против продажи их вместе с землей новому господину. Крестьяне защищали свои интересы как могли — подавали челобитные, индивидуальные и коллективные, уходили от своих господ, бежали куда глаза глядят, оказывали неповиновение. Так, знаменитый новгородский посадник XIV века Онцифор Лукинич вызвал в город своих крестьян, но они отказались туда явиться; разгневанный господин угрожает принудить их к этому силой («А како приедуту по' васо дворянь, тако будить»). Другие крестьяне отказывались от выполнения непосильных повинностей, расхищали господское имущество. Вотчинный приказчик Михаила Юрьевича, внука Онцифора Лукинича, сообщает хозяину: «Стогъ, господине, твой ржаний... тати покрали» (XV век). Упоминаются и случаи классово-вой расправы.

Тяжелое чувство оставляют упоминания о продаже, разделе холопов. Семьи холопов часто дробились, родственников разлучали друг с другом. Печальной была часто судьба детей, родившихся от родителей, один из которых был холопом, а другой — свободным. В таких случаях действовал принцип: «сыновья по отцу, а дочи по матери», то есть дети одного пола становились свободными, дети другого пола — холопами.

Сбор государственной дани в казну с подвластного Новгороду населения, жившего на огромной территории, которая простиралась до Северного Ледовитого

океана и Урала, тоже колоритно описывается в берестяных грамотах. Данщики — представители новгородской администрации — ездили в «полюдь», вносили недоимки мехами, серебром и т. д. Неизбежными становились злоупотребления, в ответ население отказывалось платить дань. То же можно сказать и относительно повинностей, поборов с крестьян в пользу своих феодалов.

Из ремесленных профессий в берестяных грамотах упоминаются кровельное, ружейное, ткацкое, белильное, вышивальное. Ремесленники объединялись в «перехожие артели, имелнсь постоянные мастерские. Немало было и одиночек.

Материал о торговле рисует Новгород центром с широкими связями. Ассортимент покуПАВШИХСЯ и продаВАВШИХСЯ товаров был весьма обширным. Помимо продуктов питания (хлеб, рыба, соль, мед и др.), здесь упоминаются различные меха и воск, одежды и сукна английские, немецкие и бухарские. Среди торговцев мы видим, помимо собственно купцов, также феодалов и крестьян. Одни из них торгуют для получения прибыли. В то же время какой-то Степан, человек бедный, вынужден в голодный год продать коня, чтобы купить хлеба и соли. Торговцы не всегда внушали доверие. Колоритна фигура Татьяны, торговавшей, возможно, краденым (грамота относится к рубежу XIV—XV веков); по этому принимались меры по слежке за такими недобросовестными, но ловкими дельцами.

Гораздо меньше материала дают берестяные грамоты о политической истории, религии, быте, литературе, но и мельком упомянутое представляет немалый интерес. Так, в одной из них некий Терентий пишет из Ярославля к Михалю в Новгород, просит прислать ему «лошака» (лошадь); упоминает он и Углич, где стояла «дружина». А. Арциховский и Л. Черепнин полагают, что письмо исходит от участника похода новгородцев против Юрия Долгорукого, основателя Москвы; летописи датируют его 1148 годом.

В других грамотах упоминается языческий «скотий бог» Велес, «ведуны», записаны молитвы богородице Марии. Сохранились трогательные записи и рисунки мальчика Онфима, жившего семьсот лет назад, в XIII веке. На кусках бересты он выписывает буквы азбуки, прописи (ба, ва и т. д.). Рядом с какой-то тарбарщиной

благочестивая запись: «Господи, помози рабу своему Онфиму». Мальчик, живший в героическую эпоху Александра Невского, мечтал о бранных подвигах во славу родной земли — на одном из его рисунков изображен всадник на коне, поражающий копьем поверженного врага; около всадника написано: «Онфиме».

Самые разнообразные сведения хранят берестяные грамоты. Упражнения в письме, счете и рисовании, выписки из церковных календарей, тексты заговоров, своего рода школьные шутки (например: «Невежа писа, недума каза, а хто се цита...», то есть «Невежа писал, недумающий показал, а кто это читал...», конца не сохранилось) и даже предложение руки и сердца (одна из грамот XIII века адресована от Никиты к Ульяне: «Поиди за мене. Язь тьбе хоцю, а ты мене»).

Материал, проанализированный в книге, важен не только с точки зрения изучения многих вопросов истории древней Руси, «персонализации» исторического процесса. Он убедительно и ярко опровергает мнение о культурной отсталости русских людей эпохи средневековья. Многочисленные берестяные грамоты и «писала» (заостренные палочки, которыми наносили знаки на бересту), найденные только на одном небольшом клочке земли «господина Великого Новгорода», говорят о довольно широком распространении грамотности на Руси, причем не только во времена Киевской Руси XI—XII веков, но и в эпоху татаро-

монгольского ига XIII—XV веков. А это факт исключительного историко-культурного значения.

В книге Л. Черепнина, в которой берестяные грамоты изучены на широком фоне исторического развития русских земель, много интересных наблюдений и находок в прочтении, интерпретации этого уникального источника. Автор в ряде случаев не соглашается с истолкованием грамот, проведенным до него, предлагает свои версии. Конечно, работа в этом направлении должна быть продолжена.

В отличие от книг А. Арциховского — у него грамоты издаются и анализируются в порядке их нахождения, — В. Янина с его свободной манерой изложения материала, в исследовании Л. Черепнина грамоты рассматриваются по определенным темам (земля и земельные собственники; крестьяне и холопы; ремесло, торговля, город; суд и судопроизводство; политическая история, церковь, быт и др.). Книгу отличает строгий логический анализ, характерный вообще для работ ее автора. По праву можно расценить ее как большое достижение советской исторической науки в исследовании проблем отечественной истории. Ознакомление с ней, как представляется мне, доставит большое удовольствие не только специалистам, но и широким кругам любителей отечественной старины.

**В. БУГАНОВ,**

*доктор исторических наук.*



## ЭНГЕЛЬС И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

**Б. М. Кедров. Энгельс и диалектика естествознания. М. Политиздат. 1970. 472 стр.**

Поверхностные «защитники» марксизма предпочитают не ставить острые вопросы. В том числе они обходят и такой: почему в век невиданных и непредвиденных научных открытий, в век коренной ломки устоявшихся представлений могут сохранить свое значение оценки и взгляды мыслителя пусть гениального, но творившего в прошлом столетии?

Ведь сам Энгельс не исключал того, «...что прогресс теоретического естествознания делает мой труд, в большей его части или целиком, излишним...»<sup>1</sup>.

Не секрет, что несколько десятилетий тому назад некоторые теоретики и естествоиспытатели пытались объявить устаревшими если не все произведения Ф. Энгельса, то «Диалектику природы» по крайней мере.

Академик Б. М. Кедров в рецензируемой книге решительно отвергает подобные «искания». Он четко различает в работах Энгельса две «составные части»: «дань времени» — общепринятые и общепризнанные взгляды науки XIX века, что не могло не устареть в связи с прогрессом познания. Вторая, главная для творчества Ф. Энгельса — методологическая сторона. Автор прослеживает, как сбывались и сбываются прогнозы и предвидения Энгельса, как реа-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения. т. 20, стр. 13.

лизируются намеченные им возможности прогресса. По существу, Ф. Энгельс, а затем В. И. Ленин раскрыли основные направления движения науки, предсказали наступление эпохи научно-технической революции и ее растущей роли в решении коренных социальных задач.

Изучая, осмысливая, постигая природу, Ф. Энгельс сумел обнаружить наиболее общие и, соответственно, самые устойчивые ее свойства — вскрыть объективную диалектику мира. Однако не менее важно и другое.

Существует не только диалектика природы, но и ее «перевод» на язык человеческой мысли. И чем он точнее и тоньше, чем полнее субъективная диалектика отражает действительное содержание природных процессов, тем больше возможностей для ее применения в качестве средства изучения, метода познания.

Б. М. Кедров пишет, что главное внимание «...Энгельс обращает на то, как конкретно, какими путями и средствами естествознание раскрывает эту объективную диалектику природы, как оно обобщает диалектически результаты эмпирического исследования природных явлений и вещей, какими логическими приемами при этом пользуется, с какими методологическими трудностями оно сталкивается в ходе познания объективной диалектики природы, какие отклонения и по каким причинам от истинного пути познания ее возникают у естествоиспытателей» (19)<sup>2</sup>.

Особенности и значение методологического анализа природы автор прослеживает на примере осмысления Ф. Энгельсом трех великих открытий в естествознании XIX века.

Клеточное строение живого. Кроме непосредственного значения, в этом открытии обнаружился важнейший общий принцип.

Если любая, даже самая сложная структура «раскладывается» на составные элементы, то и сам органический мир следует понимать в его реальной сложности, как возникший, ставший, как продукт и результат развития.

Закон сохранения и превращения энергии был определен Ф. Энгельсом как абсолютный закон природы. Это связано с признанием всеобщего взаимодействия форм

движения материи, взаимосвязей и взаимопереходов, развития природы в целом.

И наконец, учение Ч. Дарвина. Оно содержало в себе великую идею эволюции — идею самосовершенствования, постоянного развития живой материи.

Эти открытия вместе с другими завоеваниями науки XIX века способствовали формированию нового уровня мышления, основанного на идее всеобщности изменения и развития, которая стала основой, принципом, условием познания мира в его реальном многообразии, бесконечном богатстве свойств, связей, отношений.

Итак, два звена — диалектический характер самой природы и диалектика ее познания. Не менее значительно и третье звено: действие. Вот эта схема в целом: природа — мысль — деятельность.

Маркс и Энгельс первыми увидели в диалектике не только средство правильного объяснения, но и орудие преобразования всего существующего. Живая динамика мира, означающая возможность его революционного переустройства, открылась их гениальному взору.

Еще в одном из своих ранних произведений К. Маркс и Ф. Энгельс писали:

«...Для практических материалистов, т. е. для коммунистов, все дело заключается в том, чтобы революционизировать существующий мир, чтобы практически выступить против существующего положения вещей и изменить его»<sup>3</sup>.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что применение диалектики к политике, истории, естествознанию более всего интересует Маркса и Энгельса. В этом — «их гениальный шаг вперед»<sup>4</sup>. Известный советский философ академик Б. М. Кедров в своей новой книге, вышедшей в свет к 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса, рассматривает прежде всего диалектику, осмысленную и объясненную великим корифеем науки, как орудие познания и преобразования мира.

Ф. Энгельсу удалось постигнуть и оценить все современное ему естествознание с точки зрения общих закономерностей, основных тенденций, противоречий, направления движения. При этом он убедительно доказал, что существенную черту развития

<sup>2</sup> Здесь и далее в скобках указаны страницы релензируемой книги Б. М. Кедрова «Энгельс и диалектика естествознания».

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 3, стр. 42

<sup>4</sup> В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 264

познания составляет растущая взаимосвязь философии и естественных наук.

Анализ диалектического характера этой взаимосвязи — центральная идея всей первой части книги Б. М. Кедрова.

Логика развития науки (она подтверждается всей историей научного знания!) приводит к неизбежности перехода от поверхностных, неконкретных знаний, составляющих начальное звено познания, к точному, конкретному, более узкому специальному знанию. Дифференциация — необходимый, обязательный процесс углубления познания и совершенствования науки. Но чем глубже и тоньше специализация, тем больше опасность (по выражению Ф. Энгельса) за деревьями не заметить леса. Следовательно, чем более развиты отдельные отрасли естествознания, тем более необходимо интегрирующее звено.

Другими словами, теоретическое осмысление выступает необходимым этапом саморазвития науки. Любое специальное знание, каким бы совершенным оно ни становилось, не может существовать без взаимодействия с другими областями науки, с естествознанием как единой системой познания природы. Такую синтезирующую роль может выполнить лишь философия.

Отсюда необходимость все более совершенного теоретического мышления для успешного решения новых задач, встающих перед естествоиспытателями. И здесь наука не может обойтись без философского осмысления мира, без совершенного логико-методологического аппарата. Именно Ф. Энгельс дал непревзойденный образец синтетического мышления, всеохватывающего постижения узловых проблем естествознания XIX века. «Все это, — пишет Б. М. Кедров, — характеризует Энгельса как истинного энциклопедиста во всех областях науки и смежных с нею областях человеческой деятельности. И не просто как универсально образованного ученого, а ученого интегрального типа, способного синтезировать все области знания путем раскрытия существующей между ними внутренней связи» (4).

В свою очередь, обобщения Ф. Энгельса имеют принципиальное значение для совершенствования самой философии. В отличие от спекулятивных «конструкций» прошлого марксистско-ленинская философия чутко улавливает «пульс» жизни, обобщая опыт общественного развития и прогресса науки.

Фридриху Энгельсу принадлежит блестя-

щая формулировка основного требования новой философии — видеть жизнь такой, какая она есть, без всяких посторонних добавлений. Многократно подтвердилось и подтверждается опытом современной науки тот принципиальный важности факт, что прогресс в области логики и гносеологии необходимо и неизбежно опирается на достижения естественных и математических наук, на успехи теоретического естествознания в целом.

Философия с лихвой возвращает естествознанию полученные знания, формируя научную методологию — диалектические принципы познания мира. Законы и категории диалектики — обобщенный продукт познания — сами приобретают эвристическое значение в качестве ведущего метода и основного способа научных поисков и исследований.

Таким образом, естествознание и диалектико-материалистическая философия — союзники, «соавторы» современной науки.

Ф. Энгельс, рассматривая их взаимосвязь, предвидел, что по мере развития науки все больше будет обнаруживаться необходимость диалектического мышления. Современное естествознание созрело для диалектики, применяемой сознательно, испытывает острую потребность во взаимодействии с ней.

Именно поэтому выводы Ф. Энгельса, их методологическая направленность сохраняют свое действие в современных условиях. «Необходимость диалектики для естествоиспытателей Энгельс доказал настолько веско и убедительно, что только люди, предвзято относившиеся к философии, могли с упрямством метафизиков отказываться от изучения и овладения ею. Современное развитие естествознания и философии со всей силой еще и еще раз подтвердило правильность идей Энгельса...» (197).

Вторая часть книги посвящена узловым проблемам философии и естествознания — взаимосвязи материи и движения.

Б. М. Кедров вскрывает сущность энгельсовского исследования философского значения закона сохранения и превращения энергии. Он убедительно показывает, что Ф. Энгельсу удалось преодолеть разрыв, имеющий многовековую традицию, разрыв между все более точными и тонкими исследованиями в области структуры и свойств материи, с одной стороны, и неспособностью науки вплоть до середины XIX века понять и раскрыть источник движения, причины изменения и развития природы.

Великая философская идея всеобщей связи, примененная Ф. Энгельсом, помогла ему, намного опередив естествознание своего времени, утвердить взгляд на мир как на движущуюся материю, объяснить невозможность существования материи без движения, равно как и движения без материи. Такая единственно верная методологическая позиция избавила современную науку (это особенно отчетливо прослеживается в физике микромира) от проникновения утонченного идеализма, паразитировавшего на слабостях примитивного материализма. Здесь, пожалуй, уместно напомнить, что во всей своей деятельности Ф. Энгельс был особенно нетерпим к поверхностности, примитивизму, негибкости мысли.

Б. М. Кедров отмечает, что «...идеи Энгельса и вытекающие из них выводы прямо смыкаются с идеями Ленина, высказанными им в «Философских тетрадах», о том, что диалектика (диалектическая логика) есть обобщение (итог, квинтэссенция) истории всего человеческого познания, в том числе истории естественных наук, и что продолжение дела Маркса и Гегеля, а значит и дела Энгельса, должно заключаться в диалектической обработке истории человеческой мысли, естествознания и техники» (464—465).

Наконец, книга академика Б. М. Кедрова значительна своей воинствующей партийностью. Перед нами Фридрих Энгельс и его идеи предстают в действии, а это значит — в борьбе.

Б. М. Кедров показывает значение научных выводов Ф. Энгельса для преодоления извечных врагов естествознания и прогрессивной философии — идеализма и метафизики. Вообще говоря, осудить и отвергнуть явный идеализм, натурфилософские «построения» прошлых веков не так уж трудно. Неизмеримо труднее и ответственнее понять и критически оценить их различные рецидивы и варианты. Б. М. Кедров отнюдь не безразличен к тем, кто вольно или невольно отходит от творческих принципов марксистско-ленинской философии.

Более того. Автор осуждает тех, кто готов ошибки прошлого в оценке генетики, кибернетики, некоторых фундаментальных теорий физики и химии «списать» за счет трудностей и недостатков развития науки и философии вообще.

Нет, причина здесь более глубока и серьезна — ошибки присущи не всей нашей философии, а тем отдельным философам и естествознакам, которые не усвоили, не поняли (реже — не захотели понять) диалектической сущности выводов Ф. Энгельса и В. И. Ленина по философским вопросам естествознания.

Б. М. Кедров прямо говорит, что это был своего рода отход от ленинских взглядов, нанесший ущерб нашей науке. Не «всепрощечество», а принципиальная критика слабостей и ошибок — так понимает автор творческое применение принципов, сформулированных Ф. Энгельсом.

Более двадцати лет тому назад, в 1947 году, Б. М. Кедров издал большую работу «Энгельс и естествознание». И вот сегодня — «Энгельс и диалектика естествознания». Между этими книгами много общего и немало различий. Общее: неизменная преданность идее — доказать значение принципов, открытых классиками марксизма-ленинизма, для прогресса современной науки.

Различие — в уровне, глубине рассуждений, в широте подхода, порожденного громадным продвижением вперед всего нашего общества, прогрессом теоретической и философской мысли.

Изучая, осмысливая, излагая идеи Ф. Энгельса, применяя их к решению современных вопросов бурно прогрессирующего естествознания, Б. М. Кедров существенным образом способствует утверждению подлинно научных принципов познания природы, способствует укреплению авторитета передовой философской науки среди естествоиспытателей как в нашей стране, так и за рубежом. В конечном счете, и это убедительно доказывает Б. М. Кедров, вне марксистско-ленинской философии, без учета творческих идей К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина невозможно понять и в полной мере оценить современное значение, перспективы развития естествознания и техники — тех процессов, которые в своей совокупности образуют научно-техническую революцию.

Б. М. Кедров сумел показать Фридриха Энгельса не как далекого предшественника, а как непосредственного участника нашей сегодняшней борьбы, великого теоретика современной науки.

**С. МИХАЙЛОВ.**



## ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Очерки развития техники в СССР. Машиностроение. Автоматическое управление машинами и системами машин. Радиотехника, электроника и электросвязь. М. «Наука», 1970. 444 стр.

Кто не помнит слов В. И. Ленина о вероятно низком техническом уровне дореволюционной России, которая в канун первой мировой войны оставалась «невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки»<sup>1</sup>. Социалистическая революция определила то беспрецедентное в мировой истории явление, которое принято называть скачком от отсталости к прогрессу. Накануне 1917 года наша страна производила менее трех процентов мировой промышленной продукции, ныне — почти пятую часть.

Но дело не только в количественных соотношениях. Дореволюционная Россия, давшая миру Яблочкова, Чернова, Попова, Циолковского, Чебышева, Жуковского, не обладала минимальной научно-производственной базой для промышленной реализации и дальнейшего развития их идей. Ныне страна Курчатова, Ландау, Бардина, Семёнова, Королева, даже по мнению отнюдь не беспристрастных «советологов», — одна из двух «промышленных суперколоссов», «ядерных гигантов», «космических сверхдержав».

Пять десятилетий непрерывного индустриального прогресса со среднегодовым темпом роста около десяти процентов — это квинтэссенция технических, экономических и социальных свершений, это богатейший опыт, который требует глубокого осмысления и анализа.

Нельзя сказать, что этот опыт недостаточно освещался на страницах печати. Развитию отечественной промышленности и техники посвящены книги, диссертации, статьи. Однако выходявшие в свет издания описывали главным образом развитие отдельных отраслей металлургии, энергетики, угольной, нефтяной промышленности. Крупных работ обобщающего характера долгое время не появлялось.

А между тем назрела необходимость создать именно обобщающий труд, который, во-первых, объединил бы в совокупности вопросы технического развития главнейших отраслей советской промышленности; во-

вторых, позволил бы проанализировать тесную взаимосвязь развития науки, техники, производства на всех этапах социалистического строительства; в-третьих, дал бы возможность на основе выявления современных тенденций развития техники раскрыть наиболее перспективные направления технического прогресса.

Эта задача, которая казалась вначале трудно осуществимой, теперь успешно реализуется. По инициативе Академии наук СССР и Института истории естествознания и техники начато издание пятитомной серии — «Очерки развития техники в СССР». В редакционную коллегию серии, возглавляемую академиком И. И. Артоболевским, вошли известные ученые — академики А. И. Берг, А. А. Благодеров, Н. В. Мельников, А. Л. Миц, А. М. Самарин, член-корреспондент АН СССР И. М. Павлов, видные историки техники А. А. Зворыкин, Л. Д. Белькинд, Д. М. Беркович, И. Я. Конфедератов, Ф. Я. Нестерук, В. И. Остольский, С. Я. Плоткин, Б. А. Розентретер, А. С. Федоров, А. А. Чеканов, С. В. Шухардин, Л. Я. Шухгальтер.

На основе глубокого изучения и тщательного анализа технических документов, патентных и литературных изданий, архивов промышленных министерств, государственных комитетов, научных и проектных институтов в «Очерках» дается характеристика основных этапов технического прогресса, всех наиболее интересных и важных технических достижений в главнейших отраслях промышленности нашей страны, производящей средства производства и предметы потребления.

Первые две книги серии<sup>2</sup> были посвящены основным отраслям добывающей промышленности, металлургии, энергетике, транспорту. В третьей книге — все отрасли машиностроения, автоматизация производственных процессов, радиотехника и электроника. Готовится к печати четвертая книга, посвященная развитию химической тех-

<sup>1</sup> «Очерки развития техники в СССР. Техника горного дела и металлургии». М. «Наука». 1968, 407 стр.

<sup>2</sup> «Очерки развития техники в СССР Энергетическая, атомная, транспортная и авиационная техника. Космонавтика» М. «Наука». 1969, 472 стр.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 23. стр. 360.

нологии, строительной, сельскохозяйственной и медицинской техники. И наконец, завершит всю серию пятая книга — техника легкой и пищевой промышленности, полиграфия. Здесь же в качестве послесловия будут даны итоговый очерк и хронологический обзор важнейших событий в истории советской техники.

Без преувеличения пятитомное издание «Очерков развития техники в СССР» можно назвать энциклопедией технического прогресса. Это относится и к объему охватываемого материала, и к глубине исследования событий и фактов, и к тем акцентам, которые сделаны в «Очерках» на наиболее перспективных направлениях развития отечественной и мировой техники.

Обратимся к третьей книге серии, недавно вышедшей в свет.

Машиностроение — удивительная область человеческой деятельности. Машиностроение обеспечивает механизмами и машинами, аппаратами и приборами все без исключения сферы народного хозяйства и получает от них все наиболее новое и прогрессивное, чтобы на постоянно обновляющейся основе воспроизводить техническую базу современной цивилизации.

Конечно, книга об истории технического прогресса в машиностроении — не историческая повесть. Но здесь есть факты, которые могли бы стать предметом для интереснейших размышлений — философских, социологических, исторических, литературных.

Как ненасытный колосс, машиностроение впитывает в себя все достижения современной науки и техники. В нем скрещиваются, сосуществуют и борются новейшие, традиционные и отживающие тенденции развития производства. Машиностроение динамично и никогда не может остановиться на взятых рубежах.

Авторы приводят множество цифр, серьезных, внушительных. Как увидеть за ними осязаемый образ, как запечатлеть их в памяти? Ведь даже рост в 50—100 раз иногда трудно представить. А если рост в восемьсот раз? Между тем именно этой цифрой выражается рост продукции машиностроения в нашей стране за пятьдесят с небольшим лет.

Нелегко с чем-либо сопоставить пропорцию 1 : 800. Но она вполне материальна. За ней — колоссальные сдвиги в производстве, в сфере труда, быта, образования, культуры. За ней — сокращение тяжелых и трудоемких работ в народном хозяйстве. Ликви-

дация во многих производствах неквалифицированного труда. Рост механической и энергетической вооруженности. Наконец, облегчение труда и как общий итог — огромный рост его производительности. Вот одно соотношение. За последние двадцать лет численность экскаваторов в строительстве увеличилась с 6 тысяч до 100 тысяч. В такой же примерно пропорции выросло число скреперов, бульдозеров, кранов. И в результате — если в 1950 году на освоение одного миллиона рублей в строительстве требовалось 80 рабочих, то теперь только 24 человека. К таким изменениям привело развитие производства машин только в одной отрасли — строительном машиностроении.

Но современное машиностроение — это почти тридцать самостоятельных отраслей. Они изготовляют конвертеры, блюминги, прокатные станы, они поставляют машины и механизмы для прокладки газопроводов, тепловозы, электровозы и вагоны для железнодорожного транспорта, самолеты, грузовые, пассажирские и рыбопромысловые суда, турбины для электростанций, машины для добычи руды и угля, ракеты-носители и спутники.

Машиностроение сегодня — это 125 тысяч наименований выпускаемых машин, механизмов, аппаратов, приборов. Многие из них — наши повседневные спутники. Еще полвека назад все «машинное оборудование» большого многоквартирного дома состояло из десятка швейных машин и нескольких граммофонов. Теперь во всех квартирах этого дома стоят швейные и стиральные машины, холодильники, полотеры, пылесосы, работают телевизоры, приемники, электробритвы, телефоны, магнитофоны, проигрыватели — стоит ли еще перечислять? Мы к этому привыкли. Но это одна из примет зримого роста машиностроения в сотни раз.

В производстве машин заняты большие массы людей. Современное машиностроение и металлообработка — это более восьми миллионов рабочих, свыше трети от общего числа всех занятых в промышленности. В машиностроении идет основной контингент выпускаемых вузами инженеров, оно же аккумулирует пока массу вспомогательного труда. Важнейшие экономические и социальные проблемы, вопросы совершенствования производства и управления, научной организации труда, социального развития коллектива и личности нельзя решать

без вовлечения в сферу исследования и практических решений как самого машиностроительного производства, так и занятых в нем людей.

Немалое количество таблиц и статистических материалов, приведенных в «Очерках», является для авторов не самоцелью, а скорее фоном, на котором развернута панорама качественных изменений в советском машиностроении. Читатель знакомится с огромными сдвигами, происшедшими в технологии машиностроения, в методах конструирования машин, в использовании традиционных и новых материалов.

В небольшой рецензии затруднительно даже кратко охарактеризовать все тенденции в развитии машиностроения, анализируемые в книге. Возьмем, например, развитие конструкций машин. Оно характерно прежде всего применением новых рабочих процессов, которые позволяют увеличивать мощность и коэффициент полезного действия. Наглядный пример тому — почти завершившийся в промышленности и на транспорте процесс вытеснения паровых машин двигателями внутреннего сгорания, паровыми и газовыми турбинами. Уже в 1965 году был осуществлен пуск экспериментальной установки, которая преобразует тепловую энергию в электрическую. Установка работает на обычном энергетическом топливе, но не имеет котлов, турбин и обычных электрических генераторов. Ее КПД значительно выше, чем у всех существующих энергетических машин.

Закономерной тенденцией в машиностроении является увеличение параметров машин, что позволяет резко повышать энерговооруженность труда в народном хозяйстве. Первая советская турбина, выпущенная в 1924 году, имела мощность в 3 тысячи киловатт; сейчас машиностроители выпускают агрегаты мощностью в миллион киловатт. (Внимание к этому факту: вся энергетика дореволюционной России умещается ныне в одной-единственной турбине!) Или взять тракторы. До сих пор экономисты используют такую статистическую единицу: «тракторы в 15-силном исчислении». Это идет со времен первой пятилетки, когда мощность выпускавшихся машин умещалась в диапазоне от 15 до 30 лошадиных сил. Сейчас производство тракторов дифференцировано по десяти классам, причем серийно выпускаемый тягач Кировского завода имеет мощность в 220 лошадиных сил.

Пожалуй, нигде прогрессивные тенденции в развитии машиностроения не проявились так наглядно, как в производстве автомобилей. Здесь шел процесс непрерывного роста скоростей, мощности, грузоподъемности, снижения веса на единицу мощности, резкого повышения ресурсов. Начал осуществляться выпуск автомобилей целыми семействами модификаций, были созданы многочисленные специальные машины — автобусы разных типов, самосвалы, автокраны, автоцистерны, панелевозы, автопоезда. Параллельно велась работа по оптимизации конструкций узлов автомобилей с целью повышения их надежности, долговечности, удобства управления, комфортабельности.

Большое внимание в книге уделено развитию научных основ теории машин и механизмов, решению проблем прочности, износостойкости и точности изготовления деталей машин, совершенствованию методов их расчета и конструирования. Специальная глава посвящена совершенствованию конструкционных материалов — традиционных (сталь, чугун) и новых синтетических материалов — пластмасс, химических волокон, лаков, красок. Здесь показано, как комплекс ценных свойств постепенно превращал пластмассы из заменителей черных и цветных металлов в самостоятельные конструкционные материалы, которые успешно конкурируют с металлами. Благодаря своим свойствам пластмассы стали важным фактором ускорения технического прогресса во всех областях новой и новейшей техники. К сожалению, в главе, посвященной материалам, почти ничего не сказано о совершенствовании методов производства и использования цветных металлов в машиностроении.

В широком аспекте рассмотрена эволюция технологии машиностроительного производства. Правда, авторы допустили тут непоследовательность: подробно рассказав о развитии заготовительных процессов — литейного производства,ковки, штамповки, термической обработки, а также сварочной техники и сборки, они оставили за рамками исследования основные технологические процессы холодной обработки металлов. Вместо этого дан очерк о развитии станкостроения. Сам по себе он интересен и полезен. Но подобно тому, как изменение конструкций тракторов еще не характеризует развитие сельскохозяйственного производства, так и прогресс станкостроения сам по себе недостаточен для характеристики крупнейших

сдвигов в технологии механической обработки материалов.

Та же картина в отношении развития механизации основных и вспомогательных работ в машиностроении. Исследование этих процессов заменено в книге очерком о развитии производства подъемно-транспортных машин. Тема очерка интересна, написан он обстоятельно, но тем не менее выпадает из общей логической схемы книги.

Невелик по объему, но очень важен в общем контексте «Очерков» материал, посвященный развитию в СССР автоматического управления машинами. Здесь прослеживается становление автоматики в двадцатые—тридцатые годы, когда на заводах впервые было организовано производство контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов, сделаны первые шаги в области автоматизации производства и начала формироваться научная теория автоматического регулирования. Процессы автоматизации получили дальнейшее развитие в пятидесятые и шестидесятые годы; тем самым создавалась база для подготовки работ по комплексной автоматизации производства и управления большими системами.

Решению важнейшей для народного хозяйства проблемы — комплексной автоматизации массовых производств свойственно диалектическое противоречие: с одной стороны, автоматические системы усложняются и специализируются, причем экономичность этой дорогой техники связана с постоянством изделий и их многотиражностью; с другой стороны — технический прогресс требует непрерывного обновления видов продукции. Это противоречие может быть снято путем создания маневренных автоматических систем, которые позволяют быстро и экономично переключать производство на выпуск новых изделий. Однако высокая маневренность автоматических систем требует соответствующего конструирования самих изделий, оптимальной компоновки автоматических линий, создания рациональных систем программного управления.

Эти проблемы становятся все более актуальными. И, видимо, следовало остановиться на них в книге подробнее, поскольку они вытекают из итогов развития автоматизации и определяют ее непосредственные перспективы.

Развитие радиотехники, электроники и электросвязи составляет содержание заключительного раздела книги.

Если машиностроение увеличило за полвека выпуск продукции в сотни раз, то достижения радиотехники и электроники не с чем сравнивать. Слишком молоды эти отрасли техники, и несмотря на три четверти века, прошедшие после открытия А. С. Поповым беспроводной связи, радиотехника и электроника не имеют в полном смысле своего отдаленного прошлого, простирающегося в дореволюционные времена. Сравнения здесь целесообразны лишь на дистанции двух-трех десятилетий. Именно этому короткому историческому периоду обязаны мы многопрограммным телевидением, метеорологическими спутниками, электронными машинами в сотни тысяч операций в секунду, путешествиями автоматов к Луне, Марсу и Венере.

Авторы книги вполне правомерно уделяют большое внимание истокам советской радиотехники, ленинской поддержке развития радио — этой «газеты без бумаги и без расстояний», первым шагам советской радиопрмышленности. В «Очерках» дан подробный анализ развития радиовещания и средств электросвязи в период индустриализации страны и в военные годы, рождение радиолокации и телевидения.

Вряд ли оправдан слишком конспективный характер последнего очерка, который охватывает период наиболее «зрелого» развития радиотехники, электросвязи и особенно электроники. Материалы о развитии телевидения, научного и промышленного телевидения, электронной вычислительной техники и кибернетики получились почти перечислительными. В известной мере это компенсируется интересным изложением основных направлений формирования и развития радиоэлектроники, примерами воздействия ее на научный и технический прогресс. Но это не может удовлетворить любознательного читателя. Проникновение радиоэлектроники во многие области науки и техники, применение радиоэлектронных методов в добывающей промышленности, металлургии, химии, на транспорте, во многих других сферах практической деятельности человека, в том числе медицине и биологии, стало велением времени. Поэтому, очевидно, радиоэлектроника может рассчитывать на более представительное место в ряду историко-технических исследований.

К этому надо добавить, что развитие радиоэлектроники в последние годы дает исключительные примеры не только технического, но и экономического решения произ-

водственных проблем. Каждому радиолюбителю известно, как хлопотлива и трудоемка сборка схемы радиоприемника или телевизора с многочисленными местами пайки, выполняемой вручную. Сборка такой схемы практически не поддается автоматизации. Но после того, как были разработаны печатные схемы с токопроводящим рисунком на изолирующем основании, последовало решение проблемы автоматизации этого производства, дающего огромный технико-экономический эффект. Производительность труда возрастает примерно в сто раз! Ни одно из традиционных производств не знает такого качественного скачка.

Под конец хочется сделать одно «хронологическое» замечание. Серия «Очерков развития техники» начала подготавливаться в период празднования пятидесятилетия Октября. Естественно, что большая часть сведений в первых томах приводилась по со-

стоянию на 1967 год. Однако время идет, между выпуском очередных книг серии проходит не меньше года, и, естественно, если цифровые материалы первого тома были безукоризненно свежими, то на некоторых страницах третьего тома появились несколько устаревшие цифры. Видимо, авторский коллектив учтет это обстоятельство при работе над завершающими частями серии.

Полезность и важность третьей книги «Очерков» не нуждаются в заключительных комментариях. Читатели получили обстоятельную, насыщенную интереснейшей информацией книгу, которая к тому же прекрасно издана, снабжена обширной библиографией, именным и предметным указателями, отличными иллюстрациями.

**А. ПАРХОМЕНКО.**

*доцент, кандидат технических наук.*

★

## О «МЫСЛИТЕЛЯХ» И «КАЗНАЧЕЯХ»

**А. В. Кукаркин. Буржуазное общество и культура. М. Политиздат. 1970. 416 стр.**

В древнем Египте к казначею пришла женщина и сказала, что она не будет платить налог, потому что ребятишкам совсем нечего носить да и мужу новый инструмент нужен. Казначей встревожился: подобный пример заразителен и в результате он может остаться без доходов. Что делать? Казначей отправляется к мыслителю. Мыслитель вначале готов разделить точку зрения женщины. Тогда казначей предлагает мыслителю часть тех денег, которые он получит, если мыслитель сумеет убедить женщину и тех, кто захочет последовать ее примеру, платить налоги. Итак, у мыслителя выбор: либо остаться с правдой и народом и, соответственно, отказаться от денег, либо стать наемником казначея и получать проценты с налогов... И мыслитель выбирает последнее...

Так или приблизительно так выглядит в пересказе отрывок из работы американского философа Берроуза Данэма, которым открывается книга А. Кукаркина «Буржуазное общество и культура». Этот отрывок, похожий на притчу, не только служит своеобразным эпиграфом к книге, но и выдвигается автором как основной тезис его работы. И затем факт за фактом А. Кукаркин доказы-

вает, что «мыслители» буржуазного общества, прислуживающие «казначеям», направляют духовную жизнь общества так, чтобы избежать социальных взрывов, обезопасить положение «казначеев», а заодно и свое тоже.

Книга эта необычна. Автор определил ее жанр как «документальная публицистика». Приветствуем такой жанр! Первоисточники всегда звучат свежо, непосредственно, а следовательно, и убедительно. Документальность книги, кроме того, служит надежной гарантией от предвзятости автора, и в этом ее большой пропагандистский выигрыш. Кстати, авторского текста в этой объемистой книге немного. Автор взял на себя роль председателя на широчайшем (нереальном в действительности) форуме деятелей культуры буржуазных стран. Он предоставил им слово — в книге приведены отрывки из книг, статьи, заявления, высказывания, манифесты, наконец, фотоиллюстрации. Выступающие представляют самые противоположные направления в культуре буржуазных стран. Автор снабдил некоторые выступления краткими предисловиями и послесловиями, превратив богатое досье в логически развернутое повествование. Читатель — а у него сразу же возникает «эффект

присутствия», ощущение участника этой грандиозной дискуссии,— шаг за шагом подходит к неопровержимому выводу: буржуазная культура сегодня выполняет классовые заказы «казначеев», она антинародна по самой своей сути, антидемократична, антиинтеллектуальна. И она не может быть иной, поставленная в услужение классу капитала, заинтересованному в том, чтобы использовать культуру для морального разрушения людей, для того, чтобы отучить их мыслить и пропустить их, исподволь конечно, через мясорубку конформизма.

В своей книге А. Кукаркин показывает широчайшую панораму культурной жизни буржуазного общества. И примечательно, что здесь не только и не столько «вещественные доказательства», хотя их тоже достаточно, важно то, что автор показывает нам всю систему взглядов «мыслителей», выделяя из этой кажущейся пестроты их общую природу — антинародность. В книге приведены свидетельства специалистов по вопросам науки и образования. Писатели спорят здесь о развитии литературы, журналисты — о прессе и телевидении, режиссеры и критики — о кино. Интересный материал собран о коммерческой рекламе, которая сегодня в буржуазном обществе выполняет несвойственные ей функции — замаскированно воздействует на массы в интересах «казначеев». Целая глава посвящена проблемам досуга. Наконец, обстоятельно рассматриваются философские концепции современных «мыслителей», работающих по заказу «казначеев».

Документы, помещенные в книгу, напрочь опровергают излюбленный тезис зарубежных пропагандистов о «свободе творчества». Книга доказывает — и в этом одно из главных ее достоинств, — что у буржуазной культуры не может быть свободы выбора, и тем более свободы творчества. Она не может и не смеет изменить своего характера, своих целей, пока служит правящему классу, а не народу.

Антинародность, антигуманизм разъедают современную буржуазную культуру. «...Большинство наших авторов, — говорит американский писатель Герберт Кабли, — выступает сторонними наблюдателями, отошло от конфликта добра и зла — основы романа, отказалось от героя... На его место они вывели изолированного от общества антигероя, который ненавидит, поносит, разрушает, не ощущая при этом ни вдохновения, ни надежды на перемену к лучшему»

Антигерои — это не только самоубийчающиеся, растерянные и потерянные люди, антигерои — это и «супермены» испытывающие постоянную жажду наслаждений. Антигерой или супергерой, но только не реальный герой. Происходит умышленная диперсонализация личности. Авторы предпочитают говорить загадками, прибегают к всевозможным расплывчатым символам, подменяя ими реалии подлинной жизни. Эту растерянность «мыслителей» довольно четко подметил французский еженедельник «Ар»: «Сомнение охватило весь мир мысли... Кризис понятий, кризис мира, кризис человека... Откуда идем мы и куда направляемся?»

Но может ли «мыслитель» направиться в другую сторону, увидев, что дорога, по которой он идет, заводит его в тупик? Нет, не может. Положение лишает его права выбора. Впрочем, выбор всегда есть — «мыслитель» может порвать с «казначеем», но для этого нужно иметь незаурядное гражданское мужество. Хорошо сказал об этом перуанский писатель Марио Льюса: «Капиталистическое общество выработало бездушный безупречно действующий механизм для подавления духа писателя, для уничтожения его литературного таланта... Писатель в капиталистическом обществе всегда был и останется неудовлетворенным. Тот, кто удовлетворен существующим положением вещей, не может писать; тот, кто примирился с действительностью, кто пытается изобрести существующую лишь в его воображении действительность, обречен на провал. Литература — это постоянный бунт против существующих несправедливостей, угнетения человека человеком, и нельзя на нее надеть смиренную рубашку. Попытки изменить ее непокорный, боевой характер напрасны. Литература может умереть, но она никогда не пойдет на поводу у правящих классов. Только при таком условии литература полезна обществу». Надо ли добавлять, что сказанное относится не только к литературе, но и к живописи, к кино, к печати и телевидению.

«Казначей» цинично и прямолинейно напоминают «мыслителям» о том, «кто заказывал музыку». Профессор Мичиганского колледжа Уолтер Эйбелл пишет: «Любая область нашей культуры, взятая в любом аспекте, процветает или приходит в упадок в прямой пропорции от получаемых субсидий». Яснее не скажешь!

«Капитализм, — пишет А. Кукаркин, — организует культуру по своему образу и по-

добию, придавая ей преимущественно товарный характер, тормозя развитие подлинных духовных ценностей и подменяя их в своекорыстных целях дурманящими наркотиками, вульгарным култом потребительства». В книге достаточно примеров того, как чувствует себя Искусство в грубых объятиях Мамоны.

Конечно, было бы по меньшей мере легкомысленным представлять процесс развития буржуазной культуры прямолинейным и однозначным. Процесс этот достаточно противоречивый. Приведем для примера две точки зрения, которые определились сегодня, на дальнейшие пути развития культуры в буржуазных странах. Первая точка зрения состоит в том, что буржуазное общество идет к концу и что в этой связи буржуазная мораль, а вместе с ней искусство, кино, литература, музыка, театр должны быть разрушены и заменены новыми. Эту точку зрения выдвигает зарубежная молодежь и радикалы средних классов. Вторая точка зрения принадлежит консерваторам и состоит в том, что буржуазное общество достигло такого предела, когда любое проявление критического мышления становится для него опасным. Поэтому нужен громоотвод, роль которого возлагается на так называемую «массовую культуру». Она должна способствовать дальнейшей изоляции людей, их «отчуждению» друг от друга и заставить человека сконцентрировать внимание на самом себе, а не на окружающей действительности.

Эти две точки зрения и определили некоторую противоречивость в развитии буржуазной культуры — искренний протест, с одной стороны, и с другой — умелое использование его буржуазией в ее стремлении разложить, разобщить этот протест, перевести его из сферы социальной в сферу личную. И здесь выходит на авансцену «массовая культура», которая, используя телевидение, радио, кино, прессу, многотиражную литературу, коммерческую рекламу, пытается навязать народам идеалы буржуазного образа жизни, унифицированные мысли и чувства, уживающиеся с существующими в буржуазном обществе порядкам.

Теоретики и апологеты «массовой культуры» всячески стараются подчеркнуть ее «внеклассовость». Так, американский социолог Эрнст ван ден Хааг утверждает: «Массовая культура не является культурой класса или группы. Она является культурой почти каждого человека сегодняшнего дня».

Между тем, активно защищая интересы класса буржуазии, способствуя его стабилизации. «массовая культура» в основе своей является буржуазной культурой. И не случайно А. Кукаркин уделяет ей особое внимание, как бы подытоживая в заключительной главе своей книги результаты состоявшейся на ее страницах дискуссии.

Разрушение буржуазной морали, потеря веры в политическое руководство, утрата всякого интереса к общественной жизни порождает в широких слоях населения капиталистических стран эскейпизм. Уход от действительности, уход от раздумий — вот к чему старается приучить людей «массовая культура», становясь своеобразным легкодоступным наркотиком, помогающим забыть неурядицы окружающей жизни.

В философской основе «массовой культуры» заложено утверждение Зигмунда Фрейда о том, что темные инстинкты господствуют над интеллектом человека. Следовательно, для достижения идеологического, а затем и коммерческого успеха выгодно разжигать низменные страсти человека. Фрейд утверждал, что, обнажая подспудные человеческие инстинкты в художественном творчестве, общество проводит определенную социальную профилактику. «Массовая культура» — одно из средств подобной «профилактики», и потому главным ее направлением становится порнография, самое яркое, пожалуй, проявление эскейпизма. Засилье порнографии в капиталистических странах свидетельствует о глубоком нарушении социально-психологического равновесия — а это, в свою очередь, показатель крайне напряженной ситуации.

Секс, как самая действенная анестезия против социальной боли, не только проник, но и стал основным содержанием буржуазной литературы, кино, телевидения, прессы. Любопытно, что порнография преподносится как ярчайшее проявление свободы. Крупнейший делец от порнографии Морис Жиродпа заявил: «Половой инстинкт управляет миром, и именно в сфере секса понятие «свобода» обнажает себя в самой откровенной и конкретной форме».

Убийство, садизм, пытки — ежедневное блюдо, предлагаемое «массовой культурой». «Нет никаких сомнений, — пишет американский коммунист публицист Герберт Аптекер, — что у нас низведение человека до уровня животного осуществляется обдуманно и систематически. Ставится цель зату-

манить сознание, возвеличить бессмыслицу, отрицать науку, логику, истину. Это влечет за собой цинизм и садизм. А в конечном счете — фашизм.

Каков же удел подлинного искусства в буржуазном обществе? «Оно отдано на откуп расчётливым бизнесменам,— пишет А. Куаркин,— но находится у них на положении нелюбимой падчерицы: «казначей» такое искусство не ценят и не поддерживают». И действительно, социологические исследования выявляют вопиющую непричастность основных масс в капиталистических странах к подлинному искусству. Его заменяет суррогат — «массовая культура», субсидируемая «казначейми». Это не может не отразиться и действительно отражается на культурном уровне буржуазного общества. В связи с этим многие честные ученые, писатели, кинематографисты бьют тревогу. «Видно, как приближается — медленно, конечно,— день, когда престиж западных стран будет измеряться уже не числом холодиль-

ников, а числом мужчин и женщин, способных наслаждаться фугой Баха или композицией художника Вазарели»,— предсказывает французский еженедельник «Нуво Кандид». В какой же упрек превращается в этой связи высказывание психосоциолога Маршалла Маклюена, сделанное им в его самой последней книге «Культура — это наш бизнес»: «В новой информационной среде бизнес и культура стали взаимозаменяемыми!».

Хорошую книгу выпустило Издательство политической литературы. Жаль только, что порою ощущается некоторая «вчерашность» материалов. Встречаются и мелкие неточности, в том числе и за счет перевода с языков. В целом же — это полезная и своевременная книга. Книга для всех, кто интересуется положением на фронтах идеологической борьбы. Особенно ценна она для тех, кто непосредственно в этой борьбе участвует.

**О. ФЕОФАНОВ.**

★

## ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

**Г. Елизаветин. Деньги. М. «Детская литература». 1970. 256 стр.**

Начиная изложение проблемы денег в работе «К критике политической экономии», Маркс привел слова английского политического деятеля Гладстона, сказанные им в парламентских прениях: «Даже любовь не сделала столько людей дураками, сколько мудрствование по поводу сущности денег» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 49).

Автор рецензируемой книги сообщает, что к началу XX века только перечень специальной книжной литературы о деньгах насчитывал шесть тысяч названий, с тех пор это количество возросло в несколько раз (стр. 246). Но как это ни парадоксально, именно такой книги, которую задумал Г. Елизаветин, не хватало в этом книжном море: увлекательной и поучительной книги для детей и подростков, объясняющей, что такое деньги, какова их роль в жизни общества.

Ребенок сталкивается с деньгами очень рано и иначе, чем со многими полезными вещами, придуманными взрослыми людьми. Он столь же рано знакомится, скажем, с электромотором, который работает в дет-

ской игрушке, в папиной бритве, в пылесосе. Однако его реакция на электромотор однозначна и проста: это очень полезная, интересная и явно подчиненная человеку вещь. Но деньги!.. Таинственные металлические кружочки или бумажки, которые можно обменять на хлеб и сладости, одежду и книги. А разговоры взрослых о деньгах, порой непонятные, иногда противные... Деньги — благо или зло? Слуга человека или господин? Почему деньги существуют и в капиталистических странах и у нас, чем их деньги отличаются от наших? Такие вопросы ставит перед подростком жизнь, на них наперебивают и многие художественные произведения, которые он читает. Роман Золя так и называется — «Деньги». Известные романы Драйзера «Финансист» и Уоллера «Банкир». Толстой и Достоевский, Островский и Мамин-Сибиряк писали о власти денег, о человеческих трагедиях, связанных с деньгами.

У нас есть отличные книги для детей по точным и естественным наукам, есть «Занимательная физика» и «Живая математика», «Популярная астрочомия» и «Заниматель-



ная минералогия». Но пока нет книги, которую можно было бы назвать «Занимательная экономика». Между тем потребность в подобном издании велика. Как правильно отмечал профессор А. М. Бирман, автор недавно вышедшей книги об экономистах «Самая интересная наука», школьник, поступающий в высшее техническое учебное заведение или на один из естественных факультетов университета, обычно имеет некоторое представление о науках, которые ему предстоит изучать. Про школьников, поступающих в экономические вузы, этого нельзя сказать. А ведь таких школьников ежегодно — несколько десятков тысяч!

Удалось ли Г. Елизаветину решить свою, скажем прямо, нелегкую задачу? В известной мере да. Он сумел в живой и яркой форме изобразить сложный путь развития денег, отражающий прогресс человеческого общества от первобытной общины до современного капитализма. Поэтому первые главы книги читаются просто с удовольствием. С завидной наглядностью показывает автор, как пробивал себе дорогу закон стоимости, как все больше продуктов в человеческом обществе производилось в качестве товаров — для обмена, и как из мира товаров выделился особый товар, всеобщий эквивалент — деньги. В итоге тысячелетнего развития деньгами стали драгоценные металлы, главным образом золото.

Множество приключений пережили на этом пути деньги. Медный бунт в России XVII века и погоня испанских конкистадоров за золотом, легенда о царе Мидасе и история королей-фальшивомонетчиков — обо всем этом автор рассказывает с хорошим вкусом и тактом, подчиняя изложение своей основной цели: объяснению природы и функции денег.

Чтобы показать, как деньги превращаются в капитал и становятся орудием эксплуатации человека человеком, автору приходится в простейшей форме изложить Марксову теорию прибавочной стоимости. И здесь он нашел верный тон, построив изложение в историческом ключе. В эпоху первоначального накопления капитала процессы производства и присвоения прибавочной стоимости выступают с особой рельефностью. Фигура капиталиста, который затрачивает известную сумму денег на наем рабочих и приобретение средств производства, чтобы после продажи произведенного трудом этих рабочих товара получить деньги с прира-

щением, еще не прикрыта камуфляжем акционерных обществ, банков и государственного регулирования. Хорошо написанная новелла о Вильяме Смите и его потомках в художественных образах рисует картину выживания первых капиталистов и их превращения в современных промышленных магнатов.

Деньги не только экономическое явление. Вместе с тем изготовление денег, как монет, так и бумажек, — всегда решение технической задачи. История денег отражает развитие техники. Нумизматика — наука о монетах — находится на стыке нескольких наук: экономики, истории, истории техники и искусства (монета — всегда произведение искусства). Изучением монетного дела занимались крупные ученые. Глава о нумизматике вводит юного читателя в интереснейший мир монет и открывает в этом мире массу любопытного.

Доброе слово хочется сказать о художнике Ю. Киселеве, который иллюстрировал книгу с большим вкусом и юмором.

Однако иные главы книги Г. Елизаветина оставляют чувство неудовлетворенности. Понимая всю сложность задачи, которую поставил перед собой автор, все же хотелось бы, чтобы многие острые проблемы современных денег были изложены менее упрощенно.

Ведь из книги Г. Елизаветина юному читателю нелегко будет понять, например, сущность денег и значение банков в условиях современного капитализма. А между тем, вероятно, можно объяснить и школьнику, что сегодня золото не обращается ни в одной капиталистической стране. Металлическая разменная монета является неполноценной, то есть ее покупательная сила определяется не стоимостью металла, а государственным штампом на монетах. Основной формой наличных денег являются банкноты центральных банков. Важную роль играют безналичные расчеты и используемые для них деньги — записи на счетах фирм и отдельных лиц в коммерческих банках, ведущих операции с предприятиями и населением. Чем выше развитие капитализма в данной стране, тем большую роль в ее экономической жизни играют безналичные расчеты и банковые деньги. Орудиями перевода денег по безналичным операциям является чек или платежное поручение. Очень полезно было бы привести простейшие статистические данные о структуре денежной массы,

скажем в США, фотокопии банкнот, чеков и т. д. Как известно, банки — это нервные узлы капиталистического хозяйства. Однако Г. Елизаветину не удалось раскрыть глубокий смысл этого ленинского выражения.

Один из недостатков распространенной у нас трактовки экономикки современного капитализма заключается в примитивном понимании категорий финансового капитала, сращивания крупных банков с монополизированной промышленностью. Это сложное явление сводят нередко к какой-то мистической и фантастической власти одиночек — «пауков», «спрутов». К сожалению, автор книги «Деньги» воспроизводит в основном такую облегченную трактовку этого вопроса. Очень приблизительно изображены природа и масштабы влияния крупных банков. Автор пишет, что «крупнейший банк Канады «Ройял бэнк оф Канада» обладает средствами в 32 миллиарда долларов». Если мы посмотрим официальные данные, то увидим, что на конец 1968 года этот банк имел активы, то есть «обладал средствами», в сумме восьми миллиардов долларов. Откуда же взялась цифра 32 миллиарда? Очевидно, это сделанная специалистами оценка общей суммы активов компаний и банков, в той или иной мере находящихся под влиянием «Ройял бэнк оф Канада». В этом и некоторых других вопросах книга мало способствует решению задачи, которая близка мне как педагогу: дать читателям реалистическое и глубокое представление об экономике современного капитализма и его противоречиях.

Важнейшая задача автора, несомненно, заключалась в том, чтобы рассказать о советских деньгах и закономерностях их функционирования. К сожалению, главы, раскрывающие эту тему, нельзя отнести к числу лучших. Вероятно, Г. Елизаветину следовало рассказать об экономической реформе, проводимой в последние годы в нашей стране и в ряде социалистических стран. Ведь без этого трудно понять, каким образом может возрасти роль денег и кредита в развитии социалистической экономики. Кроме того, стиль изложения, в других частях книги живой и образный, здесь становится излишне дидактичным. Недостаточно ясно сказано о том, чем занимаются советские сберкассы, что такое советские государственные займы. Неверно утверждается, что «без золота нельзя торговать с заграницей... Когда одна страна покупает товар у другой, она расплачивается золо-

том». Правда, уже на следующей странице правильно упоминается, что в действительности платежи производятся путем взаимного зачета требований и обязательств и лишь остаток, обычно небольшой, оплачивают золотом. В действительности в расчетах между социалистическими странами золото фактически вообще не применяется. На странице 98 сказано, что в нашей стране нет ссудных касс. Однако уже на странице 100 выясняется, что у нас есть ломбарды. Но что такое ломбарды, если не ссудные кассы?

О фактических ошибках и неточностях. Инфляция в Венгрии, в итоге которой старая денежная единица — пенго — была заменена новой — форинтом, — имела место не после первой мировой войны, а после второй. Из изложения на странице 63 можно сделать вывод, что десятичная денежная система в США была заимствована... из средневековой Московии. К тому же сказано, что эта система была введена в США «только в конце XVIII века». Но ведь сами США возникли только в конце XVIII века... На странице 64 утверждается, что единая для всего государства денежная система в России была создана в 1534 году в правление Елены Глинской, матери Ивана Грозного. А на странице 195 это важное нововведение относится к эпохе Федора, преемника Ивана Грозного, тогда как «до тех пор каждый князь сам чеканил себе деньги». Которой из двух версий надо верить? Вообще с князьями, королями и императорами автор подчас обращается слишком вольно. Автор упоминает «итальянского короля Фридриха II», причем ясно, что речь идет о временах средневековья. Но, как известно, итальянское королевство образовалось лишь в XIX веке. Вероятно, имеется в виду император Священной Римской империи Фридрих II (1194—1250). Императора Наполеона III Бонапарта Г. Елизаветин называет «французским королем». Автор утверждает, что, «по мнению специалистов, золотой запас Ватикана больше, чем у Англии, Франции и Италии, вместе взятых». Как ни богат Ватикан, такое утверждение представляется мне явно фантастическим, а о каких специалистах идет речь — неизвестно. Молодому читателю следует прививать уважение к цифре. Для этого нужно, чтобы каждая приводимая цифра была точна и экономически осмыслена. Между тем автор приводит цифры национального дохода в расчете на душу населения в Англии и в Африке с точностью до доллара, но без указания

года, к которому эти цифры относятся. В книге говорится, что в России при Екатерине II на монету расходовали золота на 16 миллионов золотых рублей, а при Николае II — на 2 миллиарда рублей. Остается, однако, не ясно, приведены ли эти данные в расчете на год, относятся ли они ко всему царствованию монарха или к какому-либо другому периоду.

Таким образом, идею этой книги хочется одобрить целиком, исполнение — лишь отчасти. Возможно, автор в силах существенно переработать и дополнить книгу, сделав ее еще более полезной. В этом случае можно считать обоснованной необходимость второго издания.

**А. АНИКИН**

*доктор экономических наук.*



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**НИКОЛАЙ ТИХОНОВ.** *Времена и дороги. Стихи 1967—1969 годов.* М. «Советский писатель». 1970. 103 стр.

В лирике крупного поэта всегда отчетливо отражается его человеческий опыт, его жизнь и его судьба. Сегодня Николай Тихонов вспоминает то, что молодому человеку может показаться далеким преданием, — он вспоминает виденное в юности, «как первый летчик, с треском, трепыхаясь, вдоль над забором гордо пролетел».

Большая жизнь поэта. Не только по временным измерениям. Н. Тихонова невозможно представить вне общественной функции, его стихи и проза — это как бы продолжение той многогранной активной деятельности, которую он ведет — вот уже несколько десятилетий — по сближению литератур братских народов нашей страны, по сплочению всех людей доброй воли в борьбе за мир на земле.

В этой рецензии речь идет о новой книге стихов Н. Тихонова «Времена и дороги», стихов, написанных в 1967—1969 годах. И о ней тоже можно сказать как о книге, теснейшим образом связанной с общественной деятельностью поэта, ее главным содержанием, ее революционным и интернациональным пафосом.

Всю книгу Н. Тихонова пронизывает мысль о чувстве ответственности за судьбу человечества, за чистое небо над головой, за будущее. Этим чувством наполнено одно из первых стихотворений сборника, «Июль девятнадцатый, год двадцатый...», где Ленин обращается с речью к делегатам Второго конгресса Коминтерна.

Он говорит человечества ради,  
Ради грядущего, об Октябре...

А в конце сборника есть стихотворение «Дети мира», в котором передано тревожное ощущение опасности для детей мира при воспоминании о Хиросиме и Нагасаки.

От деталей, от частных наблюдений и фактов Н. Тихонов всегда идет к обобщениям, укрупняя масштабы отражения, и там, где обобщения предельно концентрированы, там ощущается дыхание истории.

Наш век пройдет. Откроются архивы.  
И все, что было скрыто до сих пор,  
Все тайные истории извны  
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,  
И обнажится всякая беда,

Но то, что было истинно великим,  
Останется великим навсегда.

Исторический аспект новой книги обозначен прежде всего именем Ленина, событиями Октября 1917 года, героической защитой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Это три «опорных» темы, определившие историзм поэтического освоения сегодняшнего мира, но варианты их многообразны. То поэт как бы заново переживает, «чем в прошлом сердце жило», то воскрешает в памяти или воссоздает своим воображением события первых лет революции, то поет славу ее героям. И тут вдруг послышатся интонации молодого Тихонова, Тихонова двадцатых годов.

Вы проходили над безднами,  
Мало осталось в живых,  
Вас называли железными,  
Были такими вы!

(«Латышские стрелки»)

Героическая тема по-прежнему близка Тихонову, отзываясь в его стихах молодую страсть. Это и «Эллы с острова Сарема» (баллада о трех братьях и двух сестрах, бесстрашно сражавшихся за советскую Эстонию), и «Лилляна в Пловдиве» (о подвиге болгарской девушки), и стихи о подвиге ленинградцев в дни и месяцы блокады. Героическое в человеческом, человеческое в героическом — такова диалектика поэтических вариантов этой темы у Н. Тихонова.

Как в стихах любого уже немало прожившего человека, у Тихонова есть и элегические мотивы, они навеяны старым ленинградским домом, в котором родился поэт и в котором когда-то жил Герцен, бывали Пушкин и Шевченко; дом уцелел в годы войны... Элегически окрашены и стихи о любви — проверенной жестокими испытаниями, войною, потерями. Любовь поэта тоже связана с Ленинградом, где прошла молодость, где «поднимали чаши сердечного порыва, шуршали лыжи наши, скользя по льду залива».

В новой книге Николая Тихонова есть очень хорошие стихи, я назвал бы некоторые из них — «Какой-то гул глухой...», «Стрела папуаса», «Здесь мы, родясь когда-то...», «Час тишины». Боевой общественной темперамент, лирическая свобода, умелое сочетание конкретного, увиденного, пережитого с поэтической символикой, ко-

торая всегда обогащала палитру Тихонова-художника, делают его книгу «Времена и дороги» по-настоящему современной.

Ал. Михайлов.

★

**ВЕРКОР И КОРОНЕЛЬ.** Квота, или «Сторонники изобилия». Роман. Перевод с французского И. Эрбург. М. «Прогресс». 1970. 223 стр.

Почему-то привилось выражение, что реклама — двигатель торговли. Скорее она смазка; двигатель торговли, если быть точными, — это желания. И вот вопрос: что будет, если желания человека, общества увеличить (искусственно) в десятки, сотни раз? То есть, если называть вещи своими именами, каковы последствия промышленно-экономического бума в развитых капиталистических странах? Постановкой (не ответом) этих вопросов и вызвано появление сатирического романа Веркора и Коронеля «Квота, или «Сторонники изобилия».

Роман, по сути дела, типичная черная фантастика — экономическая фантастика предупреждения: опасность! думайте! изменяйте! Или... В отличие от многих авторы не договаривают, не спешат поставить апокалиптическую точку в конце, их позиция осторожней: «Продолжение следует». Продолжение бума, гонки, когда от производителя требуют максимального, максимального, максимального вкладывания сил на рабочем месте и максимального, максимального, максимального вкладывания денег на покупку очередной ненужной вещи на улице, следует, а пока... А пока не угодны ли новинки: «отороченное норкой сиденье унитаза с центральным отоплением — для особо чувствительных задов; и распределитель соответствующей атмосферы для светских приемов, имитирующий смех и оживленный рокот головок; и флюоресцирующий крем для изменения выражения лиц покойников, чтобы они во время похоронной церемонии не выглядели такими печальными...» И прочее и прочее, на что сегодня уходит три четверти усилий современной западной цивилизации.

Делать вывод, что авторы зовут последовать примеру средневековых луддитов или нынешних хиппи было бы поспешно. Веркор и Коронель опять-таки осторожней: они не знают. Подобно героине «Прелестных картинок» Симоны де Бовуар, они мучительно сравнивают свободное, пусть и не столь обеспеченное существование крестьян Калабрии и Прованса с суперамериканизированным, доведенным до механического идиотизма образом жизни жителей вымышленного государства Тагуальпа и не знают, на чем остановиться. Гипшета и эпидемии или беличье колесо потребления ради потребления? Джунгли леса или джунгли города, человек без цивилизации или самоцельный прогресс? «Продолжение следует» — и строчкой вы-

ше: «Неутомимо строились все в большем количестве дома, заводы, конторы, магазины, гаражи, больницы, сумасшедшие дома, и все равно не хватало домов, контор, магазинов, гаражей, сумасшедших домов, и все еще не хватало...» Продолжение следует, поживем — увидим.

Ну, а возможен ли третий вариант, на худой конец, просто золотая середина — совмещение духовности прошлого с обеспеченностью настоящего? Попытки такого рода ответа — в образе Флоранс, единственной героини романа. Интеллигентность, вкус, любовь к искусству, независимость суждений — нельзя ли все это как-то увязать с комфортом и сервисом XX века? Авторы честны: нет, колебания Флоранс, ее неприятие бездушной стандартизированной цивилизации — все это раздавлено, поставлено на службу этим же самым Бездушию и Стандарту. Остается бегство, бегство в места, еще не «осчастливленные» изобилием, — в конце романа Флоранс и ее дядя Бретт уезжают. А тем, кто остался?.. Подлинного, исторически обоснованного ответа, как видим, нет. Но тем не менее роман крайне интересен — интересен прежде всего именно этим духовным поиском: что же будет, когда продолжение начнется? Привлекает роман и своей сатирической направленностью: резкое остроумие авторов не шадит ни жлепатрнотов генералов, ни христианских святош. К достоинствам книги относится и ее стиль — легкий, динамичный, хорошо переданный переводчицей.

В. Беликов.

★

**ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ.** Стихотворения и поэмы. М. «Художественная литература». 1970. 319 стр.

Имя поэта Владимира Кириллова (1890—1943) воскрешает в нашем сознании революционные годы, когда вместе со всем трудовым народом на защиту завоеваний Октября встали первые пролетарские поэты. Для А. Гастева, М. Герасимова, И. Филипченко не стояло вопроса «принимать или не принимать?». Поэзия была для них частью общепролетарского дела, которому они посвятили жизнь.

За плечами Кириллова был 1905 год в революционном Черноморском флоте, северная ссылка, скитания за океаном в поисках заработка, солдатчина, полковой комитет, возглавивший в 1917 году марш полка в столицу. Первые литературные шаги Кириллова связаны с кружком поэтов-рабочих при Лиговском народном доме в Петрограде. Кружковцы составили ядро пролетарских поэтов дооктябрьской «Правды».

«Революция 1917 года явилась для наших поэтов величайшим праздником. Мы снова запели восторженно, иступленно...» — писал Кириллов. Зимой 1917/18 года он был секретарем Московскозаставского комитета партии большевиков. Задолго до рассвета спешил он в райком,

обдумывая по дороге стихи. Воочию представлялся ему Железный Мессия, шагающий над громадами фабричных корпусов, в сиянии солнц электрических:

Где пройдет — оставляет след  
Гулких железных линий,  
Всем несет он радость и свет,  
Цветы насаждает в пустыне.

Когда появилась поэма «Двенадцать» Блока, Кириллов первым в печати приветствовал его как «поэта революции». В газете «Знамя труда» через два дня после того, как была напечатана поэма, появилось стихотворение, посвященное Блоку:

И вы, что нежностью питали  
Ожесточенные сердца,  
Вы под знамена наши встали,  
Чтоб вместе биться до конца.

Отклик поэта-пролетария (так гласила подпись), как дружеское рукопожатие, видимо, был дорог Блоку: листок с текстом стихотворения сохранился в его бумагах.

В творчестве Кириллова более всего раскрылась праздничная, торжественная сторона революции. Высокий эмоциональный накал его произведений заражал энтузиазмом восприимчивую аудиторию того времени. Стихи Кириллова («Мы», «Матросам», «Первомайский гимн» и др.) не только декламировали и пели, их инсценировали. Они живы в памяти людей старшего поколения.

Вместе с Д. Бедным и В. Маяковским пролетарские поэты первого призыва положили начало поэтической Лениниане. В возвышенных патетических тонах дан ленинский образ в стихотворении Кириллова 1920 года «Красный Кремль» («Ленин — светлый провидец-пилот смотрит зорко прищуренным оком...»). Боевым лозунгом звучит имя вождя в копцовке стихотворения «На Невском». В дни всенародной скорби появился «Траурный марш» («Известия», 25 января 1924 года), который вошел почти во все ленинские сборники и хрестоматии.

Продолжая линию русской пролетарской поэзии, в которой от ее истоков, от Е. Нечаева и Ф. Шкулева, тема труда была одной из главных, Кириллов «подслушал свои песни в шуме фабрик, в криках стали...». В отличие от предшественников он воспел труд освобожденный: «И труд наш буднично-суровый я в пышный праздник претворю». Как глашатай «легионов труда», поэт говорил о жажде гигантской работы, мечтал о покорении пространства, создании новых городов.

К теме трудового подвига Кириллов вернется в годы первых пятилеток. Поездки по новостройкам и отдаленным районам страны дадут новый творческий заряд его поэтической работе, и вместо прежних абстракций в стихи его войдет живая жизнь («Рождение города», «Со скорым сибирскими» и др.).

Современный читатель, может быть, не всегда сумеет уловить в сборнике дух не-

повторимых лет, что-то будет скрыто для него, кое-что покажется напыщенным. Хорошее предисловие, написанное А. Сурковым, поможет ему понять поэта, почувствовать неразрывную связь искусства и революции.

Р. Шацева.

Ленинград.

★

**ЛЕОПОЛЬД АНТОНОВИЧ СУЛЕРЖИЦКИЙ.** Повести и рассказы.— Статьи и заметки о театре.— Переписка.— Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М. «Искусство». 1970. 707 стр.

«О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь — яркое горение силы недюжинной» — так говорил Максим Горький о Леопольде Антоновиче Сулержицком. И написал — сразу же после его смерти в 1916 году. Только по странной случайности горьковский очерк был впервые напечатан лишь в 1959 году — до той поры он не входил ни в одно из собраний сочинений писателя.

Впрочем, в этой случайности есть некая закономерность — вышло так, что режиссер, которого очень высоко ценил Станиславский, одаренный писатель и художник, друг Толстого, Чехова, Горького, Шалапина, Станиславского, Вахтангова, Качалова, был, по существу, забыт. Недавно в кругу интеллигентных, начитанных, любящих театр молодых людей я спросил, что знают они о Сулержицком. Оказалось — ничего, не слышали.

Зато теперь узнают. И не только они, но и те, кому это имя знакомо давно, но о ком мы знали простительно мало. Книга, вышедшая недавно в издательстве «Искусство», рассказывает о Сулержицком так, что мы увидели энергичного деятеля русской культуры, вдохновенного художника, редкостно одаренного человека во всем многообразии его таланта. «Повести и рассказы» знакомят нас с ярким писателем, «Статьи и заметки о театре», а также «Переписка» — с выдающейся (это точное слово) ролью Сулержицкого в истории русского театра, «Воспоминания» — с человеком добрым, мужественным, веселым и жизнелюбивым: недаром тот же Горький сказал, что «он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия». А Лев Толстой, который нежно любил Сулержицкого, заметил: «Ну, какой он толстовет? Он просто — «три мушкетера», не один из трех, а все трое!»

Сама жизнь Сулержицкого необыкновенна, неожиданна. Сын и ученик переплетчика, он был профессиональным художником и матросом, проповедовал идеи своего старшего друга Толстого и устраивал подпольную типографию РСДРП, работал садовником и объездил полмира, сидел в тюрьме, в сумасшедшем доме (за отказ служить в армии) и ставил «Синюю птицу» в Париже, в театре Режан. И это все — и многое другое — за сорок четыре года жизни.

Кто знает — возможно, если бы он отдал свой талант одному делу, то был бы признан как великий. Но в этой неумности, в том, что он делал талантливо все, за что принимался, — натура Сулержицкого.

Однако есть одна сфера культуры, где вклад его огромен, — театр. Ю. А. Завадский пишет: «Я думаю, что система Станиславского, его первые записи, обобщение опыта, его соображения о студийности и этике — немислимы без участия в них Сулержицкого». Когда читаешь одно воспоминание за другим — Вахтангова, Мейерхольда, М. Чехова, Бирман, — убеждаешься, что это так. Будучи заведующим Первой студией МХАТ, ее душой, Сулержицкий утверждал систему в живом искусстве театра. Мне кажется, что, пожалуй, ни в одном сочинении о системе Станиславского не сказано о ней так просто, ясно, без тени наукообразия, как в статьях и заметках о театре Сулержицкого, напечатанных в книге.

Книга готовилась в научно-исследовательской комиссии по изучению и изданию наследия К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — и это большой труд комиссии. На обороте сказано: составитель, редактор, автор вступительной статьи и комментариев Е. И. Полякова. Вот об этой, казалось бы незаметной, работе мне и хотелось бы сказать особо, потому что, кроме всего прочего, Е. Полякова была инициатором создания этой книги, в которой многие воспоминания написаны специально для этого издания. Что же касается вступительной статьи «Жизнь и творчество Сулержицкого», то она по праву должна быть в ряд с теми сочинениями, которые принадлежат людям, знавшим Сулержицкого, — настолько достоверно, глубоко, а бы сказал, лично написана эта статья.

Почему же так долго Сулержицкий был в забвении? Конечно, сказывались былые односторонние суждения о нем как о «непротивленце», «толстовце». Но дело, видимо, не только в этом, а еще в одном свойстве этого человека и художника. А. Д. Диккий писал: «Он принимал участие во всех спектаклях студии, но не подписал ни одной ее афиши. Он был скромнее до полного забвения своих прав режиссера и руководителя. Он помнил только об обязанностях».

А. Анастасьев.



**К НОВОЙ ЖИЗНИ.** Рассказы писателей ГДР. Составитель В. Стеженский. Предисловие А. Дымшица. М. «Прогресс». 1970. 400 стр.

Мальчику было не много лет, он он уже ясно ощущал, как враждебны ему его сверстники, с упоением марширующие по улицам в форме гитлеровской молодежи. Даже мать не может понять, почему сыну отвратительна сама мысль провести школьные каникулы в лагере гитлерюгенд. Жить и оста-

ться самим собой ему помогает тайна. Доверенная дедом. Где-то за полями и реками есть Волшебные пруды. И когда из обоим — старому и малому — станет совсем невмоготу, они уедут на берег Волшебных прудов. Там они освободятся от всего, что грубым насилем врывается в их жизнь, что грозит мальчику муштрой и мундиром, а дедушке — приютом для престарелых.

Месяц за месяцем копят они по грошу деньги на дорогу и наконец отправляются в путь.

Но на месте желанных Волшебных прудов они нашли лишь горы песка да чахлые молодые деревья, прикрывающие крышу бункера. Дорогу путникам преграждает солдат.

«Ругаясь, он спросил, что нам здесь надо».

— Наши пруды, — сказал я.

— Эти грязные болота уже засыпаны, — сказал солдат. — А вы убирайтесь отсюда, здесь секретная зона».

Рассказ Гюнтера де Бройна, в котором происходит это трагическое крушение надежды, невелик. Но среди всего, что уже написано современными немецкими писателями о мертвящей атмосфере третьего рейха, он, думается, не пройдет незамеченным. В рассказах старика о Волшебных прудах слышны отзвуки народных немецких сказок, старинных поэтических поверий. Враждебный всему человеческому нацизм был враждебен и миру мечты, миру народной сказки...

Гюнтер де Бройн — один из семнадцати рассказчиков, представленных в сборнике «К новой жизни. Рассказы писателей ГДР». Книга эта продолжает традицию, начатую ранее вышедшими в том же издательстве сборниками «Дни и годы», «Вчера и сегодня» и другими.

В ней выступают писатели старшего поколения, такие, как Анна Зегерс и Макс Циммеринг, начавшие литературную и общественную деятельность в двадцатые и тридцатые годы, и такие, как Эрвин Штриттматтер и Франц Фюман, которые стали известными в первые послевоенные годы, и, наконец, совсем молодые литераторы. Для некоторых из них, например для Манфреда Эндрюшика, публикация в этом сборнике — дебют перед советскими читателями.

В творчестве писателей ГДР неизменно большое место занимает разоблачение идеологии милитаризма и нацизма. Понятно, что эта тема звучит и в сборнике «К новой жизни». «Глаз куклы» Герберта Иобста и «Перевоз — двадцать пфеннигов» Кристи Борхерт — сильные страницы того обвинительного акта, который литература ГДР неустанно предъявляет фашизму и милитаризму. Молодой писатель Эрих Келер нашел неожиданный и парадоксальный сюжетный ход, чтобы показать, как складывались и как поддерживались великогерманские милитаристские мифы. Герой его рассказа — солдат первой мировой войны — по ошибке занесен в список погибших на Восточном фронте. Имя его высечено на памятнике.

Превратности, которые он претерпевает, пытаясь исправить это недоразумение, его хождение по военным и бюрократическим инстанциям изображены средствами сатирического гротеска, а штампы реваншистской фразеологии, имевшие широкое хождение в веймарской Германии, спародированы беспощадно и точно. Стилистика этого рассказа позволяет говорить о плодотворной учебе у Генриха Манна с его бессмертным «Верноподданым».

Сборник тематически очень разнообразен. Анна Зегерс своим рассказом «Настоящий синий цвет» — одной из последних и прекрасных работ большого мастера перевода покойной В. Станевич — переносит читателя в Мексику. В годы второй мировой войны писательница жила здесь в эмиграции и глубоко проникла в строй народной жизни Мексики. Ее рассказ — не только повествование о гончаре, который упорно и неутомимо ищет единственную настоящую синюю краску для посуды, но и о том поиске, который неустанно ведет всякий художник. Отто Готше посвящает свой рассказ «Пауль Пширер в дни Октября» России первой мировой войны и первых дней Октябрьской революции, изображая судьбу немецкого военнопленного, который стал участником революционных событий.

Большое место занимают в сборнике рассказы, посвященные сегодняшней действительности ГДР. В них — это особенно относится к рассказам «Август — волшебный месяц» Вернера Бройнига и Берты Ватерштрадт «Дверь-вертушка» — изображается становление характера нового человека, ощущающего себя творцом и хозяином жизни.

Произведения, собранные в этом сборнике, очень разнообразны стилистически. Медленно и неторопливо разворачивается действие в «Настоящем синем цвете» Анны Зегерс — рассказе, который можно было бы назвать повестью. Лаконичны «Листики из календаря» Эрвина Штриттматтера. Некоторые из них — это поэтические изображения природы, решенные средствами многокрасочной словесной живописи, другие словно нарисованы в острой графической манере. Миниатюры Штриттматтера продолжают традицию коротких рассказов Брехта, а некоторые из них даже делают Брехта, с которым Штриттматтер был связан творческой работой и дружбой, героем повествования.

С каждым годом расширяется представление советского читателя о современной литературе ГДР. Сборник «К новой жизни» вносит заметный вклад в этот процесс знакомства.

С. Львов.

★

**АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ.** Тонкий профиль. Документальная повесть. М. Профиздат. 1970. 256 стр.

Документальная повесть Анатолия Медникова «Тонкий профиль» посвящена Челябинскому трубопрокатному заводу. Почти

полтора десятка лет дружбы связывает автора с коллективом этого завода. За эти годы — множество встреч, бесед, писательских наблюдений...

18 марта 1963 года правительство ФРГ ввело эмбарго на поставку в СССР стальных труб большого диаметра. Это была попытка остановить продвижение наших газовых магистралей... «Весь мир начал следить за вспыхнувшим экономическим сражением между политиками Бонна и металлургами-трубопрокатчиками Советского Союза». Казалось, что аденауэровскому правительству удалось-таки нанести ощутимый удар по советской экономике, что очередная диверсия «холодной войны» удалась. Но прошло всего двенадцать дней — и в Челябинске праздновалось уже рождение первой большой уральской трубы диаметром 1020 миллиметров. Вскоре в ФРГ вышла книжка, рассказывающая о поездке западногерманских журналистов в Челябинск. «Ехал я осматривать поле боя, — писал один из ее авторов, — то самое поле боя, на котором летом 1963 года Федеративная республика потерпела поражение...»

Бой выиграли южноуральские трубопрокатчики. К этой победе шли они давно, трудно, устремленно. На заводе только что, «после многодневных мук настройки и отладки», пустили новый трубоэлектросварочный цех, а новый директор завода Осадчий требует его реконструкции. Директору возражают и главный инженер и его заместитель. «Осадчий вдруг ощутил упругую волну сопротивления, почувствовал мощный заслон из тех самых рук, которые должны были ему помогать во всех заводских делах, во всех начинаниях». Не так-то прост этот конфликт, и совсем не легко автору, а вместе с ним и читателям сделать выбор, решить, чью принять сторону. Ведь доводы главного инженера Чудновского, казалось бы, столь же убедительны, что и Осадчего. «В стране нет пока широкого стального листа, из которого можно делать большие трубы... Нет и соответствующих станков», — утверждал Чудновский. «Сначала лист, потом станы и трубы...» «Лист появится, — убеждал Осадчий. — Будет нужен — значит, появится», надо уже сейчас готовить завод к этому, думать о больших трубах! В сущности, это был спор не столько о реконструкции нового, ведущего цеха, сколько о будущем советского трубопроката, об умении увидеть, угадать завтрашние потребности страны.

Вопрос этот слушался в ЦК КПСС. Здесь из заключительного слова секретаря ЦК директор узнал, что «есть все основания надеяться в ближайшее время на громадное увеличение добычи нефти и особенно газа на вновь открытых месторождениях... От этих месторождений к промышленным районам, к различным городам страны будут прокладываться тысячекilометровые газопроводы... их протянут далеко за рубежи Советского Союза. Вот тут-то и понадобятся трубы большого диаметра». Так решился этот спор. А вскоре Челябинский



завод начал выпускать трубы большого размера. И на первом, еще горячем отечественном гиганте кто-то из рабочих вывел мелом огромными буквами: «Теперь Аденауэру труба!»

Герой этой книги — завод, коллектив трубопрокатчиков. Но ведь коллектив — это множество людей, судеб, характеров. А Медникову удается так построить повествование, что книга, посвященная жизни Челябинского трубопрокатного, не становится еще одним «производственным романом». Нет, это рассказ о людях — очень разных, о судьбах — иногда противоречивых, о столкновении характеров. Герои этой повести шагнули на ее страницы прямо из жизни. И, обретя книжное существование, они остались живыми людьми, да к тому же и с точным адресом. Поэтому дела их волнуют, поэтому повесть интересно читать.

**В. Магидсон.**



**УИЛЬЯМ УИЛЛИС.** Возраст не помеха. Перевод с английского. Л. Гидрометеоздат. 1969. 200 стр.

В возрасте семидесяти лет на плоту с вызывающим названием «Возраст не помеха» этот человек — один, без спутников — пересек Тихий океан от Перу до Австралии, пройдя со множеством драматических приключений одиннадцать тысяч миль за двести четыре дня. Это было не первое и не последнее его трансокеанское плавание. Девятью годами раньше Уиллис пересек Тихий океан на бальсовом плоту «Семь сестричек». Пять лет спустя он погиб при попытке пересечь Атлантический океан на одноместной яхте.

Эта книга — прежде всего захватывающий авторепортаж о беспрецедентном плавании Уиллиса на металлическом плоту, повесть о мужестве, победившем болезни и старость, о беспредельных возможностях человеческого духа.

Уильям Уиллис родился и вырос в Гамбурге, крупнейшем в те времена портовом городе. В детстве он зачитывался капитаном Марриетом и Фенимором Купером, рассказами о Джеке из Техаса и других героях, обладавших удивительной способностью выходить живыми из ледящих кровей приключений. Став старше, он не расстался с давней мечтой. Пятнадцати лет Уиллис нанялся на парусное судно и стал вести скитальческую жизнь, полную труда и тревог. Он был моряком и докером, убирав хлеб и занимался борьбой, плавал на Великих озерах и работал на нефтепромыслах Техаса и Оклахомы. Он валил лес, строил суда, ловил рыбу на Аляске, прокладывал дороги и разведывал недра. Кроме того, он писал стихи и рисовал карикатуры.

Годы не имели власти над этим человеком. На шестьдесят втором году жизни он совершил свое первое одиночное плавание через Тихий океан — от Перу до островов Самоа. Оно позволило ему пережить гордое сознание торжества над стихией: «Трудно-

сти и невзгоды... Борьба, что закаляет человека... Минуты, которые решают — жить или не жить... Я улыбался, глядя в синие глаза Тихого океана, как улыбаешься старому другу, с которым прожил славные дни». Уиллис пишет книгу об этом плавании, выстает с докладами в Америке и Европе.

Прошли годы. Уиллис перенес тяжелую болезнь, но, едва оправившись от нес, задумал еще более грандиозное плавание — на этот раз от материка до материка. В этом эксперименте, призванном доказать, что он победил старость, Уиллис поставил себя в самые трудные, бескомпромиссные условия, выбрав плот с прямым парусным вооружением. Много дней и ночей Уиллис испытывает непрерывное физическое напряжение. Бесконечная работа, бесконечная бессонница, бесконечные починки рулей, которые все равно отказываются служить. Но по мере того, как плот продвигается все дальше на запад, Уиллис преодолевает трудности одну за другой, и это наполняет его сознанием силы. «Чем больше я телом и душой свыкался с работой и одиночеством, тем сильнее овладевало мною чувство свободы».

Уиллис плывет в компании летучих рыб, корифен и акул, каждый день и час борясь с океаном — с ветром, волнами, течениями, а когда выпадает свободное время, размышляет о прожитой жизни и своих предшественниках-полинезийцах, о работе и счастье, о смерти и бессмертии и ведет дневник. Язык его нежен и выразителен. Он пишет о лагунах и пальмах, растворяющихся в тишине, о звездах, рассыпавшихся осколками бриллианта на темной карте неба, об альбатросах, кидающих итенцов вниз и летящих рядом, пока малыш не расправит крылья.

Всю жизнь им владело стремление к совершенству. Желая быть здоровым и сильным, Уиллис создал собственную систему омоложения. И в свои семьдесят лет он энергичен и жизнелюбив, как в юности. Это плавание — в сущности, очень естественное продолжение всей его жизни, постоянного стремления испытать себя в предельно трудных условиях, чтобы выйти из них победителем.

А испытаний Уиллису выпало много. Не раз он оказывался на волосок от смерти. Еще при выходе из Кальею он попал в гигантскую волну, вызванную землетрясением. Много раз ему приходилось бороться со шквалами и ураганами. Удивительно, как Уиллис справляется с трудностями. Надорвавшись и страдая от грыжи, он вздергивает себя вверх ногами на блоке. В другой раз, ударившись о железный бушприт, он неделю лежал парализованный, но нечеловеческим усилием воли заставил себя вернуться к работе. Почти у цели пути его ожидало самое тяжелое испытание. Плот выбросило ночью на скалы, и лишь чудом Уиллису удалось избежать гибели и снова оказаться на плаву.

Уиллис победил, и его победа принадлежит всему человечеству. Лучшее всего об этом сказал он сам: «Почему я предпринял

это путешествие? Поройтесь-ка у себя в душе, и вы обнаружите, что гоже мечтали о таком плавании, даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море. Когда-то, может быть, много веков назад, у ваших праотцев была такая мечта, вы унаследовали ее, и она у вас в крови — будь вам двенадцать, семьдесят или сто лет, ибо мечты не умирают».

**Е. Третьяков.**

★

**ВОСПОМИНАНИЯ О СОФРОНИЦКОМ.**  
М. «Советский композитор». 1970. 696 стр.

Имя Владимира Владимировича Софроницкого (1901—1961) входит в число гениально одаренных пианистов двадцатого столетия. Из года в год, из месяца в месяц, в течение сорока лет, с 1921 по 1961 год, оно неизменно появлялось на афишах концертных залов Москвы и Ленинграда. Редкостный дар поэта-мыслителя, проникновенные в сокровенные глубины исполняемой музыки, необыкновенная искренность высказывания, огромный эмоциональный накал, властно сдерживаемый «семью бронями» могучего интеллекта,—все это создавало полную иллюзию «второго творения» музыки на концертной эстраде, захватывало слушателей своей неповторимостью.

Для огромного большинства постоянных слушателей каждая встреча с искусством Софроницкого становилась событием. За девять лет, прошедших со смерти пианиста, число его слушателей неизмеримо возросло: Всесоюзной студией грамзаписи изданы крупными тиражами тридцать восемь долгоиграющих пластинок с записями его исполнения. Вот почему музыкальная общественность с таким интересом встретила сборник «Воспоминания о Софроницком».

Здесь напечатаны и воспоминания отца, в которых освещены детские годы пианиста и годы его учения, и интересная статья его

сына, математика и астронома А. Софроницкого, и воспоминания учеников его класса в Московской консерватории, воссоздающие образ Софроницкого-педагога. В воспоминаниях директора Музея А. Н. Скрябина Т. Шаборкиной видна важная роль музея в жизни В. Софроницкого, который всегда находил там дружескую поддержку и понимание.

Интерес читателя к сборнику воспоминаний безусловно повышает участие в нем таких крупных деятелей нашей музыкальной культуры, как Генрих Нейгауз, М. Юдина, Л. Оборин, Я. Зак и другие.

Обширное собрание воспоминаний самых разных лиц (от профессора Консерватории до рабочего сцены), общавшихся с Софроницким в разные периоды его жизни, убедительно воссоздаст живой образ замечательного артиста и человека, опровергает несобоснованные легенды, которыми порой было окружено имя пианиста.

Необходимо отметить большую и сложную работу по отбору воспоминаний и составлению комментариев, выполненную профессором Я. Мильштейном. Удачна мысль включить в сборник полную дискографию Софроницкого, составленную И. Никоновичем.

Может быть, надо было подумать над более последовательно выдержанным принципом расположения воспоминаний в книге, приняв за основу хронологию. Документальная ценность книги была бы безусловно повышена датировкой как фотографий, так и воспоминаний, а главное — более полной и точной датировкой концертов пианиста. Приведенные в книге случайные даты концертов (в основном в Музее Скрябина) создают у читателей неверное представление о масштабах деятельности Софроницкого. Впрочем, это уже все — пожелание на случай переиздания сборника, а оно, мы уверены, понадобится.

**К. Калинин.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. 852 стр. Цена 1 р. 54 к.

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 3-х томах. Т. 2. 836 стр. Цена 1 р. 48 к.

**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи. 78 стр. Цена 8 к.

**В. И. Ленин.** Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? 224 стр. Цена 28 к.

**В. И. Ленин.** Главная задача наших дней. 40 стр. Цена 4 к.

**Документы внешней политики СССР.** Т. 16. 920 стр. Цена 1 р. 75 к.

**История Коммунистической партии Советского Союза.** В 6-ти томах. Т. 5. Книга 1. 736 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Н. Крупская.** О Ленине. Сборник статей и выступлений. 304 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Лекции по научному коммунизму.** 264 стр. Цена 39 к.

**Настольная книга атеиста.** 472 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Ф. Распорнин.** Партийный работник. Облик и стиль. 80 стр. Цена 14 к.

**Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ.** 64 стр. Цена 9 к.

**Хрестоматия по диалектическому и историческому материализму.** 384 стр. Цена 70 к.

**Ф. Энгельс.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 72 стр. Цена 7 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Андроников.** Я хочу рассказать вам... Рассказы, портреты, очерки, статьи. 575 стр. Цена 1 р. 48 к.

**Н. Атаров.** А я люблю лошадь. Повести и рассказы. 232 стр. Цена 47 к.

**Белорусские рассказы.** Перевод с белорусского. 543 стр. Цена 93 к.

**В. Гиллер.** И снова в бой... Документальная повесть 447 стр. Цена 88 к.

**Э. Межелайтис.** Алелюмай. Литовская сюита. Перевод с литовского. Художник С. Красаускас. 215 стр. Цена 66 к.

**С. Мелешин.** Разлука живет на вокзале. Повести и рассказы. 247 стр. Цена 37 к.

**Н. Москвин.** Снова в пути. Повести и рассказы. 703 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Ю. Полухин.** Свет багульника. Роман. 230 стр. Цена 48 к.

**Н. Четунова.** Человек идет по городу... Очерки. 239 стр. Цена 30 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Богданович.** Стихотворения. Перевод с белорусского 190 стр. Цена 14 к.

**И. Гурвич.** Проза Чехова Человек и действительность. 183 стр. Цена 41 к.

**К. Кулиев.** Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с балкарского. Вступительная статья М. Дудина. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 383 стр. Цена 1 р. 44 к. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 431 стр. Цена 1 р. 48 к.

**Б. Лесьмян.** Стихи. Перевод с польского. 272 стр. Цена 18 к.

**Литература и современность.** Сборник 10-й. Статьи о литературе 1969—1970 годов. Составитель В. Литвинов. 511 стр. Цена 1 р. 38 к.

**Лирика вагантов.** Перевод с немецкого и предисловие Л. Гинзбурга. Художник Г. Клодт. 191 стр. Цена 1 р. 75 к.

**О. Минулашен.** Стихи. Переводы с чешского под редакцией Д. Самойлова. 175 стр. Цена 53 к.

**О. Россиянов.** Антал Гидаш. Очерк творчества. 120 стр. Цена 29 к.

**Р. Тагор.** Искры. Поэтические афоризмы и миниатюры. Перевод с бенгальского и английского. Предисловие С. Липкина. 195 стр. Цена 90 к.

**Д. Херси.** Возлюбивший войну. Роман. Перевод с английского. Вступительная статья Г. Злобина. 464 стр. Цена 1 р. 50 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Г. Бёль.** Долина Грохочущих Копыт. Повести. Перевод с немецкого Л. Черной. 224 стр. Цена 62 к.

**Библиотека современной фантастики.** Т. 20. Антология скандинавской фантастики. Переводы. 382 стр. Цена 1 р. 33 к.

**О. Лаврова и А. Лавров.** Отдельное требование. Рассказы о следователе Стрепетове и его товарищах. 191 стр. Цена 44 к.

**И. Нонешвили.** Избранная лирика. Перевод с грузинского. 31 стр. Цена 12 к.

**А. Сент-Экзюпери.** Планета людей. Роман. Перевод с французского Н. Галь. Предисловие Г. Берегового. 352 стр. Цена 94 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**М. Бессараб.** Страницы жизни Ландау. 136 стр. Цена 80 к.

**Время. Его экономия и использование.** 192 стр. Цена 50 к.

### «ПРОГРЕСС»

**А. Герэн.** Серый генерал. Роман. Сокращенный перевод с французского. 365 стр. Цена 1 р. 46 к.

**А. Голон и С. Голон.** Анжелика. Роман. Перевод с французского. 653 стр. Цена 1 р. 99 к.

**А. Моруа.** Литературные портреты. Перевод с французского. 454 стр. Цена 1 р. 53 к.

### «МИР»

**Инфракрасная астрономия.** Сборник статей. Перевод с английского. 224 стр. Цена 1 р. 7 к.

**С. Лем.** Навигатор Пиркс.— Голос Неба. Перевод с польского 590 стр. Цена 1 р. 42 к.  
**Г. Циглер.** Основы теории устойчивости конструкций. Перевод с английского. 191 стр. Цена 57 к.

#### «МЫСЛЬ»

**Г. Данилин.** Автоматизация и ее социально-экономические последствия при капитализме. 190 стр. Цена 1 р. 1 к.

**А. Корнеева.** Ленинская критика махизма и борьба против современного идеализма. 239 стр. Цена 95 к.

**Ленинские принципы хозяйствования и их творческое развитие.** 236 стр. Цена 96 к.

**Марксистско-ленинская теория стоимости.** 212 стр. Цена 65 к.

**Л. Ночевкина.** Развитые капиталистические страны: проблемы интенсификации промышленности. 183 стр. Цена 59 к.

**В. Ребрин.** Общественное благо и общественный долг. 126 стр. Цена 19 к.

**М. Черепанов.** Проблемы теории публицистики. 191 стр. Цена 72 к.

#### «ЭКОНОМИКА»

**П. Василенко.** Основы бухгалтерского учета. 245 стр. Цена 61 к.

**В. Воронков.** Организация труда в промышленности ГДР. 64 стр. Цена 18 к.

**А. Модин, Н. Махров и Ю. Олейник-Овод.** Организация управления производством в капиталистических фирмах. 88 стр. Цена 27 к.

**Экономическая история социалистических стран.** 527 стр. Цена 1 р. 6 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**З. Антиошко.** Из практики народного суда. 56 стр. Цена 9 к.

**А. Глазунов.** Льготы инвалидам войны. 152 стр. Цена 18 к.

**В. Емельянова.** Законодательство о запovedниках, заказниках, памятниках природы. 62 стр. Цена 15 к.

**Законодательство о капитальном строительстве.** Выпуск 4. 728 стр. Цена 2 р. 47 к.

**О. Иоффе.** План и договор в социалистическом хозяйстве. 216 стр. Цена 70 к.

**В. Полубинский.** Координаты мужества. О людях советской милиции. 112 стр. Цена 13 к.

**В. Пронина.** Центральные органы управления народным хозяйством. 168 стр. Цена 54 к.

**М. Фальнович.** Предъявление иска в Государственный арбитраж. 112 стр. Цена 21 к.

**В. Язев.** Промышленность и торговля. Правовые вопросы. 248 стр. Цена 82 к.

#### «ПЕДАГОГИКА»

**В. Коротов.** Идущему на первые уроки. 96 стр. Цена 13 к.

**В. Пушкин.** Психология и кибернетика. 232 стр. Цена 68 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**С. Айни.** Рабы. Роман. Перевод с таджикского С. Бородина. Душанбе. «Ирфон». 430 стр. Цена 92 к.

**Л. Александрова.** Советский исторический роман и вопросы историзма. Киев. Издательство Киевского университета. 156 стр. Цена 84 к.

**Амур — река подвигов.** Художественно-документальное повествование о приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках и преобразователях. Хабаровск. Книжное издательство. 975 стр. Цена 2 р. 7 к.

**С. Асадуллаев.** Заметки о романе. Баку. «Гянджлик». 156 стр. Цена 38 к.

**В. Гольцев.** Из трех книг. Статья и очерки. Тбилиси. «Мерани». 318 стр. Цена 1 р. 60 к.

**День поэзии Севера.** Петрозаводск. «Карелия». 191 стр. Цена 80 к.

**И. Друцэ.** Листья грусти. Повесть. Перевод с молдавского. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 203 стр. Цена 29 к.

**К. Каладзе.** Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. Предисловие Н. Тихонова. Тбилиси. «Мерани». 498 стр. Цена 2 р. 50 к.

**А. Кунанбаев.** Слова назидания. Перевод с казахского Алма-Ата. «Жазушы». 128 стр. Цена 57 к.

**В. Миколайтис-Путинас.** Повстанцы. Роман. Перевод с литовского Вильнюс. «Вага». 711 стр. Цена 1 р. 24 к.

**Л. Мищенко.** Дочери человеческие. Повесть. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 136 стр. Цена 18 к.



---

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большов** (первый зам. главного редактора),  
**Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле-**  
**шов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин,**  
**О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

---

Редакция. Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва. К-6 Пушкинская пл. д. 5.

---

Сдано в набор 12/III 1971 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 14/IV 1971 г.
А 05747.	Формат бумаги 70×108 <sup>1/16</sup> . 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)	Тираж 178.000 экз
	Зак. 967	

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова Степанова Москва Пушкинская пл., 5.



Цена 70 коп.

70636